Оскар Вальтер Цисек

Бесконечная река

Посреди ледяной глади замёрзшего рукава реки возвышалась фигура: человек стоял неподвижно и лишь медленно водил вокруг себя глазами, сузившимися в тонкие щёлки. Вокруг него до самого горизонта раскинулись бескрайние белоснежные просторы, и от пологих волнистых поверхностей отдаленных склонов берега исходило лёгкое сияние, поскольку солнце уже бросало косые лучи на равнину. Лучи света немощно и жалко убегали от мороза в молочную пустоту небес, а стоявший без дела человек в сапогах из волчьего меха, которые будто приросли к месту, спокойно провожал их взглядом, крепко прижав руки к туловищу в попытке сохранить под мышками два последних оставшихся комочка тепла, удерживая их нежно, словно маленьких птичек, которые могли упорхнуть. Но затем он, должно быть, наконец-то вспомнил о своих потяжелевших от неподвижности конечностях, и осознание этого было равносильно спасению от поселившегося где-то внутри него холода. Он походил немного туда-сюда, потянулся, похлопал себя по плечам и ударил кулаком об кулак с такой силой, что звук удара раскатился далёким эхом, напоминая грохот посыпавшихся обломков горной породы.

Довольно долго он делал глубокие вдохи, чтобы наполнить лёгкие холодным воздухом, затем издал пронзительный крик, который гулко разнёсся по воздуху навстречу паре жалких вороньих стай. Их тёмные очертания парили на вздымающемся за крупным рыбацким городком горизонте, спокойно кружась вокруг выцветших, почти облезших церковных куполов. Ух ты! Вырвавшийся звук собственного голоса безмерно понравился Фирсу, молодому рыбаку, и озарил его лицо полной самодовольства улыбкой. Он стал снова испускать крики, многократно повторяя их. Со стороны городка ему помахал порхающий женский силуэт, но издалека движения казались нечёткими и расплывчатыми. Обеспокоенная женщина, видимо, встревожилась, полагая, что он в опасности. И тут его собственный смех прервал эту шумную забаву, смешавшись в открытом рту с бессвязным мычанием, из-за чего получилась какая-то громкая, прерывисто-клокочущая тарабарщина. Женщина подняла обе руки и застыла в этой позе. Однако он просто повернулся к ней спиной, не издал больше ни единого

звука и, тяжело ступая по твёрдому ледяному покрову Дуная под ногами, отправился в другом направлении к нескольким стоящим в стороне домам городка, выступавшим вперёд из-за голых ветвей ив.

От размашистого шага куртка Фирса полностью продувалась, а пропахшую гарью курчавую бороду обдавало резким ветром. Уже перевалило за полдень и всё вокруг феерично переливалось сверкающими красками. Внезапно в поле его зрения появился городок. Его взору открылись повыраставшие на намывных землях рыбацкие дворы, местами укрытые снежным покрывалом, застывшие от холода каналы, вдоль которых тянулись просмоленные дощатые кладки[1] на опорных сваях, низкие каменные ограды, окрашенные в бледно-голубой или кирпично-красный цвет, тополя и тонкокорые стволы айвовых деревьев. Впрочем, Фирс едва что-либо видел или замечал. Зима превратила городишко Вилково, обычно утопавшее в иле и воде, в сказочное, полное невероятного волшебства тайное место, скрытое вдалеке от всего мира. Здесь, где камышовые крыши хижин словно спрятались под пушистыми белыми кроличьими шкурками, царило сонное спокойствие, и даже грохот шагов Фирса, тяжело ступавшего по дощатым кладкам и расправлявшего при этом плечи так, что едва не расходились швы одежды, вряд ли мог его нарушить. Из нескольких труб клубился слабый дымок, который развевало и уносило ветром. Кроме простодушных собак, посвятивших продолжительный лай шагам поспешно идущего человека, больше никому не было до него дела. Должно быть, он почувствовал свою значительность, вытянул руку и водил ею по планкам заборов, попадавшихся у него на пути. Получался мощный звук, подобный усердному стуку деревянной трещотки, но в его ушах это звучало как музыка. Возможно, от этого стука моргали сонные рыбаки, устроившиеся на полатях своих печей, или на мгновение переставали сёрбать чай и макать хлеб в водку. Нельзя сказать, что Фирс хотел быть надоедливым нарушителем спокойствия, потому что его мысли были заняты другим, хотя в принципе ему было безразлично, что от его шагов кто-то проснётся в испуге, а кто-то будет посылать ему вслед проклятия.

---

1 *Кладки* — местное название дощатых настилов над водой, служащих в качестве тротуаров и пешеходных дорожек (прим. переводчика).

Сейчас он намеревался разыскать Савелия Сверёва, своего товарища по рыбному промыслу с юношеских лет, чтобы скоротать у него время до вечера, ну, и, пожалуй, если представится подходящая возможность, подольше поболтать с его сестрой Дуней, если только её отец, старый икорщик Калистрат, не заведёт с ним задушевную беседу, как это уже часто бывало. Старик Калистрат выполнял очень щепетильную работу, которая была по силам не каждому и, должно быть, долгие годы терпеливой внимательности наделили его способностью судить о происходящем более здраво, чем остальные жители городка. Ему всегда доверяли самое ценное в любом улове; он просеивал через сито осетровую икру, похожую на черные блестящие чешуйки, подливал рассол, пока опытные кончики пальцев не подсказывали ему, что этого достаточно для сохранения свежести и рассыпчатости икры. Он никогда не снимал пробу, ведь его руки знали толк в деле и определяли вкус на ощупь. Зачастую он возился в тесной каморке складских помещений, усердно склонившись над своими приспособлениями, и тот, кто заставал его за этим занятием, сразу проникался беззаботно-радостным настроением, начинал отпускать шутки, понимая, что улов был успешным и принесёт хорошую выручку. Не каждому попадались на крючок белуги и севрюги, некоторым приходилось грести целыми днями и после безжалостных мук довольствоваться лишь молодым сомом или стерлядью. Но к тем, кто имел дело со старым Калистратом, судьба, похоже, была благосклонна, они приносили икру и не позволяли с собой торговаться. Поэтому многозначительное оценивающее выражение лица старика постепенно стало олицетворением успеха. Однако Фирс знал его лучше, чем все те, кого Калистрат умел приободрить в силу своей профессии; он часто смотрел ему в глаза, спрятавшиеся под растрёпанными кустистыми бровями, внимательно слушал его с неподдельной, сдержанной терпеливостью, потому что, с одной стороны, не хотел обидеть Савела, который был его другом, а с другой лишиться возможности видеть Дуню, улыбку которой не могла затмить улыбка ни одной другой женщины.

Эти мысли рассеянно блуждали в его голове, как вдруг за следующим поворотом появился человек, тянувший по блестящему броду канала сани, нагружённые камышом.

Тщедушный и на голову ниже шагавшего ему навстречу Фирса, молчаливо кивнувшего в знак приветствия, он, тяжело пыхтя, с трудом выдавил из себя скорее не ответ, а жалобное оханье. Он бросил верёвки саней, в которые впрягся, и сначала по оплошности наступил на них, а затем, рассерженный на свою неуклюжесть, принялся странно топать и стучать ногами, словно хотел таким образом отомстить им за перенесённые страдания. Фирс издал смешок и стал пробираться к нему поближе, двигаясь по круто поднимающимся дощатым кладкам высоко над ним. Но нетерпеливец там внизу сорвал с головы каракулевую шапку, стал колотить ею по льду и смыкать свой зеленый платок, завязанный большим узлом под безбородым подбородком и окутывавший его шею. Этот роскошный узел совсем не подходил к его в остальном убогому внешнему виду и выглядел излишне вычурно. Его пыхтение становилось громче и превратилось в жуткое кряхтение.

— Что это ты там затеял, Пимен? — спросил его безучастно Фирс, смотря поверх обливающейся потом, редковолосой головы измученного бедняги.

— Фирс, — крикнул тот парню, который стоял, широко расставив ноги, — Фирс, я больше не могу, знаешь, всё-таки я слишком перегрузил сани, верёвки впились мне в грудь до рёбер, они меня искалечили. Ты должен мне немного подсобить, Фирс, помоги тянуть хоть чуток пути эту дьявольскую ношу. Ты по сравнению со мной Голиаф, для тебя это как раз плюнуть, детская забава.

Умоляющие глаза Пимена, выглядывавшие из тёмных впадин, жалобно просили, равно как и его бойкий язык. Его голос наполнился визгливыми нотками, срывался на каждом втором слоге, а из горла раздавался хрип.

— Фирс, — сказал он, — не заставляй долго просить тебя, будь великодушным. Посмотри, даже мой новый шейный платок сбился набок, — плакался он, стремительно размахивая своими острыми, покрасневшими от мороза кулаками. — Боже мой, как ужасно я выгляжу. Это так унизительно, скажу я тебе, терпеть эти адские муки. Помоги мне, Фирс, — кричал он, как растроганный священник на похоронах, — будь другом, выручи меня.

— Но я ведь не сказал «нет», — ответил тот коротко, и одним махом спрыгнул вниз, словно огромный падающий истукан, рядом с Пименом, вздрогнувшим от испуга. Лёд под ним тихонько задрожал от глухого приземления.

— Дружище, ты должен выпить столько чаю, сколько захочешь. Я даже на сахар не поскуплюсь, — добавил он боязливо, полагая, что Фирс может в последнюю минуту передумать и оставит его там одного с камышом, который ему был срочно необходим дома для топки. Но Фирс только буркнул в ответ, что выпил сегодня уже достаточно согревающего, и схватил верёвку, которую торопливо нагнувшийся Пимен уже протягивал ему дрожащими руками. Полозья неповоротливых саней, сколоченных из грубо обтёсанной древесины, ехали толчками, скрипели, трещали, но оба человека продолжали движение: Фирс, намотавший верёвку вокруг правой руки, а рядом с ним, как жеребёнок, ещё не доросший до тяговых работ, неуклюжей рысцой трусил тощий Пимен, осторожно проводя пальцами то по руке Фирса, то по качающейся груде камыша.

— Ничего не упадёт, не нужно беспокоиться, — сказал Фирс с равнодушным спокойствием, практически не взглянув на своего спутника, смотря куда-то перед собой блуждающим в воздухе взглядом.

Какое-то время они оба молчали, пока Пимен не начал плаксиво причитать:

— Этот жуткий холод вгрызается мне в лицо, как крыса, я просто в отчаянии. Ему невозможно сопротивляться, ты находишься в его власти, словно был нарочно приговорен к этому. Ты смирился с этим, почему ты молчишь? — он почти кричал, так как на мгновение принял равнодушие Фирса за глуховатость. — Тебя это не злит? Тебя ничего не мучает? — попытался он немного погодя снова достучаться до Фирса.

Фирс лишь молчаливо покачал головой и продолжал тянуть свою ношу, пока сани, попадая на ледяные кочки, тряслись так, что связки камыша подскакивали вверх и снова опускались. Внезапно навстречу со свистом пролетел порыв ветра, как будто целясь им в глаза, спрятавшиеся в узких щёлках, и подул в стебли камыша, словно играя на сотне органных труб. Трусивший рысцой Пимен резко остановился, задыхаясь и матерясь, повернулся, сел на корточки и сжался в комок, пытаясь спастись

от безжалостной погоды, но прежде чем он поднялся, Фирс уже был на несколько шагов впереди, поэтому Пимен понял, что ему придётся прилично поднатужиться, чтобы догнать своего спутника.

— Куда ты так сильно торопишься, Фирс? — крикнул он ему вслед укоризненным тоном. — Тебя ведь никто не подгоняет кнутом.

Затем, собравшись с силами, он вскочил и неуклюже побежал за Фирсом, как вдруг ветер снова ударил ему в помятое лицо. Однако никакие мольбы Пимена не возымели заметного действия на устремленного вперёд Фирса, которому мороз был ни по чём. Должно быть, его невозмутимость казалась Пимену загадкой, непостижимой своенравной хитростью, которую он не мог понять. Но именно сейчас Фирс был ему полезен, поэтому он простил того, кого тайком обзывал лишь дубиной и тупицей, а иногда, возможно, и более злыми словами.

Казалось, что буря, собиравшаяся со всех направлений, оттеснила полумрак сумерек, добавив кое-где яркие вспышки в их первозданный образ. Расстояние между обоими мужчинами увеличивалось, но Фирс ни разу не обернулся, хотя отставший Пимен усердно делал ему знаки истерическими жестами. Погода менялась с поразительной стремительностью, поэтому оба были рады, когда наконец-то добрались до дома Пимена.

— Ты мчишься, как резвый скакун, ох-ох-ох, за тобой не угнаться.

Это была единственная, прозвучавшая с нотками обиды благодарность Пимена, когда он открывал хилые решётчатые ворота, чтобы впустить молчавшего Фирса вместе с санями.

— Всё кружится, вертится повсюду, — подробно описывал Пимен своё возбуждённое состояние, — сердце трепещет между ребрами, как пугливая птица.

Фирс улыбнулся в ответ, а затем медленно рассмеялся; из щели между губами раздался низкий смех. Затем он выпустил верёвку из покрасневшего кулака и бросил её на землю, снял с ног сапоги, взял на руки одну связку камыша и зашел в жилище в одних толстых шерстяных носках, в то время как Пимен с проклятиями и толчками оттягивал сани за дом.

Он возился там довольно долго, поэтому у Фирса было достаточно времени, чтобы поздороваться с Гашей, женой

Пимена. Она сидела на корточках на давно остывшей печи в задней комнате, большей из двух комнат дома, была в дурном расположении духа и уединилась со своим упрямством; она бросилась к Фирсу, словно его появление в двери освободило её тело от оков.

— Я так рада тебя видеть, Фирс! — громко и стремительно вырвалось у неё, в то время как она, пошатываясь, внезапно остановилась перед ним. — Ты молодчина! — сказала она. — Брось это вон там перед печью.

Её глаза – светло-голубые горошины – трепетали, глядя ему в лицо; одной рукой она коснулась его плеча, пока все её тело, ещё сохранявшее юношескую пышность, неожиданно начало приобретать легкость и пробуждаться ото сна. Всегда ли в полумраке этой комнаты, на стенах которой криво висели иконы, обменивавшиеся непонимающими взглядами, от кожи женщины исходила столь теплая аура? Обычно здесь всё выглядело безрадостным и словно застывшим от мороза: в глаза бросалась опрокинутая табуретка возле тяжелого деревянного сундука, на котором лежало перекосившиеся покрывало, пустой чан, мешавшийся под ногами, плоды айвы на обоих подоконниках, печатная копия картины, изображавшей царя Александра на лошади. Фирс резко выдохнул, его ноша шлёпнулась на коричневый глиняный пол, затем он вытянул руки, сказал что-то о приближающейся буре, взял табурет и медленно подсунул его под себя.

Тем временем в передней уже послышались шаги Пимена, который зашёл в комнату с показным видом, словно правитель, торжественно вступающий в покорённый им город. Правда, он не сказал Гаше ни единого слова, поначалу говорил не так много, как ему бы хотелось, возможно, потому что холод сковал его посиневшие губы, а обычно обвисшие щеки обтянули челюсти и в них будто впились сухие щепки. Из-за этого у него был очень надменный вид всякий раз, когда он косо поглядывал на Гашу, которая, впрочем, тоже не особо стремилась снискать его расположение, то и дело норовисто поворачиваясь к нему спиной, в то время как он медленно вплетал одну фразу в другую, и каждая была полна намёков на его отвагу и усердную работу по резке камыша в дельте реки. При этом он чопорно расшагивал

взад и вперёд, заложив руки за спину и выражая в своих выпадах против жены неодобрительное презрение.

— Во время тяжёлой работы ледяной воздух обжигал мне кончики пальцев, — описывал он с воодушевлением обстоятельства сегодняшнего рабочего дня, — но я продолжал работать, не дав себя запугать, Фирс, я боролся с ветром и стихией, пока вот она — он сделал угрожающий жест в сторону Гаши — бездельничала дома, валяясь на печи, и ни пальцем не пошевелила, чтобы хоть немного прибраться. Ты только глянь, как выглядит комната. Мне стыдно перед тобой, Фирс, мне так стыдно, но ей, конечно, стыд неведом.

Постепенно его язык полностью оттаял, и он стал говорить быстрее.

— Даже Василий Блаженный не может найти здесь покоя. Вон там висит его образ и будто каждое мгновение хочет пуститься наутёк. Я, откровенно говоря, до смерти измучился, камыш с треском ломался под моими ударами, а она же думала Бог знает о чем. Наверно, она была занята пальцами своих ног, пересчитывая, не пропал ли один из них.

Он ехидно засмеялся, а затем издал такой громкий и жалостливый вздох, от которого смягчилось бы сердце любого, если бы только оба слушателя не знали его достаточно долго. Жена Пимена продолжала сидеть на сундуке перед Фирсом и не возразила мужу не слова. Её ноги не доставали до пола, они болтались и барабанили по доскам сундука, как язычок, бьющийся о стенки колокола; ступни были обмотаны перевязанными шнурком портянками, и когда она временами переставала стучать, лишь её голени ударялись друг о друга под юбкой, чтобы хоть немного согреть её вздрагивающее тело. Или, может быть, она это делала из кокетства?

Комната погрузилась в редкостный полумрак, а в холодном воздухе появился запах побелки и густой пыли. Табурет под Фирсом заскрипел. Он сидел, полуоткинувшись назад, скрестив большие, как лопаты, кисти на затылке, и словно насвистывал неслышимую песенку, которая запутывалась в его курчавой бороде. Он несколько раз чувствовал на себе пристальный взгляд Гаши, но его взор блуждал где-то за пределами комнаты; он был обращен на что-то, что находилось вне этого времени, и женщине там было не место. Когда после очередной из фраз

Пимена, всё ещё продолжавшего предаваться разглагольствованиям, Гаша перестала болтать ногами, в комнате воцарилась мёртвая тишина, неслышно было даже робких шагов обиженного супруга, снявшего насквозь промокшие сапоги, которые он поставил в угол, как покорных близнецов.

Но когда он вновь завёл свою речь, то предаваясь самопрославлению, то бранясь, Гаша не выдержала. Она резко, с быстротой защелкивающегося капкана, прервала его на полуслове:

— Может, хватит уже делать из себя посмешище? Ворчишь, как старая карга. Я больше не намерена это терпеть. У нас сегодня гость, и ты мог бы уже давно найти время, чтобы наполнить печь камышом и развести огонь. Или для этого тоже нужно нацепить свой новый шейный платок, чтобы Фирс тобой восхищался? Сейчас ведь ему больше нечем заняться.

Слова сыпались из неё градом, а опешивший и растерявшийся Пимен перестал расхаживать по комнате и сначала даже не знал, что возразить, в то время как к его горлу подступал комок ярости. И тут он закипел и взорвался:

— Подожди у меня, вот уйдет Фирс, тогда ты узнаешь, кто должен заботиться об огне.

Фирс не отреагировал на угрозы Пимена, но пригвоздил этого неучтивого человека таким взглядом, что тот сразу же немного сбавил тон.

— Да, — причитал он обвиняющим голосом, — это она виновата в моем несчастье. Разве она сегодня навела порядок, разве помыла что-нибудь? Фирс, поверь мне, я достоин сожаления. В следующий раз я обязательно скажу об этом батюшке, возможно, он сможет мне помочь.

Тут Гаша разразилась неистовым смехом, который уже не оставил места никаким упрёкам и разлетелся по дому, как брызги пены.

Эта безудержность изрядно напугала Пимена; он хотел прибегнуть к какому-нибудь убойному матерному словцу, но не смог найти подходящего, начал запинаться и внезапно осознал, что был в меньшинстве перед превосходящими силами противника в лице двух других людей.

— Фирс не уйдет, — сказала Гаша.

— Да, я не уйду, по крайней мере, не сейчас, — подтвердил Фирс, но при этом его мысли словно летали где-то далеко. — Твой муж, Гаша, меня пригласил.

Сказав это, он будто освободился от тяготившей его ноши.

— И кто же теперь разожжет огонь, хотел бы я знать? — спросил Пимен, все ещё раздражённый и неуверенный.

— Я, — ответил Фирс, — мне несложно.

При этом его голос прозвучал очень просто и естественно. Тут Гашу будто что-то подтолкнуло изнутри, и одним махом она подскочила к печи, кирпичная конструкция которой с выступающими боковыми стенками занимала почти четверть комнаты. Она сгибала стебли камыша, разламывала их об колено напополам, потом на куски и запихивала в топку, поглощавшую одну солидную порцию за другой. Затем несколькими ударами кремня она подожгла стебли. Какое-то время до задумавшегося Фирса доносилось потрескивание, и вскоре в печи уже задрожал огонь и вздымались языки ярко полыхающего пламени.

Пимен кивнул, погруженный в печальные размышления, и, посчитав, что лучше больше не тратить попусту слова, проскользнул в переднюю и крикнул оттуда:

— Ты поставила чай? Фирс ждет. Я его пригласил к нам, а ты даже не умеешь принимать гостей как полагается. Мы и без того варим какую-то бурду вместо чая, как нищие, потому что тебе не дали в приданое самовар. Все твое приданое – это твоя лень.

Он накинул шерстяную рубаху и продолжал брюзжать себе под нос. Однако в этот раз жена ничего не возразила; незамеченная занятым супругом, она бесшумно подошла к Фирсу и провела тёплой рукой по коротким волосам на его затылке. Фирс резко очнулся, схватил её и одним движением, в котором ощущалась твёрдая непреклонность, отодвинул от себя. Однако мясистые руки женщины не испугались и снова потянулись к нему; в конце концов, он со вздохом поднялся и сделал несколько шагов в направлении двери, пока Гаша что-то суетливо нашёптывала ему на ухо в ответ на его непонятливость, её горячий шёпот лился ему в уши, но он смог отразить её натиск, сделав отрицательный жест рукой. Это создало между ними дистанцию, которую не смогла преодолеть даже белоснежная улыбка Гаши.

Шаркая ногами, измождённый Пимен, словно почуявшее

добычу животное, несколько раз медленно обошёл вокруг Фирса, который на все вопросы его жены давал лишь скупые односложные ответы, разлетавшиеся в темноте, как мелкие капли. Пимен не знал, что конкретно они значили, и как их истолковать, но казалось, они раздражали его кожу, как жалящее прикосновение медуз. Он ковырялся в них, перекручивал, пытался разобраться, но безуспешно, а Гаша словно глумилась над ним, делая таинственный вид, чтобы ещё больше усилить его подозрения и разжечь вспыхнувшее любопытство. Злобное ехидство на её лице в одно мгновение могло обратиться против него, из-за чего Пимен мнил себе, что его отодвигают в сторону против воли, и дрожал от ядовитого гнева. Он не мог понять такое поведение жены, объяснение сразу же ускользало от него, как только он начинал думать, что наконец-то напал на правильный след. Его подозрение не падало на такого человека, как Фирс, честность которого, казалось, исключала любые сомнения, а слова всегда были чёткими и недвусмысленными. Он был далек от этого. Но почему же тогда Гаша так бойко виляла бедрами, крутясь вокруг начинавшей источать тепло печи? И с какой стати она принялась разматывать портянки, вытаскивая ноги, похожие на мягкие кукурузные початки, которые медленно вынимают из ободранных листьев их оболочки? Пока что тепло в комнате не переросло в мучительную жару, которую невозможно было терпеть.

— Кажется, тебе очень жарко, — злобно прошипел Пимен, но Гаша, видимо, пропустила это мимо ушей, с явным наслаждением потирая округлые колени, зевнула и сказала Фирсу:

— Наконец-то этот дом немного ожил. Даже воздух оставляет сладкий привкус во рту. Целых четыре дня здесь все стояло, словно застывшее.

И затем она с лёгкостью продолжила, будто Пимена вовсе не было рядом с ней, будто он не сидел в окутанном темнотой углу той же самой комнаты:

— Осенью Пимен пустился на поиски приключений, и, разумеется, у него не нашлось времени на то, чтобы нарезать и принести домой камыш, как это делают все мужчины городка, дабы их домочадцы не страдали от холода. Чем занимается Пимен, пока не лежит на печи, возбужденно болтая во сне и

размахивая руками, никто не знает. Я тоже этого не знаю, Фирс. Я всю осень каждый день солила и сортировала рыбу на складах. От этого мои руки так покраснели и опухли. А мне всего-то нужно было немного тепла. Но Пимен продолжал бездельничать, вместо того, чтобы запасаться камышом для печи. Соседи любят с ним общаться, смеются над его шутками, которые он всегда держит наготове, и восхищаются его шейным платком, что свойственно независтливым людям. Конечно, рассказывать Пимен умеет мастерски; возможно, он относится к тем, кого, как я однажды слышала, в городах называют писателями. Он сделан из другого теста, он не рыбак, даже если бы и хотел им быть. Да и пусть занимается тем, что ему нравится, но он должен хоть как-то заботиться о том, чтобы я не мёрзла.

Тут Пимен, польщенный её словами и какое-то время поглядывавший из своего угла, закашлял, будто намеревался что-то возразить, но Гаша, видимо, почувствовала это и вдруг начала подгонять слова, говорить быстрее, вспыльчиво размахивая руками в разные стороны.

— Из-за трусливого пса я плакала навзрыд. Из-за него я мерзла, пока руки и ноги не посинели от холода.

— Кто это трусливый пёс? — перебил её, возмущенно кашляя, удивленный супруг. — Кого это ты назвала псом? — наседал он на неё.

Однако Гаша, не обращая на него внимания, продолжала свою обвинительную речь:

— Я хотела рассказать об этом всем людям, вот рассказываю тебе, Фирс. Он лицемер и притворщик, он уже не может отличить правды ото лжи. Я просила его, чтобы он наконец принёс камыш, я днями напролёт уходила из дома, чтобы погреться у соседей. Должна сказать, что меня хорошо принимали. А по вечерам пёс лишь яростно на меня лаял и лежал, свернувшись клубком, возле меня на печи.

— Может, ты скажешь наконец, кто этот пёс? — заорал Пимен и направился к ней с дрожащими губами.

— Эта шавка сама должна знать это, — решительно обрубила Гаша его вопрос, отошла в ту сторону, где сидел Фирс, и заговорила, сжав кулаки:

— Он меня бил, знаешь ли, пытался выбить из меня мои жалобы пинками и тумаками, разбил мне руку до крови об печку.

Ты только посмотри, Фирс, она вся почернела. Он хватал меня за плечи, но я не прекращала, я не молчала, и сегодня он наконец-то решил притащить жалкую связку камыша. Я отучила его сидеть со мной рядом на печи, скрестив ноги по-турецки. Пусть только отважится, пусть попробует хоть пальцем меня тронуть! Я знаю, что ты этого не позволишь, Фирс. Ты не допустишь насилия над женщиной, грубого насилия! Я хотела сказать тебе это именно сейчас, в его присутствии, чтобы он не думал, что всё это просто шутка.

С этими словами её голос превратился в судорожные рыдания, в то время как Пимен, вне себя от ярости, с искажённым от злости, бледным лицом и перекошенным ртом, издал лишь какой-то непонятный хрипящий звук, прежде чем беспомощно сглотнуть слюну, которая стекала из уголков рта к подбородку. Фирс поднялся, выпятив грудь колесом перед Пименом, но тот избегал его взглядов. Он пробормотал что-то непонятное, похожее на звук выплюнутого сломанного зуба. Гаша вцепилась сзади за куртку Фирса и скрежетала:

— Ты не посмеешь.

Её защитник потянулся к руке Пимена, сжал её и сказал примирительно:

— Вода уже кипит. Она совсем выкипит, если вы этим не займетесь. Бросьте свою грызню, пока я здесь.

И поскольку он совсем не по-девичьи сжимал руку Пимена, тот вроде бы пришёл в себя, и, желая вернуться в нормальное расположение духа, согласился:

— Я уступлю твоей просьбе, окажу тебе любезность. Я лучше выйду из комнаты, понимаешь, не хочу больше разговаривать с этой клеветницей.

Он тыкал указательным пальцем во все стороны, затем повернулся и нетвёрдой походкой, спотыкаясь, направился к двери и вышел в переднюю, где, скрывшись за стеной от взглядов двух других людей, нервно подёргивая пуговицу рукава, опустился на покрытый циновками пол при свете едва горящей керосиновой лампы и посылал беззвучные проклятия в темноту.

Гаша налила чай в три глиняные чашки, глазурь которых местами слегка поблёскивала в тусклом свете маленькой лампы, которую она зажгла и повесила на стену. В синем стеклянном сосуде ещё колыхался керосин, маленькие язычки пламени

поднимались вверх; Фирс подошел на цыпочках к лампе, как к отчаянному птенцу, и прикрутил её. Женщина воспользовалась этим моментом, чтобы схватить его руку и прижать её к своему телу. Она прошептала ему на ухо:

— Если хочешь, я могу завтра к тебе прийти. Только дай мне знать. Я бы пришла рано утром или после обеда, когда захочешь.

Фирс не дал ни утвердительного ответа на вопрос, которым она настойчиво пытала его подловить, ни кивнул в ответ, а только схватил одну из чашек, исходивший пар которой смешивался с мягким светом.

Внезапно лицо Гаши залилось ярким румянцем, она провела рукой по влажному лбу и, запинаясь, пробормотала:

— Я недостаточно хороша для тебя? Тебе нужна другая? Ты всё время думаешь о ком-то другом.

Она вздохнула и затем громко сказала:

— Но сахара к чаю у нас нет. У Пимена не было денег, чтоб купить сахар.

— Значит, будем пить чай без сахара, — ответил Фирс.

Через какое-то время Гаша позвала и своего супруга, что, мол, чай готов. И поскольку она произнесла это повеселевшим и беззаботным голосом, в котором практически не чувствовалось обиды на Пимена, а горячий чай, с другой стороны, манил его, как аромат женщины, он последовал её приглашению без долгих колебаний. Затем он сказал, что, дескать, удивлен тем, что нет сахара, иначе он не предлагал бы Фирсу выпить несколько чашек. При этом он жадно наполнил рот одним большим глотком и, держа чашку неуклюже и робко перед собой, полез, как в укрытие, за стенку печи.

Какое-то время он с наслаждением потягивал жидкость, в то время как Гаша уселась на сундук прямо перед лицом Фирса, высоко задрав юбку и обнажив ноги. Казалось, её нагота уже привыкла к его бесчувственному взгляду, скользившему по слегка блестящей коже женщины. Вдруг она спросила с почти мучительным любопытством, с которым едва могла совладать, собирается ли Савелий Сверёв этой зимой снова попытать удачу в ловле осетра, как в прошлом году, и не следует ли Дуне, которая, дескать, редко появляется в городе, наконец-то перестать вести себя, как недотрога. Она, мол, прячется за своим целомудрием, ха-ха, как шашель в иконе. Несмотря на спокойное

выражение лица, Фирс не пропустил ни единого слова, от него не ускользнул вызывающий тон её речи, и, растягивая слоги, он пропел в ответ пару слов. Затем он начал рассказывать о Калистрате и Савеле и до неприличия спокойным тоном сказал, что Дуня никогда не притворяется, что, мол, ей это не нужно, она чиста, как родниковая вода. Губы Гаши искривились в ехидной усмешке, на что Фирс непринуждённо, с предельной чёткостью сказал:

— Дуня – не иначе как молодое дерево, она ещё растёт изнутри, она – как капля росы, которую не удержишь в клещах, как своё имущество.

Фирс понизил голос, словно хотел избежать неожиданно возникшего у него возбуждения, а Гаше больше нечего было добавить, и она в конце концов забыла о своём уверенном превосходстве.

Через какое-то время Пимен с беспомощным и просящим видом протянул из-за стены печи пустую чашку, чтобы жена её снова наполнила, и она машинально сделала это с отсутствующим взглядом, внимательно прислушиваясь только к словам Фирса. Ведь он принёс новости, которые, возможно, каким-то образом касались и её самой. Фирс говорил обиняками, соблюдая осторожность, рассказывал, что Аким, брат-близнец Савела, которого мало кто знал в Вилково, вернулся домой, проведя восемь лет в каком-то отдаленном рыбацком поселке, куда его, собственно, занесли прихоть и детское упрямство. Он добавил, что Савел якобы рад этому, да и сам он, дескать, чаще, чем раньше вспоминал об Акиме, и затем, выдержав паузу, пояснил:

— Человек, случайно встретивший его в порту Килии, сказал мне, что его невозможно отличить от Савела, он как его зеркальное отражение. Та же самая походка, те же глаза, но только видели его в другом месте. Теперь он поселится здесь и будет ходить со мной и Савелом на рыбный промысел. Ещё для одного человека место всегда найдется. Устье Дуная широкое. У Савела смышленые мозги, которые хорошо работают, а два Савела способны на большее, чем один. Поэтому даже поделённый на троих улов наверняка будет немалым. Море и рыба не знают, что нас теперь не двое, а трое. Я часто об этом слышал и верю, что трое всегда могут поймать больше, чем двое.

— Разве тебе, как новичку, нужно говорить о том, что ловля рыбы – это лотерея? — прокричал Пимен своим писклявым голосом из-за печи, будто из глубокого колодца. — Я верю только в то, что всё происходит по воле случая, больше ни во что. Один из нас утопает в икре, а другому не попадается даже молодая самка белуги. Я ничему не верю. Всё остальное – это пустая болтовня.

Фирс поднялся с табурета и едва слышно сказал:

— А я верю всему, я ведь для этого здесь.

Застёгивая пуговицы куртки и уже собравшись уходить, он ещё раз окинул комнату рассеянным взглядом и встретился с глазами Гаши, настойчиво и безмолвно умолявшими его помедлить с этим решением. Её откровенный взгляд был прикован к нему, бесстыдно упрашивая его остаться. Фирс покачал головой, будто она требовала от него чего-то невыполнимого, сделал несколько шагов к печи и пожал руку Пимену, от испуга подскочившему в своём укрытии, а потом протянул её Гаше, словно грубую лопату, которая ничего не хотела знать о дружеском рукопожатии. Тело женщины, вздымавшееся от глубоких вздохов, чётко ощущало его показную холодность, поэтому она едва коснулась его пальцев, будто бы могла о них пораниться, и ещё раз попыталась отсрочить его неминуемый уход, сказав, что поможет ему найти сапоги в темноте снаружи. Пимен притворно покашлял, сонным голосом пожелал Фирсу приятного вечера у Калистрата или спокойного сна, смотря как сложатся обстоятельства.

Сапоги стояли в передней у порога, примёрзшие к полу и холодные, как лёд. Фирс потянулся за ними, но прежде, чем успел к ним прикоснуться, тело Гаши звучно опустилось перед ним на глиняный пол, и, демонстрируя жестами свою готовность отдаться ему, она обняла его ноги и притянула их к себе, навалилась на их туловищем, словно хотела их полностью закрыть разгорячённой грудью.

— Перестань! — возразил Фирс, поднял её за плечи и поставил перед собой. Но в следующее мгновение женщина снова бросилась к нему и принялась завязывать ему сапоги выше лодыжек так бережно, что он уже не знал, куда деться от этих безоглядных порывов нежности. Он спокойно стоял, а она всё не унималась, хотя колючие волоски волчьего меха попадали ей в

рот, пока он, не говоря ни слова, осторожно не сделал шаг назад, чтобы освободиться из её объятий.

— Перестань! — снова сказал он, открыл дверь и, наклонив голову вперёд, будто хотел пробить дыру в темноте, изо всех сил зашагал прочь через маленький дворик, а затем к замерзшему каналу, где его наконец-то окружали лишь тишина и покой, полная свобода, наполнявшая его и доставлявшая ему удовольствие.

Ещё недавно бушевавшая снежная буря прошла, будто унесённая сама собой, и, возможно, застряла где-то в море, в его ложбинах и впадинах. Сквозь доски забора пробивались кусты, преграждавшие Фирсу дорогу; они с громким треском ломались под ударами его кулаков, которыми он расчищал себе путь. Вдруг он замедлил шаги, охваченный внезапным сомнением, и вот уже все его мысли были сосредоточены на единственном вопросе: удастся ли ему попасть сегодня в дом старика Калистрата? Возможно, эта затея была бессмысленной, но он вдруг начал бежать, быстро перебирая ногами по подскакивавшим и громыхавшим позади него доскам. Холод, как едкий уксус, смешивался с торопливым дыханием. Долгое время ему никто не встретился по пути, как вдруг перед ним показалась фигура немощного старика, который, видимо, издалека услышал приближающийся грохот его шагов, потому что прежде, чем Фирс добрался до него, уступил ему дорогу, нырнув в ворота и прокричав вслед несколько укоризненных слов. Но Фирс лишь продолжал одержимо мчаться вперёд с быстротой пушечного ядра. Он свернул за угол, и в поле его зрения замаячили кубики каменной ограды и сараи во дворе старика Калистрата, хотя сегодня он не сразу смог с лёгкостью отличить их от соседних рыбацких хижин, так как они были словно окутаны странной тенью. Только сейчас ему стало понятно, что в окошках не горел свет, и от этого все выглядело непривычным и каким-то странным. Во дворе было до неузнаваемости тихо, и лишь цепная собака разрывалась где-то поблизости, будто хотела разорвать темноту на куски своим безудержным лаем. У Фирса воздух застыл в лёгких, и какое-то непонятное ощущение, будто песок, наполнило его тело. Наверняка что-то случилось, ибо Фирс не припоминал, чтобы дом старика Калистрата когда-либо выглядел настолько безжизненным, полностью онемевшим и

оцепеневшим. Некоторое время он нерешительно ходил по двору туда-сюда, затем побежал к входной двери, постучал пару раз, прислушался, нет ли признаков движения внутри, снова постучал, потом начал барабанить в окно. Однако никто не проснулся и не зашевелился. И с чего это он вдруг так переполошился? Просто хозяев сейчас не было дома. Не нужно было так долго рассиживаться у Пимена и Гаши. Казалось маловероятным, но, возможно, люди пошли к друзьям или хорошим знакомым. А его, безбожно профукавшего сегодня свое счастье у Пимена, в гости никто не ждал. Он почувствовал какую-то тяжесть в плечах, которая распространялась по телу, и, больше ничего не разглядывая, пошёл прочь: снова по льду, по залежавшемуся, затвердевшему снегу, через центр городка и мимо церкви, купола которой непривычно высоко вздымались в небо; наконец, он приблизился к дому, где была его комнатка с койкой, которую ему сдавала татарка Мара.

Однако, когда он находился ещё в ста шагах от этой низкой каменной постройки, которая должна была сейчас приютить его вместе с его разочарованием, из привычной для этих мест тишины вдруг раздался голос, и в следующее мгновение появилась шатающаяся женщина. Её будто что-то подгоняло навстречу Фирсу, потому что, несмотря на мороз, она была босиком, очень легко одета, а выбившаяся прядь волос свисала, прикрывая левую половину лица.

— Не нужно так беспокоиться, — прокричала она ему, и это прозвучало так, будто она повысила спрятавшийся глубоко в горле голос, чтобы предупредить его. — Обычно ты не такой, — продолжала она, прежде чем он смог что-то возразить в ответ. — Ты её не нашёл, я знаю.

— О чём это ты говоришь? — грубо спросил Фирс, продолжая стоять перед женщиной, которая вдруг нежно провела рукой по его подбородку, а её шероховатое округлое лицо смотрело на него с неподвижной улыбкой.

— Бедный Фирс, — сказала она и вдруг разразилась громким хохотом, очень похожим на звериный рёв. Затем она прищурила глаза, как в судорожном припадке, и, сделав усилие, развела руками, словно ей было сложно чётко выражаться. Медленно, с трудом соединяя отдельные слова, она сказала:

— Их не было дома, потому что он вернулся. Он здесь.

— Кого ты имеешь в виду, Мара? — спросил Фирс; при этом его прежде отвёрнутая в сторону голова склонилась над ней.

— Брат вернулся, — пояснила она, — брат Дуни, брат Савела.

Фирс кивнул в знак согласия, потому что теперь его озарило; он понял, почему дом старика Калистрата показался ему таким безжизненным.

— Откуда ты это знаешь? — осмелился он спросить, ещё погружённый в свои размышления. Мара молчала, будто слова беззвучно пролетели мимо неё, пока он был занят своими смутными, почти мучительными мыслями. Наконец он повторил свой вопрос, и, явно уклоняясь от ответа, она сказала:

— Я это знала. Не могла уснуть. Мне всё говорило о том, что ты придёшь сюда с совсем иными ожиданиями.

Вдруг Фирс пристально посмотрел ей в глаза, подобные выжженным впадинам, и его губы издали короткий язвительный звук, прежде чем он нанёс ответный удар, небрежно заметив:

— Вечно тебе что-то кажется. Ты – как собака, почуявшая след. Завтра посмотрим, не подвело ли тебя твоё чутье.

Сказав это, Фирс одним движением повернулся к Маре спиной и бросился бежать, так и оставив женщину стоять там, посылая ему вслед непонятные фразы. Казалось, что-то необычайно взбудоражило и омрачило её странную натуру. Когда он пинком открыл деревянную дверь своей каморки, в нос ему ударил запах рапсового масла. Но он не обратил на него внимания, продолжая думать о брате-близнеце Савела, и уже почти не слышал голос Мары снаружи, которая снова разговаривала сама с собой, болтая что-то невразумительное. Он разделся и, разогревшийся от бега и ещё не остывший, голышом залез под овчинный тулуп, покрывавший его ложе, как маленький холмистый лес.

Когда следующим утром солнечные лучи уже пробивались в окно его каморки, Фирс не сразу смог стряхнуть с себя сон, а ещё некоторое время неподвижно лежал, вновь и вновь закрывая с трудом открывавшиеся веки. Он ощущал какой-то странный запах над головой и раскрытой грудью, чьё-то дыхание, веявшее на него, пахнувшее деревом и болотной землей. Сквозь незаметно приоткрытые щёлки век он узнал Мару, низко склонившуюся над ним и словно пытавшуюся рассмотреть каждую чёрточку, каждую ямку на его лице. Казалось, что её немолодое рябое и обветренное лицо, которое скорее выдавало женщину лет пятидесяти и больше, застыло в каком-то неопределённом возрасте. Её шершавая смуглая кожа свисала сухими, дряблыми складками над выдающимися челюстями. Заметила ли она, что он уже проснулся? Она ещё раз искоса взглянула на его расслабленные виски, искривила рот в улыбке и пару раз кивнула, будто уверившись в чём-то. Затем она на цыпочках беззвучно выскользнула; её костлявое тело с неуклюже торчавшими плечами, спрятавшееся под старым разодранным шерстяным халатом, двигалось почти бесшумно. Как только она вышла из комнаты, Фирс вскочил с кровати, побежал полуголый во двор и стал умываться снегом, который скрипел и хрустел на его волосатой груди.

Мара приготовила ему чай; Фирс жевал размокший хлебный мякиш и, будто сладкий сок, потягивал чай длинными глотками. Женщина молча сидела перед ним на корточках и, наконец, отрешенно сказала:

— Ты сегодня кое-кого встретишь.

— Кого? — вырвалось у Фирса; он был настолько преисполнен ожиданием, что вопрос прозвучал почти как крик. — Кого?

— Псс, — прошептала Мара и приложила свой корявый палец к губам, — не так бурно. Ты и так узнаёшь об этом раньше времени. Ты встретишь брата, Акима.

Фирс думал, что речь идёт о Дуне. Он сделал пренебрежительный выдох.

— Ты всегда знаешь только о второстепенных вещах, — угрюмо пробормотал он с негодованием, схватил шапку и смял её в руках. — А больше тебе ничего не приходит в голову? —

засмеялся он укоризненно.

— Нет, — ответила невозмутимая женщина, то ли равнодушно, то ли неопределенно пожимая плечами, в то время как он медленно открыл дверь и вышел на лютый мороз.

Сеть каналов, избороздивших городок во всех направлениях, едва можно было различить под мягкими волнистыми сугробами, лежавшими повсюду. Лишь кое-где были почищены кладки, которые выделялись на белоснежном фоне, словно нарисованные чернилами чёрточки. Небо озарилось ярким светом, сквозь который пробивались приглушенные лучи солнца. Фирс шёл бесцельно, не зная, куда придет, потому что в зимние месяцы в рыбацком городке мало что происходило. Заняться ему было нечем, он мог спокойно слоняться без дела, будто все запасы икры на складах вдоль большого канала принадлежали ему. Уже несколько месяцев у него был выбор между тем, чтобы предаться безделью либо же удариться в пьянство, он мог не сожалеть о том, что где-то промедлил или состорожничал, потому что время не стоило ни гроша. Однако в нём уже скопилось столько бодрости и нерастраченной энергии, что ноги сами несли его вперёд против его воли. Вскоре он добрался до главной улицы Вилково, где сквозь заметённые снегом двери и покрытые ледяными узорами окна виднелись затхлые, заставленные пыльными товарами и бутылками помещения магазинчиков и трактиров. За одной из витрин красовались огромные буханки пшеничного хлеба с золотистой корочкой – богатство в холодное и голодное время, а перед ветхой торговой лавкой на специально уложенных стопкой новых кирпичах стояла гора коричневых глиняных кувшинов с широким горлышком и столик, усыпанный водяными орехами и солёными тыквенными семечками. Только кто сейчас думал о покупках?

Нигде не было слышно звука открывающихся дверей, и на всём пути Фирс не встретил ни одной живой души, пока не добрался до наиболее оживленного перекрёстка в центре городка, где увидел Тудосе – тощего молодого румына, единственного охранника порядка и караульного в округе, который словно поджидал его в своей выцветшей шинели, поскольку других развлечений у него не было. Он держал под мышкой резиновую дубинку, руки засунул в карманы и время от времени поднимал к туловищу ноги, обутые в мягкие сапоги,

будто что-то обжигало ему подошвы. Наклонив голову, он беспрестанно ходил взад и вперёд по кругу, уже утоптав в этом месте снег до гладкости. Он ещё издалека поприветствовал Фирса с присущей ему простодушной доверчивостью, не догадываясь, что ловец осетра лишь иногда терпел его присутствие, потому что презирал и его самого, и его странную профессию. Что он за человек, который стоит на этом перекрестке зимой и летом, будто неотъемлемый атрибут, такой же, как три или четыре керосиновых фонаря в городке? Что это за непонятное существо, которое отвешивает поклоны старым батюшкам и диаконам, в то время как рыбаки тонут в зияющей бездне Очаковского гирла, схватившись примёрзшими руками за просмоленные тросы, в крючки которых вцепились огромные белуги? Нет, подобных Тудосе не было. Он был прихотью бургомистра, его уловкой, и служил украшением городка так же, как и недавно выкрашенный причал для пароходов, ходивших по Дунаю.

По-видимому, Тудосе был благодарен судьбе за появление рыбака; он взял дубинку в руки и с показным видом принялся размахивать ею так энергично, насколько мог. Фирс мысленно плевался, потому что от этого у него звенело в голове, и уже собрался уходить той дорогой, которой пришёл, чтобы не разговаривать с Тудосе. Однако тот крикнул ему навстречу:

— Ты самый активный человек в округе, Фирс, и первый человек, который сегодня добрался до меня. Я только видел, как вдалеке проскользнул аптекарь Наум. Он и сегодня добросовестно наведался к своим вонючим флаконам и мазям, которые ни одна душа не покупает.

— Какое мне до него дело? — вспыльчиво возразил Фирс в лицо опешившему Тудосе, который, пытаясь удержать его хоть чем-нибудь, стоящим внимания, резко сменил тактику. Из его горла словно раздался второй голос, когда он, защищаясь, сказал:

— Ты можешь браниться, Фирс, сколько тебе заблагорассудится, но я буду рассказывать каждому, кто готов слушать, что аптекарь – хороший человек, он прямо-таки благодетель. Однажды он делал мне надрез на гноившемся большом пальце, а я даже ничего не почувствовал. Он обращался с моим опухшим пальцем так бережно, словно с новорожденным птенцом. У меня рука покраснела бы до плеча, если бы он мне не

помог. Я не позволю говорить о нем плохо.

— Ты бредишь, — сказал Фирс, — говоришь так, будто я его оклеветал. У меня этого даже и в мыслях не было. Мне нет дела до аптекаря, а всё остальное ты можешь спокойно оставить при себе.

Сказав это, он так неожиданно резко повернулся, что уже в следующее мгновение растерянный Тудосе смотрел выпученными глазами на его мощный затылок и спину, пытаясь задержать поспешно удалявшегося Фирса нерешительным жестом руки.

— Слушай, Фирс, — чуть не умолял он, — побудь ещё со мной, я же тебе ничего не сделал. Я бы мог поделиться с тобой разными секретами. Гаша меня постоянно спрашивает, не проходил ли ты мимо. Не хочешь узнать, что тебе передавала Гаша?

Но Фирс совершенно его не слушал. Он сделал резкий выдох, и, словно освободившись от тисков, повернул голову вправо, туда, где через множество изогнувшихся над каналами мостиков улица вела к реке, напряженно посмотрел в одну точку, замедлил шаг, больше ни разу не взглянув на Тудосе. Он растопырил ноги, провёл тыльной стороной ладони по глазам и несколько раз моргнул от удивления.

Из обоих направлений к нему медленно приближалась одна фигура, в каждой из которых он, как ему казалось, узнал Савела. Это не мог быть никто иной, кроме его друга: тут и там одинаковые руки, которые, словно вёсла лодки, свисали вдоль чуть наклонившегося вперёд туловища, та же походка, то же лицо. Фирс ударил себя по щеке, чтобы убедиться, что не спит. Почему зрение его так сильно подводило сегодня? Больше не было сомнений, что с одной стороны к нему приближался Савел, а с противоположной стороны ему навстречу шагал тот же самый Савел. Фирс не ошибся, но всё-таки ничего не мог понять, хотя друг и его точная копия уже близко подошли к нему. Тудосе, от которого Фирс отошёл уже на приличное расстояние, наблюдал, по-видимому, ту же самую картину. Он был настолько изумлён, что не верил своим глазам, следившим за происходящим со свойственной караульному внимательностью, держал в оцепенении протянутую руку с дубинкой перед собой, пытаясь справиться с замешательством, затем собрался с духом и крикнул

сдавленным детским голосом в одну и в другую сторону:

— Савелий, Савелий.

Одна из двух фигур подняла руку и помахала.

— Савелий, Савелий, — продолжал кричать Тудосе, будто хотел получить чёткое разъяснение, чтобы разобраться в этой путанице.

И снова один из Савелов подал знак в ответ, в то время как другой, который подошёл уже гораздо ближе, спешил навстречу все ещё пребывавшему в полном недоумении Фирсу.

— Савел, — сказал он с затаённым беспокойством, которое никогда раньше не охватывало его, — ты пошил себе новую куртку?

При этом он посмотрел на махавшего человека, который тоже уже находился достаточно близко. Он почувствовал, как кто-то пожал его грубую руку.

— Разве ты не узнаёшь меня? — спросил голос, не принадлежавший Савелу.

Фирс вопросительно поднял рыжие брови.

— Это я, Аким, — сказал брат-близнец его друга.

Ошеломлённый Фирс радостно вздохнул и громко рассмеялся с чувством облегчения, в то время как Савел уже добрался до него и пожимал его левую руку.

— Ох, — воскликнул Фирс, не в силах найти подходящих слов. — Ох, — снова повторил он.

Тудосе, видимо, тоже воспрянул духом, потому что приблизился к группе на несколько шагов и, смущённо улыбаясь, крикнул:

— Кто это, Фирс?

— Это Аким, — прозвучал в морозном воздухе ответ Савела, — Аким, мой брат.

После этих слов Тудосе с безрассудным весельем хлопнул по коленям обеими свободными руками, потому что резиновая дубинка ещё раньше от волнения выскользнула из его пальцев. Потом он робко подошёл ближе, пожелал Акиму приятного пребывания в Вилково и сразу же принялся рассказывать ему во всех подробностях о своей профессии. Он мог бы и дальше пространно описывать свои обязанности, если бы Фирс не прервал его:

— Ну, будет тебе уже, Тудосе, ты прям как генерал, но сегодня

нам ещё много чего нужно обсудить с Акимом. Он вернулся не только ради тебя. В следующий раз ты сможешь рассказать ему обо всём, что у тебя накопилось в душе, какие чудеса творит аптекарь, и сколько детей окрестили в этом году священнослужители.

Тудосе посмотрел в лицо Фирсу укоризненно и обиженно и многозначительно кивнул.

— Ступайте, — промямлил он, — Аким выслушает меня завтра, я уже понял, что он приятный человек. Он раньше жил в Килии, а там знают, как подобает себя вести. Там просто так не будут смеяться над человеком, который исполняет свой долг.

Тут Савел одобрительно потрепал его по плечу и одновременно сказал Акиму:

— Мы все любим нашего Тудосе. Он слишком порядочный для караульного. Его предшественник воровал. Люди, знаешь ли, ужасно его боялись. Они не раз застигали его с краденым во дворах, курятниках, а когда приходила осень, у груд собранной айвы и в рыбных коптильнях; тогда ему повыбивали все зубы. Тудосе этого не делает. Мы им довольны.

В этом весёлом настроении они попрощались с охранником порядка и пошли вместе в направлении большого канала: не проронивший почти ни слова Фирс, шедший между двух братьев, Аким, не намного разговорчивее, чем он, и Савел, рассказывавший всякие новости, о которых, по сути, гораздо лучше мог поведать его брат. Аким растерянно смотрел перед собой, будто всё время пытаясь найти что-то знакомое и привычное; его губы растянулись в печальной улыбке, и даже если он замечал что-либо новое – дом или избу, которых здесь не было, когда он много лет назад уехал в Килию, он не удостаивал их ни единым замечанием или словом. Только Савел мимоходом рассказывал о всякой всячине: что якобы Калин за два дня поймал пять огромных белуг и на выручку от икры построил себе новый дом, что Данила заболел проказой и был убит своим сыном Аверьяном, потому что с его головы уже клочьями свисала гнилая плоть, но он всё же не хотел покидать свою лачугу, а склочник Илларион, беспросветный пьяница, пропил всё до копейки, потому что его жена, Любочка, его не любила, и это отравляло ему душу, ха-ха-ха. Но Аким лишь медленно поднимал опухшие от бессонной ночи глаза на брата; Фирсу, который был

на шаг впереди, было хорошо видно, что Аким не смеялся.

— У тебя в Килии осталась женщина? — спросил его Савел скорее из любопытства, а не из-за того, что соскучился по брату после его долгого отсутствия.

— Нет, — возразил Аким и больше ничего не сказал.

Лишь через какое-то время он невнятно добавил:

— В Килии женщины в этом вопросе не очень щепетильны. Можно походить к одной, потом к другой. Хорошие женщины, слишком многого не требуют. Они зовут к себе, когда им надоедают их рыбаки или если им просто нужен мужчина. Об этом никто не судачит, будто все между собой договорились. Они будто закрывают на всё глаза и затыкают уши; их это устраивает, вот они и живут друг с другом вперемешку, как карпы. Но однажды ты начинаешь понимать, что сыт этим по горло.

Казалось, что мысли Савела витали где-то вдалеке, когда он тихо и серьезно сказал в ответ:

— Я тоже хочу разок побывать в Килии.

Под весом трех мужчин мостики и кладки качались и скрипели. От церкви доносился слабый звон колоколов, который разлетался над их головами. Никто не знал, чего хотели добиться священнослужители этим скудным звоном, да никого это и не волновало. Стаи ворон и воробьев усыпали заборы и дворы, словно постоянно движущиеся черные и серые точки. Спутники приблизились к широкому каналу, через который дугой перекинулся балочный мост. Примёрзшие лодки, как клинья, врезались с обоих берегов в лёд, с которого буря смела весь снег, и эта застывшая ледяная гладь захватила все вокруг. По льду были раскиданы кучи мусора и золы, солома и рыбные кишки. Перед складами в один ряд выстроились паровой катер и старая буксирная баржа; лишь изредка то тут, то там появлялись люди: закутавшиеся женщины или какой-нибудь рыбак, перекинувший свою добычу, молодого сома, через плечо, как кусок мокрого меха. Из двери деревянного барака, в полумраке которого несколько человек, закатив рукава, рылись в огромных чанах и временами горланили осевшими голосами народные песни, доносился едкий, отравляющий запах. Там промывали почти уже протухшие головы белуг, снова окунали их в рассол и закладывали в новые бочки. Савел начать бранить торговцев за

жадность, а Аким спросил, откуда берется эта вонь, и Фирс незамысловатыми фразами пояснил ему процесс, благодаря которому надувают и обманывают мелких торговцев и селян. Это была самая простая вещь в мире, для понимания и объяснения которой особой хитрости не требовалось. Фирс гневно сплюнул. Он знал то, что знали все, а остальное его не касалось. Очень редко он задумывался над тем, куда отправлялась заполненная в банки икра, которую корабли громадными партиями отвозили в удаленные порты страны. Икра здесь была наподобие золота, к которому никто не прикасался, но оплачивал им своё существование, если обстоятельства складывались удачным образом.

Неожиданно Аким разговорился. Он рассказывал, что бывал даже в Измаиле и других крупных городах по верхнему рукаву Дуная. По его словам, тамошние люди не принимают смиренно свою нищету, а пытаются найти выход. Там разбивают лед на реке и ловят рыбу крючками с наживкой, если позволяет зимняя погода. А вилковчане слишком ленивые и просыпаются, только если речь идет о выпивке, чае и распутстве. Он, дескать, вчера уже разного насмотрелся.

Внезапно вены на его висках под каракулевой шапкой вздулись и налились кровью. Он с трудом выдавил из себя какие-то непонятные звуки. Но потом он, видимо, отогнал тяготившие его мысли, замедлил шаг и сказал:

— Не попробовать ли нам прямо завтра пробить ледяную корку кирками и мотыгами в каком-нибудь безопасном месте? Конечно, нам придется каждый день заново делать прорубь и проверять снасти. Но всё равно больше нечем заняться. Лучше иметь хоть что-то, чем совсем ничего.

Савел согласился с ним, и Фирс также одобрил все те решения, которые братья быстро приняли, не упуская из виду детали. Они условились испробовать эту затею уже завтра утром. Вдохновленные предприимчивыми идеями и рискованными планами, они вскоре вышли из города и добрались до покрытого льдом русла реки, которое широко раскинулось между невысокими берегами. Казалось, что тела друзей осунулись и стали меньше под тяжестью низко нависшего горизонта, который тонкой, прерывистой чертой обрамляли ветви деревьев. Ветер дул в сторону моря, скользя по их опущенным затылкам.

Немного спустя Савел снова заговорил о женщинах, которые встречались ему в последнее время и были легко доступны, однако его слова будто отскакивали от лица его брата и разлетались вдребезги. Временами лицо Акима напоминало каменную стену, которая отгораживала от всего, что происходило за её пределами. Сейчас уже и Фирс заметил разницу в характере обоих своих спутников. По сравнению с Акимом Савел казался ему раскованным и совершенно беззаботным, как птица, поющая целый день напролет. Несмотря на внешнее сходство, настолько разительное, что Фирс даже сейчас мог бы их перепутать, каждая сказанная Акимом фраза, смысл каждого его взгляда свидетельствовали о том, что он был полной противоположностью своему брату. Этот вернувшийся вчера из Килии человек пока что оставался для Фирса незнакомцем. Звук его низкого голоса с ломкими хриплыми нотками, его манера говорить, странно растягивая звуки или повторяя слова, также подтверждали это, и Фирс слушал, ничего не пропуская. Более того, голос Акима назойливо проникал в его уши подобно громким стукам, от которых пытаешься отгородиться, но они полностью поглощают внимание, заставляя прислушиваться к ним вновь и вновь. Разумеется, Аким чувствовал себя не в своей тарелке, он был как чужеродное тело, проникшее в устоявшееся однообразие Вилково. Но он не казался ни тугодумом, ни бездельником и, без сомнения, мог бы работать гораздо лучше некоторых хвастунов, хотя и не выглядел здоровяком и крепышом. Какое-то время они опять шли молча, затем Аким предложил проверить состояние рыбных крючков ещё сегодня. Они, мол, должны быть острыми, как зубы акулы, иначе ничего не получится, и все усилия будут напрасными. Фирс вызвался помочь ему, сказав, что они могли бы заняться этим вместе сегодня после обеда, потому что дельфиньего жира для смазывания снастей у них достаточно, он, мол, сам сварил целый чугунок, который стоит нетронутый у Савела, а об остальном, дескать, и говорить не стоит. За разговором они не следили за дорогой и уже далеко отошли от городка. А что ещё делать, как не шагать вперёд, свободно размахивая руками? Для разнообразия Савел начал бить себя кулаками в грудь, которая издавала пустой звук, и мечтал при этом о горячей рыбной юшке.

Сделав большой крюк, они, наконец, направились к городу, дошли до неширокой дороги, на которой были видны следы от саней, ведущих вдоль одного берега, со стороны Килии. Из-под снега, лежавшего везде, куда ни глянь, изредка торчали стебли кукурузы, а покрытые бугорками ивы размахивали своими голыми ветвями на фоне серого неба. Кроме упрямо скрипевшего под сапогами спутников снега больше не было слышно ни звука; казалось, что даже вороны сговорились не нарушать тишину своими криками. Фирс не припоминал, чтобы Савел когда-либо был таким немногословным, но он был далёк от того, чтобы придавать этому какое-то серьёзное значение. Его кожа, спрятавшаяся глубоко под курткой, источала тепло; он и сам был источником этого тепла.

— Сколько лет Дуне? — неожиданно прервал молчание Аким, и в его голосе слышалась неуверенность. Оба его спутника ожидали чего угодно, но только не такого вопроса. Должно быть, поэтому они не сразу нашлись, что ответить. Поразмыслив секунду, Аким сам ответил на свой вопрос:

— Девятнадцать лет.

Фирс утвердительно кивнул, и он продолжил, медленно произнося слова:

— Когда я уехал, ей было одиннадцать, совсем ребёнок. Она не очень-то изменилась. Даже не знаю, узнал бы я её сразу, если бы она не бросилась мне навстречу, полагая, что я Савел. Или в её голосе есть что-то от матери?

Его запинающийся вопрос прозвучал так, будто ответа на него не требовалось, и он продолжал говорить один:

— Голос матери? Нет, он был другим, я это помню. Лицо у Дуни тоже другое, и фигура и неё другая. У неё более узкие бедра. Бог его знает, она и на нас с братом не похожа. Скорее на сербку или румынку.

Фирс ничего не сказал на это, лишь удивился тому, что Аким считал, будто Дуня похожа на уроженку других мест.

— Я об этом никогда не думал, — вмешался Савел, — но я не знаю, что бы делал без неё отец. Она работает не хуже мужика, и ей нельзя повторять что-либо несколько раз, иначе подумает, что это упрёк. Должно быть, она права, потому что она стоит большего, чем многие другие.

После слов Савела все затихли. Лишь какое-то время спустя

Аким сказал:

— Дуня покладистая. Я забыл, что вы знаете её лучше меня. Что я могу о ней сказать? Она кроткая, как ягнёнок.

Постепенно в поле их зрения начали появляться крыши и заборы Вилково. Из-за снежных сугробов удивлённо выглядывали мужчины и женщины, тайком рассматривая Акима, как достопримечательность, затем приветствовали его неуверенными голосами, услышав, что он вернулся домой после долгого отсутствия. Они напоминали пещерных животных, не привыкших к свету дня, а Аким не был похож на человека, который бы мог расшевелить их какой-либо шуткой или улучшить им настроение. Затем Фирс попрощался с братьями, которые должны были вовремя поспеть домой к обеду.

По дороге шагал батюшка, грузный и неуклюжий, как большинство мужчин в городке, голенища его сапог грубо топорщились, а в своей шубе он выглядел, как нелепо переодетый рыбак; он издалека перекрестился, когда заметил обоих братьев. Он не мог поверить своим глазам и размышлял: неужели самогон, который обычно течет по языку, как сладкая вода, был настолько крепок сегодня? И тут вдруг его осенило. Он хлопнул себя рукой по меховой шапке и разразился раскатистым смехом, потом закашлялся так, что казалось, будто одновременно залаяли несколько собак. Он же всего час назад слышал о возвращении второго сына Калистрата Сверёва. Только вот он не мог вспомнить, сказала ему об этом Гаша или Тудосе, который всегда делился всеми интересными новостями. Он бы охотно поболтал с братьями, разыгрывая, как обычно, святошу, но прежде, чем он подошёл ближе, они уже свернули на боковую дорогу, а ему отнюдь не подобало плестись за ними следом.

Савел и Аким зашли во двор и в небольшой дом, где они жили в двух комнатах с отцом и сестрой. В задней комнатке спали отец и сын, а переднее, более узкое помещение уже много лет служило комнатой для Дуни. Со вчерашнего дня возле спального места Савела соорудили постель для Акима. Места было относительно немного, но того, что было, должно было хватать. Здесь никому не приходило в голову притязать на земли, находившиеся за пределами намывных грунтов дельты.

Аким бросил куртку в углу передней, пока брат снаружи разговаривал с собакой, рассказывая ей о погоде и птицах, будто беседовал с себе подобным. Аким буркнул несколько слов в знак приветствия, на которое они сразу же ответили, прежде чем накинуться на него с кучей всевозможных вопросов. Голоса звучали тепло и искренне, а их встречавшиеся взгляды светились добротой. Нравится ли ему ещё в Вилково? Что он видел? Кого он встретил? Что говорили ему люди? Аким заставил их немного подождать с ответом, пока снимал с себя промокшую обувь, с которой капала вода, но улыбался, как мог. Его голова вспотела под шапкой, каштановые волосы смялись и прилипли; из-под низкого выпуклого лба и широких бровей устало смотрели потухшие глаза. Жиденькие усы, росшие на верхней губе, покрылись ледяной коркой. Он скрестил руки на груди и уселся на низкую лавку, стоявшую возле печи. Он скупо ответил, что был с Фирсом и Савелом, смотря на несколько жестяных котелков с клокочущей массой, от которой клубами поднимался пар. Старик Калистрат перебирал пальцами седую бороду в ожидании услышать больше информации, а Дуня, повернув к Акиму напряженное лицо, жадно ловила каждое его слово, будто вожделенную добычу. Фигура девушки склонилась над ним, но он молчал и смотрел на неё. На ней были черные шерстяные колготки крупной вязки, войлочная юбка, в которую была заправлена свободная синяя блузка с цветочным рисунком, а из-под косынки, которая сползла с головы и обтянула плавные линии висков, выбивались черные кудряшки. На её пухлых губах появилась горькая, понимающая улыбка. Аким также это заметил и только тогда, медленно соединяя слова, заговорил:

— Ну, у нас ещё много времени, вы обо всем узнаете. Времени у нас будет даже с избытком до того, пока вновь можно будет

начать нормально рыбачить. Что же мне вам сначала рассказать? Я кое-что узнал, а Фирс кажется мне умелым рыбаком. Он знает толк в деле и серьезно к нему относится.

Тем временем Савел тоже снял свою телогрейку и начал забавно описывать встречу с Фирсом и Тудосе на перекрестке.

— Фирс не был удивлен, что он вчера не застал у нас дома ни души? — вдруг прервала его Дуня.

— Нет, — ответил вскользь Савел, — он не упоминал об этом ни слова.

И тут же продолжил рассказывать, как у Тудосе от испуга выпала из рук дубинка, в то время как Аким лишь изредка разбавлял его монолог, вставляя незначительные комментарии. После того, как они побеседовали об этом какое-то время, Савел завел разговор о новом предложении Акима. Старик Калистрат отнесся к плану сыновей с сомнением: его, мол, сложно осуществить, потому что весь Килийский рукав в окрестностях Вилково покрыт огромной толщей льда, а на таком жутком морозе лунки быстро вновь покроются льдом, и постоянно придется делать двойную работу. Но они, дескать, могли бы попробовать, вокруг Тутракана и Силистры румынские рыбаки так делают всю зиму. Савел начал поднимать крышки котелков, в которых готовился обед.

— Мы голодны, мы прошли немалый путь, — объяснил он свое любопытство. — Не так ли, Аким?

— Да, — ответил тот и взглянул при этом на свои пустые ладони. — Фирс скоро будет здесь. Он обещал прийти. Мы хотели проверить состояние рыбных крючков и подготовить все остальное на завтра.

— Фирс! — воскликнула Дуня громко и в то же время с рассеянным и отрешенным взглядом, перекатывая, как колесо, круглый столик на низких ножках в центр комнаты.

— Ты что-то сказала, сестра? — неожиданно бросил ей Аким резко и порывисто, как ножом отрезал. Дуня откинула голову назад, потому что её поразил его необычный тон. Но она ничего не ответила, лишь замерла на мгновение, а затем принесла глиняные миски, кружки и деревянные ложки.

Они сели вокруг стола, Аким и Дуня на лавку, которую они подтянули ближе, старик Калистрат на неотесанное буковое полено, а Савел устроился рядом с ним на полу, став на колени,

что ему, видимо, не доставляло особых неудобств. Старик ещё раз поднялся, перекрестился три раза, посмотрел на образ Богородицы в позолоченной рамке, который виднелся в самом темном углу комнаты, освещенном скудным светом масляной лампы, что-то пробормотал, в то время как Савел и Дуня тоже потянулись к хлебу и осенили его крестным знамением, а Аким потирал покрасневшие шероховатые пальцы, из-за чего раздавался звук, похожий на скрипение песка под ногами. Тихо хлебая в унисон, они черпали ложками рыбную юшку, а белый хлеб, который купили только по случаю возвращения брата, чтобы, по крайней мере, в первый день угостить его чем-то праздничным, лежал перед ними, поломанный на куски длиной с аршин. На фоне деревянного стола рыхлый хлебный мякиш казался неестественно белым. Они макали его в густую коричневую луковую подливку и клали вместе с фасолью в рот, усердно и сосредоточенно жевали и пережевывали, наслаждаясь сладковато-пряным мучнистым вкусом. Когда миска Савела опустела, он похвалил еду. Это, мол, настоящая вкуснятина, лучше ягнёнка! Поднявшись из-за стола, старик Калистрат с одухотворенным видом ещё раз обратил свое изборождённое морщинами лицо к образу Богородицы в позолоте, снова пробормотал себе под нос несколько слов, вздохнул, и на этом ужин был закончен.

Старик, кряхтя, улёгся за печь, где у него было место для сна. Савел собрался уйти из дома и отправиться в трактир, где, как он с важным видом уверял, он намеревался заключить грандиозную сделку с церковным певчим Аверьяном. В конце концов, он незаметно, как вор, улизнул, хотя брата мало заботили его планы. Аким был занят другим. Они с сестрой вытащили из ящика рыбные крючки. На вид тросы были непригодными, их несомненно нужно было заново просмолить. Аким долго их крутил и вертел, не давая Дуне себя уговорить бросить эту затею. Отчего она казалась грустной? Оттого, что им сегодня ещё предстояло здесь повозиться? Или, может, лишь мимолетная печаль по непостижимой причине омрачала это юное создание, в котором обычно жизнь била ключом? Что-то необъяснимое сковывало все её чувства и возможно даже пугало её. Дуня все ждала от брата лишь одного слова, сказанного веселым и беззаботным голосом, знака, который положил бы конец

ковырянию в этом старом хламе. Но ничто не нарушало гнетущую тишину. Лишь робкий звон металлических крючков раздавался время от времени, будто разговаривая сам с собой. Наконец, перестав перебирать пальцами снасти и укоризненно уставившись на Акима, Дуня сказала:

— У тебя лицо Савела. У тебя походка Савела. И все же ты для меня, словно чужой.

Но брат, не отрываясь от своего занятия, только посмотрел через маленькое окно на синеватые тени громоздившихся повсюду сугробов. Он приглушенно кашлянул, а впадины висков при этом побледнели; ему нечего было возразить.

Когда Фирс неожиданно появился в двери, и, словно подвижная ледяная глыба, впустил в дом все сильнее лютовавший на улице холод, ему ударил в нос прогорклый запах плавившегося на печи дельфиньего жира. Исходивший пар окутал комнаты пушистой дымкой, в которой словно утопали фигуры Дуни и Акима.

— Ага, дельфин, — прогремел голос Фирса, прежде чем он на пару шагов приблизился к Дуне и её брату, потому что едкий запах сразу же наполнил нос, словно омерзительная навозная жижа, от запаха которой можно задохнуться.

— Это наш ладан, — добавил он и протянул обоим побагровевшие от холода руки. Сквозь завесу пара он заметил взгляд Дуни, такой близкий и полный сдержанной настойчивости, словно пытавшийся заглянуть ему в душу, в то время как нечеткие очертания Акима сливались с тенями в глубине комнаты.

Странный человек был этот Фирс, чуть ли не с восторгом проверявший и рассматривавший все связанные узлами, перетершиеся тросы и крючки; он очень быстро договорился с братом и сестрой, как распределить работу, потому что почти все намеревался делать сам, все его действия были спокойными и четкими, он брался за дело, долго не раздумывая, и при этом не упускал из виду ни одной мелочи, даже если она была несущественной. Откуда только в этом здоровяке бралось столько энергии, что помимо отведенных ему заданий он в мгновение ока успевал сделать работу и за Дуню. Даже Аким, который, как казалось его сестре, был не в лучшем расположении духа, как того требовали обстоятельства, и почему-то все время

прерывал Фирса, если тот начинал подробно рассказывать девушке о происходящем в городке, по достоинству оценил его ловкость и сноровку, хотя и не сказал ни слова похвалы. Потому что не успели все трое опомниться, как починка снастей уже была успешно завершена, тросы заново просмолены и, покрытые черным глянцем, натянуты от одной стены к другой. Они тихонько обменивались словами, пролетавшими сквозь завесу пара, так как нельзя было разбудить старика Калистрата. Иногда Акиму было слышно не все, что Фирс говорил его сестре, иногда Дуня шептала слова так тихо, что, наверное, только она сама их слышала. Или все-таки Фирс мог их разобрать? Боже мой, он произнес короткую фразу, похожую на ответ, затем более разборчиво сказал что-то касательно кипящего дельфиньего жира Акиму, который снял котелок с печи и поставил его на пол. Вероятно, Аким и Дуня переоценили объем работы. Не было никаких причин так об этом беспокоиться, они управились без особого труда.

Все помещение наполнилось горячим, как в бане, паром. Девушка открыла дверь во двор, и ворвавшийся через порог морозный воздух закружился с поднимавшимися клубами пара в диком танце. Аким выругался, продолжая, однако, мешать палкой варево в котелке, пока Фирс по очереди шлифовал острие крючков, проверяя качество заточки на толстой коже ладони. Если шла кровь, значит, все сделано правильно. Он просто вытирал руки об штаны, проводя ладонью от бедра к колену. Главное, чтобы завтра на эти крючки попались осетра, а на остальное ему наплевать. Фирс мысленно представлял безобидное серебристо-белое тело рыбы, в которое коварно вцепится острый крючок. При этом его взгляд остановился на белоснежной шее Дуни, выделявшейся на фоне темной блузки, словно вспыхнувший в тумане луч света. Через некоторое время Аким снова закрыл дверь, подпалил от огня в печи сухую ветку и зажег ею керосиновую лампу. Свет, словно быстро накатившая волна, отрезвил и взбодрил их, Дуня заулыбалась, Фирс засмеялся, а Аким принялся смазывать жиром стальные части снастей; постепенно он немного разговорился и, держа покрытые жиром пальцы над котелком, упоминал кое-что о годах, проведенных в Килии. Он часто говорил необычайно грубым голосом, часто с кажущимся равнодушием, его фразы

всегда были короче, чем то, что он хотел сказать, и он делал глубокий вдох, прежде чем начать говорить.

Старик Калистрат проснулся, поздоровался с Фирсом и сидел теперь на лавке возле печи; он напрягся всем своим сгорбленным телом и жадно ловил каждое слово сына. У Дуни мастерски получалось — с помощью брошенной вскользь шутки или оброненной как бы невзначай фразы — выведать что-то необычное у Акима, поведение которого при этом невольно выдавало противоречивые черты его натуры. Он держал кулак, покрытый, как перчаткой, слоем застывшего рыбьего жира, на уровне лица, а в его горле назревал возглас или проклятие, он ругался, бранился, потом бормотал что-то почти беззвучно, будто был в одиночестве. Время от времени между его словами наступала пауза, но и она казалась непробиваемой стеной, которую, возможно, мог разрушить только сам Аким. В такие моменты даже у Дуни не возникало воодушевленного порыва с ним заговорить. И только стук шагов Акима, маячившего туда-сюда перед крючками, словно упрямый часовой механизм, нарушал тишину.

Он сделал глубокий выдох, который почти просвистел из-под его жиденьких усов, неожиданно выпучил свои маленькие глаза, из-за чего они казались неестественно белыми вокруг зрачков, и заговорил:

— В Килии у меня был друг, с которым мы каждый день рыбачили. Он был очень вспыльчив, словно лошадь, которая брыкается. Его мать забирала у него все деньги. Эта женщина постоянно плакалась и жаловалась. Она вечно ныла, что другие люди живут или едят лучше. Она каждый день сверлила Ивана, пока он в конце концов не вытаскивал из-за пазухи деньги и давал ей больше, чем было нужно. Старуха прилипла к нему, как пиявка. Однажды вечером его терпение иссякло. Он вытащил из печи большое горящее полено, взял его обеими руками, начал им дико размахивать и не прекращал до тех пор, пока не сразил её ударом в узкий лоб, и она рухнула замертво, больше не пикнув. Говорят, она неподвижно лежала, пока её волосы горели, а мозг сочился из головы. Иван выгреб из её сумки деньги и снова засунул их себе за пазуху. Затем он, как утверждали люди, пошёл к Илеане, румынке, у которой он уже давно проводил каждую ночь. Я тоже был знаком с Илеаной, но никогда не целовал её у

него за спиной, хотя ей очень этого хотелось; она была красива, и у неё были невероятно здоровые зубы. Он был у неё, когда его нашли жандармы. Когда они начали колотить прикладами винтовок по закрытой входной двери, он её резко распахнул и, орудуя плечами, пробился сквозь толпу жандармов. Они кинулись за ним, приказывали ему остановиться, кричали, что он арестован, что они будут стрелять, если он добровольно не сдастся. Но он и не думал слушать их и только мчался во тьму переулков. Жандармы бесцельно стреляли ему в спину, как в мишень, наверное, раз десять. Я слышал выстрелы, когда стягивал с себя рубаху в своей комнате, чтобы лечь спать. На одном из перекрёстков они окончательно потеряли беглеца из виду. Они стреляли вслепую: один направо, другой налево, третий прямо. Но они уже не знали, в каком направлении он убежал, так как его нигде не было видно, поэтому уставшие и раздраженные вернулись в участок, где начальник устроил им нагоняй, обозвав их ленивыми свиньями. Однако на следующее утро окоченелое и залитое кровью тело Ивана нашли у дороги на расстоянии пятидесяти шагов от перекрестка. Пули все же его настигли. Позже я сам уложил его в красивый синий гроб и похоронил, потому что батюшка даже и слышать не хотел об отпевании умершего, хотя я обещал ему за это все деньги, оставшиеся от Ивана, и несколько бутылок водки. Но батюшка был слишком набожным и не дал себя уговорить.

Аким внезапно замолчал, снова склонившись над котелком.

— А что стало с Илеаной? — спросила Дуня, приложив руку к содрогавшейся груди.

— Увы, — ответил Аким, продолжая работу, — я не знаю, я больше её нигде не встречал. Я могу сказать лишь одно: после этого в Килии об Иване говорили с должным уважением. Он не был весельчаком или лицемерным святошей, но и тряпкой он тоже никогда не был. Он знал свое ремесло, как никто другой в округе. Он так умело ударял пойманных осетров по голове деревянным молотком, что у них сразу пропадал слух и зрение. Вероятно, его мать недолго мучилась. Иван, скажу я вам, был хорошим другом, надежным и честным, за гроб я заплатил сто леев. Иван был этого достоин.

В голосе Акима, хрипло вырывавшемся из горла, ощущалась боль, наконец он оборвался, словно ветхое дерево. Аким

взглянул на Фирса, воспользовавшегося паузой, чтобы разжечь огонь в печи, сделал странный двусмысленный жест, бросив какие-то невнятные слова в угол комнаты.

— Ну хватит об этом безбожнике, — пробормотал старик Калистрат и перекрестился. Спустя несколько секунд, в течение которых Дуня неподвижно стояла и пристально смотрела в лицо брата, как на обескураживающий спектакль ярмарочного балагана, старик добавил:

— Я тоже не люблю лицемерие. Но убийц, будь они хоть сколь искренни и честны, я бы по соседству не потерпел.

Тут Акима словно передернуло, и он тихо воскликнул:

— Просто на него что-то нашло, на этого несчастного Ивана. Вообще-то он не был плохим человеком. Я в таких вещах не разбираюсь. Я не могу его осуждать. Бог знает, почему именно в тот вечер нытье матери привело его в бешенство. Обычно он терпеливо все это выслушивал и даже пальцем её не трогал.

На мгновение Аким замолчал, возможно, почувствовал, что он сказал уже более чем достаточно. Однако наступившая тишина всех тяготила. Кто-то должен был её нарушить. И это сделала Дуня, обратившись к брату с вопросом:

— Когда это произошло?

— Около года назад, или может, уже больше времени утекло, — прозвучал его ответ.

— Мне жаль, что я его не знал, — сказал Фирс, на которого покосился старик Калистрат. — Он наверняка был хорошим рыбаком, и мы бы точно с ним поладили.

Между тем работа была закончена, и готовые к использованию снасти висели повсюду над головами и в каждом свободном уголке комнаты. Они помыли руки керосином, вытерли их об старую тряпку и вернулись в заднюю комнату. Теперь можно было отдохнуть; все тросы были в таком безупречном состоянии, что не к чему было и придраться. Даже Аким неоднократно это подчеркнул, а Фирс уже с таким нетерпением ждал завтрашнего утра, что, наверно, закричал бы от радости, когда Дуня, каждый раз проходя мимо, многозначительно задевала его своими нежными пальцами или складкой присборенного рукава. Острые кончики крючков мерцали в темноте у них за спиной, пока Дуня, затаив дыхание, несла перед собой лампу. Тепло от огня заполнило полукруглое

пространство от двери до стены печи, где они вчетвером уселись.

Старый Калистрат начал ворошить свою богатую память, выуживая из неё удивительные вещи, описывал события, происходившее когда-то давно в юные годы его жизни. Хотя это было уже не в первый раз, всегда поражало то, как он, неторопливо соединяя слова, рассказывает о когда-то пойманной сказочной белуге, ужасной зверюге, которая весила девятьсот килограмм и накопила в брюхе огромный мешок икры. Наверняка они слышали о том, что в Волге ещё водились громадные рыбины, но поймать их было невозможно, и рассказы о них всплывали в памяти, как мифы. Хотя прошлым летом один честный рыбак в присутствии старика клялся, что, дескать, в реке Восточное прямо на его глазах из воды вынырнула спина огромного осетра, невероятно широкая, как скалистая гора. Или тому правдивому человеку это всё-таки приснилось? Вроде бы его звали не Пимен, и он точно не преувеличивал бы ради забавы. Возможно, в этих мутных водах, впадающих в море, водилось ещё много всяких жутких тварей. Только одному Богу известно, что есть правда, а что ложь. Разве не сын Калина в прошлом году решил окунуться на мелководье и пропал навсегда? Его так и не нашли ни живым, ни мертвым, хотя его брат, облачившись в новый нарядный траурный костюм, целую неделю обыскивал прибрежные воды и берег во всевозможных местах с другими товарищами. Пять празднично одетых мужчин метались туда-сюда, как лошади в загоне, но безуспешно. В конце концов, больше ничего не оставалось, кроме как заказать молебен за упокой души без вести пропавшего. Ещё никто никогда не проходил все эти коварные воды, выискивая чудовищ на дне рукавов Дуная. Люди жили, окруженные со всех сторон морем, знали каждый потаенный уголок, но даже не подозревали о том, что могут происходить такие непредвиденные случаи.

Аким считал, что опасения его старого отца были чересчур преувеличены, и с трудом сдерживался, чтобы не перебивать его, в то время как Фирс полностью погрузился в рассказ старика, иногда рассеяно кивал, медленно и откровенно проводил взглядом по лицу Дуни или щелкал зубами тыквенные семечки, которые она насыпала в его мозолистую ладонь. Фирса полностью поглотило приятное чувство от ощущения близости

этого безмолвного нежного создания. Пока что ему больше ничего не было нужно. Ему нравились вкусные тыквенные семечки, проскальзывавшие внутрь по нёбу, а перед ним сидела или стояла Дуня, и он мог сколько душе угодно наслаждаться её присутствием, ощущая его всем телом. Неужели воздух вокруг её плеч был мягче, чем в темном углу комнаты, где сидел, скорчившись, Аким? Обняв колени руками, он был в каком-то странном напряжении, словно спрятал под рубахой дикого ястреба. Не успели все опомниться, как в его поведении что-то кардинально переменилось: ещё полчаса назад он был дерзок и красноречиво говорил, а теперь притих и ушел в себя. Он был камнем преткновения, о который Дуня спотыкалась со вчерашнего дня снова и снова и уже в сотый раз говорила себе, что в Акиме не было от Савела ровно ничего: ни его весёлого и лёгкого нрава, ни его непринуждённости, с которой он без нужды бросал слова на ветер, не беспокоясь о том, воспримут ли их всерьез или посмеются над ними, или они разлетятся в воздухе, как пылинки. Аким же будто стоял у всех поперек горла, и никто не знал, почему. Казалось, что с его возвращением в жизни этого дома поселилось инородное тело, словно он не был сыном Калистрата и братом Дуни. Неужели стены сжимались, а потолок ещё ниже нависал над её головой? Ей не удавалось найти слова, чтобы поддержать неклеившийся разговор. В тишине было отчетливо слышно лишь дыхание старого Калистрата, лежавшего за печью. Вероятно, Дуне хотелось что-то сделать или сказать, чтобы разрядить обстановку и немного поднять всем упавшее настроение.

— Эти тыквенные семечки такие крупные, как миндаль, — наконец сказала она подавленно и улыбнулась.

— Я ещё никогда не ел таких больших семечек, — ответил Фирс и спустя мгновение добавил для ясности: — Они даже больше моих ногтей. Эти семечки — просто вкуснятина.

И он вновь принялся жевать челюстями, прикасаясь указательным пальцем к языку и смачивая его, чтобы скорлупки приклеивались и их легче было доставать. Он продолжал в таком же духе, и эта требовавшая большого терпения, безобидная игра целиком занимала его. Неожиданно Дуня встала и повернулась лицом к углу, в котором сидел Аким и предавался своим мыслям. Она подошла к нему почти вплотную и дерзко произнесла:

— Слушай, ну скажи хоть что-нибудь. Кроме истории Ивана ты нам почти ничего не рассказал обо всех тех годах, которые ты провел в Килии. Там ещё живут торговцы зерном, грузчики и конокрады. Ты ни одного из них не встречал? Словно ты жил только с рыбаками и спал с рыбаками. Мог бы рассказать нам, как выглядела твоя первая возлюбленная, а потом вторая и все последующие. Ты же брат Савела, а уж он в монахи точно не годится. Мы-то понимаем, что ты там не страдал от одиночества.

Она схватила Акима за руку и трясла её так, словно он спал мертвым сном, а она пыталась его разбудить. Он вздрогнул, ему стало не по себе от её простодушной настойчивости. Он поднял глаза из темноты на свет, и её пристальный взгляд впился в него. Он почувствовал, как к горлу резко подступил комок, беспомощно выдавил из себя несколько слов и отпрянул назад, будто что-то внутри него пыталось оградиться от близости её тела, но поскольку стена неумолимо преграждала ему путь, он лишь метнулся вдоль неё в сторону, чтобы хоть так отдалиться от сестры. Дуня звонко рассмеялась. Это единственное, на что был способен брат? Странная реакция. Она все ещё стояла неподвижно, склонившись над ним, а он казался таким запуганным и ничтожным, пытаясь что-то сказать и не находя слов, хватаясь за лоб, покрывшийся мертвенной бледностью до висков. Капли пота стекали по его носу, но она их не замечала. Наконец его слова стали более внятными, он сказал, что устал после вчерашней дороги, очень устал, что завтра расскажет обо всем, что она пожелает, но не сейчас, нет, сейчас не получится.

Лицо Дуни исказилось изумлением, словно от смутной боли. Хотя ещё минуту назад она настойчиво наседала на него, теперь вдруг она даже не знала, что добавить, и тихо прошептала:

— Ну где же запропастился этот Савел? Он, кажется, совсем забыл о нашем существовании. Он ни о чем не беспокоится, скинул всю работу на нас и придет, когда уже все снасти начищены до блеска. Однако его доля в улове будет не меньше.

Она произнесла это так быстро, будто подгоняла слова, чтобы только не запнуться посреди недосказанной фразы, не договорив до конца. Непроизвольно она приблизилась к Фирсу и сразу почувствовала, как на неё снисходит приятное умиротворение, когда он вновь произнес пару лаконичных похвальных фраз о тыквенных семечках.

Затем домой вернулся Савел и стал притворно удивляться блеску и остроте крючков на осетра, восхваляя каждую деталь с видом знатока, уверенно раздающего похвалы. Вскоре после этого Фирс начал прощаться, протянул каждому свою широкую, как лопата, ладонь правой руки и, громко топая, пошёл в переднюю, куда его проводила Дуня, которая семенила рядом с ним маленькими шагами, а каждое её движение было предельно сдержанным. Казалось, что её худенькая фигурка срослась с полом, даже когда она двигалась. Она почти не дышала и больше не касалась Фирса, который вышел на усилившийся к вечеру мороз, возле ворот ещё раз поднял руку и помахал ей. Она улыбнулась, слегка приподняв при этом уголки рта. Холод ворвался в дом стремительным потоком, а тень от спины поспешно удалявшегося Фирса, видневшаяся ещё какое-то время, вскоре скрылась за снежными холмами и растворилась в темноте.

Бездонное синее небо раскинулось над городком на следующий день, когда товарищи добрались до покрытого льдом рукава реки: Савел, склонившийся под тяжестью перекинутой через плечо связки просмоленных тросов и снастей, и Аким с Фирсом, нагруженные кирками, мотыгами, ломами, деревянными кольями и мешками. Утренний мороз до костей пробирал трёх напряжённо продвигавшихся путников, и время от времени над ними пролетала, словно яркая вспышка, стая чаек. Они практически не разговаривали, объяснялись лишь короткими знаками по поводу направления пути, предпочитая хранить молчание, поскольку им приходилось тянуть тяжёлую ношу. Только Фирс иногда громко напевал мелодию, которая необычно раскатывалась далеким эхом по всей округе и которую никогда прежде не слышали ни оба брата, ни он сам. Эта музыка словно вырастала у него из груди и не требовала слов. Она была как воздух, который нужно было выдохнуть. Савел, видимо, уже

порядком измотался, начал кряхтеть, но не бросил свою ношу, потому что ни за что на свете не хотел прослыть слабаком, ведь и у него было честолюбие. Вскоре они подошли к другому берегу и к тому месту, которое находилось за плотиной, окружёной холмистыми пастбищами; река образовывала здесь резко врезающуюся в сушу бухту, где можно было укрыться от леденящего ветра и холода, и Фирс расхваливал этот уголок как отличное место для рыбной ловли. С уст Акима не слетело ни единого звука, и это означало, что он согласен с этим предложением.

Они сложили снасти в кучу, и, сделав несколько глотков из бутылочки с водкой, которую Савел неожиданно вытащил из-за пазухи и к их удивлению с хитрой ухмылкой протянул им, сразу же принялись за работу. Они начали долбить лёд всеми тяжелыми инструментами, которые подобрали для этих целей. Острые, как сталь, осколки льда разлетались в разные стороны, врезаясь в напряжённые лица, будто стекло. Савел ругался и плевался, словно хотел изгнать из себя дьявола с его длинным хвостом, Аким также, презрительно бормоча, проклинал упрямую ледяную толщу, с которой была не в состоянии справиться острая кирка. Время от времени стук измождённых орудий затихал, и мужчины смотрели друг на друга выпученными глазами. Наконец слой льда проломился; Акима охватил неистовый порыв, когда он увидел, как под его яростными ударами отверстие быстро увеличивается, но пока ещё не позволяет услышать вожделенное журчание воды подо льдом. Они с братом снова передохнули, чтобы немного утихла жгучая боль в суставах рук. Изнурённые, они стояли вокруг Фирса, который нанёс ещё несколько мощных ударов и вдруг резко остановился, а из тёмного зияющего отверстия посыпались брызги. Его хмурое лицо прояснилось, и он захохотал, как сумасшедший, что даже плечи содрогались от смеха.

— О-го-го! — ликовал он, вытирая капли с подбородка рукавом.

— Теперь мы им там внизу уж точно покажем, — горделиво сказал Савел, приподняв брови, будто его слова отражали главную суть этого события.

Затем они принялись расширять лунку деревянными кольями и не сдавались, пока она не превратилась в довольно большую

дыру. Потом они взяли трос с крючками с обоих концов и опустили его середину в медленно текущую воду. Сверху они привязали его к колышкам, вбитым в снег на берегу.

Теперь оставалось только ждать рыбу. Довольно долго они сидели между двумя концами этого приспособления, вытянув и растопырив ноги. Что-то потянуло за трос; они побежали к лунке и осторожно его вытащили, но ни одного осетра не висело на крючках, запутавшихся между собой. Наученные горьким опытом, они быстро поняли, что сделали лишь полдела, поэтому Аким предложил прорубить вторую лунку и попытаться опустить трос в воду в первой лунке, а вытащить его во второй, которая должна находиться на расстоянии десяти шагов вниз по течению. Тогда, если не давать лункам снова замерзать, у них с двух боков будет свободное пространство для вытаскивания улова. Они не слышали ни от одного рыбака, чтобы такое кому-либо в округе успешно удавалось, но объяснения Акима их очень быстро убедили, поэтому они не сидели долго без дела, а снова принялись работать мотыгами и кирками. В этот раз они уже знали, какой была толщина льда под ними, в этот раз они были терпеливы, дольше отдыхали, когда усталость начинала сковывать их движения, работали по очереди, вгоняя острый металл в белую гладь, которая будто нарастала снизу. Наконец со свистом снова брызнула вода, и вскоре это отверстие не уступало по своей ширине первой лунке. Вновь они опустили в воду трос, к которому привязали большой поплавок из пробкового дерева, и попытались подцепить его крюком и вытащить из другой лунки. Однако эта затея также не увенчалась успехом, потому что течение было настолько слабым, что не уносило вперёд пробковый поплавок.

И что же должно было случиться после всех этих мучений? От негодования товарищи начали мерить друг друга почти пренебрежительными, враждебными взглядами, не зная, что делать дальше, Савел вновь разразился проклятиями, от которых просто волосы вставали дыбом, а вилковские попы, наверное, перекрестились бы Бог знает сколько раз, если бы услышали все эти ругательства. Вдруг после долгой безнадёжной паузы Фирс снова залился громким смехом. Вероятно, этот шумный хохот звучал очень глупо, потому что Аким бросил в его сторону негодующий взгляд. Но прежде, чем Аким и Савел успели

понять, что вызвало это бурное веселье, Фирс сорвал с себя куртку и рубаху, стянул сапоги, выскользнул из штанов и встал голышом между оторопевшими от удивления братьями, пока от его тела исходил пар, а он стоял там, как мощное дерево на ветру. Он схватил трос с крючками, понёс его к лунке и уже в следующее мгновение плюхнулся всей своей массой в тёмное отверстие и исчез в нем. Вода тихо булькнула, взбурлила, и Фирса больше не было видно. Савел и Аким закричали, побежали к лунке, таращились вглубь. Они видели лишь один конец троса на льду, привязанный к колышку у крутого берега. В смятении они начали орать друг другу в лицо, но и это длилось не намного дольше, чем они могли представить, потому что уже через несколько секунд из второй лунки вынырнула рука, неистово махавшая рука Фирса, и не успел Савел даже глазом моргнуть, как этот лихой смельчак уже вылез из воды, держа другой конец троса в руке. С ликующим видом он выплёвывал воду мощными струями. Вода хлестала, сбегала, брызгала, стекала с головы на плечи, волосы, как коричневая тряпка, прилипли ко лбу, правое бедро кровоточило, а между зубов застряли тонкие обвисшие усики водорослей.

— Что же ты делаешь? — наконец нерешительно промямлил Аким.

Но Фирс и не собирался отвечать на вопрос, а быстро побежал туда, где лежали мешки, схватил один из них, начал вытирать лицо, грудь и ноги, шершавые и волосатые. Савел подбежал с одеждой, чуть ли не с нежностью обтирал его мокрый затылок, а Аким занялся концами тросов, удлинил их, привязав к ним бечёвку, прежде чем закрепить их на колышках. Теперь оставалось только внимательно следить, чтобы не пропустить клёв; нужно было придумать, чем занять себя, пока сюда приплывут осетра. Одевшись, Фирс рассказал, что там внизу было не так уж и холодно, но он, как глупая белуга, сам зацепился за крючок. У него было немного времени на раздумья, поэтому пришлось вырвать крючок из бедра.

— Он вцепился, как пиявка! — дополнил он свой рассказ и высморкался.

Вероятно, даже часа не прошло, пока они обменивались скудными фразами, как трос снова натянулся и задрожал от сильного движения. Как же бережно они с ним обращались, как

осторожно и неспешно, будто с капризной девчонкой! Они делали всё как можно медленнее, старались не спешить. Стоя перед первой лункой, Аким опустил часть троса в воду, а Фирс, склонившись над второй лункой, тянул его до тех пор, пока не показалась дико извивавшаяся на крючке севрюга. Савел ударил коварную рыбину колом по голове, оглушив её, она перестала дёргаться и без сопротивления подчинилась уверенным движениям Фирса. И вот уже рыба лежала, распластавшись на льду, лишь изредка шевелила хвостовыми плавниками и зауженной пастью, скребла под собой лёд острыми, как пила, спинными плавниками, будто тоже пыталась пробить дыру, через которую можно было бы улизнуть в глубину. Но во всех её движениях ощущалось лишь бессилие и беспомощность. По всей видимости, рыба была без икры, но прилично весила, поэтому они сразу принялись подсчитывать, сколько приблизительно дадут за неё на рыбных складах. Судя по всему, они были довольны, собрали снасти, ещё раз проверили на прочность узлы тросов на колышках и положили рыбу в мешок. Фирс поднял мешок, но рыбина не сдавалась и, собрав остатки сил, беспрестанно дёргалась на его спине, судорожно изгибалась, будто коромысло на плечах. В теле севрюги все ещё теплилась жизнь, её лихорадочно трясло; Фирс ощущал это через телогрейку, и под его рыжими усиками появилась улыбка.

Они продвигались быстрее, чем утром, подгоняемые неистовым желанием поскорее узнать, сколько точно весит рыба и какую долю получит каждый из них. В другой раз они бы спокойно шли, не торопясь, в другой раз это был бы обычный, заурядный день; но сегодняшний успех казался им чем-то поистине поразительным, что не удавалось ещё ни одному из соседей в городе. Вскоре они остановились перед первым из рыбных складов. Маленьким ножом брюхо рыбы вспороли и вытащили скользкие кишки из её окровавленного тела. Она и сейчас ещё подёргивалась и немного приоткрывала рот, будто с ней ничего не случилось. Когда её бросили на весы, она словно пыталась сопротивляться, уцепилась хвостом за металлический прут и свалилась на дощатый пол, покрытый льдом и засохшей красной слизью. Аким изрядно пнул её ногой. Всем уже порядком надоело смехотворное упорство рыбины, это было для них привычным делом. Но даже лёжа на тележке, которую какой-

то человек оттащил в холодильное отделение, севрюга не прекращала бахвалиться своей железной волей.

Савел на пальцах подсчитывал, какая доля причитается каждому от выручки, он считал с пристрастием, демонстрируя свой быстрый ум, в то время как его брат с Фирсом неуклюже расхаживали рядом с ним и таращились в воздух бездумно или же, думая Бог знает о чём. Не каждый мог подобно Савелу хранить в голове целую кучу четырёхзначных чисел; его даже можно было бы назвать мастером по обращению с цифрами, что однако не мешало ему быть безрассудным и щедрым, когда это было угодно ему самому. Окружённые снегозащитными валами домишки и избы Вилково стали выглядеть более гостеприимно, с тех пор как в карманах товарищей завелось больше денег, чем у других бедных рыбаков.

Неделю или две они каждое утро ходили на место лова, разбивали лёд, пока Савел грезил наяву об огромной белуге, которая вот-вот попадётся на крючок, вытаскивали снасти из воды и находили осетров, которые прилично весили. Аким оказался прав, усилия оправдывали себя, жуткий мороз уже не казался таким холодным, а на душе становилось теплее всякий раз, когда брат называл сумму выручки, которая вполне покрывала его показные приступы щедрости в трактире. Савел не раз угощал всех выпивкой, ему доставляло особое удовольствие тратить деньги, как богач, с барским видом вытягивать монетку большим и указательным пальцем из кармана куртки и совать её под нос смотревшему жадным взглядом трактирщику Ивану. Даже в Вилково было достаточно возможностей для разгульной жизни. Нужно было только знать, где их найти, и уж тогда деньги вряд ли скапливались бы за пазухой. Савел не был ни повесой, ни занудой, придиравшимся ко всему в этом плотно окружавшем его мирке. Он проскальзывал мимо всего, словно тоненькая щепка в воде, мог

прошмыгнуть в самую узкую щель, ему удавалось избежать любых драк и ссор с другими рыбаками, даже если они напивались и начинали задираться. Казалось, что ещё никогда ни один забияка не цеплялся к Савелу ради забавы. Он был невысокого мнения о собственных суждениях и никогда не пытался навязывать их другим. Если кто-то из выпивавших за столом говорил что-либо умное или, наоборот, молол чепуху, он лишь участливо кивал головой, поджимая губы, как растроганный поп. Он всегда находил правильный путь, который вёл его, минуя все подводные камни, о которые спотыкались другие. Его никогда не заставали врасплох с женщиной, и никто из товарищей точно не знал, бывал ли он с женщинами вообще. Именно поэтому некоторые плутовки всячески пытались выказывать ему своё расположение.

Он оставался самым осторожным мужчиной, которого молодым вдовам утонувших рыбаков удавалось завлечь в свои объятия на одну ночь или несколько, он был смел и дерзок от природы и почти по-детски фамильярен, не задевая при этом чувства других. Стоило кому-нибудь сказать ему робко несколько пылких слов, как он тут же, будто между прочим, обещал заглянуть вечерком. Но очень тихо, чтобы никто, не дай Бог, не заметил. Он говорил это между похвалой вкусной груши, которую ему как раз протянула женщина, и пустыми фразами обо всех неудобствах, которые причиняет снег, скопившийся на переправе канала, проходящего под окном. Иногда бывало, что даже не лаяла ни одна дворовая собака, когда он, вытянув руки, как щупальца, проскальзывал в едва приоткрытую щель калитки. Ни старый Калистрат, ни Дуня не имели представления о том, как он проводил долгие зимние вечера, и ему совсем не составляло труда соврать что-то, когда они приставали к нему с откровенными вопросами. Смущение было ему неведомо, да он и не знал, что это означает. Он отнюдь не был наивным простофилей. Он ни разу не открылся даже Акиму, и с момента возвращения брата-близнеца они так и жили рядом, лишь изредка сближаясь, когда какой-либо случай сводил их вместе.

Часто Савел возвращался домой поздно ночью, в темноте крался на цыпочках через переднюю, где спала Дуня, и, пробравшись в следующую комнату, осторожно стягивал с себя одежду и нижнее бель. Однако нередко с ним заговаривал Аким,

который ворочался без сна на мешке с сеном, потому что в лицо ему попадал мерцающий свет от дрожащего огонька перед образами святых. Иногда масло в лампе потрескивало, и в комнате раздавался жужжащий звук. Однажды совершенно хриплым голосом Аким прошептал:

— Хочу быть похожим на тебя, Савел. Ты — как кошка, которая всегда приземляется на лапы. Чёрт его знает, почему я не могу сомкнуть глаз, а завтра буду уставшим и ни на что не годным.

Держа мощные руки у висков, он смотрел прямо в потолок. Вдруг он снова спросил:

— Ты хоть Дуню не разбудил?

И, вероятно, получив от брата отрицательный, но неслышный ответ, он добавил едва различимым шёпотом:

— Её нельзя беспокоить, она должна отдыхать и хорошо высыпаться.

Городок был слишком маленьким для неуёмного любопытства Савела, пронюхивавшего обо всем, поэтому сложилось так, что никому никогда не удавалось удивить его какой-то новостью. Стоило человеку, которого он уже долгое время не видел, заговорить с ним, как с чужаком, он сразу же отвечал с такой непринужденностью, будто их разговор по неприятной случайности прервался лишь четверть часа назад. Он любил, многозначительно прищурив глаза, нашёптывать девушке на ухо самые обыденные вещи, которые в его устах звучали как секрет, предназначавшийся только ей одной. Иногда он пускался в сомнительные авантюры и почти непроизвольно сблизился с Гашей. Она не возражала против его намёков на встречи в отсутствие Пимена, начинала глубоко дышать и странно хихикать, когда он проводил пальцами по её шее, сразу же отрывалась от своих грустных мыслей, как только он появлялся в поле её зрения. Какой толк мучиться и жаждать мужчину, который вот уже несколько недель постоянно её игнорирует? А Пимен не думал ни о чём другом, кроме как выбить из неё упрямство, постоянно нападая на неё или без промедления затевая бесконечные ссоры. В её глазах он был похож на кукурузный стебель — увядший, сухой, сломанный и пустой. Она была ещё не настолько стара, чтобы обходиться без некоторых вещей, поэтому, когда ей уже становилось невмоготу

сидеть дома у холодной печи, она шаталась вечерами по засыпанным снегом дорогам, где то и дело появлялись фигуры мужчин. Если мужу на неё наплевать, она будет уходить из дома, чтобы найти того, кому она придётся по вкусу. Ей действительно больше не оставалось ничего другого, и таким образом, она несколько раз встречалась с Савелом, у которого было достаточно времени, пока Пимен торчал в дымном трактире, погружался в размышления или предавался рассказам о чужих приключениях, которые он выдавал за свои и которым больше не верила ни одна душа.

Савел хорошо понимал, как нужно вести себя с Гашей. Ей нравилось, когда он сжимал её в своих объятиях, обхватывая руками её мощную спину; она чувствовала, как у неё начинают дрожать колени, когда он подходил вплотную и прикасался к ней. Вскоре она немного лучше узнала, что он за человек. Он вёл себя просто, не говорил льстивых слов, чтобы уговорить её, не обещал ей ничего. А когда, обнимая его, она чувствовала, что пульс в его жилах на шее начинал учащённо биться, она затаскивала его в постель, и полумрак подобно облаку пыли наполнял комнату, давно застывшую в неизменном беспорядке и смятении. Разумеется, у него не было никаких обязательств по отношению к ней; он приходил, если только у него не появлялись другие дела, почти никогда не отказывался от чашки чая, потом уходил. А она оставалась сама, не пыталась удержать его ни просьбой, ни единым словом, и сидела посреди комнаты с её убогой обстановкой, опрокинутыми табуретками, съехавшими покрывалами, немытыми глиняными мисками, деревянными ложками. По её жилам разливалась сладкая истома, а расслабленное тело наполнялось приятным спокойствием. От чувства удовлетворения на её лице появлялась вялая улыбка, а между пухлыми губами приоткрывалась маленькая щель, и они напоминали переспелую лопнувшую сливу. Она всё реже вспоминала о ласках Фирса, о его страсти, которую он так расточительно тратил, а затем перестал. Он словно подвергся какому-то непонятному тайному недугу, который заставил его забыть к ней дорогу и не думать о ней. Но она продолжала верить в силу своего очарования, которое ему было хорошо знакомо и которого ему, возможно, не хватало. Однако он так и не постучался больше в её дверь, и тогда в эту дверь, никого не

спрашивая, вошёл Савел и обогрел её своим теплом. Иногда он уходил из трактира в тот момент, когда Пимен как раз занимал свободное место рядом с ним на одной из прислонённых к стене лавок и предавался хвастливым речам или описаниям таинственных событий, запутываясь в них, как в сетях. Люди его слушали, и, видимо, это нравилось ему больше, чем когда Гаша называла его Бог знает какими словами; он занимал деньги у соседа по столу или трактирщика, глупо хихикал в восторге, если ему удавалось выиграть в кости полную пригоршню монет, что случалось довольно редко. Иногда Савел давал ему выиграть; ему было не жалко денег, возможно, он хотел таким образом хоть немного искупить свою вину перед Пименом. Никто даже не успевал заметить, как он ускользал из трактира и по холоду отправлялся к Гаше, а затем снова появлялся среди рыбаков, игравших и беседовавших за столом.

Однако от дома Пимена он часто шагал в другом направлении, заглядывал в окна, где горел свет, здоровался с Тудосе, который, как пень, возвышался в центре городка и безудержно смеялся от счастья, когда кто-нибудь спрашивал, как его здоровье. А что ему ещё оставалось, этому глупому бедняге, которому приходилось целый день молчать, разве что начать разговаривать с самим собой? Возможно, Тудосе так и делал в своем беспомощном одиночестве, но только ранним утром, когда был убежден, что никто не застанет его за этим занятием, поскольку дорожил своим достоинством и остерегался стать предметом насмешек. То, что Савел заводил с ним беседу, наполняло его неловким чувством благодарности, в которой проявлялась редкостная услужливость. Хотя все его презирали и игнорировали, он охотно распространял новости среди местных жителей, как только представлялась возможность, и поскольку Савел знал больше о происходящем в городке и округе и делился с ним информацией, ему всё-таки удавалось преподнести своим неохотным слушателям кое-что интересное, что могло повысить его престиж среди надменных жён рыбаков. Однако с того самого утра, когда он увидел братьев-близнецов, приближавшихся к нему с двух сторон, он больше не отваживался поздороваться с Савелом, поскольку при каждом его появлении чувствовал неуверенность и боялся, что это может оказаться Аким, чей силуэт неожиданно приближался к нему из

темноты, едва различимый под тусклым светом маленького фонаря. Рыбак никогда надолго перед ним не останавливался и снова исчезал, погружаясь в темноту, из которой он появился. Порой он следовал за каким-нибудь человеком только потому, что ему больше нечего было делать.

Однажды вечером, когда Савел крался вдоль стен избы, из окон которой едва пробивался свет, он заметил неподалеку ещё одну фигуру, пытавшуюся заглянуть сквозь маленькие окна внутрь дома. Савел притаился за обросшим кустами забором, где его было трудно заметить, и спрашивал себя, что тот другой здесь высматривал. В следующее мгновение он узнал его по короткой рясе, которую развевало ветром. Без сомнений это был Пахом, монах Пахом, о котором никто практически ничего не знал и не мог сказать, чем он зарабатывал на своё жалкое существование, в каких мусорных кучах рылся и где находил овечьи кости, которые обгладывал, чтобы утолить голод. Обычно его все называли монахом, хотя его уже давно ничего не связывало с монастырём, настоятель которого его изгнал. Он иногда помогал рыбакам чинить лодки, чуть ли не нежными движениями сгребал в кучу тлеющие опилки в рыбных коптильнях, слонялся от одного удалённого угла городка к другому, всегда шагая быстро и с невероятно деловитым видом в своей короткой, с зеленоватым блеском рясе, с трудом договаривал до конца обрывочные и запутанные предложения, начинал смеяться, даже если для этого не было повода. Он всегда смотрел с улыбкой на каждого; он со всеми применял этот приём, который, по его мнению, мог помочь ему в его трудном положении. Чаще всего он ходил вперёд-назад, шаркая ногами, боязливо поворачивая голову то вправо, то влево. Казалось, он боится, что его преследуют. Было сложно определить его возраст, да и никто особо не задавался этим вопросом, но, по всей видимости, он уже более сорока лет вёл это странное существование.

Что же заставляло его стоять там перед окном, с любопытством вертя головой? В безмолвную тишину ворвался громогласный собачий лай, и Савел начал нетерпеливо царапать ногтем лёд между ногами, всем телом ощущая напряжение от ожидания. Он недоумевал и терялся в догадках, роившихся в его голове. Но в конце концов он успокоился; увидев, как Пахом

побежал по кладке, сворачивавшей в сторону, он впился глазами в окно и разглядел в маленькой побеленной комнатке двух девочек, которые играли с куклами, сделанными из замотанных в тряпки бутылок, качая их на своих голых детских ручках. Похоже, что девочкам было лет по десять или одиннадцать, и они были полностью поглощены своим занятием. При всём желании Савел больше ничего не смог разглядеть, и до самой ночи мучился вопросом, что же такого увлекательного монах нашёл в игре девочек.

На следующий день он пришёл на то же место и ждал, что Пахом снова появится и будет шнырять вокруг избы. Тот действительно почти неслышно подобрался к дому, прижался лбом к окну, из которого на него падал жёлтый свет, и, как завороженный, наблюдал за всем, что происходило внутри. Когда он, словно воришка, тихо улизнул, Савел снова увидел обеих девочек, увлечённых своим чарующим развлечением. Что же могло означать это тайное наблюдение Пахома за их игрой? Впоследствии Савел часто заставал его при наступлении темноты возле этой избы, замечал его фигуру, когда он, пригнувшись, тайком заглядывал в окна других рыбацких домов, где в комнатах резвились или как раз раздевались дети, а однажды он видел, как тот стоял за ивами и рассказывал что-то маленькой девочке. Густые деревья скрывали его от глаз редких прохожих, но Савел всё же насторожился, узнав его меховую шапку, но продолжил свой путь только потому, что издалека ему помахала Гаша, а он не хотел заставлять даму долго ждать.

От сильного мороза воздух будто застыл над рукавом Дуная, где Фирс с Акимом каждый день терпеливо выдалбливали во льду новые, похожие на два глубоких шрама, лунки, чтобы поднять трос с крючками на поверхность. Утренние часы вновь и вновь сводили товарищей вместе, но работа требовала разделения труда и словно запирала их друг от друга. Улов был

то крупным, то скудным, и если по их рыбацким меркам он получался недостаточно богатым, Аким становился угрюмым и молчаливым, как в первые дни после своего возвращения. В его хмуром взгляде ощущалась неуверенность, и в такие моменты он отличался от Савела бледностью лица, покрытого косматой бородой. Он по-прежнему был в Вилково чужаком, но ничего не делал для того, чтобы как-то сблизиться с местными жителями. Многие люди ошибочно принимали его за Савела и удивлялись, что он вдруг с ними не поздоровался. Он приносил домой тонкий камыш и плел из него подстилку, мог часами сидеть, согнувшись на табуретке, занятый своим делом, не отвечая на вопросы, которые временами задавали ему старый Калистрат или Дуня, не попросив ни тыквенных семечек, ни чашки чаю. Он словно погружался в себя, обуреваемый противоречивыми чувствами, причину которых было сложно понять.

Старик Калистрат был довольно рассудительным человеком; он чувствовал пропасть, все ещё отделявшую Акима от обоих его детей, и всякий раз пользовался отсутствием Дуни, чтобы попытаться выяснить причины смятения, которое царило в его душе. Он садился на глиняный пол комнаты рядом с сыном, занятым плетением, брал его руку и начинал расспрашивать, при этом в каждом слове ощущалось его участливое отношение и небезразличие. Но растопить лёд в Акиме было не так-то легко, он уклонялся от расспросов старика сначала небрежно, затем даже раздражённо и недовольно, и как всегда оставался непробиваемый. В конце концов, его веки начинали гневно подёргиваться, он даже не стеснялся накричать на старика, закидывал голову назад, укоризненно вздыхал и уходил из дома на всю оставшуюся часть дня, в то время как Калистрат сидел, не шевелясь, на корточках за печью, погруженный в раздумья, и пытался выкинуть засевшие в голове мысли о том, что Акиму нельзя помочь, потому что он отвергал любое искреннее участие, воспринимая его как что-то враждебное. А когда Дуня возвращалась домой, его горестные мысли рассеивались благодаря её нежной заботе, не нуждавшейся в словах, чтобы действовать успокаивающе, как безоблачный день.

Но однажды только что снятый с головы платок выпал из её дрожащей руки на пол, и она рассказала тихо и сдержанно, что видела Акима, но, по сути, с ним не встретилась, потому что как

только он её узнал издалека, он спрыгнул с кладки в глубокий снег и пошёл в обход другой дорогой. Он просто не хочет с ней здороваться за пределами дома? Она находила это очень странным, непостижимым. Тут старый Калистрат встал с постели, возбуждённо загрузил камыш в отверстие печи и наконец сказал:

— Аким так бы не сделал, я уверен. Он так не поступает. Ты наверняка ошибаешься. Возможно, он тебя вообще не заметил.

— Хотелось бы мне, чтобы ты оказался прав, — ответила на это Дуня, а в её обычно весёлом голосе внезапно появились грустные нотки. — Хотелось бы видеть брата не таким печальным, — добавила она немного погодя.

Старик тёр об покрывало кулаки, на которых синими линиями выступили вены, словно хотел отшлифовать их. Он старался сдерживаться, часто считал свои переживания по поводу сына глупыми; отныне он будет ждать, терпеливо ждать, пока Аким в конце концов сам не расскажет ему о том, что его так тяготит. Всё-таки его не было целых восемь лет, и, возможно, он и не был другим все это время, потому что одиночество на чужбине глубоко впиталось в его кровь, сделав его мрачным и унылым.

Для Дуни угрюмость Акима также оставалась загадкой, но она всё время забывала о живущем рядом брате и вообще-то не особо страдала от его присутствия, потому что все мысли, появлявшиеся в её молодой голове, она связывала с недавними событиями, которые, как ей казалось, она никогда не забудет. Она не замечала, как Аким в дикой спешке хватал свои вещи и неистово подгонял Савела, чтобы тот поторопился, когда Фирс, заходя за братьями, топтался утром перед дверью или заходил в переднюю, где обменивался с Дуней несколькими угрюмо брошенными наивными фразами, которые, однако, были подобны прикосновению его больших мощных рук. Часто Аким находил какой-нибудь предлог, чтобы прервать Фирса посреди и без того куцой фразы либо молчаливой паузы, предназначавшейся девушке. Нет, Дуня не сердилась на него за это, вряд ли она была на это способна, она лишь всё больше и больше отстраняла его от всего, что с ней происходило. Он оставался для неё чем-то вроде тени, которая была видна, но ничего не затмевала. Все к нему привыкли и поступали

правильно, когда не воспринимали его всерьёз.

Больше, чем раньше Дуня стала уделять внимание своему внешнему виду и одежде, будто каждый день шла на свадьбу. Уже несколько недель она даже выковыривала щепкой грязь из-под ногтей, носила на шее фарфоровые бусы бирюзового цвета, одевала новую шерстяную юбку, мягкую, как мох, которая приятно тёрлась о ноги. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться горделиво на Фирса, моргая длинными ресницами, а он любовался ею, словно перед его глазами была икона, богато отделанная сверкающим золотом, или пышный помидорный куст, усыпанный зрелыми плодами. В такие моменты он мог, почти как ребёнок, самозабвенно улыбаться, вдруг схватившись за подбородок и запнувшись.

— Ты о чём-то вспомнил? — спрашивала его Дуня.

— Нет, — отвечал Фирс и снова смотрел на неё, как ребёнок.

— Ты забыл дома какие-то инструменты? — снова обращалась она к нему с вопросом.

Он медлил с ответом:

— Дома? Нет, я просто теряюсь, глядя на твоё лицо.

Иногда Аким, громко топая, нетерпеливо ходил из комнаты в комнату, пока его товарищ стоял, прислонившись к двери, ругался про себя на медлительность Савела и в конце концов предлагал Фирсу отправиться в путь, не дожидаясь брата, дескать, пусть он их догоняет, сколько ему угодно. Он с грохотом перекидывал снасти через плечо, хватал Фирса за руку и тянул его за собой через калитку.

— Ох уж этот Савел, — ворчал он, — он — сама медлительность, плетётся, как беременная турчанка. Будто других дел нет, кроме как часами пялиться на его красную сорочку.

Если Фирс приходил после обеда, чтобы провести свободное время с Дуней и стариком Калистратом, Акима чаще всего уже не было дома. Он, как и Савел, слонялся вокруг, но не по дорожкам и кладкам, по площадям и церковным кладбищам городка, а в стороне, по пустынной и гладкой равнине, тянувшейся от рукава Дуная вглубь Бессарабии, либо по островам, раскинувшимся между бесчисленными замёрзшими речушками и протоками, где ветер с громким свистом врывался в заросли камыша, а снег доставал до колен. В Килии он ещё не подозревал об этой

невыразимой перемене в своих ощущениях, и пока он даже сам не отваживался разобраться в её причинах; в этом чувстве сочеталась какая-то скрытая сладостная тяга и самобичевание, и оно овладевало им, словно страх. Там, в Килии, было просто ходить рыбачить и заниматься своим делом, там даже сон был подобен источнику с родниковой водой, в который погружаешься вечером, долго не раздумывая. А сейчас он чувствовал себя барахлом, ненужной вещью, которую выбрасывали, потому что она мешалась под ногами. Он не спрашивал себя о смысле своих побегов, он топтал камыш и ивовые ветви, пока усталость не одолевала его, начиная наводить сон на его истерзанную душу. Он часто сидел, закрыв глаза и зарыв руки в ледяной снег, на который падал последний неяркий луч заходящего солнца, и мог очнуться от своих грёз только тогда, когда по спине уже пробегал мороз. Тогда он медленно стряхивал снег с пальцев, заносил ногу, чтобы сделать шаг, и сразу же сомневался, стоит ли делать следующий. Какой ему был прок от возвращения в Вилково? В его сознании словно всё перепуталось, и он не мог найти выхода, слепо блуждая в темноте.

Крошечные звёзды усеяли морозное небо, когда однажды вечером Аким снова шел по городу, чтобы вовремя попасть домой к ужину. Как раз в тот момент, когда под его ногами загромыхали незакрепленные доски кладок, он увидел фигуру женщины, которая, возможно, была молода, хотя он с трудом мог разглядеть её в темноте при тусклом мерцании звезд, приближавшуюся к нему со странной фамильярной непринуждённостью. Сначала он подумал, что она замедлит шаг возле него, давая ему пройти, однако, по-видимому, она не собиралась этого делать. Она остановилась, бесцеремонно встала перед ним, широко расставив ноги, и быстрым движением подняла в стороны короткие полные руки, похожие на утиные крылья. Неужели она улыбалась? Аким, который был слишком погружён в свои мысли, чтобы сразу разобраться в происходящем, уставился на её расплывшиеся в улыбке щёки. От неё пахло айвой, она подняла одну руку и положила её ему на плечо. Для него это было слишком, и он уже хотел стряхнуть её руку и высказать ей свое негодование, когда почувствовал её дыхание возле своих губ, как вдруг она горячо воскликнула:

— Савел! Хотел пройти мимо меня, словно невидимка? Ты что, больше не хочешь со мной знаться? Я тебе покажу, кого ты соблазнил. Ты совсем ко мне не заходишь.

Тут наконец Акима осенило, он сдержал улыбку, лишь удивлённо приподнял брови, стоял неподвижно, не говоря не слова, и ждал, что же будет дальше. Женщина оглянулась вокруг, в темноте не было видно ни души, лишь какая-то собака утонула на бегу в снежном сугробе, вытянула голову и снова исчезла. Теперь женщина перешла к новым действиям, схватила Акима за телогрейку своими толстыми короткими пальцами, притянула его к себе и прижалась к нему всем телом, грудью, животом, коленями, и, не произнеся ни слова в своём притворно-жалобном гневе, покрыла его подбородок и бороду поцелуями. Он сделал шаг назад, она последовала за ним и вцепилась в его руку. На какое-то мгновение Аким подумал о том, как странно и смешно поступала с ним судьба, но затем он всё же представил, будто у него, ни разу не обнимавшего женщину со времен последнего проведенного в Килии дня, появилась едва ощутимая связь с этой женщиной. Кто знает, возможно, виной тому была безудержная и безграничная нежность, с которой она на него набросилась. Он услышал, как она прошептала:

— Пимен ушёл, его сейчас нет дома. Я едва смогла утерпеть, оббегала всю округу, даже спрашивала о тебе Тудосе. Мы можем сейчас пойти ко мне, слышишь, негодник!

И спустя несколько секунд, в течение которых он сквозь одежду чувствовал, как бешено стучит её сердце, словно хочет вырваться наружу и залезть ему под кожу, она добавила жалостливым тоном:

— Заставляешь тебя просить? Хочешь, чтобы я тебя умоляла? А сам ни слова не сказал в ответ.

Неожиданно Акима охватило искушение. В конце концов, он ничем не рискует, если последует за женщиной, если таким образом освободит себя от той другой одержимости, которая в нём поселилась. Разумеется, ему придется молчать, если он не хочет быть разоблаченным. Но прежде, чем ему на ум пришло ещё что-то, что усилило бы этот робкий соблазн, вся его осторожная натура начала противиться прижавшейся к нему женщине. С непреклонной решимостью он вывернулся из её объятий, больше не подпуская к себе, и с железной твёрдостью

во взгляде сказал:

— Я его брат.

Из открытого рта Гаши раздался сдавленный крик, будто её горло наполнилось цементной пылью. Она молниеносно отскочила в сторону, спрыгнув с мостика в снег. Там она закачалась и упала, смотрела на него безумным взглядом, в то время как он уходил, засунув кулаки в карманы. Он пошёл прочь и уже удалился на какое-то расстояние. Продрогшая и промокшая женщина, словно потерявшая дар речи, наконец схватилась за балку мостика, подтянулась на ней и побрела домой лишь после того, как убедилась, что Аким был вне пределов досягаемости, а звук его шагов, напоминавший стук копыт, становился всё тише.

После этого случая Аким ещё долгое время испытывал робость, избегал Гашу, сторонился её при каждой встрече. Он копался внутри себя, словно в яме. Могла ли женщина в итоге привыкнуть к нему так, что ей было бы всё равно, обнимает ли её Савел или его брат? Нет, это бы его не устроило. Тогда терялось бы ощущение независимости. Не он, а Савел добился женщины, он был лишь его двойником, его зеркальным отражением. Оставался бы он самим собой, если бы сблизился с Гашей? Появилось бы у него ощущение, что он сам себе не принадлежит? Он не хотел быть Савелом, но в то же время хотел обладать хоть каплей его раскованности и непринуждённости, которая была не свойственна ему самому. Но в конечном итоге все эти витавшие вокруг Гаши мысли были лишь игрой, которая начиналась где-то за пределами его бытия, далеко от поселившегося в его душе бесчестья. Несомненно, у Савела всё было хорошо, пока Аким страдал. Брату можно было позавидовать. Но в Акиме жило что-то пагубное, о чём нельзя было говорить. Это принадлежало ему одному, и он не делился этим ни с одним человеком. Он бы с радостью напился, чтобы таким образом всё забыть, абсолютно всё; но он стремился избегать новых встреч с Гашей. Поэтому теперь он выбирал для своих странствий другие направления, больше не ходил по льду на острова, а бродил по пустынной равнине, раскинувшейся на севере, по её бесконечным просторам, о которых никто не знал. Лишь волчьи стаи выбегали отсюда к ближайшим домикам и избам Вилково, бросались на детей и взрослых, которые их

пристреливали, прогоняли, в то время как во всех частях городка поднимался шумный гвалт, потому что собаки неистово лаяли и бешено рвались с цепей. Не раз Аким слышал где-то вдалеке их вой, не в силах разглядеть их в сумеречном свете, окутывавшем всё вокруг. Но в этих случаях он уже находился вблизи города, поэтому не опасался их нападения, хотя и не отказался бы увидеть их собственными глазами. Во многих местах на снегу виднелись их свежие следы, но волки его не трогали. Он словно всё время стоял посреди безлюдной пустыни, в компании одиноких деревьев, голые ветви которых колыхались на ветру.

Как-то раз Дуня шаловливо положила руку на плечо брата, скорчившегося перед недоделанной камышовой подстилкой, а затем всем своим весом оперлась об неё, и, смеясь, назвала его сильным мужчиной, ха-ха, крепким мужчиной. После обеда Аким, погружённый в воспоминания об этом случае, прошёл мимо Тудосе, не поздоровавшись, и побрёл в сторону полей. Хотя караульный мог обидеться, он не обернулся к нему, потому что сейчас у него были дела поважнее, чем стоять с важным видом перед топчущимся на одном месте болтливым румыном, который только и делал, что рассказывал о секретах Гаши либо прославлял аптекаря Наума как единственного благодетеля в мире. Аким был явно не настроен это выслушивать, поэтому как можно быстрее удалялся по узеньким тропинкам, ведущим на открытую равнину, довольный тем, что здесь ему не придётся никого избегать. Вдруг он насторожился, услышав голос, который его окликал, и увидел махавшие руки женщины. Она стояла за низким, полуразрушенным дощатым забором и махала руками с таким усердием, будто боялась, что Аким продолжит свой путь, не услышав её.

— Сверёв, — прокричала она ему, и её голос отозвался в его ушах низким звуком кларнета, — Сверёв, ты что, оглох? Аким,

иди сюда. Здесь живёт Фирс. Фирс живёт здесь у меня. Но ты об этом не знал, разумеется.

Она засмеялась, открыв большой рот, казавшийся чёрной дырой на её рябом лице. Аким остановился, помедлил немного и только потом перешёл снегозащитный вал, который вел ко двору Мары.

— Иди сюда, тебе говорю, — вновь сказала она так громко, будто он был ещё далеко. — Иди сюда, — повторила она лукаво и, будто пытаясь его развеселить, приложила ладонь ко рту наподобие рупора. — Я тебе ничего не сделаю, я же не медведь. И не удивляйся ты так. Я просто хотела тебе шепнуть кое-что, — произнесла она клокочущим и приглушённым голосом. — Но только тихо, слышишь, чтобы Фирс не слышал. Очень тихо.

Она захихикала, глотая слова. Её странное приглашение заставило Акима вспомнить о Гаше, хотя он не задумывался над тем, почему эта замурзанная женщина, давно потухшие глаза которой мерцали болезненным блеском, вызвала ассоциацию с ней.

— Фирс дома? — спросил Аким, словно пытаясь таким образом показать ей, что вообще-то он плёлся сюда через снег не ради её вопросов.

— Дома, — ответила она, наклонившись через забор, потелепала к калитке и вдруг уставилась на него своим тяжёлым взглядом. Что было нужно от него этой сумасшедшей? Внезапно Аким почувствовал, как у него спёрло дыхание и в нём зародился какой-то неведомый страх, который вызывали звериные глаза женщины. Мара громко закашлялась и, будто в назидание пощупав Акима своими влажными руками, медленно промямлила:

— Хоть ты и не хочешь зайти, я должна тебе это сказать. Я хотела тебе это сказать с тех пор, как ты начал проводить каждый день с Фирсом. Я оставила его спать в комнате, а сама тебя выглядывала. Я знала, что ты пойдёшь в поле. Тебе нравятся волки, ха-ха-ха. Они также голодны, как ты, ха-ха-ха.

Аким не понимал, что могло означать это невнятное бормотание и смех, однако догадывался, что женщина задумала выяснить что-то, скрытое внутри него. Его охватило недоумение, впившееся в него, словно стальной рыбный крючок.

— Я ничего не понимаю, — с трудом вымолвил его язык.

— Ты понимаешь, — возразила Мара с непреклонной твёрдостью в голосе. — Всё ты понимаешь. Однако остерегайся Фирса, слышишь меня? Он не беспомощный ребёнок. Он будет сопротивляться, и тогда ты увидишь, с кем имеешь дело.

Аким побледнел; он словно чувствовал себя пойманным в сеть, будто женщина раскопала давно зарытый в нём сон.

— Что за вздор! — гневно прокричал он. — И ради этого ты меня задержала?

— Да, — ответила Мара, кивая, — ради этого. Теперь можешь идти, куда твоей душе угодно, я больше не буду тебя задерживать. Тише, — добавила она после этого, — не так громко. Он ничего не должен знать, ничего. Но ты должен был узнать. Я хотела тебя предупредить. И слишком не рискуй, скажу я тебе. Ты — как болото, твоя кровь пахнет болотом, Аким.

Он уже собирался накричать на эту наглую женщину, позволявшую себе говорить ему дерзости, но не успел он открыть рот, как увидел Фирса, который заполнил своим телом дверной проём и тут же пошёл к воротам. Надоедливая женщина снова разразилась громким истерическим смехом, в то время как Аким, все ещё не пришедший в себя от удивления, в знак приветствия протянул товарищу онемевшие от холода пальцы, и на его непринуждённые вопросы отвечал лишь отговорками. Фирс шутливо погрозил Маре кулаком и сказал:

— И к тебе она прицепилась, она не дает прохожим покоя. Наверно подумала, что мы можем пойти вместе.

Рот Мары внезапно стал очень подвижным, она ничего не сказала, но её нижняя губа, которую она прикусила, все ещё подёргивалась. Затем Фирс сказал, что как раз собирался прогуляться в северном направлении, чтобы посмотреть, что там делается. Не хочет ли Аким пойти вместе с ним? Возможно, найдётся древесина на дрова, которую можно принести домой, ведь топливного материала всегда не хватает. Аким согласился без колебаний. Он сделал вид, будто не замечал Мару, стоявшую там за забором, в непосредственной, даже неприятной ему близости, словно напрочь забыл о её существовании. Он лишь бесцельно таращился на снег, ни разу не взглянув на неё, и она незаметно улизнула.

Они отправились в путь, и уже вскоре нечёткие очертания городка остались у них за спиной. Им нужно было обсудить

некоторые вещи, потому что уже недолго оставалось до того, как лёд начнёт таять, люди живо примутся за посевные работы, и для всего населения в низовьях дельты как обычно начнется напряжённый период, в течение которого народ несколько недель лихорадочно вкалывает, не покладая рук. И в этом случае нужно было точно знать, по какому каналу или истоку плыть, и нельзя было садиться в лодку неподготовленным, ведь каждый неудачный заплыв и каждый час промедления означали существенные потери. Наверняка они оба часто об этом задумывались; это был самый распространённый вопрос в жизни рыбаков, обитавших в устье Дуная, но Аким не соглашался с предложениями и доводами Фирса, и лишь лаконично отвечал, что у них ещё достаточно времени. Он хлопал замёрзшими руками по ляжкам и устремлял свой взгляд вдаль на равнину, широко раскинувшуюся перед ними и сверкавшую в лучах солнца. Заросли кустарников казались маленькими, едва различимыми точками на фоне необъятных белоснежных просторов, а стволы тополей, словно испуганная толпа, разбегались во все стороны. Недавно перевалило за полдень, поэтому было неудивительно, что каждый уголок в округе освещался ярким светом. Спустя некоторое время Аким, видимо, хотел нарушить паузу и произнести что-то, пробормотал себе под нос пару слов, которые Фирс не понял, однако когда он его спросил, что тот сказал, Аким ответил, что ничего, это, мол, пустяки. Затем он побрёл дальше, всё время держась слева от Фирса, и хотя он молчал, казалось, что он постоянно прислушивается, пытаясь уловить и различить звуки где-то вдали. Когда Фирс склонился над кустом, в котором он обнаружил гнездо жаворонка и освободил его от снега, Аким стоял за ним с безучастным видом, кивал, поглощённый какой-то внезапной мыслью, высунув язык между зубами. Что же могло так резко омрачить его мысли, что он закрылся от всего происходящего вокруг и ушёл в себя? Они прошли ещё какое-то расстояние, но двигались медленнее и не придерживались направления; казалось, что ноги Акима становились всё тяжелее и всё глубже погружались в снег, и он совсем не стремился достичь цели.

Наконец он остановился и больше не шевелился, будто его ноги пустили в землю корни. Фирс обернулся к нему, спросил

непринуждённо, ничего не подозревая, не попал ли тот в яму.

— Нет, — поспешно ответил Аким, — но я дальше не пойду, знаешь ли, хватит с меня этой беспрестанной одышки, я пойду обратно, сейчас же пойду обратно.

Фирс на мгновение открыл от удивления рот, он ничего не мог понять. Он предложил Акиму дойти хотя бы до располагавшегося неподалеку озера, однако Аким отрицательно покачал головой, сказав, что его ничто не заставит идти дальше, но пусть, мол, Фирс ни в коем случае не меняет ради него свои планы.

— Я так никогда и не делаю, — прозвучал ответ Фирса. — Я сам смогу найти дорогу, но я не понимаю, что это вдруг на тебя нашло.

Тут Аким приблизился к нему с жестами, в которых чувствовалась какая-то странная церемонность, возбуждённо попрощался с ним, протянул на прощание руку и быстро пошёл прочь, ступая по собственным следам. Фирс продолжил свой путь, но всё же один раз обернулся, пожимая плечами, к Акиму и увидел, как тот поспешно удалялся, как его худощавая фигура прерывистыми движениями устремлялась и бежала всё дальше и дальше через мерцавшую бледно-голубыми красками равнину, словно какой-то невидимый враг гнался за ним по пятам.

Держа шапку из овчины в руке, Фирс пошёл более свободным шагом. Он наслаждался, ощущая, как воздух скользит по его коротко стриженым волосам. На мгновение солнце вышло из-за облаков, и его лучи озарили лицо Фирса таким ярким светом, что ему пришлось закрыть глаза от изобилия их сияющего блеска. Но это длилось не дольше, чем он думал об Акиме, и вот уже всё вокруг снова окрасилось в серые тона, словно ветер рассыпал на снегу тонкий слой пепла. Не прошло и четверти часа с момента странного расставания товарищей, как вдруг у него в ушах раздался звук — низкий, глухой и протяжный. Потом он стал затихать и напоминал отдалённую барабанную дробь, затем снова стал нарастать, будто где-то горланила пара пьяных. Фирс насторожился, осмотрелся, сделал ещё несколько шагов вперёд и заметил тень, серую массу, которая надвигалась на него. В следующую же секунду он понял, что это тёмное пятно приближалось с невероятной скоростью, что это были звери, выслеживающие добычу и готовые наброситься. Он рыскал

глазами по сторонам; недалеко от дороги возвышалось одинокое молодое дерево. Фирс тихо усмехнулся, свернул с тропинки и начал взбираться на холм по кучам пушистого снега к голому хрупкому деревцу.

Но прежде чем он успел ещё раз оглянуться, бешено мчавшаяся стая уже подобралась к нему на опасно близкое расстояние. Это были четыре волка, оскалившие пасть. Фирс даже мог различить их зубы, белые зубы, а от их неистового бега снег разлетался во все стороны, словно дым. Сделав несколько мощных прыжков, Фирс оказался у дерева. Первым делом он ударил ногой по стволу и сломал его. Он оборвал тоненькие веточки и бросил их позади себя. Стая немного замедлила шаги, но затем снова бросилась вперёд в его направлении. Фирс усмехался, он не шевелился и стоял, напряженно сгорбившись и прижав дубинку к телу с правой стороны, будто сам превратился в дерево. Стая разделилась, и один из волков бросился под ноги Фирсу, а другие атаковали его с двух сторон. Он выпрямился и замахнулся для удара, дубинка описала в воздухе дугу и угодила волку в череп прямо посреди глаз. Животное упало и не двигалось. Остальные бросились на него одновременно. Фирс так яростно размахивал дубинкой во все стороны, что она пролетала по воздуху со свистом, он треснул по лбу волка, нападавшего наиболее дерзко, затем нанес ещё один удар — и безжизненное тело животного опустилось на землю. Третьему, который уже начал пятиться, он попал в зубы, сразив его одним махом; последний, почуяв опасность, хотел убежать, но во время прыжка, сделанного в трусливой попытке спастись, Фирс настиг его, врезав ему по голове, и затем обрушил на уже шатавшегося волка последний удар, от которого тот упал замертво, будто ноги под ним расплавились. Одно из животных слегка зашевелилось, поэтому он стукнул его ещё раз. Затем он пнул его ногой в бок, но волк больше не двигался.

От мёртвых животных исходил едкий запах. Фирс про себя усмехнулся, вытянул шею, выпустил из кулака дубинку, упавшую к его ногам, и медленно вытер руки об телогрейку. Неужели это ветер так громко гудел в его ушах? Да и в висках немного стучало. Он какое-то время ходил туда-сюда между телами мёртвых волков, лежавших друг от друга лишь в нескольких шагах, остановился возле одного, пощупал его рассечённый

череп, задумчиво посмотрел на кровь, запёкшуюся между своих пальцев, и вытер её об мех животного. Похоже, это был ещё молодой волк, и вероятно поэтому Фирсу стало немного грустно, поэтому он засунул руку глубже в густой мех, словно поглаживая его. Разжёвывая во рту комочек снега, он размышлял, что же делать дальше. Для начала он собирался притащить одного из волков в город, а позже привезти остальных на санях.

Он связал животному задние лапы и поволок его за собой, бросив шапку возле оставшейся добычи. Он тянул его осторожно, потому что не хотел повредить мех. Только голова волка иногда с силой ударялась о бугры и ледяные кочки на дороге; казалось, что расстояние сейчас было больше, чем обычно, обманчиво удлиняясь из-за монотонного пейзажа. Его не очень заботило то, что он часто проваливался по колено в снег. Солнце ещё стояло высоко над равниной, застывшей в безмолвной тишине. Но ему нужно было торопиться, если он хотел справиться до вечера. Поэтому он ни на секунду не останавливался. И лишь тогда, когда он увидел покрытые льдом тропинки между избами городка, он дал себе передохнуть, затем поднял волка на плечо и так и нёс его до Вилково и до двора Мары, где он положил его перед порогом. Соседские собаки в жутком беспокойстве рвались к воротам и неистово лаяли. Мары не было дома.

Ещё по пути в город он решил, что сани для перевозки волков попросит у Пимена, поэтому он долго не мешкал, лишь пригладил разок, теша свое самолюбие, рыжую курчавую бороду, которая как никогда растрепалась и торчала во все стороны, и отправился дальше по замёрзшим каналам, пока не добрался до дома Гаши. Он постучал, но никто не открыл. Он снова постучал ладонью по деревянным доскам двери. Ответа не последовало, и внутри никто не пошевелился. Тогда он повернул ручку и зашёл в дом. Он с шумом споткнулся об железный кувшин, который покатился по глиняному полу. Ни души. Он осторожно открыл следующую дверь и увидел Гашу. Она лежала на печи, в которой давно потух огонь, только что проснулась и зевала, отчего её лицо казалось одной зияющей дырой с большими белыми зубами. Рядом с ней и по всей комнате валялись плоды айвы, под окнами лежали разложенные мужские штаны и сорочки, икона Василия Блаженного плавала вверх тормашками в бочке с водой.

Было такое впечатление, что Пимен и Гаша в гневе бросались друг в друга плодами айвы и образами святых.

Фирсу уже не раз приходилось наблюдать подобную картину. Много слов для осуществления своего замысла ему не требовалось, поэтому, будто ничего не заметив, он непринуждённо спросил:

— Пимен здесь?

Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Гаша резко поднялась, соскочила с печи, поправила перекрутившуюся на бёдрах юбку и подошла к нему.

— Фирс, — воскликнула она радостно, — Фирс, ты пришёл ко мне.

— Нет, — ответил он напрямик, — я искал не тебя. Я только хотел поговорить с Пименом, чтобы попросить у него сани. Мне нужны сани.

— Фирс, — улыбалась Гаша, — я ждала тебя несколько недель; наконец ты здесь.

Она подошла к нему почти вплотную, он сделал шаг в сторону и раздражённо сказал:

— У меня нет времени. Ты что, не понимаешь? Тогда дай мне сани, если Пимена здесь нет. Где он? За домом? Он мне срочно нужен, я не могу ждать.

Тут Гаша гордо подняла голову и со скрипом произнесла:

— Значит, ты пришёл не ради меня. Как только тебе что-то понадобилось, ты сразу нашёл сюда дорогу. Я должна дать тебе сани? Конечно, я только для этого и гожусь. А больше ты мне ничего не хочешь сказать?

— Нет, — ответил Фирс, — больше ничего. Но не задерживай меня долго, мне ещё сегодня предстоит долгий путь.

Она так глубоко вдохнула воздух, что её ноздри задрожали, и спросила:

— Ты идешь к Дуне? А сам воняешь, как животное, словно лиса или волк. Как только ты зашел в комнату, здесь стало невозможно находиться.

— Ты очень деликатна, — улыбнулся Фирс и добавил: — Дай мне сани.

Внезапно голос Гаши переменился, стал жалостливым и плаксивым.

— Ну, к запаху я могла бы привыкнуть, — сказала она

всхлипывая, — но ты так жесток со мной, Фирс, тебе совсем меня не жаль.

— Разве ты не понимаешь, — грубо прозвучал ответ Фирса, — сейчас мне нужны только сани, а больше мне с тобой говорить не о чем. Либо ты покажешь мне, где они, либо я ухожу.

Казалось, что лицо Гаши исказила судорога, когда она чуть ли не с ненавистью сказала:

— Я не могу одолжить тебе сани. Они не мои, а Пимен запретил мне раздавать что-либо без его ведома. Без его разрешения этот дом не покинет ни один гвоздь, ни одна щепка. В конце концов, он здесь хозяин.

Фирс засмеялся.

— Ну хорошо, — сказал он, — я поищу Пимена в трактире, чтобы попросить у него сани.

— Он тебе их не даст! — крикнула ему Гаша в лицо. Но Фирс лишь махнул ей рукой и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова.

До трактира было рукой подать, и Фирс проделал этот путь одним махом. Он шёл не по кладкам, а пробирался сквозь снег, не обращая внимания на кочки и бугры под ногами. Тут и там уже стали появляться слабые фиолетовые тени, выплывавшие из-за рыбацких домов. Когда Фирс зашел в помещение трактира, окутанное густым туманом, Пимен, выпивавший за одним столом с Савелом, сразу его заметил и, ехидно хихикая, сказал:

— Он забыл свою овчинную шапку у Мары. Только посмотри, что за рассеянный чудак.

В первую секунду Фирс не был уверен, сидел ли там Аким, который покинул его лишь час или, может быть, два назад, или же его брат, поэтому он подождал с приветствием, пока Савел сам с ним не поздоровался и пригласил присесть рядом с Пименом. Фирс отрицательно покачал головой и затем спросил:

— Вы не видели Акима?

— А что тебе от него нужно? — спросил Пимен.

— Да так, ничего, — замялся Фирс, — но мы сегодня шли вместе, а потом он оставил меня одного.

— Мы его не видели, — ответил Савел. — Кто его знает, он мелочный и жадный, словно он не мой брат; он заходит в трактир так же редко, как и ты.

— Я не ради него сюда пришёл, — пояснил Фирс. — Я как раз

шёл от Гаши. Мне нужны твои сани, Пимен, я хотел их одолжить только до вечера, но Гаша мне отказала. Она сказала, что не может их мне дать без твоего согласия.

Тут Пимен изумлённо выпучил глаза. Обычно он был боек на язык, но сейчас при всём своем желании не знал, что ответить. Сколько он себя помнил, это был первый раз, когда Гаша выполнила одну из его просьб.

— Она так и сказала? — переспросил он, не поверив своим ушам.

— Да, — ответил Фирс.

— То есть она отказалась дать тебе сани? — снова спросил он озадаченно.

— Да!

— Постепенно она всё же становится послушной, — сказал Пимен тихо и задумчиво, — в итоге из неё ещё может получиться порядочная женщина.

Затем он заговорил громче, обращаясь к Фирсу:

— Наверное, она меня неправильно поняла. Тебе она могла бы доверить сани. С тобой они были бы в надёжных руках. Конечно ты можешь взять сани. Но это может и подождать. Садись. Или лавка слишком узкая для твоей задницы?

Фирс окинул взглядом бородатые головы мужиков, однотипные и похожие, словно изготовленные по одному образцу и выраставшие из столов плотными рядами. У него перед глазами висела печатная копия картины, изображавшей красивую турчанку, но все его мысли были только о заснеженном поле, на котором лежали три волка и овчинная шапка. Поэтому он сказал Пимену:

— Значит, я могу взять сани. Я тогда передам Гаше, что ты мне их одолжил.

— Конечно, — ответил тот почти торжественным тоном и так громко, что все рыбаки за соседними столами могли его слышать, — конечно, ты можешь их взять. Ты же не чужой человек. Наконец-то она стала всерьёз принимать мои просьбы и хоть немного бережнее обращаться с домашним имуществом, эта Гаша.

Он повернул голову вправо и влево, убедившись, что все присутствующие услышали его слова. Видимо, для него это было очень важно. В ответ по трактиру пронёсся приглушенный

смешок. Фирс пожал руки Пимену и Савелу, повернулся к ним спиной, пока они что-то кричали ему вслед, и отправился назад к Гаше.

Когда он подошёл к дому, Гаша уже стояла во дворе перед санями. Похоже, она пожалела о том, что была с ним слишком холодна и за это время решила вести себя более дружелюбно и приветливо, потому что при первых же словах Фирса её словно подменили.

— Я не могла дать тебе сани без его согласия, — сказала она, произнося каждое слово медово-сладким голосом. — Поверь мне, я бы охотно их тебе дала, но я лучше тебя знаю Пимена, ты не можешь себе представить, как он грубо со мной обходится, если ему что-то не нравится.

Фирс потянулся к верёвкам саней и сказал сдержанно:

— Твой муж расхваливает тебя так, что слышит весь трактир.

— Он меня расхваливает? — воскликнула Гаша удивлённо.

— Да, — ответил Фирс и одним рывком потянул сани к воротам, по лежавшим поперёк доскам мостика и затем на лёд канала. — Поэтому не говори всегда так плохо о Пимене, — добавил он. — Конечно, он был удивлён, что ты отказалась одолжить мне сани.

Последние слова он произнёс скорее для себя, чем для Гаши. Он потянул за верёвку саней, будто взбесившийся жеребец, потому что слишком долго сдерживал своё негодование. Он начал бежать. Сани качались и прыгали, громыхали позади него, пока он мчался через город, вскоре оставив его позади. Через какое-то время ему стало тяжело дышать, поэтому он прекратил бежать и снова пошёл спокойным шагом, а перед его глазами безмолвствовала равнина, словно белый холст, на который художник нанёс несколько скудных мазков. Фирс шёл по своим следам, которые тянулись с двух сторон от продавленной телом волка борозды. Он едва успел проделать половину пути, как на землю спустились сумерки, которые закрались в каждую маленькую лощину на раскинувшихся просторах, под каждый куст. Наконец он увидел тёмные тела животных и лежавшую между ними дубинку. Окоченевшие тела волков, лапы которых торчали как старые, несгибаемые ветви, он погрузил друг на друга на сани. Между тем их вес увеличился, словно это были мешки, в которые кто-то подложил ещё камней. Он нашёл место,

где снег лежал гладко и по нему ещё никто не топтался, набрал его в ладонь, прижал к зубам и почувствовал, как в горло потекла освежающая холодная влага. Потом он ненадолго уселся сверху на волков, теребил между пальцами их уши, похожие на толстые пушистые листья, равнодушно и бездумно таращился в том направлении, где солнце погружалось за блеклую полоску горизонта. Затем он запихал овчинную шапку в карман, закинул верёвку саней себе на плечи и снова потащил их. Лапы животных ударялись друг об друга с глухим звуком, полозья саней проседали. Он почти не оборачивался к своей ноше, которую то и дело заносило вбок, упрямо двигался вперёд, в то время как колокольни и тополя Вилково практически слились с окутывавшими их тенями. Слабый свет угасавшего дня ещё брезжил далеко на горизонте, уходившим в бескрайнее небо. Когда немного спустя Фирс подошел к городу, всё уже погрузилось в призрачную тьму. Из окон изб пробивался слабый свет, было тихо, но вскоре во всех дворах, мимо которых он проходил, поднялся оглушительный лай. Некоторые собаки издавали протяжный вой. Воздух наполнился гнилым запахом, словно Фирс притянул в город гору серы, нечистот и падали.

Когда он затащил сани во двор Мары, он увидел, что та сидела на пороге, низко склонившись над лежавшим у её ног волком. Перед тем, как Фирс услышал её восторженные приветствия, ему показалось, что она что-то пробормотала на ухо мёртвому животному, приоткрыв ему обеими руками один глаз и заглядывая в него безумным взглядом.

— Ах, — кричала она вне себя и смеялась, — они все достались тебе. Акиму они были не нужны, поэтому он и бросил там тебя одного. Теперь он больше не будет носить сапоги из волчьего меха.

Она веселилась по-своему, носилась туда-сюда в порыве исступления. Её движения вдруг стали лёгкими и воздушными, будто с момента прибытия поверженных волков она превратилась в девочку, в ребёнка. Фирс повесил тела животных на крепкие ветви одного из деревьев, а Мара всё время крутилась рядом с добычей, охваченная лихорадочным задором. Она не отходила от волков до самой ночи, то и дело зарывала тайком лицо в их мех и хихикала, окутанная стоявшим в воздухе едким запахом.

Когда на следующее утро Фирс очнулся от глубокого забытья, в которое он, словно в колодец, провалился накануне, Мара уже вновь бродила от одного конца двора к другому, пристально уставившись на дерево, согнувшееся под грузом волков, кивала головой, бормотала что-то бессвязное, задумчиво покачивала головой. Скорее всего, она сама не осознавала, как часто вела себя подобным образом. Фирс знал её настолько хорошо, что больше не обращал внимания, когда она вела наедине с собой свой разговор, состоявший из бессвязных слов и воркующего хихиканья. Долго не раздумывая, он сразу же принялся снимать с животных шкуру. Сначала он заточил об камни нож и после этого приступил к работе. Мороз спал, хотя оттепель ещё не наступила. От лёгкости на душе Фирс даже посвистывал. В воздухе ощущалась приятная свежесть, и, закатив рукава, он вонзал нож в плотную шкуру волков, делал надрез и стягивал её несколькими движениями с тела. При этом раздавались скрипы и треск, будто кто-то сдирал приклеенный к доске холст. Он не особо переживал, если нож вдруг соскакивал и врезался глубоко в плоть. Кровь сочилась и медленно капала на чистый снег, казавшийся при дневном свете ещё белее, делала в нем красные ямки, прилипала и запекалась на руках и ладонях Фирса. Мара всё время держалась рядом, забирала у него нож, когда он его не использовал, залезая голыми руками под шкуру животных. Работа не составляла особого труда; все происходило так, словно это была игра.

Иногда Мара засовывала ногти в скользкие порезы на теле волков, коротая таким образом время. Затем она с нежностью притягивала голову Фирса к своим губам и тихо шептала ему что-то на ухо. Но он не понимал, что она пыталась ему сказать, и поскольку ему были знакомы её странные причуды, он просто снова забирал у неё нож и продолжал заниматься своим делом.

— Печень, — наконец произнесла Мара жадно, а из уголков её рта потекла слюна, — сердца волков, знаешь, это хорошее лекарство, они творят чудеса.

— Может быть, — ответил Фирс, не отрываясь от работы, — я об этом слышал.

— Слушай, — сказала она, и тут её глаза засверкали, а от внезапно нахлынувшего безумия перехватило дыхание. — Тогда

вырежь их для меня, их несложно найти, — сказала она ликующе. — Ты же разбираешься, где у них там что внутри, а я тебе помогу.

Фирс был в хорошем настроении, и ему хотелось выполнить это её желание, хотя ему не было дела до сердец и печени животных. Поэтому он вонзил нож в голые и покрытые рубцами тела волков и вспорол им брюхо. Затем он засунул руку по локоть в их внутренности, неприятно скользнувшие по его руке, решительно вытаскивал чёрно-синие ошмётки плоти и бросал их к ногам Мары, которая восторженно вскрикивала при виде каждого нового куска. Сорочка Фирса вся запачкалась, а на волосинках бороды висели слизистые капли. Но ему было всё равно, ведь по небу плыли тонкие прозрачные облака, а солнце щедро раздавало слабое, нежное тепло, даже если в это пока что было трудно поверить.

Вдруг женский голос окликнул его по имени, затем повторил его имя ещё раз, прежде чем Фирс успел вытянуть покрытую блестящей кровью руку из тела животного и обернуться к воротам. Он его сразу же узнал, этот беззаботный, кристально-чистый голос, голос Дуни. Она была так близко, как пролетавшая мимо его лица птица, но он не смотрел ей вслед, поскольку его резко наполнило чувство собственной ничтожности, что он даже сделал несколько шагов назад, пока девушка шла к нему по двору. На голове у Дуни был коричневый платок, на фоне которого её щеки выделялись особой белизной; её стройная шея выглядывала из расстёгнутого воротника телогрейки, а её непонимающий удивлённый взгляд был прикован к Фирсу.

— Кого это вы там забили? — спросила она боязливо, вытянув руку в неуверенном жесте.

— Волков он убил, четырёх волков, — хвастливо ответила Мара, в то время как Фирс, держа перед собой запачканные слизью руки, словно тяжёлую ношу, молча уставился в снег, лежавший под ногами девушки. Дуня не сразу нашлась, что сказать. Было впечатление, что она ищет что-то в его глазах, спрятавшихся под опущенными веками, в его лице, которое словно готовилось к обороне.

— Что случилось, Фирс? — спросила она с содроганием сердца. — Что случилось? Почему ты молчишь?

Вены на его висках набухли, он промямлил что-то, беспомощно и прискорбно улыбнулся, и его щёки покраснели от

стыда.

— Прости, — сказал он, — я не думал, что ты заглянешь.

И спустя мгновение он добавил:

— Мне нужно было снять шкуры, я не мог оставить животных там так висеть.

Вдруг он отчётливо почувствовал, как волчья кровь бежит по его пальцам, как она, словно едкая кислота, разъедает его кожу до самых костей.

— Не смотри на меня, — грубо набросился он, но всё же это прозвучало как просьба. Однако Дуня почувствовала, как её наполнило незнакомое ей прежде чувство радости, о котором не мог знать мужчина, запачканный по уши и униженно стоявший там, широко расставив ноги. Она сказала смеясь:

— Наверное, они на тебя напали, но я заранее должна была догадаться, что им не поздоровится.

А Мара хвастливо добавила:

— Он сильный, знаешь ли. Я это и Акиму сказала. Волкам следовало бы от него убегать.

Но Фирсу сейчас было не по себе, он бы с радостью с головой зарылся в снежные сугробы во дворе, чтобы Дуня больше не видела его в таком странном обличье. Стычка с волками как будто мгновенно стёрлась из его памяти, но он не знал, что рассказать девушке, которая хотела узнать подробности, не мог ничего сообщить даже в общих чертах, он только сгорал от стыда, так неожиданно его охватившего. Что же ему было с собой делать? На ум не приходило ничего, что помогло бы найти выход. У него рябило перед глазами. Неожиданно Дуня сказала:

— Солнце светит, как весной. Но мне нужно идти. После обеда мы ждём тебя у нас.

Она уже дошла до ворот, когда он наконец ответил:

— Я приду.

Язык у него во рту словно окаменел. Какой позор!

На какое-то время двор опустел, и всё же в его облике появились неожиданные перемены. На снег падали тёплые лучи света, которым он был не в силах противостоять, во всех уголках появились тёмные проталины, похожие на тени испуганных птиц, ярко-белый снег потускнел, таял, и вода сочилась тоненькими струйками. Кровь волков растеклась по этим подтаявшим прожилкам, окрасив их в малиновый цвет, который становился всё светлее, пока вода полностью её не смыла, и она бесследно растворилась в бежавших повсюду ручейках. Мара долго стояла на пороге и безмолвно смотрела на размякшие массы снега, в то время как Фирс снова вышел из дома, окунул свою запачканную сорочку в лужу, медленно выкрутил её, но при этом все его мысли уже были о предстоящем вечере в доме старика Калистрата.

— Ты не хочешь помыть здесь волчьи сердца? — крикнул он Маре, которая при этом вопросе бешено замотала головой и лишь немного позже задумчиво сказала:

— Ты ничего не понимаешь в этом, Фирс. Ты ещё ребёнок, глупый и наивный. Волчьи сердца нельзя мыть, нельзя ни в коем случае. Целебная сила в их крови. Что же помогает слабым детям окрепнуть, как не волчья кровь?

— Должно быть, ты права, — кивнул Фирс, — ты знаешь об этом больше, чем все колдуны в мире.

— Я знаю, — ответила Мара, которая снова ушла в себя и впала в состояние отрешённости, — я знаю, а ты забывчив, живешь, как тритон, как червь в айве.

Она медленно приоткрыла веки глаз, и больше ничего не говорила, но Фирс вдруг вспомнил о поставленных для осетров крючках и о далеком месте лова на льду Дуная.

— О, — воскликнул он и бросил сорочку Маре под ноги, — нужно проверить, можно ли ещё что-то сделать. За размышлениями я совсем забыл о других вещах. Все мысли были заняты одними волками — и Дуней.

После этого он побежал к воротам, разбрызгивая слякоть под ногами, преследуемый глухим клокочущим смехом Мары, который словно хотел вцепиться ему в спину. Но он уже забыл о веселившейся женщине и только бежал по рыхлому и мягкому снегу, по струйкам и ручейкам, которые искали себе путь и

собирались в лужи в ямках и канавках двора. Тут и там из домов и изб повыходили люди, пытавшиеся сделать сток для воды, но никто не знал, даст ли эта затея какой-либо результат, потому что вода скапливалась на глазах, и её уровень рос быстрее, чем люди успевали помешать этому. Фирс двигался дальше, и при каждом шаге брызги попадали выше колен. Под его ногами скрипели и покачивались кладки; церкви и Тудосе, помахавший ему с важным видом, уже остались далеко позади, но он лишь чувствовал, как в груди колотится сердце, будто стучащий по железу молоток. Чтобы сократить путь к реке, он пробирался сквозь мелкие ивовые заросли, прижимая их к земле, а по тонкому слою воды над ледяным покровом бежала лёгкая рябь, которую ветер гонял то в одну, то в другую сторону. Как поразительно сияло небо своей безбрежной голубизной! Огромное солнце, висевшее высоко и проливавшее на землю сладостные лучи, было похоже на улей, из сот которого, словно мёд, неиссякаемым потоком струилось тепло. Всё вокруг больше не сопротивлялось и покорилось его власти; трудно было представить, как такое стало возможно.

Ещё с берега Фирс начал напряжённо всматриваться вдаль. Там, возле места лова, он заметил фигуру, фигуру мужчины, худощавую и маленькую на фоне изогнутой линии горизонта. Кто же мог там ковыряться? Фирс долго не раздумывал, выдержит ли его лёд или нет, и, не упуская свою цель из виду, ускорил шаги в том направлении, всё дальше и дальше, хотя в сапогах уже было полно ледяной воды, которая доставала ему до щиколотки, когда при каждом следующем шаге его нога плюхалась в лужу. Сейчас он уже мог чётко разглядеть, что человек, стоявший там, рядом с колышками, к которым были привязаны тросы с крючками, мог быть только Аким или Савел. Однако Савелу подобная идея вряд ли пришла бы в голову. Ему было слишком удобно оставаться ко всему безразличным и абсолютно не свойственно пускаться в такие рискованные затеи. И потому это мог быть только Аким, коварная тёмная лошадка. Конечно, он вовремя вспомнил о снастях, о том маленьком состоянии, которого они стоили, и о белугах, которые возможно попались на крючок. Он был похож на крота, который неуклонно следует за своей добычей, прорывая себе путь. Видимо, он также заметил Фирса, безуспешно пытаясь развязать узлы тросов, и

наконец издал гневный крик, оглушивший Фирса, словно удар:

— Крючки! Ни одна душа об этом не думает, а между тем лёд тает, как жир на плите.

Его руки дрожали, пока он возился с узлами и сыпал проклятиями. Но когда Фирс уже подошёл к нему вплотную, он вдруг проглотил последние слова, больше ничего не говорил, боязливо щурился и затем обратил взгляд к лункам. Фирс начал дёргать колышек, потому что мокрый трос никак не отвязывался. В конце концов, ему это удалось. Рядом с ним молча стоял Аким, совсем растерявшийся от своей беспомощности. Его шатало, он теребил пальцами бороду, ковырялся в ней, ожидая, пока Фирс вытащит крючки. В следующее мгновение он справился и с этим и достал на поверхностность лосося длиной в аршин, которому здесь было так же комфортно, как и подо льдом, потому что уровень воды за это время поднялся ещё больше. Аким двинул лососю носком сапога по широкой пасти. Но рыба не переставала биться и трепыхаться всем телом. Тогда Аким стал бить её по жабрам деревянным колом, который его товарищ тем временем выдернул из земли, пока она не притихла, перестав бахвалиться своим мятежным упорством и несокрушимой силой. Фирс погрузил на себя крючки и тросы, а Аким держал в руках сопротивлявшуюся рыбину, пока они брели обратно по воде, которая без конца прибывала. Аким торопился, временами волоча лосося рядом с собой, схватившись за его пасть, как за ручку. Он бил размокшими сапогами рыбу по глазам, когда ему надоедало, что она брызгается. Фирс шёл за ним медленнее, потому что его ноша была гораздо тяжелее и неприятно давила на плечи. Один раз ему пришлось её сбросить. Широко расставив ноги, он стоял в воде, которая была уже повсюду, и лёд под ней стал очень скользким, из-за чего каждый шаг требовал особой осторожности, разминал руки, а вокруг него в воде повсюду отражалось безоблачное небо. Какой-то подозрительной была эта чистая синева, раскинувшаяся над окрестностями Вилково, а тело Фирса возвышалось на её фоне как дерево, на ветвях которого могли бы гнездиться уставшие от долгого перелета беркуты и вороны. Затем он побрёл дальше под гнётом своей тяжёлой стальной ноши, оберегая пальцы от заточенных остриев крючков, которые за всё цеплялись.

Аким исчез за крутым склоном, по которому вода медленно

текла в русло Дуная, будто прорвав запруду. Неужели где-то под ним затрещал лед? Какой-то странный шум раздавался вверх по реке и разносился эхом. Это было похоже на звучавшие вдалеке выстрелы орудий. Фирс уже повернул к городу и думал, что наконец-то выбрался из противной сырости, хотя при каждом шаге он все ещё наступал в слякоть и лужи от растаявшего снега. Он должен был вернуть крючки в дом старика Калистрата и мысленно представлял перед собой пойманного лосося, Дуню и Акима. У него было такое ощущение, что он направляется в место, согревающее своим мягким теплом и обеспечивающее защиту, поэтому, когда он, с трудом преодолев путь, постучал в дверь дома, он посмотрел в лицо Дуни совсем не так, как всего несколько часов назад, когда вспарывал брюхо волкам во дворе Мары. Сейчас всё воспринималось не так остро, сейчас он мог расслабиться и грызть тыквенные семечки, выплёвывая скорлупки вместе со своей усталостью в пустую ладонь. Акима уже не было дома, он слонялся где-то на окраине городка. Лосось лежал в передней, и никому бы не пришло в голову отнести его на рыбные склады для продажи, ведь всем хотелось хоть раз полакомиться великолепной рыбой.

Тёплый вечер окутал таявшие каналы, заросли деревьев и плавни дельты, и даже птицы не могли поверить в ту лёгкость, с которой тепло несло их по воздуху, потому что всё казалось обманом, скрывавшимся за привлекательным обличьем. Рыбаки как обычно играли в кости в трактире или, подготовив запасы водки и чая, сидели дома с жёнами и детьми. Талая вода стояла и текла отовсюду на глазах удивлённых жителей. Но в предыдущие годы всё происходило точно так же. Казалось, все уже давно к этому привыкли, а наступавшие сумерки медленно и осторожно проникали в вены и одурманивали чувства, словно маковая вода. Савел был у Гаши, пока Пимен коротал время в хижине молодой вдовы рыбака, предаваясь рассказам о фантастических приключениях своей жизни, которые он дополнительно снабжал остроумными комментариями и глубокомысленными изречениями. Мара подозрительно таращилась на уйму воды, скопившейся перед её двором, бегала босиком туда-сюда с лопатой в руках, пытая вырыть сток для воды. Однако чем больше она возилась в этой слякоти, чем больше ковырялась и черпала воду, тем больше становилось озеро, в которое коварно

превращались канал и дорога перед её окнами. Выглядело ли когда-нибудь Вилково подобным образом в период таяния снегов? Окоченевшие руки Мары тряслись, она хмурилась, отчего её лоб покрывался морщинами. Перед деревянным забором вода доставала ей почти до колен.

Только Богу известно, где шлялись Аким и монах Пахом, но даже Тудосе, чьё привычное местонахождение было известно каждому, пренебрёг своим долгом и обязанностями блюстителя порядка и топтался теперь на пороге одного из близлежащих домов, поскольку площадь в центре городка полностью залило водой, в которой плавали обломки льда, пригоняемые ветром в направлении церкви. Сапоги Тудосе промокли внутри не меньше, чем снаружи. Он делал и терпел все, что полагается человеку на его должности в подобного рода случаях, несколько часов простоял в мутной воде и гордился тем, что бургомистр видел его за этим занятием. Это требовало больших усилий над собой. Сотни раз он внушал себе, что его ступни не замёрзли, хотя они уже посинели благодаря его самоотверженному выполнению долга. Он опёрся своим обессиленным и измученным телом о дверную раму и пытался стоять ровно, напоминая образ святого мученика.

Откуда только берётся вся эта окаянная вода, спрашивал он себя. Эта подлая вода скоро достигнет и этого порога, и тогда ему придётся, шлёпая по ледяной жиже, искать себе новый пост наблюдения. Может, церковная лестница? Но там он будет слишком далеко от места, где его привыкло видеть начальство. Ему было зябко, озноб пробирал до мозга костей. При этом он думал о том, что возможно, кто знает, Гаша всё же поверит его клятвенным заверениям и наконец ответит взаимностью на его неоднократные смелые попытки добиться её расположения. Быть не только постоянным поверенным в её делах и историях с другими, а хотя бы раз самому попробовать то, чем так часто могли наслаждаться иные счастливчики! Он искоса посмотрел на высокие каменные ступени церковной лестницы, такие сухие и заманчивые, прямо настоящий рай, островок безопасности, Ноев ковчег для его жутко продрогшего и промокшего тела. Неужто никто кроме него не видел, что здесь творится? В некоторых местах вода уже доходила до кладок. Разве не должен он был собраться с силами, чтобы добраться до городской

администрации, невзирая на все попытки наводнения помешать ему? Разве не входило в его обязанности доложить, отдавая честь, властям о тех жутких вещах, которые здесь творились и о которых все вероломно умалчивали? Однако его работа заключалась лишь в том, чтобы смирно стоять и тихо моргать. Человеку его профессии не подобало принимать такие своевольные решения. А вдруг его в итоге вообще уволят за подобную дерзость? Что это он себе позволяет, а? Он обдумывал то одно, то другое, но его так сильно клонило в сон, что он с трудом мог собрать в кучу мысли, роившиеся в его голове. Он мучительно мечтал о кипящем чае, большой горячей буханке хлеба с блестящей золотистой корочкой и белым, нежным, как грудь женщины, мякишем. Вдруг раздался шум, напоминавший далёкие раскаты грома, но Тудосе подумал, что ему это только послышалось, что, возможно, ему просто померещилось, поскольку спустившиеся на землю сумерки словно придавили всё вокруг своей тяжестью, что даже его промокшая до нитки одежда казалась ему изнурительной ношей. И хотя он продолжал пребывать в неуверенности насчёт услышанного, в этот раз острый слух его всё-таки не подвёл.

Намного ниже Вилково, там, где Килийское гирло образовывало несколько плавных изгибов между защитными дамбами, оттепель, словно острыми зубами, вгрызалась в дунайский лед и, ломая его с нараставшей силой, гнала вниз по течению к устью реки. Освободившиеся потоки воды волокли за собой льдины, которые наползали друг на друга, опрокидывались, сталкивались, ударялись краями, крошились, дробились. Происходящее напоминало процесс перемола в огромных ступках и мельницах. Тяжёлые глыбы расталкивали всё, что попадалось у них на пути, большие льдины измельчали в порошок более лёгкие, взбирались на своих жертв, ехали на них верхом, бешено раскачивались, готовясь к новому прыжку, чтобы прорваться дальше. К шуму постоянно примешивались беспокойные звуки, что-то скрипело, свистело, выло, кричало. Может, эти звуки издавали бочки и корабельные цепи, оставшиеся в воде? Шум словно куражился, позаимствовав у небес их неприкосновенное право веселья для своей гнусной затеи, он усиливался ещё больше, превращаясь в громкий рёв и грохот. Кто это там прыгал между горами льда? Несколько

молодых ив, примостившихся прямо у врезавшегося в русло реки берега, повалило острыми обломками льда и вырвало с корнями вместе с питавшим их куском земли, в которую они вцепились несколько лет назад. Камни перекатывались с мелких участков русла к его наиболее глубокой середине, а рыбы — сомы, севрюги, белуги, лососи, лини, окуни, стерляди, карпы, щуки и судаки — просыпались, испуганно отскакивали, плыли за течением, зарывались в мягкое глинистое дно. Только самые отчаянные и неопытные среди них, попадая между острыми осколками льдин, получали раны или их разрезало надвое, и они даже не успевали почувствовать боль, а яркая, жидкая кровь стекала в колыхавшуюся воду, растворялась в ней, окропляла алыми каплями ледяные глыбы, которые начинали ярко сверкать под потускневшими лучами солнца. Льдины громоздились друг на друга, превращались в стены и валы, стойко держались, упрямо сопротивлялись, но вода не отступала. Она приносила новые льдины, целые ледяные скалы, и они с грохотом ударялись о стену. Всё кряхтело и скрипело. Но летавшие вокруг чайки ничего не замечали, ничего не мешало и голубям, отливавшим металлическим блеском и деловито ходившим по камышовой крыше одной из близлежащих рыбацких изб. Какая-то женщина растерянно смотрела на вздымавшиеся и уходившие под воду ледяные сооружения, а мужчина рядом с ней прокричал что-то в безмолвную пустоту сумерек и убежал. Пока что лучи света игриво отражались в гранях ледяных глыб, словно это была невинная и озорная забава, пока что вода не тронула наносные земли вокруг, пощадила невысокие склоны и земляные валы многочисленных островков, не подмыла и не повредила ни одну стену дома, согнув её пополам, как лист бумаги. Казалось, что даже шум на короткое время затаил дыхание и взял паузу. Но затем он снова усилился, и массы льда принялись крушить всё, что попадалось у них на пути, уничтожали все препятствия, куски льда, деревья и мёртвых рыб, которые поспешно приносила река на своей необъятной спине. Когда же эта масса приблизилась к Вилково, она немного присмирела и двигалась всё медленнее и медленнее, сливаясь с талой водой, стекавшей с дорог и каналов большого рыбацкого городка.

Снег, растаявший перед дверью Мары, нашёл путь к тайным потокам грунтовых вод Дуная, влился в них, и его уносило без

всякого сопротивления. На нижней ступеньке церковной лестницы виднелись маслянистые тёмно-коричневые пятна нефти, переливавшиеся разноцветными красками, но Тудосе забрался уже на следующую и, как часовой, мерил её шагами с одного конца в другой, потому что не хотел уснуть, решив терпеливо ждать на своём посту, пока начальник не освободит его от выполнения служебных обязанностей в силу сложившихся обстоятельств. Он бы с огромным удовольствием растянулся сейчас перед дверью церкви и видел сны, позабыв обо всей этой воде. Однако не было ли всё происходившее вокруг только лишь странным сном? Он присел на корточки и окунул пальцы в слякоть, поднял руку к подбородку и бесшумно почесал щетину. Вдруг его охватил ужас, в котором он увяз, как в болоте, беспомощно размахивая руками. Он размышлял, закричать ли ему. Но тогда люди смеялись бы над ним, как над трусом. Нет, нужно было придумать другой способ связи. Тут он вспомнил о свистке, который висел у него на груди на зелёной верёвочке. Он решительно засунул его между окоченевшими губами и подул в него. Воздух рассёк громкий, протяжный свист, прозвучавший далеким эхом. Он засвистел снова и продолжал свистеть что есть мочи. Из соседних домов и дворов начали выходить сонные люди, они рассеянно и удивлённо жестикулировали, указывая на воду, проникавшую в их жилища.

— Тудосе, — кричали они испуганными голосами, — ты можешь нам помочь? Кто же теперь займётся отводом воды? Тудосе, ты свистишь, как сумасшедший. А ты знаешь, что нужно сделать для того, чтобы вся эта уйма воды стекала в большой канал?

Тудосе ответил не сразу. Нет, он не разбирался в этом, но без долгих колебаний его сапоги плюхнулись со ступеньки церковной лестницы в мутную воду. Он был преисполнен благих и честных намерений. Он полагал, что успокоит этим население городка, когда сделав несколько шагов, сообщил, что немедленно отправится к властям, чтобы доложить о наводнении.

Дом старика Калистрата стоял в находившемся на возвышенности квартале города, и когда начало вечереть, вода все ещё стекала из его дворика в узкий канал, тянувшийся как жёлоб вдоль ближайшей кладки. Некоторое время здесь не было видно никаких следов наводнения, затопившего остальные части

Вилково, пока перед Очаковским каналом не начала нагромождаться новая ледяная стена, массивная и широкая, похожая на вздымавшуюся из воды гряду холмов. Эта прозрачная стена могла устоять против любого удара. Из неё торчали прибившиеся тонкие стволы деревьев, голые и жалкие, с ободранной корой, словно выросшие из этой ледяной почвы, а погнутая ржавая жестяная банка застряла между выступавшими острыми льдинами, напоминавшими красивые неприступные башни, которые овевал ветер. Несколько рыбаков, напуганных прибывавшей в камышах водой, видели эту стену, прежде чем в ужасе, с трудом переводя дыхание, помчались назад в город.

Среди них был и Аким, который пытался избегать присутствия Фирса после того, как они принесли назад снасти, и бродил по ледяной воде в направлении раскинувшейся вниз по течению дельты. Он был достаточно умён и сразу понял, какое зло таила в себе эта ледяная стена, но стоял, оцепенев, будто что-то сковало его движения. Он долго размышлял. Он надеялся, что его подозрения всё-таки не оправдаются. Возможно, стена в конце концов не выдержит и сломается. Вода проскользнёт повсюду, впитается в илистую почву и разольётся по необъятной равнине. При такой большой протяженности уровень воды будет подниматься очень медленно. Люди будут спасаться, Дуня, Савел и старик Калистрат, Гаша и Пимен не будут просто стоять и смотреть, как надвигается наводнение. Он не остановится ни перед чем, попытается сделать всё возможное, даже если эти потоки воды будут ему препятствовать. Они не были настолько всемогущими, чтобы отобрать у него его тайные мысли и остановить биение тягостно щемившего сердца в его груди. Это сердце пряталось глубоко внутри под рубахой цвета смолы, словно дикий зверь в густой чаще, и боялось дневного света. Ни поднявшийся ил, ни потоп были не в силах ему навредить. Погружённый в такие мысли, Аким медленно брёл вперёд по воде, окружавшей его со всех сторон. Иногда его сапоги застревали в размякшей земле, он с трудом вытаскивал ногу, осторожно делая следующий шаг.

Наконец он добрался до своего дома. Он кряхтел, пот лился по его вискам, к которым прилипли мокрые пряди волос. Его колени тряслись от усталости, брюки промокли до нитки, а в рукавах вода хлюпала, как в полном ведре. Он ждал в передней,

пока Дуня не принесла ему другую одежду, убрал со лба мокрые пакли и пригладил волосы на вспотевшей голове. Затем вышел Фирс и спросил его, действительно ли снег растаял настолько, что нужно было идти по пояс в воде, заметив, что в последние годы подобного не случалось, хотя Вилково никогда не отличалось сухостью в этот период.

— В этот раз всё по-другому, — ответил Аким спокойно, но с горечью в голосе, — всё не так, как ты думаешь. То, что мы видим перед окнами и в каналах, это не талая вода.

Дуня засмеялась, и вдруг встретилась взглядом с глазами брата, которые безжалостно впились в неё, словно острые стальные иглы.

— Нет, это действительно не талый снег, это воды Дуная. Несколько часов назад он вышел из берегов. Только Богу известно, что он ещё может натворить.

В его словах ощущалась какая-то скрытая угроза и свойственная ему язвительная непреклонность, он посмотрел на свои толстые, почти квадратные ногти и спустя несколько секунд напряженного ожидания добавил:

— Плохи дела в Вилково. Можно сколько угодно грызть тыквенные семечки, развлекаться с бабами или играть в кости в трактире — в Вилково дела плохи. Я многое увидел там, за городом, где начинается Очаковское гирло. Нужно подорвать лёд. Тогда, возможно, и удастся что-то уберечь. Но я не хотел этим сказать, что ледяная стена не может разрушиться сама, без людского вмешательства.

С этими словами он уселся на корточки в углу комнаты, держа перед собой испускавшую пар чашку, которую протянула ему Дуня, время от времени попивал из неё, набирая полный рот, и жидкость медленно текла по его горлу. От горячего напитка тепло постепенно растекалось по всему телу, действуя как целебное лекарство. Он чувствовал это тепло, отдавался его власти, но при этом ничто не изменилось в его взгляде, скрытном и настороженном, который был постоянно обращён к Фирсу и Дуне.

Немногословная речь Акима вселила в них страх. Они притихли, а старый Калистрат несколько раз приставал к ним с расспросами, пока, наконец, узнал из невнятного рассказа дочери о новостях, которые принёс Аким. Необходимо было

спокойно проанализировать сложившиеся обстоятельства, прежде чем принимать какие-либо решения. Они спрашивали друг друга, куда подевался Савел, этой беспечный шалопай. Он мог бы помочь притащить лодки, но его как всегда не было там, где в нем нуждались. Он относился ко всему с лёгкостью, словно к смене игры, при которой все беседовали и смеялись, и воспринимал вещи серьёзно, только если в ходе происходящего с кем-то что-либо случалось. Но стоило ему порезать палец или мошке попасть ему в глаз, как он тут же требовал к себе сочувствия и внимания. Вот и сегодня ему было наплевать, что все они могут утонуть, как котята в бочке, прежде чем он вернётся домой. Не то чтобы старик Калистрат и Дуня сильно о нём беспокоились, но всё же им его не хватало, потому что эта безмолвная тишина, охватившая их обоих не меньше, чем Фирса, порождала в головах незнакомые им прежде мысли, а неопределенность рисовала в воображении различные сценарии, хорошие и плохие.

Предварительно не договариваясь и поняв друг друга без лишних слов, они все одновременно пошли к двери и вышли во двор, который уже окутали вечерние сумерки; старик шёл впереди, накинув на плечи пеньковое покрывало, остальные за ним. В более защищенных местах и вокруг тощих стволов некоторых фруктовых деревьев ещё лежали кучки снега, который спустившиеся тени окрасили в темно-синий цвет. Струйки талой воды стекали в направлении деревянного забора, а набухший канал перед ним непривычно медленно нёс свои тёмные воды, подмывая расположенные в низине дворы. По каналу плыла бочарная доска, и вода принесла её прямо к ногам Дуни. Фирс схватил деревяшку и неожиданно сказал:

— Мара совсем одна.

Было что-то торжественное в его голосе, когда он произнёс эти слова, Дуня сразу всё поняла и ответила:

— Я тебе помогу донести лодку к воде. Мы пока что останемся здесь, а ты тем временем можешь попытаться добраться до дома Мары. Может, и Аким хоть раз соблаговолит помочь, чтобы было легче.

Старик Калистрат внезапно стал очень молчалив, отчего даже казался Фирсу немного странным. Он ничего не посоветовал, сказал только, что подобное уже происходило пятьдесят лет

назад, но с тех пор ни разу не случалось. Он нахмурил густые брови и три раза перекрестился.

— Тут никакой силы не хватит, — пробормотал он немного погодя. — Кажется, что дома вокруг нырнули в воду и спрятались под ней, настолько они маленькие и поникшие.

В воздухе потянуло холодом, ветер ещё сильнее развевал их одежду, проникая под платок Дуни и пеньковое покрывало на плечах Калистрата. Они вытащили лодку по брёвнам из сарая, и оказавшись во дворе, она легко скользила по снегу, поэтому Фирс без труда дотянул её до канала. О помощи Акима они даже и не вспомнили. Пусть сидит в своей комнате в унылом одиночестве, погружённый в мрачные раздумья. Видимо, он не нуждался в их присутствии там внутри, и его не очень заботили их старания. Кто знает, может, он заснул или, согревая окоченевшие пальцы на груди под рубахой, украдкой подсматривал в окошко?

Разворачивавшиеся события требовали энергичных действий, и Фирс осознавал это. Дуня бегом принесла весло, и он оттолкнул от берега маленькое чёрное транспортное средство, помахал на прощанье и вскоре скрылся из виду. Льдины с грохотом ударялись о деревянную лодку, которая с трудом продвигалась вперёд, нередко застревала, неожиданно попав на мелководье, потому что даже при всей осторожности больше нельзя было различить, где заканчивались глубокие каналы и начиналась затопленная водой земля. Перед некоторыми избами метались туда-сюда по кругу привязанные на цепь собаки, а бурлящая вода доставала им почти до боков. Сумерки уже сгущались, и местами над каналами стелился туман, похожий на пух, но пока что Фирс ещё мог чётко различать все предметы на своем пути. В центре городка как обычно мерцали несколько тусклых керосиновых фонарей, а ему навстречу плыли две другие лодки. Приглушённые мужские голоса прокричали слова

приветствия. В первой лодке на корме сидела молодая женщина и держала на руках новорождённого телёнка, с материнской любовью прижимая его к коленям, рядом с ней возвышалась фигура мужчины, управлявшего лодкой, а впереди сидел старик, который всё время крестился, широко разводя руки, и целовал большие деревянные иконы в позолоте, которые из всей домашней утвари он спас в первую очередь, потому что сегодня особенно верил в их чудотворную силу. Время от времени он невнятно бормотал какие-то слова. При этом телёнок поворачивал шею и удивлённо смотрел на него.

Во второй лодке Фирс разглядел городского голову и Тудосе. Оба настойчиво расспрашивали его, не заметил ли он по пути чего-либо подозрительного и как он оценивает нынешнее положение. Фирс засмеялся:

— Подозрительное? Вилково утопает в воде. Это уже больше не секрет.

Затем, проплывая мимо них, он ещё сообщил им о том, что он узнал от Акима о ледяной стене перед Очаковским гирлом.

— О, — воскликнули любознательные чиновники, оба открыв рот, — о, это плохо.

Городской голова сдвинул со лба шляпу, которую он надел сегодня вместо русской фуражки в порядке исключения, потому что обычно делал это только по праздникам, в то время как Тудосе так энергично размахивал своей резиновой дубинкой, что она пролетала по воздуху со страшным свистом. Когда Фирс в своей лодке уже удалился от них на некоторое расстояние, городской голова прокричал ему вслед:

— Я вспомнил. У нас в городе совсем нет взрывчатки. Ни грамма, ни даже крупицы. Кроме того, такие вещи — опасная штука. Не хотелось бы присутствовать при этом, ведь Бог знает что может случиться. Возможно, будет достаточно взять бочонок бензина в жандармерии. Его можно было бы отвезти и поджечь возле ледяного вала при помощи фитиля.

— Прекрасная идея! — перебил его Тудосе. — Только господин городской голова мог додуматься до такого. Я не перестаю Вам удивляться, ещё никогда я не встречал такого проницательного городского голову, а я, нужно признаться, многое повидал на своем веку.

Он прикусил губы и немного погодя задумчиво сказал, в то

время как вёсла сильно ударялись о глыбы снега и льда:

— Но я немного боюсь этой наступающей ночи. Обычно я не испытываю страха, когда стою один на своем одиноком посту в центре города, но сейчас мне многое кажется жутким и зловещим.

— Ты трус, Тудосе, — неожиданно крикнул ему в лицо разгневанный городской голова, хотя для гнева не было видимых причин, хотя, возможно, он так сделал потому, что хотел таким образом порисоваться перед Фирсом, который, однако, совсем не обратил внимания на его слова, потому что был полностью поглощён управлением своей лодкой. Иногда вокруг носа лодки хлюпало, будто она наконец пробила себе путь, иногда в бесконечности наступающей ночи эхом раздавался женский голос, повторявший снова и снова одни и те же слова:

— Иван, Иван!

На одной крыше мяукала промокшая кошка, и её глаза светились светло-зелёным цветом навстречу Фирсу, тень которого усердно склонилась над водой, застыв в одной позе.

— Эй, эй! — вдруг прокричал чей-то голос из раскрывшегося с шумом окна, а за ним последовал радостный смех, к которому примешивались плаксивые и повизгивающие нотки. Звук раздавался из дома Пимена. В освещённую, обрамлённую синими шторами квадратную комнатку выскочили Гаша и Савел, а хозяин дома, стоя вплотную позади них, отчаянными движениями пытался протиснуться между ними. Он как заяц скрёб их по спине лапами, дёргал и теребил их, но оставался там, где и был, и никто не обращал внимания на его нытьё.

— Эй, — кричал Савел, — глухая тетеря, делаешь вид, будто нас нет на свете, а у Гаши залило водой все глиняные полы в доме. Прямо всемирный потоп. Гаша совсем растерялась и не знала, что делать со всей этой водой, а я пришёл ей на помощь, доброй женщине. Забери нас отсюда и отвези в более сухой квартал или к церкви.

Фирс поднял глаза от весла и прекратил грести, лодка проплыла ещё несколько метров по усыпанной здесь многочисленными льдинами воде и потом остановилась.

— Мне сейчас не до этого, — ответил он. Вас трое, а Мара одна, и неизвестно, сможет ли она обойтись без моей помощи. Она довольно глупа.

— Как, ты спокойно оставишь нас здесь тонуть, Фирс? И как ни в чём не бывало поедешь дальше, словно всё это только шутка? — бросила ему в ответ Гаша.

Тут голова Пимена протиснулась между плечами Савела и Гаши, его рот открылся, как зияющая дыра, и прокричал:

— Вот Савел — настоящий друг. Он думает не только о себе, он сразу откликается, если нужно прийти на помощь. Когда я вернулся домой, он уже был здесь и хлопотал, независимо от того, нравится ему это или нет, вычёрпывал воду и затыкивал щели в дверях мешками, чтобы вода не проникала внутрь. Да, Савел настоящий друг. Не то что ты.

От возбуждения у Пимена спёрло дыхание, и его голос резко оборвался и затух, словно сгоревший дотла хворост.

— Фирс, — послышался голос Гаши, — Фирс, ты же славный малый. Не слушай Пимена, он просто иногда забывается. Фирс, ну куда ты так безрассудно торопишься, давай, зайди к нам. Возможно, ты сможешь дать нам мудрый совет.

Её голос звучал протяжно, как нежная колыбельная, пытаясь его удержать своим соблазнительным теплом.

— Ну, давай же, Фирс.

Но тот, к кому она обращалась, лишь молча стоял в лодке и не двигался. Тут Савел вновь сказал со смехом:

— Фирс, ты собираешься плыть дальше только потому, что в действительности не знаешь Пимена. Когда он наконец вернулся домой и застал меня там, он боялся оставаться в доме один с Гашей, он страшился наводнения. Поэтому он уговорил меня провести здесь ночь. Печь, как он полагает, достаточно широкая и длинная для троих. А вокруг нас в воде будут плавать, подобно разбегающимся во все стороны лодкам, вёдра и миски. Передай это отцу и сестре с братом, если ты ещё будешь сегодня к нам возвращаться, чтобы они знали, где я нахожусь. Я не смог найти в себе сил, чтобы отказать Пимену в этой просьбе. Он так жутко боялся, бедняга, даже сам позаботился о приличном ужине.

— Но на печи хватит места и для тебя, Фирс, — щебетала Гаша, даже сейчас веря в силу очарования своих глаз. — Ты должен зайти, — добавила она многозначительно.

— Я беру свои слова обратно, если ты зайдешь, — уже заверял его даже Пимен, умоляюще подняв руки над головой жены. — Ты хороший человек, честное слово, а будешь ещё лучше, если

зайдёшь к нам, — продолжал Пимен свой словесный поток. — Ты можешь заплыть с канала прямо к нам во двор, как из устья Старостамбульского гирла в открытое море.

При этом глаза Пимена засияли от восторга, потому что он, непризнанный писатель, снова почувствовал себя в своей стихии, предаваясь неудержимому полёту своей фантазии.

Фирс даже позабыл ненадолго о своём срочном деле. С улыбкой на лице он все ещё смотрел в оконное отверстие, напоминавшее маленькую сцену кукольного театра. Дело не в том, что Гаше удалось удержать или полностью приковать его внимание своим щебетаньем. Для этого она напрасно старалась. Скорее всего, он просто забыл на мгновение об этом вечере и угрожающей опасности, таившейся там, в ледяной воде, отбросив эти мысли, как тягостную ношу. Здесь на него внезапно нахлынуло веселье, которого он никак не ожидал и которое пришло само по себе, будто открыв для него возможность заглянуть в находящийся по соседству, но совсем непривычный мир. Не прошло и четверти часа, но ему показалось, что он уже довольно долго слушает эту праздную болтовню.

— Вы и без меня справитесь, — сказал он коротко, — у меня сегодня ещё есть дела.

— Неужели ты останешься глух к нашей беде? — попыталась ещё раз удержать его Гаша растроганным голосом.

На это Фирс громко рассмеялся:

— Вода повсюду, а не только в вашем доме. Вопрос лишь в том, кто и как с этим справляется.

Гаша спросила обиженным голосом:

— Это всё, что ты можешь нам сказать?

— Всё. Пока что я больше ничего не могу сказать, — ответил Фирс, и поскольку на мгновенье в разговоре возникла пауза, он воспользовался этой возможностью, чтобы пожелать им доброй ночи, и сразу же принялся грести дальше. Пимен рассерженно бросил ему вслед несколько недовольных слов.

Туман сгущался вокруг него пушистыми хлопьями, и темнота становилась всё тяжелее, всё менее прозрачной. Ему подмигивали маленькие огоньки, но при этом не освещали ему путь. Весло часто цепляло дно, осколки льда летели ему в лицо, которое застыло в неподвижности. Так он постепенно двигался вперёд и наконец добрался до дома Мары, где непроглядная тьма

сливалась с поверхностью воды. Он провёл лодку через ворота, нижняя часть которых погрузилась в воду. Вода здесь доставала почти по пояс, и лишь несколько деревьев торчали из неё, в отчаянии размахивая ветвями. В доме не было видно ни одной горящей свечи, ни одного мерцающего огонька. Только собаки, лай которых был ему незнаком, дико разрывались внутри дома, так что он какое-то время медлил, прежде чем спрыгнул из лодки в ледяную сырость и с трудом открыл дверь из-за сопротивления воды. Здесь также царила кромешная темнота, не светилось ни одного огонька, и было слышно только лай собак, раздававшийся из задней части дома. Он услышал какое-то бряцанье, испуганные взмахи крыльев. Он окликнул Мару по имени, но ответа не последовало. К счастью, у него были с собой спички, которые он неуклюже вытащил из нагрудного кармана сорочки. Его неловкие пальцы обращались с ними так бережно, будто с хрупкими фарфоровыми фигурками. Спички также промокли, но в конце концов одна всё-таки загорелась.

Он увидел Мару в жёлтом свете, наполнившем затопленную комнату и растворившемся между стенами и водой. Она сидела на корточках, подтянув к себе колени, смотря на него неподвижными, как после долгого сна, глазами, на большом сундуке, который она затащила повыше на кровать, чтобы обезопасить себя от прибывавшей воды, и это странное сооружение возвышалось теперь посреди затопленной комнаты. Скрипящий, будто из рупора, звук вырвался из её груди; по обеим сторонам от неё лежали две старые, огромные, как медведи, собаки, их шерсть скомкалась, запачкалась глиной, в неё забилась солома, а рядом сидел белый голубь и куры. Животные нехотя пошевелились и посмотрели на незваного гостя, нарушившего их покой и вторгшегося в их сухое царство. На спину Мары была накинута лохматая овечья шкура, которую Фирс обычно использовал в качестве одеяла. Он не сразу понял, что он увидел перед собой. Огонёк от спички в его руке потух так быстро, что он не успел промолвить ни слова. Он поджёг вторую спичку и сказал слабым, словно не принадлежавшим ему голосом:

— Лодка перед дверью. Я пришёл, чтобы отвезти тебя в дом старика Калистрата. Там ты сможешь спокойно переночевать.

Вместо того, чтобы ответить на его предложение, Мара

сказала:

— Я повесила волчьи шкуры вон там под потолком. Там они в безопасности. Они там высыхают, скажу я тебе, и меня это радует.

Тут Фирс её резко перебил:

— Забудь сейчас про шкуры. Сегодня мне до них нет дела. Давай, слазь со своего пьедестала, лодка перед дверью. Нас ждут люди — и горячая юшка из лосося с белым хлебом.

Мара угрюмо усмехнулась.

— Отчего же ты сразу не заплыл сюда на этой чёрной посудине прямо через дверь? Она достаточно широкая, эта дверь, ха-ха, достаточно широкая, и тебе не нужно было бы сейчас стоять в воде, будто ты собрался ловить раков. Здесь нет ни омаров, ни крабов, только пара пауков над моей головой, маленькие и большие. Но они никому не мешают.

Она вздохнула и продолжила говорить:

— О, ты мне накануне снился, Фирс. Во сне я ничего не делала, только проводила пальцами по твоей волосатой груди, вверх и вниз. Это было приятно, мне это нравилось, ха-ха-ха.

Голос Мары казался весёлым, она вдруг стала такой покладистой и разговорчивой, что Фирс даже на мгновенье забыл, что пришёл сюда и стоял здесь в заиленной воде только потому, что хотел отвезти эту женщину в безопасное место, где он бы знал, что с ней происходит и что она делает.

— Ну спускайся уже, — сказал он наконец, когда комната вновь погрузилась в темноту. Он уговаривал её, как капризного ребенка. — Слушай, — оправдывался он,— я всё время помнил о тебе.

— Ты помнил обо мне, — прошептала Мара, — но знаешь, я тут с собаками, с птицами. Я никуда не пойду. Со мной ничего не случится. Вода ещё будет прибывать. Но она вряд ли доберется сюда до нас. Я не уйду, а завтра утром ты найдёшь меня на этом же месте. Овечья шкура и собаки не дадут мне замёрзнуть. Они меня любят, понимаешь, они останутся со мной.

Резко разжав кулаки, которые он сжимал всё это время, Фирс на мгновение остановился близко перед животными, что чувствовал их дыхание, веявшее теплом ему в лицо. Он закрыл веки, и от лёгкого дуновения кудряшки его бороды зашевелились. Он даже и не думал отвечать Маре или снова

зажигать спички, чтобы подсветить комнату. Это было бы всё равно что бессмысленная трата времени, бесполезный флирт, который был неуместен ни в этом месте, ни с живыми существами, которых оно приютило. Нет, Фирс не был честолюбцем или педантом, который делает что-то только для того, чтобы соблюсти глупые формальности. А посему он пошёл к двери, пожелал Маре спокойной ночи, пообещал наведаться к ней на следующее утро и отправился назад тем долгим путем, который он преодолел сюда, сделав бесчисленное множество утомительных гребков. При этом ему казалось, что от тёплого дыхания животных на щеках осталось приятное ощущение.

Добравшись наконец до Сверёвых, он смог отдохнуть. Он рассказал о пребывании Савела у Гаши и Пимена, о спасительном пристанище Мары и о её доме. Но никто не смеялся над идеей татарки, когда он рассказывал о голубе и о собаках. Он описывал всё, что видел по пути к Маре, и в его сдержанных словах немного ощущался благоговейный трепет. Они ели приготовленного Дуней лосося и хлебали красноватую рыбную юшку. Им очень не хватало шуток, которые, в конце концов, разрядили бы обстановку и подняли унылое настроение, вызванное наводнением. Однако сегодня никто не шутил. Если бы Савел был дома, он наверняка мог бы поведать кучу разных историй, рассказать о приключениях и насквозь промокших сапогах. Все те, кто сидел там за низеньким круглым столиком, знали, что вода уже поднялась до уровня их двора и что с каждым часом она безудержно подбиралась всё ближе к двери. Чего было ожидать от грядущей ночи?

Иногда Дуня задавала тот или иной вопрос одному из мужчин, стараясь поддерживать разговор как можно дольше. Их немногословные ответы были подобны каплям, которые после дождя стекают из водосточного желоба всё медленнее и всё реже. Никакие уловки Дуни не помогали, хотя в её глазах как обычно горел огонёк, и даже в её сдержанном спокойствии ощущалось некое напряженное ожидание того, как будут разворачиваться события. Она напоминала ястреба, который инстинктивно взлетает ввысь, снедаемый жаждой нового полёта. Тревога из-за грозящей опасности отражалась только на её внешнем облике, но Фирс с Акимом, постоянно крутившиеся вокруг неё, прислушивавшиеся и присматривавшиеся, отчётливо

ощущали, что наводнение не смогло вселить в неё страх. Вот только чего хотел брат, когда погладил своей тяжелой рукой её предплечье, смотрел на неё несколько секунд отрешенным взглядом и только потом сказал, что ткань её блузки очень-очень мягкая?

Фирсу выделили для ночлега кровать Савела, поскольку тот не вернулся домой, и появилось свободное место. Дуня постелила чистую простынь на мешок с соломой, который находился рядом с постелью Акима, и после того, как она, её брат и Фирс ещё раз вышли на улицу навстречу свистящему ветру, чтобы взглянуть на постепенно прибывавшую воду и убедиться в своих опасениях, они больше не стали усугублять свою усталость дополнительными усилиями. Поэтому они пожелали друг другу спокойной ночи, измученно улыбаясь. Дуня осталась в передней, а мужчины добрались до своих постелей в большой комнате и улеглись спать.

В комнате раздавалось спокойное дыхание старика Калистрата. Он скоро заснул, и огонь в печи, видимо, тоже потух, потому что больше не потрескивал и не отбрасывал тень на лицо Фирса, глаза которого были открыты и неподвижно застыли, напоминая два зияющих отверстия. Даже после всех тяжких мучений прошедшего дня он все ещё не мог заснуть. Он крутился с боку на бок, солома под ним шуршала, простыня ёрзала от его движений и через какое-то время сбилась в кучу и прикрывала лишь половину мешка с соломой. Он поправил её, разгладил, насколько это было возможно в темноте. Лишь через маленькое окошко подобно лёгкому дуновению ветерка издалека пробивался слабый синеватый свет. Однако он падал только на ноги и туловище Акима, не распространяясь дальше. Фирс был уверен, что брат Дуни, лежавший рядом с ним, уже спал, потому что он почти не шевелился, лишь иногда его рука поднималась,

будто он пытался нанести во сне удар врагу или пойманному осетру. По-видимому, Дуня ещё возилась и хлопотала о разных мелочах, он слышал через дверь, как её босые ноги шлёпали по глиняному полу, задели и опрокинули что-то деревянное; он приподнялся и прислушался.

Может быть, она наконец-то сбросила с себя блузку, юбку? Возможно, она стояла сейчас обнажённая там, за коварными досками этой двери, озаряя комнату красотой своего белого цветущего тела, возможно, она ждала, что он бесшумно откроет дверь, не могла сомкнуть глаз, зная, что он бессмысленно ворочается на этом мешке. Ему послышалось, или что-то едва слышно царапало по двери, очень-очень тихо? Может, это она своим ноготком осторожно давала ему знак, звала его к себе? Он схватился за виски, сжал их, говоря себе, что такая ночь может порождать всевозможные нереальные видения и давать волю самым необузданным мыслям. Был ли он глупцом, он, Фирс? Почему все желания, возникавшие в его голове, были устремлены только туда, в её комнату? Боже мой, как изменила его эта ночь. Но разве было дело его непреодолимым желаниям и обуявшим его страстям до подобных размышлений? Он крепко сжал глаза, начал равномерно дышать, в десятый или даже сотый раз говоря себе, что он жутко устал и измотался. Но уже в следующее мгновение он спрашивал себя, что сейчас делает Мара и прибывает ли все ещё снаружи вода, медленно, но непрерывно и беспрепятственно. Кто сможет помешать ей затопить все дома в Вилково и оставить нетронутыми лишь церковные колокольни и флагшток у причала для пароходов? Наверняка Пимен сейчас спал и видел во сне, как идёт по большому городу, в котором он бывал когда-то в юности, а Гаша рядом с ним не спала, не спал и Савел.

У Фирса возникло какое-то доныне незнакомое ему ощущение, которое становилось все отчётливее, мучило его, полностью овладевало им, и он спрашивал себя, почему он, беспомощный человек, не мог лежать здесь и одновременно быть возле Дуни и рядом с Марой и её собаками. Порхал ли белый голубь над водой туда-сюда? Почему, чёрт возьми, нужно быть всегда привязанным только к одному единственному месту? Почему невозможно в мгновение ока перенестись сквозь эту дверь и очутиться возле желанной женщины, слышать рядом

голос Дуни? Эх, раньше у него не было таких забот: он мог побыть в одном месте, затем в другом, мог ночевать, будто пустив корни в землю, то здесь, то очень далеко. Он жил там, где находился в данный момент, и никакие мысли особо не волновали его. Но сейчас он ощущал, что кто-то другой внутри него карабкается через ледяную стену перед Очаковским гирлом, кто-то другой чувствует на себе взгляд лежавших возле Мары собак, кто-то другой гладит колени девушки, Дунины колени, мягкие, словно голова котёнка. Этот другой прогонял от него сон, и им двоим было тесно в его широкой и мощной груди.

Как же наконец уснуть и больше не выдумывать небылицы! Он потянулся, размышляя, не прокрасться ли ему всё-таки к Дуне, бесшумно, как рысь, разумеется. Нельзя было разбудить её брата, этого необычайно угрюмого Акима, которого никто не мог понять. Как дерзко он схватил сегодня своей лапой руку Дуни, дерзко и вызывающе, будто чужой человек. Одному Богу известно, что он имел этим ввиду; Фирс этого не знал, не мог это как-то объяснить и постичь. Причина ускользала от его понимания, словно малёк через крупную сеть. Он мог бы сейчас подняться, чтобы взглянуть на уровень воды, это был бы хороший предлог. Никто не запрещал ему проходить через комнаты спящих во двор и к каналу, чтобы предотвратить неприятную неожиданность или ещё что похуже. Фирс вздохнул; он никак не мог решиться, не знал, с чего начать. Его одежда лежала рядом с подушкой, ему стоило всего лишь дотянуться до неё рукой, быстро натянуть на себя — и он уже мог бы очутиться возле двери и ближе к Дуне. Ведь в этом не было ничего рискованного. Или, может быть, он вдруг стал трусом? А эта ночь, кто знает, могла длиться бесконечно.

Ему показалось, как что-то зашевелилось. Это был Аким. Он застонал, закинул ногу за ногу. Фирс затаил дыхание, будто его застукали за кражей, лежал, не шевелясь, его конечности онемели и стали твёрдыми, как металл. Вдруг Аким прошептал:

— Что не спишь? Ворочаешься туда-сюда, будто под тобой горит простынь, новая простынь, чистая простынь, которую Дуня специально для тебя вытащила из сундука.

Фирс ничего не ответил; Аким тоже какое-то время молчал, и казалось, что только тишина издаёт какие-то странные звуки. Затем он продолжил шепотом:

— Я сам не сомкнул глаз. Это не первая ночь, которую я так провожу. Ты не знаешь, что снится Дуне, и я не знаю. Она чудесная сестра, не правда ли, чудесный ребёнок. Ты не хочешь пойти туда? — неожиданно спросил он громче, и его голос рассёк темноту, словно превратившись в камень.

Фирс ничего не ответил и в этот раз, но уронил кулак на кровать, что Аким сразу всё понял, восприняв этот жест как ответ.

— Нет, — успокоил он его, — я имел ввиду, не хочешь ли ты на цыпочках выйти во двор. А вдруг вода уже перелилась через порог и медленно просачивается сквозь дверные щели? Может, она уже тайком подкралась к Дуниной кровати. Боже мой, там нет никого, кто бы мог задержать эту мутную напасть. Все просто чего-то дожидаются. У нас есть лодка, в которой достаточно места для нас всех, мы не утонем.

Хотя он говорил едва слышным шёпотом, в его голосе ощущалась тягостная тревога, слова в его речи следовали друг за другом с неопределёнными интервалами и напоминали непрочные нити в ткани редкого плетения.

— Может, мы всё-таки попытаемся уснуть? — сказал Фирс, подсунув руки под голову, и снова неподвижно застыл.

— Ты мог хотя бы посмотреть во дворе, чего нам следует ожидать завтра, — не унимался Аким, но Фирс уже принял решение, на которое отважился быстрее, чем предполагал, после чего он небрежно и всё же с обдуманной решительностью сказал:

— В этом нет необходимости.

— Нет необходимости? — поспешно прозвучал ответ Акима.

— Да, — подтвердил Фирс, — никакой срочности в этом нет.

— Ты очень беспечен, Фирс, но Дунай не будет ждать твоего приговора, он делает то, что ему нравится, — произнес Аким спустя какое-то время, и, будто проглотив ком в горле, продолжил:

— Если ты не хочешь идти на улицу, тогда хотя бы я пойду проверить, что вокруг нас творится. Можешь лежать себе спокойно и не шевелиться, пока не придёт сон.

И потом язвительно добавил:

— Спи спокойно, Фирс, сладких тебе снов.

С этими словами он запрыгнул в штаны и встал. Дверная ручка не издала ни звука под его пальцами, и спустя мгновение

он уже находился в передней, также проворно и тихо закрыл за собой дверь, что Фирс даже не успел опомниться, как уже остался один, озадаченно таращась в бесформенную темноту. Он прислушивался, открыл ли уже Аким входную дверь на улицу, но, вероятно, тот дал себе время, чтобы осмотреться в комнате Дуни, потому что довольно долго Фирс не слышал ни единого звука и спрашивал себя снова и снова, что могло там так задержать Акима. Или он и во двор пробрался бесшумно, как призрак? Нет, он вроде бы не собирался сломя голову бежать к каналу, подумал Фирс, потому что только сейчас раздался очень приглушенный звук удара, исходивший от другой двери. Фирс вскочил с кровати и ринулся к окну, оказавшись возле него за считанные секунды. Тень Акима бродила по двору, а затем остановилась у ворот.

Неожиданно Фирс почувствовал невероятную лёгкость и, сгорая от нетерпения, прошмыгнул к двери. Он её открыл и подлетел к кровати, которая стояла вдоль задней стены комнаты. Что-то зашевелилось внизу перед ним, это была Дуня. Она не спала, ждала Фирса, протянула к нему руки. Он наклонился к ней, зарылся лицом в её обнаженную грудь, наслаждаясь её гладкой нежностью, пока хватило дыхания. Затем она его оттолкнула, он насторожился, вскочил и вновь повернул дверную ручку и спустя мгновение уже был в другой комнате, на своей кровати, лёжа неподвижно, как труп. Сердце дико билось в груди, будто это стучали копыта лошади. Его уши, жадно ловившие каждый звук, сейчас ничего не слышали. Ни шороха, ни звука. Аким не торопился, бродя на улице босиком по ледяной воде. Он был неприхотлив, и возможно, кто знает, мог спокойно выносить удары льдин по лодыжкам. Вероятно, это был его способ времяпровождения.

Наконец Фирс услышал, как Аким запер входную дверь. Задвижка щёлкнула громче, чем прежде, в этот раз он был не очень предусмотрителен. Фирс вряд ли опасался, что Аким может разбудить Дуню. Закрыв глаза и прикидываясь спящей, она лежала там, где сейчас был Аким, где он не спеша осматривался в темноте, потому что его никто не подгонял. Он мог смотреть на Дуню столько, сколько ему захочется. Но почему же он никак не возвращался в их комнату? Что его там задержало? Он так долго оставался в передней, что немое ожидание, в котором застыл Фирс, постепенно превращалось в

невыносимую боль. Ни одна воспалённая рана не мучила его сильнее, но нужно было набраться терпения и держать себя в руках. Разве собственный брат Дуни не мог делать в этом доме всё, что ему захочется? Какая разница, посмотрит он на неё одним разом больше или меньше, ведь он не причинял ей боль своими взглядами. Нет, нужно успокоиться, в эту ночь ему мерещилось чёрт знает что, и все эти видения кружились в его голове, будто несметная стая птиц в дельте реки. Сплошная неразбериха и путаница, этот рой мыслей. И кто только мог в нём разобраться? Фирс так крепко зажмурил глаза, что они защипали. Голова будто налилась раскалённым и затвердевавшим свинцом. Ох, больше не думать ни о чём, не ворошить никакие мысли. Его словно подменили.

Тут в комнату вошёл Аким, его брюки были подвёрнуты до колен.

— Я искал тряпку, чтобы вытереть мокрые ноги, — бормоча себе под нос, пояснил он свое отсутствие. — Но там не нашёл. К тому же я не хотел разбудить Дуню. Она спит, скажу я тебе, как усталый жеребец на весеннем солнышке, совсем тихо.

Последнее слово прозвучало так, словно его произнесли не уста Акима. Затем он вытер ноги льняным полотенцем и улёгся спать. Но не прошло и нескольких секунд, как он опять заговорил:

— Ты ведь тоже не спишь, Фирс. Разумеется, ты меня ждал. Снаружи наводнение выглядит не по-детски, но до утра вода не проникнет в дом.

Наступила пауза, потом он снова зашептал, и это прозвучало как упрёк:

— Ты мне не отвечаешь, думаешь Бог знает о чём.

И вдруг он издал тихий свист, который рассек тишину, словно нож, а затем резко сказал:

— Какие мысли таятся в твоей голове? Скажи, о чём ты думаешь?

Однако Фирсу это совсем не понравилось, потому что он ответил приказным тоном:

— Не так громко, слышишь. Я думал о Дуне. Я думал о том, что она твоя сестра, но совсем на тебя не похожа.

Аким тихо зашипел сквозь зубы. Он больше ничего не сказал. Лишь иногда он шумно ворочался на мешке с соломой. И вот так

тянулась эта бесконечная ночь. Один долгий час сменялся другим. Интересно, где сейчас дремал Тудосе, опустив голову на медные пуговицы своего мундира? Возможно, как раз сейчас его лодку медленно носило туда-сюда по кругу в том месте в центре городка, где он обычно стоял. Фирс уснул только под утро, когда сквозь окна уже пробивались серые проблески рассвета. Аким сидел на кровати и смотрел на покрытое густой бородой лицо Фирса. Наконец, утомлённый от бессонной ночи, он опустил голову на подушку, сознание начало ослабевать и постепенно растворилось в неописуемых красках его сна.

На следующее утро городок окутал густой туман, а мутная вода всё продолжала скапливаться и прибывать. Старик Калистрат, который рано проснулся, первым увидел её нарастающую мощь. Вода не бушевала, не свирепствовала, но её сила постоянно и неумолимо росла. Во всей округе не осталось ни одной стены, которую она бы не омывала, ни одного двора или сада, который бы она не накрыла своей холодной илистой мантией. Она парализовала всё своим изобилием, была подобна болезни, которая не знает границ и поражает каждого встречного. Выложенные из кирпича печи с высокими дымоходами, которые стояли на улице между фруктовых деревьев и служили в летнюю пору для приготовления пищи, напоминали поставленные на якорь корабли, в ледяной воде утопали хлева и коровы, опустив в неё коченевшее от холода вымя. В доме Сверёвых едва успели одеться и перекреститься перед иконами святых, как вода уже прорвалась сквозь дверь и хлынула неудержимым потоком. Она коварно проникала в каждый уголок, щипала за пятки, просачивалась в древесину мебели и другой домашней утвари, словно ненасытное животное. Фирс последовал вчерашнему примеру Мары и поднимал сундуки с одеждой и бельём на кровать, Аким пытался разжечь

огонь в печи, но камыш тоже намок, заполнив комнату белым дымом, так что поджечь его удалось не сразу. Дуне было холодно; она долго сидела на табуретке, бледная и молчаливая, поджав к себе ноги, словно их привязали к ней. И только выпив чаю, она оживилась, начала убеждать Акима, чтобы он так сильно не отчаивался. В конце концов, можно было бы укрыться в церкви или построить гнёзда на крышах. При этом она грызла ноготь и вдруг разразилась громким смехом; отец посмотрел на неё искоса, и в его воспалившихся от дыма глазах отчётливо ощущался упрёк. Неужели его дети искушали судьбу и Господа Бога? Он закрыл ненадолго глаза, так было лучше. Можно было на минутку забыть о неминуемой опасности, представить себе что-то более приятное, например, свою рабочую каморку на рыбных складах и сито, которое нежно гладили его пальцы, и икру, похожую на множество блестящих чёрных стеклянных бусинок. Сейчас ему приходилось сидеть без дела на печи, а перед глазами у него была только вода, лёд и ил, который каждый раз приносило в дом, когда кто-то выходил во двор. Но Дуня сегодня будет с ним рядом, она не оставит его одного. Ведь вместе с морозным воздухом в дом незаметно проникала тревога, он приносил с собой страх, поселявшийся где-то внутри ниже шеи, в котором никто себе не признавался, и сонливость, поэтому было гораздо приятнее и спокойнее, если кто-то был рядом.

Перед забором покачивалась на воде привязанная на цепь лодка. Фирс и Аким сели в неё, закатив брюки до колен. Аким поспешно схватился за вёсла, как будто Фирс мог его опередить, и ловко повёл лодку вперёд, хотя этим утром выглядел настолько устало и обессилено, как никогда прежде. Немного позже он сорвал с головы овчинную шапку и швырнул её под ноги на дно лодки. С Фирсом он почти не разговаривал. Они обменялись лишь парой скупых фраз, однако больше обычного общались с соседями, батюшками, церковными певчими и многими испуганными жителями Вилково. Даже аптекарь Наум, чей забитый всякими флаконами магазин находился неподалеку от большого канала, обратился к Фирсу с парой вполне естественных в этом бедственном положении вопросов, взволнованно спрашивал о пострадавших, поскольку надеялся, что хотя бы в период наводнения сможет что-то заработать и

создать себе в городке репутацию спасителя жизней и чудо-целителя. Не подхватил ли кто из-за всей этой жуткой сырости тяжёлую простуду или воспаление лёгких? Не забывал ли кто в хлеву маленького ребёнка и затем обнаружил его в воде полумёртвого? А все эти плавающие палки и брёвна, не могли ли они покалечить ногу или руку какой-нибудь дряхлой старушки? Нет, Фирс не слышал ни о каких несчастных случаях, никто ничего подобного не рассказывал, на что расстроенный Наум ответил:

— Эх, это радует. А я так беспокоился. Добрые люди, я жутко тревожился за каждого.

Боже мой, аптеку полностью затопило, а из воды, хлынувшей стремительным потоком, высунулась голова сома, так что Наум изрядно перепугался, но в итоге был рад, что свежая рыба сама пожаловала к нему на обед. Он взял латунную толкушку и подошёл к рыбе, которая не смогла от него улизнуть в маленькой комнатке. Когда же после долгих усилий он положил ещё трепыхающуюся добычу на стол, то спросил себя, не течёт ли часом в его жилах рыбацкая кровь. Кто знает, вполне возможно, что одна из его бабушек случайно разок согрешила. Они были весьма суровы по натуре и могли легко отвесить оплеуху, разразиться криками и библейскими проклятиями. Видимо, Наума серьёзно заинтересовал этот вопрос; он засомневался в своём происхождении. Он грустно смотрел вслед лодке с двумя мужчинами, натянув на свои тощие ноги резиновые сапоги, эти блестящие, водонепроницаемые сосуды, о наличии которых у себя он до сегодняшнего дня вообще не подозревал. Однако аптекарь рано радовался своей предусмотрительности, потому что к середине дня уровень воды поднялся ещё больше, поэтому от его шикарных сапог было мало толку.

На окраине городка, там, где стоял домик Мары, наводнение приобрело невиданный размах. Могучая стихия выдавливала оконные стёкла, с шумом заливалась в комнаты, где между стенами в воде плавали корыта, в которых усадили крошечных деток. Малыши держали ломтики кукурузного хлеба в своих окоченевших от холода кулачках или мечтательно играли с пустыми бутылками от водки. Рядом с ними плавал мусор и отслоившиеся бурые куски глиняных полов, круглые деревянные стружки дрожали на поверхности воды подобно диковинным

цветкам кувшинок, связки сена, соломы и камыша, а также деревянные бочонки, служившие для хранения засоленной рыбы, расплывались в разные стороны. Женщины сидели на корточках на шкафах и печах, плотно прижавшись друг к другу, хныкали, заходились плачем, сокрушались о своих овцах, козах и телятах. А куда же подевались собаки, которые больше не поднимали шум и не лаяли?

Видимо, только в доме Пимена жизнь шла своим привычным ходом, невзирая на творившийся вокруг ужас. Там никто не шевелился, хотя Гаша хорошо знала толк в жалобах и нытье. Здесь всё пребывало во сне, который словно сочился из мягких подушек и окутывал разум, а спящие люди непроизвольно улыбались на свет, тянувшийся серой полоской по потолку комнаты. Савел бормотал во сне имя дражайшей половины Пимена, а по его бледной нижней губе стекала слюна и капала с подбородка на красную сорочку. Возможно, Гаша услышала его где-то в недосягаемых глубинах своего подсознания и издала тихий стон полуоткрытым ртом, будто хотела его утихомирить, однако не проснулась и продолжала спать дальше, уткнувшись лицом и пышной грудью в мягкий мешок с соломой.

Снова опустился туман, который ещё больше усугубил царивший хаос, количество появлявшихся отовсюду лодок увеличивалось с каждым часом, а их пассажиры неустанно подавали предупредительные сигналы, чтобы избежать столкновения. Мало того, что шум во всех кварталах города заметно усилился, так ещё начали звонить церковные колокола, сначала один, затем все остальные, маленькие и большие, заглушавшие своей силой отчаянные крики людей. Туман наполнился трезвоном и мощными звуковыми колебаниями, которые будто заблудились в нём и не могли найти выход, спасительную лазейку, чтобы ускользнуть в небо. Какая-то плачущая женщина брела по пояс в воде, высоко задрав юбку. Фирс с Акимом проплывали мимо одной небольшой избы, окна которой были заколочены досками. Из дома доносились странные тихие звуки, поэтому Фирс отодрал одну из досок и заглянул внутрь. В одной комнате лежали две коровы, а в следующей ещё одна неторопливо бродила туда-сюда, по-видимому, в недоумении от того, что оказалась в безвыходном положении. Она повернула голову и затуманенными глазами

посмотрела на Фирса. Застеленная и нетронутая кровать стояла на своём месте, двери многих шкафчиков были открыты, а их ящики, украшенные вырезанной из красной шёлковой бумаги каймой, были доверху забиты рыболовными снастями, айвой и бельём. В углу стоял богато отделанный золотом образ святого с каким-то отрешенным взглядом, рядом с ним — потухшая масляная лампадка, а на стене висела цветная печатная копия картины, изображавшая военные корабли в бушующих штормовых волнах. Фирс долго и внимательно её рассматривал, потому что, несмотря на нынешнее бедственное положение, это была настоящая достопримечательность. Он прежде не слышал о существовании этой восхитительной картины в городе. Пока Фирс любовался ею, Аким робко поглядывал на него, удерживая лодку рядом со стеной дома.

Почему этот угрюмый человек был сегодня таким доброжелательным и так щедро растрачивал свои силы и время? Обычно он использовал их гораздо экономнее, обычно он был замкнутым, а нередко даже ворчливым и на удивление крайне молчаливым. Фирсу казалось, будто сила наводнения развязала ему язык, сделала его более уступчивым и отзывчивым. Некоторые мужчины, которые, облачившись в высокие просмоленные защитные сапоги, толкали севшие на мель лодки, даже путали его с братом-близнецом, потому что сегодня он был особенно словоохотлив и с готовностью раздавал всем благоразумные советы, благодаря которым их усилия в конечном итоге завершались успехом. Нет, обычно Аким смотрел мимо людей или пялился в землю, будто искал что-то потерявшееся; человек, находившийся сейчас в лодке, был больше похож на Савела, несмотря на то, что его голос имел более низкий тон. Возможно, первый раз в жизни его чёрствое сердце смягчилось, и тёплая кровь растопила в нём лёд. А когда он привёл лодку к дому Мары и слушал, как Фирс терпеливо разговаривает с женщиной и собаками, будто уговаривая капризных детей, его ногти на мгновение впились в древесину вёсел, и он даже улыбнулся.

Несмотря на все невзгоды, по-прежнему происходили случаи, которые невольно рассеивали тягостные мысли, однако властям и служащим пришлось пережить не самый лёгкий день, потому что как раз им было далеко не до шуток. В котором часу

многоуважаемый городской голова отправился вчера спать? До поздней ночи в свете фонарей сверкала золотая цепочка его часов, а именно на пересечениях основных каналов, где уровень воды был наибольшим. Какие же разумные указания он там давал, как умело утешал несчастных людей добрыми словами! Даже священнослужители, которые от страха проглотили языки и молча прятались в своих хорошо обставленных домах, не смогли бы быть более благочестивыми. Конторки в городской администрации едва выглядывали из воды, но он показывался везде, выполняя свои обязанности и отдавая приказы, а подчинённые — писари и посыльные — видит Бог, не зря получали своё жалованье. Сейчас в этом никто не сомневался. Городской голова беспрестанно находил для них занятие. По пояс в ледяной воде, они рыскали в иле, снегу и между острыми льдинами в поисках какой-нибудь ерунды, имевшей, по его мнению, очень важное значение, будь то старая корзина или железный котелок, и только совсем запыхавшись, начинали безмолвно молить о пощаде, протягивая к нему руки, пока он, широко расставив ноги, стоял над ними в сухой лодке.

А когда же было спать Тудосе? Ведь это был его звёздный час. Уже ранним утром он спас двоих детей; пробираясь между затопленными дворами, он услышал плач в одном из домов, взломал дверь, вытащил из воды младенца и четырёхлетнюю девочку, родители которых отсутствовали и находились в соседнем посёлке, и затем предъявил городскому голове, словно богатую добычу. О, как же теперь о нём будет говорить мать этих детей, как она будет расхваливать его перед Гашей, Матрёной, Евгенией и Верочкой. Теперь его уже ничто не могло испугать, в нём проснулась жажда геройства, он даже скинул с себя шинель и мундир с зелёными манжетами, чтобы не дать утонуть такому никчёмному человеку, как монах Пахом. За это он уж точно получит награду, прежде чем отправится на небеса, ему выдадут нашивку на руку, широкую серебряную нашивку. Он придумал идею привязать овец и коров верёвками и цепями на крестах кладбища, которое находилось выше по сравнению с другими частями городка и поэтому предоставляло больше шансов на спасение, что и было сделано в последующие часы, а одному плачущему старику, который оборудовал место для коровы на высокой, как мост, пристройке своего дома, он помог прибить

гвоздями циновку, потому что, растянутая между двух вертикальных опорных балок и крышей, она должна была защитить животное от ветра и холода. Он не требовал благодарности ни от одного рыбака, был полностью настроен проявлять великодушие и ревностно выполнять свои обязанности, позабыв о себе, нет, не только о себе, но и о серебряной нашивке, об этом столь желанном сокровище.

По всей видимости, Тудосе испытывал неистовый душевный подъём, потому что даже забыл пообедать, и когда Аким с Фирсом, возвращаясь в лодке домой, напомнили ему об этом, спросив, смог ли он во всей этой суете хотя бы что-то перекусить, он был поражён их словами. Нет, ему бы это даже не пришло в голову. К счастью, ему не нужно было постоянно находиться рядом с городским головой, ему позволили, так сказать, на своё усмотрение проводить спасательные работы, и, собственно, он не должен был больше ни перед кем отчитываться. Разве ещё не все жители Вилково знали, что он не просто обычный караульный, что он своим острым слухом слышал каждый крик о помощи? Нужно признать, что городской голова, конечно, эксплуатирует посыльных и писарей, но они всё равно почти ничего не делают, только клюют носом в тёплых канцеляриях, пока он смирно стоит на перекрёстке, где его видит весь белый свет, и только благодаря тому, что он не покинул свой пост, он смог всех разбудить и предупредить об опасности. Сегодня никто даже не успел закрыть глаза, не говоря уже о том, чтобы уснуть, так громко трезвонили колокола. Боже, как усердно работали звонари, дёргали за верёвки сразу же, как только вода поднималась лишь на пядь, на ширину пальца. И пока один отдыхал, тут же начинал звонить другой, ещё громче и яростнее, как будто шум мог отпугнуть наводнение. Поэтому все три церкви Вилково даже перевыполнили свой долг, потому что этот окаянный трезвон слышала вся округа. В усталых головах измученных людей всё так звенело и стучало, что они были даже не в состоянии о чём-то думать. Всё время только бум-бум-бум, настойчиво и беспрестанно, без конца.

Однако сегодня люди смогли больше узнать друг о друге. Многие годы не могли пролить свет на то, что вдруг открылось всем в момент нужды и лишений. Беспросветный пьяница Яков, например, не жалея сил, проплыл на лодке большое расстояние,

только чтобы оказать своему соседу какую-то дружескую услугу, и шёл по пояс в воде, потому что хотел принести из лавки торговца горшочек мёда своей беременной сестре, чтобы она немного утешилась и больше не плакала так горько, словно капризный ребёнок. На Якова по Божьей милости снизошло протрезвление.

Вероятно, монах Пахом также хотел хоть раз доказать свою полезность. Его не выносили не только многие рыбаки, потому что он везде всё вынюхивал, как бездомная собака, обшаривал мусорные ящики в поисках костей и смеялся без причины, с ним вообще никто не разговаривал. О том, что Савел видел, как Пахом морозными зимними вечерами крутился под освещёнными окнами и, словно разведчик, вёл за ними слежку, люди пока что ещё не знали. Несомненно, тот или иной мог его подозревать, но сегодня его услужливое раболепие не знало границ. Сегодня его речь не была такой же неразборчивой и невнятной, как обычно. В коротких, произносимых с запинками фразах содержался какой-то смысл, и если его просили ещё раз чётко повторить, что он там пробормотал, слова приобретали значение, и ими нельзя было пренебрегать. Никто понятия не имел, где Пахом раздобыл лодку с широкими бортами, в которой он отвозил целые толпы детишек в более безопасное пристанище, где он потом варил для них чай, который где-то выклянчил. У него сразу получалось убедить обеспокоенных родителей, что он позаботится о детях, что он отыскал для них теплую комнатку. Он гладил маленьких девочек, которых ему доверили, шутил с ними, пока они плыли на лодке, улыбался им не так, как взрослым, называл их своими курочками и голубками. Он нежно поднимал их из лодки, поправлял им одежду и юбочки, проверял, достаточно ли тепло они одеты, ах, потому что холод мог им сильно навредить. Неужели эти тоненькие и

изношенные рубашечки могли защитить от ветра, продувавшего их насквозь?

Видимо, он обладал врождённой способностью разговаривать с детьми на их языке, он умел с ними обращаться. Женщины спрашивали себя, кто вообще мог прежде так очернить бедного монаха, того, кто сейчас стал их благодетелем. Он берёг нежные создания, как зеницу ока, он заботился только о том, чтобы их защитить. Лодка Пахома плавала со всеми детками туда-сюда по каналам, и больше никто не волновался из-за их отсутствия. Он знал, где они жили, забирал их из мокрых убежищ и часами играл с ними. Вытянув губы, он наигрывал на старом гребне песенку своим изумлённым слушателям, хитро и лукаво смотря по сторонам и слегка помахивая левой рукой в воздухе. Очень скоро все выучили эту скачущую, стремительную мелодию, похожую на побег испуганных зайцев-русаков, и подпевали ему. Говоря по правде, никто не подозревал о существовании у Пахома такого таланта; он музицировал мастерски, вёл себя с восхищёнными светловолосыми девочками и мальчиками как фокусник, вытаскивающий самые необычные вещи из волшебной шляпы или сырые яйца из носа. Ох, он мог придумывать всяческие забавы, спотыкался и делал вид, что падает, только чтобы развеселить детей, он делал кувырки, из-за чего его облезлая меховая шапка сползала и закрывала ему лицо до рта, а чёрная с зелёным отливом ряса, покрытая пятнами, развевалась вокруг растопыренных ног, напоминая огромный уродливый цветок.

Монах хорошо проявил себя, и некоторые благодарные люди в глубине души просили у него прощения. После обеда он даже отправился в городскую администрацию, осмелившись потребовать у городского головы шесть больших буханок белого хлеба для своих голодных питомцев, и действительно добился своего. Разумеется, сначала на него там покосились, измеряя презрительным взглядом, однако в течение четверти часа он всё же получил желаемое и позже, сидя между малышами, мог с наслаждением жевать вкусный мякиш, которого его поломанные тупые зубы не пробовали уже много лет. Однако сегодня никто не жалел для него пищи, потому что он делал то, чем, собственно, вместо него должны были бы заниматься священнослужители, эти негодяи, которые тряслись от страха на

своих полатях. Даже выцветшая ряса монаха приобрела в свете последних событий новый смысл, а Яков посмотрел на неё почти с благоговением и, будто сделав наконец редкостный вывод, кивая головой, медленно произнёс:

— Из монастыря его изгнали, а он по сути стоит большего, чем все аббаты.

Поэтому все старались забыть и стереть из памяти то, что ещё недавно рыбаки часто заставали Пахома во дворах за кражей и гнались за ним с дубинками. Его даже закидывали камнями; конечно, камни были не очень большие, но достаточно тяжёлые, чтобы без труда пробить ему голову. Однако Пахом, по-видимому, и не думал о мести.

Между тем звон колоколов наконец достиг и ушей Пимена. Он проснулся, провёл правой рукой по лицу, медленно приподнялся и сказал:

— Слушайте!

Савел, который лежал вплотную к нему, услышал его голос, тоже открыл глаза и уставился в потолок.

— Что? — спросил он, ещё полностью не проснувшись. — Что ты сказал?

— Слушайте! Боже мой, как звонят. Я припоминаю, — продолжал он, запинаясь, — что мне снились колокола, огромные колокола, их язычком было моё тело. Оно всё время болталось вправо и влево, а звук отскакивал от меня, полностью меня окутывал. Ох, у меня даже виски до сих пор болят.

Тут Савел тоже приподнялся и начал содрогаться от смеха, пока Гаша, разразившись проклятиями, словно огорошенная, оглядывалась вокруг. Её маленькие глазки выглядывали из-под опухших век, будто светло-голубые огоньки в узких щёлках.

— Ну замолчи, Савел! — просила она укоризненным и обиженным голосом. Однако это не помогло, остатки сладкого сна развеялись, как туман, и ей пришлось вернуться в холодную и сырую действительность своего дома. Потом она слегка улыбнулась, потому что при виде затопленной до половины комнаты, в которой печь у стены возвышалась подобно каменному полуострову, Савел поднял вверх обе руки, будто пытаясь произнести заклинание.

Однако вскоре улыбка исчезла с её лица, поскольку она вспомнила, что в доме не было ничего съестного, в то время как

Пимен и Савел уже заговорили о голоде. Ну, нет, она что, должна первая лезть в ледяную воду? Ведь Пимен был не настолько храбр и предприимчив, чтобы решиться на это. Неужели им придётся сидеть, как птицам на одинокой скале, и ждать, пока к ним свалится добыча? Пимен то и дело покашливал, пытаясь не допустить, чтобы двое других потребовали от него слезть в воду и раздобыть где-нибудь хлеба или кукурузной муки, а, возможно, даже и камыша для давно потухшей печи. Ради всего святого, только не это, он же не крепостной, он чувствительное создание. Ещё долгое время они сидели рядом в нерешительности. От каналов доносились возгласы и крики. Они хорошо понимали, что в конечном итоге нужно было что-то предпринять. Тут Савел спросил нетерпеливо и с явным раздражением:

— У вас найдётся что-нибудь поесть? Слушай, Пимен, ты вчера вроде бы говорил, что у тебя дом забит копчёной рыбой.

Однако тот, к кому обращались, отвернулся, словно дыра в одеяле, которое он стащил до колен, занимала его больше, чем все остальное, и ничего не отвечал, а Гаша отрицательно покачала головой.

— Ясно, — сказал Савел резко. — Вам только гостей не хватало. Разве можно разобраться в вашем пустом хвастовстве?

Но затем он вновь засмеялся, и его смех немного смягчил неодобрительный тон сказанных слов и прозвучал так, будто он решил пойти на уступку и несмотря ни на что смирился с печальным положением.

— Ну хорошо, я спущусь, — произнёс он решительно спустя некоторое время, — немного воды и льда меня точно не испугают.

Он подвернул брюки, аккуратно делая отвороты, потому что его самолюбие даже сейчас давало о себе знать. И не сказав больше ни слова, он побрёл по воде к двери и вышел из комнаты, пока Гаша и Пимен удивлялись его решительности. Перед воротами он нашёл лодку, которая привезла его домой, где он жадно проглотил остатки обеда.

Затем Савел зевнул и с удовольствием снова улёгся бы спать, потому что чувствовал себя уставшим и истощённым, однако между медленно впитывавшими воду стенами практически не осталось сухого места, поэтому осуществить вышеупомянутое намерение почти не представлялось возможным. Солнце вышло

из-за облаков и светило в открытое окно, на узком подоконнике которого сидела Дуня, Аким примостился рядом с отцом за печью и праздно таращился на стену, Савел, сидя у огня, вытирал соломой свои сапоги, и от них клубился пар, будто это были сковородки, а Фирс разместился в лодке, где места было более, чем достаточно, поставив её во дворе рядом со стеной дома. Так он мог быть очень близко к девушке, и этот вялый, с трудом поддерживаемый разговор, который при посредничестве Дуни доходил до него на улицу, а затем она передавала его слова обратно в дом, значил для него сейчас больше, чем если бы они вместе щёлкали тыквенные семечки. Но Дуня была для него наиболее желанной, когда она молчала и не говорила ни слова, а в её лице читалось спокойствие или нетерпеливое ожидание. Тогда её уста были похожи на строгий цветок, к которому никто не осмеливался прикоснуться, а слегка приподнятые брови подчёркивали невероятную глубину тёмных глаз. О, сколько бы наводнение не прибывало и не просачивалось в глину стен, словно затягивающее топкое болото, до Дуни оно не доберётся. На фоне её прекрасного облика вся эта вода казалась беспомощной и жалкой, а свет разбивался о стёкла окон и, словно помолодев, скользил по её телу. Было что-то лукавое в её детском голосе, когда она сказала:

— Теперь рыбы сами приплыли к вам в город. Они смотрят на вас из каналов, смеются над вашими домами, в которых они могут беспрепятственно плескаться, глумятся над вашими заботами. Никто их не ловит, и когда они рядом, все хотят, чтобы они были далеко.

Эти слова слетели с её уст легко, словно куплеты народной песни, весело звучавшей только ради неё самой. Пусть немного поболтает, если так угодно её голосу, смеявшемуся украдкой. Под это щебетанье унылые вечерние часы проходили быстрее. Но Фирс воспринимал её фразы так, будто это были слова из Библии; он их запоминал, следил за ними с любознательностью, не пропуская ни одного хихикающего звука или короткой запинки. Преисполненный восторга, он сидел, вытянув ноги перед собой и откинув назад голову, будто хотел затмить солнце своей пышной блестящей огненно-рыжей бородой. В один миг он позабыл все противоречивые мысли прошедшей ночи, а неприятное ощущение, оставшееся в памяти от слов Акима, от

того ехидного, дерзкого бормотания, он прогнал от себя, как комара со лба. И хотя все кварталы Вилково затопило настолько, что они в любую минуту могли полностью уйти под воду и раствориться в иле, некоторые находили спасение в том, что предавались наивным мыслям.

Вероятно, у звонарей в конце концов начали болеть руки, потому что звон немного утих и на время прекратился; наступила призрачная тишина, словно в один миг у всех перестали биться сердца и замерло дыхание. Ведь тем, для кого бить в колокола стало профессией, тоже нужно было хоть иногда кинуть в рот пару кусочков холодной мамалыги и сделать глоток водки. Но внезапно шум, исходивший до этого момента от церковных колоколен, сменился криком, доносившимся от канала перед двором Сверёвых, громким неистовым воплем, который то затихал, то превращался в пронзительный визг, и из-за своего странного звучания этот голос не походил ни на мужской, ни на женский. Фирс повернул голову, усмехнулся, и, узнав голос, сказал:

— Это Мара. Со всем городом ссорится.

Было действительно слышно, как она сыпала криками и ругательствами на все четыре стороны, а к ним примешивались голоса других людей, которые пытались её приструнить, вразумить, успокоить. Кто-то свистел, кто-то насмехался над рассерженной женщиной. Недолго думая, Фирс начал толкать вдоль стены лодку, потому что его также охватило беспокойство, и он хотел узнать, что это там устроила Мара.

В тот момент, когда он ещё раз обернулся к Дуне, что-то с шумом врезалось в нос его лодки; он даже подумал, что она может рассыпаться на мелкие кусочки. Это была лодка, управлял ею Яков, который грёб из последних сил и как будто с завязанными глазами, а стоявшая впереди Мара его сильно подгоняла. Обычно, находясь в блаженном состоянии запоя, он её лишь презирал и не удостаивал даже взглядом, но сегодня хотел сослужить службу даже ей и как преданный рыцарь выполнял желание этой женщины, пускающей слюну и язвительно ухмыляющейся ему в бородатое лицо, хотя был совершенно не согласен с её мнением. Кроме этого, он стремился продемонстрировать Сверёвым, каким он мог быть трезвым и порядочным. Его вёсла опустились в воду, а нос лодки

заскрежетал, как голодная севрюга.

— Что случилось? — спросил Фирс, покачиваясь на сидении.

— Она сказала, что ей нужно с тобой поговорить, что нужно тебя позвать, — ответил Яков, убрав руки с вёсел и сделав пояснительный жест, при этом он притих и уже не был тем смельчаком, каким считал себя ещё четверть часа назад.

Только сейчас Фирс заметил, что возле ног Мары лежала одна из собак, которую он видел прошлым вечером при свете зажжённой спички рядом с ней на стоявшем в затопленном доме сундуке. Животное и сейчас выглядело так, будто из его длинной шерсти росли высушенное сено, листья чертополоха и соломинки.

— Что случилось? — вновь обратился он к Маре, пока она, с красными и опухшими глазами, истерично стучала ногами о доски лодки, прежде чем наконец сказала:

— Фирс, ты должен им сказать, они ничего не подозревают; Яков тоже смеётся, тупица, не верит мне, ещё и защищает его, этого монаха, Пахома. Он загрёб всех детишек, словно связку лука. Делает с ними всё, что пожелает. Эти рыбаки видят лишь осетров, а вот Пахома, монаха, эту подколодную змею, разглядеть не сумели. А тот играет с детками, как со связкой лука, он прижимает их к сердцу, но двоих из них он задушит, точно говорю, он их задушит, маленьких птенчиков. Я сказала это людям, этим слепцам. Он сам пожирает белый хлеб, а они радостно смотрят на него. Ничего не хотят слышать, ничего не желают знать. Но у Пахома прямо руки дрожат, когда он к ним тянется, к их белой коже, понимаешь, он их задушит.

Она говорила сбивчиво, у неё перехватывало дыхание, будто что-то сдавливало ей горло.

— Что она болтает, эта сумасшедшая! — перебил её Яков и заткнул уши большими грубыми пальцами. — Я тоже видел его с детьми, Фирс, — затем продолжил он, — и поверь мне, он гораздо лучше, чем мы все о нём думали. А Мара на него наговаривает, словно он ей враг, по пути сюда она звала всех людей из затопленных домов и предупреждала их о Пахоме. Фрол и Илья крикнули ей в ответ, что она просто завидует его белому хлебу, и должен сказать, я с ними согласен.

Тут Мара разразилась зверским яростным смехом, словно пытаясь нанести этим презрительным выпадом смертельный

удар гадкой рептилии.

— Белый хлеб, — гневалась она, — белый хлеб! Этот гадючий сын, ах, его нужно кормить, но он так скоро не насытится. Скажи им, Фирс, мне они не верят. Только отвечают, чтобы я оставила их в покое, сидят по пояс в дерьме, жуют солёную рыбу и хлебают чай. Но монах — это кровопийца, он пьёт сладкую кровь, пока другие потягивают водку и чай. Скажи им всем, чтобы они поняли, эти тугоухие тюфяки, пьяницы, спящие матери.

Она распахнула на груди куртку, запачканную пятнами, держала кулаки возле висков, кряхтела, ждала ответа. Но Фирс не мог понять, почему она так горячилась, и не знал, что сказать. Наконец он медленно перепрыгнул в другую лодку, подошёл близко к Маре и терпеливо и настойчиво, будто доверяя тайну, прошептал ей на ухо:

— Тихо, Мара, спокойно. Мы же не можем приказывать людям. Ты права, я знаю. Я им обязательно скажу, сначала одному, потом остальным. Но нужно сохранять хладнокровие! Я тоже не могу беспомощно стоять, как вкопанный, сидеть в лодке или болтать с Савелом, пока дом разваливается от сырости, а стены уходят под воду. У меня есть только один выбор. Я делаю либо одно, либо другое. Я им скажу, обязательно. И тогда они тебе поверят.

— Но он не должен их задушить! — визжала Мара, словно обожгла пальцы о раскалённое железо.

Наступила пауза, все трое молчали, не говоря ни слова, пока наконец Яков сделал умный вид и, хитро подмигивая Фирсу, сказал:

— Кто тебя не послушает, Мара, получит хороший урок. Я сам не уверен в виновности Пахома, но я признаю, что ты тоже беспокоишься о детях. Ведь ты не просто так, не правда ли, тащилась сюда через весь этот потоп. Ты хотела их предупредить, разумеется. Если потом дела пойдут хуже, они уже будут к тебе прислушиваться. Они будут приходить к тебе и покупать твои советы так же, как покупают смалец или сладости.

— Да, — заверил её Фирс, — так они и будут делать.

Тут лицо Мары ожесточилось, напряглось и в один миг стало белым, как известь. Её верхняя губа дрожала, когда она с трудом скрипящим голосом сказала:

— Может, они и будут приходить, но я им больше ничего не скажу. Они только могут глумиться, обзываться и оскорблять. Пусть сидят и ждут, пока их не постигнет несчастье, пусть смеются и пьют, пока беда сама не постучится в дверь.

При этом её колени подкосились, и она опустилась на скрипящее сидение лодки, закрыла лицо ладонями и застыла в безмолвии, словно отгородившись от всего стеной.

— Она в ярости, — прошептал Яков за её спиной и при этом тихонько хлопнул себя по голове, будто хотел этим показать, что сомневается, что она в здравом уме. Но Фирс даже не взглянул на него, наклонился к Маре и пытался её успокоить.

— Мара, ты не должна печалиться из-за этого, — сказал он с такой кроткой нежностью в голосе, которую вряд ли кто-либо когда-нибудь за ним замечал. — Я тебе верю. Не нужно больше никому ничего говорить. А Яков — хороший друг, и он отвезёт тебя обратно домой.

Она кивнула.

— Или ты хочешь сначала увидеть Дуню?

Тут она подскочила, провела рукой по лицу, словно могла одним движением разгладить морщины, как замявшиеся складки платья.

— Нет,— ответила она в замешательстве, — нет. Я не хочу разговаривать с Дуней. О чём мне с ней говорить? Вперёд, Яков, мы плывём домой. Фирс вернётся, когда вода снова уйдёт.

В этой фразе слышался упрёк, однако она не собиралась дальше продолжать разговор и наседала на Якова, чтобы тот поторопился. А Яков хвалился:

— Я сделаю всё для Мары, я хорошо о ней позабочусь; она ни в чём не будет нуждаться.

Одному Богу известно, что ему, собственно, было нужно от татарской провидицы. Одним прыжком Фирс снова оказался в своей лодке, а Мара уплывала в лодке, прядь волос свисала ей на лицо, она снова сидела неподвижно, будто вся кровь из её жил стекла в песок, и ни разу не оглянулась на Фирса. Она удалялась прочь, оставшись наедине со своим болезненным упрямством, застыв в оцепенении, словно превратилась в камень.

В таком состоянии Мару увидел и Тудосе, который вёл свою лодку по разлившемуся большому каналу навстречу Якову. Тудосе не мог поверить своим глазам, что человек в лодке — это тот пьяница, который обычно никогда не мог ровно держаться на ногах, поэтому, проплывая мимо, он очень хотел поболтать с Яковом, чтобы хоть раз услышать, как тот говорит, когда не качается из стороны в сторону, напившись до беспамятства. Однако недолго подумав, он решил, что сегодня для него гораздо важнее не терять время, а искать себе повсюду занятия, которые позволили бы ему отличиться. Вперёд, только вперёд, человеку в мундире не до шуток, дорогие рыбаки, он спасает то, что можно спасти, не заботясь о своём благополучии. Он помогал причитающим женщинам, поднимал их на лодку, и они вдруг замечали, какая широкая, мощная и мускулистая грудь прячется под медными пуговицами его кителя. Тот, кто называл его слабаком, был просто гнусный клеветник. У него появилась манера крепко прижимать женщин в попытке оказать им помощь, как того требовали обстоятельства, и потом они смотрели полузакрытыми глазами в его лицо, как на циферблат новых часов, который возбуждал их любопытство. Теперь уж он покажет, что стоит больше, чем эти ленивые рыбаки, эти медведи с грубыми лапами! За сегодняшний день, проведённый в лодке за вёслами, он натёр ужасные мозоли и волдыри на обеих руках; они пекли, лопались, обнажая плоть, причиняли ему адскую боль. Но как же можно было обращать на это внимание, как можно было жалеть себя, когда нужно было приводить в изумление жён рыбаков, а, возможно, даже заставить городского голову стыдливо молчать? Он грезил наяву, что мимо его лодки на льдинах проплывают маленькие дети и умоляюще протягивают к нему свои ручки, представлял себе, как он вытягивает из воды обнажённую Гашу, бесконечно долго обтирает её и гладит, закутывает в свою шинель, пока она не согреется, а потом, окончательно согревшись, всхлипывая целует его и просит прощения за своё высокомерие. Тудосе улыбнулся, вытянув уголки губ, ведь и ему хотелось хоть немного побыть счастливым.

Замечтавшийся Тудосе вообще не заметил покоившиеся на сваях и исчезнувшие под водой надстройки складов, и его лодка

врезалась в них, а он завизжал, как собака, которой наступили на лапу, чувствуя, как сидение под ним поползло вперёд. Когда он встал со дна лодки, его пошатнуло, прежде чем он привёл в порядок своё потрясённое сознание, стоя на узкой доске сиденья, и обтёр на висках рукавами пот, эту странную, горячую влагу. Он ещё не оправился от страха, засевшего в груди, как заноза. Но откуда взялось это ощущение слабости, будто любая, даже маленькая вещица может выпасть из рук? Он не был готов сразу сесть за вёсла и сначала сделал глубокий выдох, тем самым освободив своё тело от груза. Однако потом по коже пробежал мороз, он стоял неподвижно и терпел, потому что был не в состоянии снова собраться с силами. Ладно, Тудосе, ты просто устал, ведь ты сегодня изрядно потрудился. Ему казалось, что все его органы чувств усыхают в далёком пустом пространстве, куда он не мог найти вход. Так он смотрел какое-то время на широкую гладь реки, а нетронутые вёсла лежали под ногами. Дневной свет начал окрашиваться в вечерние тона, с трудом пробиваясь сквозь опускавшийся туман. Над погрузившимся в воду городком тянулась дымка невероятно нежного, розовато-лилового цвета, отыскивая себе путь в плотной толще холода. Лишь вдалеке, куда не мог достать усталый взгляд, солнце расплавило стеклянный панцирь неба, будто пыталось слиться воедино с водами Дуная, но его лучи, словно преломляясь через призму льда, всё же падали на изнывающие от боли руки Тудосе. Приглушенный звук колокола терялся в клубах дыма, поднимавшегося из изб, улетучивался в высоту, где царила кромешная тьма, уносился на крыльях ворон в далёкие просторы.

К мертвенно-бледному лицу Тудосе снова прилила кровь. Он вспомнил, что день уже подходит к концу, поэтому его нужно завершить ещё каким-нибудь геройским поступком. Возможно, писари и посыльные уже повытаскивали из затопленных дворов всё рыбацкое отребье с его чадами и домочадцами, больными и стариками, и отвезли их в городскую администрацию, пока он тут торчит без дела целый час и совсем забыл, какую честолюбивую цель упорно преследовал всё утро. Поэтому без долгих колебаний он снова погрузил вёсла в воду между бьющимися друг о друга льдинами и поплыл по каналу с перекинутыми через него многочисленными мостиками в противоположный конец городка, где находился пароходный

причал. По пути он встречал другие лодки и, вновь загоревшись неистовым рвением, спрашивал рыбаков об их потерях и состоянии их жилищ. Боже милостивый, о повреждённых фундаментных стенах и о лечении резаных ран у домашних животных, попавших под острые льдины, Тудосе знал больше, чем кто-либо из самых опытных среди них. Сегодня ему было не до шуток, а его лоб избороздила морщинами необычайная серьёзность на лице, которую до этого дня за ним никто не замечал.

Когда он оставил позади последние избы, не встретив по пути ничего примечательного, он медленно поплыл дальше по реке, сильно вышедшей из берегов, потому что заметил поблизости две маленькие лодки и надеялся, что там, возможно, для него найдётся какое-нибудь занятие. Лодки не двигались и, судя по всему, не нуждались в помощи Тудосе, они бесцельно плавали в разных направлениях, очень спокойно, словно грохочущее полчище льдин вокруг них было безобидной игрушкой. Он крикнул, чтобы предостеречь их, однако поскольку они даже не удосужились ему ответить, он вновь почувствовал прилив гордости внутри. Нет, он не будет навязываться, пусть эти рыбаки своим тупоумием искушают судьбу, сколько им угодно. Вдруг он заметил земляной вал, который поднимался от береговой насыпи с отвесными склонами и местами нависал над водой крутыми обрывами, в то время как остальная его часть выглядела более доступной, открывая взору контуры своих выпуклых поверхностей. Наверняка оттуда сверху можно было лучше рассмотреть Вилково, разрушенные дома и пароходный причал, поэтому Тудосе ещё раз напрягся, налёг всем весом на вёсла, пока не добрался до одной из сторон земляного вала. Здесь вода текла тихо, словно в растаявшем пруде, над которым лениво дул ветер. Странно было чувствовать под ногами коричневый и сырой мох. Тудосе пошёл по выступавшим бороздкам в глинистой почве и по круто идущему вверх каменистому изгибу, окружённому водой и мелкими обломками льда. Тудосе снова взглянул на рыбацкие лодки, приложив ладонь к глазам, как козырёк, и вдруг почувствовал себя великим властелином. У его ног простиралась затопленная округа, такая огромная по сравнению с той маленькой площадью в центре городка, на которой он обычно терпеливо стоял с резиновой

дубинкой, будто приросшей к правому колену. Ему казалось, что он навсегда освободился от оков и от власти городского головы.

Вдруг над водой пролетели пронзительные крики, исходившие от мужчин в обеих лодках и сопровождавшиеся смехом. Прислушиваясь, Тудосе выдвинул вперёд левую ногу и стал на что-то нетвёрдое и шаткое. Что, теперь он им понадобился, этим сонным мухам? Однако едва эта мысль успела промелькнуть у него в голове, вызвав на лице улыбку, камни под ним обрушились, и земля начала проваливаться под весом его тела и от вызванных страхом панических движений. Он вскинул руки к небу, будто пытаясь найти где-то в воздухе опору, но обломки под ним со свистом и шумом, подобным звуку вращающегося мельничного жернова, начали падать в глубокую выемку, зиявшую над водой, потянув его за собой, словно беспомощное деревце, которое росло между ними. Тудосе полетел вниз, пробил головой тонкий лёд и плюхнулся в бурлящую воду. Его оглушило, он не мог плыть; однако через несколько секунд он взял себя в руки, упёрся ногами во что-то вязкое, пытался поднять голову, однако ему мешала огромная льдина. Он открыл рот, чувствуя, как холод проникает через его шинель. Он удалялся всё дальше от берега и начал терять сознание. В ушах что-то хлюпало и свистело. Кто-то прокричал его имя? Перед глазами проплыло что-то белое, но это был не снег. Он услышал чей-то крик? Не здесь, не там, Тудосе, очень далеко. Осетра, прежде беспечно плававшие в этих привычных для них водах, настороженно следили за ослабевающими предсмертными движениями тонувшего человека, растопырив хвостовые плавники, и приблизились лишь тогда, когда спина мертвеца всплыла между льдинами на поверхность, будто он хотел и дальше наблюдать за игрой рыб в глубине и вот так, отвернувшись от Вилково, плыть по волнам, пока вода уносит его всё дальше и дальше в открытое море.

Вероятно, прошло не больше получаса, когда две поспешно приплывшие лодки оказались возле трупа. Мужчины вытащили обмякшее тело из воды, разместили его между сидениями лодки и пару раз перекрестились, а один из них уложил руки покойника крестом на груди. Вода безжалостно сочилась из войлочного кителя Тудосе, медные пуговицы блестели, мокрые волосы растрепались, всё лицо было в царапинах, а кожа на

скулах вздулась и посинела. Пустая вторая лодка следовала за первой, которая просела в воду почти до бортов и еле-еле доплыла до городской администрации. Каналы вновь окутал пушистый туман, звучали крики, в темноте раздавалось жалобное мычание коров. Городского головы не было на месте, когда они принесли труп Тудосе, а поскольку рыбаки не привыкли ко всему тому, что называется правила приличия, они просто положили покойника поперёк его стола и ушли.

Когда ночь вновь опустилась на город, у людей было ощущение, что они очень сильно обеднели. Теперь они знали, что об изменении ситуации в лучшую сторону можно было даже не думать, потому что отвести воду не удастся, они с трудом верили городскому голове, который только указывал на небо каждый раз, когда его спрашивали, и заверял, что оттуда должна прийти помощь. Дескать, весеннее тепло спасёт город, их благосостояние зависит только от солнца, которое сможет растопить лёд у Очаковского гирла. Он отправил посыльного к священнослужителям и приказал им передать, чтобы они почаще упоминали название канала в своих молитвах. Возможно, это всё-таки поможет спасти город. Известие о смерти Тудосе он воспринял очень спокойно и с достоинством, как того требовали обстоятельства. Он втянул шею поглубже в воротник, поднял правую руку, разглядывая чёрную жирную грязь, собравшуюся у него под ногтями, и сказал Якову следующие слова:

— Никто не знал, какой он в действительности. У него был дар к полицейскому делу, уж поверьте мне. К сожалению, я был с ним слишком добр. Из-за этого у него со временем появились нездоровые мысли. Он постоянно бегал за бабами, этот Тудосе. Бывало, влеплю ему пощёчину и говорю: «Опомнись, Тудосе. Залезть потаскухе под юбку — это ещё не верх блаженства. Понял?»

При этом городской голова кивнул и про себя улыбнулся, однако сразу же принял деловитый вид, когда услышал, что мокрый труп Тудосе лежит на его рабочем столе. Он запрокинул голову, быстро размышляя.

— Завтра мы будем его хоронить, — прозвучал его вердикт. — Кто знает, как долго ещё будет стоять вода на кладбище. Я прикажу вырыть могилу далеко за холмами, куда это мокрое лихо ещё не добралось. Там душа Тудосе будет покоиться с миром.

Последние слова он произнёс с невероятной трогательностью, которая ему самому понравилась.

— Да, — прокричал он снова в лицо изумлённому Якову, — я мог бы стать священнослужителем, мой друг, и полагаю, что неплохо бы с этим справлялся.

И поскольку рыбак молча согласился, городской голова натянул пониже на виски свою остроконечную высокую меховую шапку, напоминавшую сахарную голову, и приказал городскому писарю Сысою, который так тяжело пыхтел, что при виде его сердце сжималось от жалости, грести дальше.

Однако население, похоже, не собиралось мириться со своим бедственным положением. Как-то раз Пимен дерзко спросил, почему власти не обратились за помощью к большим городам и портам в глубине страны, почему Измаил, Тулча, Галац или Брэила могут сидеть сложа руки, пока здесь тонут люди, говорил, что это позор, невообразимый позор. Разве здесь крысиное гнездо? Но очень скоро ему ответили, что на данный момент никакое сообщение не функционирует, и не желает ли он в этой связи лично доставить письмо властей с красивой печатью в Галац.

— Я? — гордо возмущался Пимен. — Я рыбак, позвольте заметить. Вот Тудосе для этого дела хорошо бы сгодился.

— Не гневи Бога, — бросила ему Гаша, — Тудосе уже отслужил своё.

Она сидела перед мужем в лодке и держала на руках целую кучу камыша, хвороста, обломков досок, потому что ей удалось очаровать соседа, который уже давно тайком заглядывался на неё и теперь охотно помогал с топливом для печи. Поэтому оставалось только разжечь огонь и радоваться теплу, даже если Савел, этот неблагодарный беглец, больше совсем не

показывался.

А Савел в это время сидел рядом с братом-близнецом, скатывал пальцами мамалыгу в маленькие шарики, окунал их в рыбную юшку и кидал одну за другой в рот. Он это делал с размеренностью и неторопливостью детской игры-головоломки, в то время как Дуня, поскольку уже был поздний вечер, уныло и неподвижно смотрела на воду. Она до сих пор продолжала прибывать, поднималась всё выше и смывала вертикальные чёрточки, которые Дуня нарисовала мелом на стенах, чтобы таким образом легче было узнать, не прекратилось ли наконец наводнение. Нет, ничто не подавало надежды на улучшение. Вода размывала и обгрызала глину стен, глина впитывала влагу, а края льдин все стирались и стирались. Так продолжалось беспрестанно, пока балки и обшивка не выдерживали и сами начинали хлебать воду.

Ночью площадь в центре городка пустовала, в городской администрации тихо потрескивала догоравшая сальная свеча, жужжавшая как пчела. На стенах рыбацких домов и изб как обычно висели иконы, отражаясь в спокойной холодной глади воды, на которую падал тусклый свет, пробивавшийся сквозь тесный колпак масляных ламп. Образы венценосных святых в роскошной золотой отделке равнодушно смотрели в неведомую даль. Их глубокий взгляд не был похож на взгляд обычных людей, он витал где-то в ином мире. Туда не доходил мерцающий свет, сочившийся над складками изумрудно-зелёных и красных одеяний, над их руками, этими худыми и невесомыми крыльями, обведёнными таким же чёрным контуром, как и четырёхбуквенная аббревиатура таинственной надписи. Погружённые в свои мысли, они застыли в торжественном величии, а их украшения напоминали небесные светила. К их ногам припадали толпы живых, дышащих, мечтающих, вздыхающих, бодрствующих созданий; в темноте время от времени поблёскивали огненно-рыжие бороды рыбаков, и это было как ответ небесным силам и как замиравшее вдалеке эхо. На широких спинах матерей лежали младенцы и сосали во сне палец, прижав кулачки к пухлым губкам. Люди стали невероятно терпеливыми, такими же терпеливыми, как коровы в хлеву и мертвецы на кладбище, каждый старался помочь себе и другим, насколько это было возможно в этом бедственном положении.

Старик Калистрат выделил Фирсу место возле себя, и теперь тот даже не осмеливался пошевелиться, потому что солома под ним громко скрипела. Кровать Дуни теперь находилась довольно высоко над поверхностью воды, потому что Фирсу пришла в голову идея поставить её на сложенное из кирпичей основание. Мокрая одежда и сапоги сохли на тросах, которые пересекались над топочным отверстием печи. Веки Акима были приоткрыты и не шевелились. Ему казалось, что до него доносится дыхание Дуни, хотя дверь в переднюю как обычно была закрыта. Боже мой, это всего лишь заблуждение, вызванное стуком льдин об стены. Они находились в темноте, похожей на бездонный колодец. Одиночество рисовало перед ним иной мир, и страх проникал к нему под сорочку, под кожу, в то укромное место в груди, где хранились его самые сокровенные тайны.

А вот в домике Пимена даже в это время никто не мог обрести покой. Здесь произошло что-то совершенно неожиданное, о чём огорошенный супруг даже впоследствии не мог рассказывать без содрогания, что-то невероятное, что, однако, было лишь логичным последствием наводнения. Отнюдь не жалея хвороста и прочих древесных отходов, Гаша развела в печи настоящий костёр. Когда он догорел, и угли постепенно начали тлеть, она, жаждущая тепла, забралась на широкую плиту печи, чтобы обустроить себе там на эту ночь постель. Говоря по правде, она едва успела раздеться и удобно улечься, как внезапно случилось непредвиденное. Старая печь, которая уже два дня утопала в воде, из-за чего все кирпичи размокли и стали хрупкими, с шумом и грохотом обрушилась, и Гаша угодила прямо на угли и в ещё горячую золу. Она издала душераздирающий крик, который бы точно испугал всех жителей Вилково, если бы они сейчас не были в том состоянии, когда разразившееся несчастье притупило все их чувства. Пимен со страху проснулся, увидел, как её голая спина опустилась на красноватые, ещё тлеющие угли. Он подскочил к ней, он никогда в жизни ещё так не торопился, протянул ей обе руки, вытянул её, брызгал скопившейся вокруг него водой на её тело, которое светилось в темноте, потому что маленькие угольки повсюду впились в плоть. Гаша бросилась в воду, и вокруг неё всё зашкварчало и зашипело. Ах, как же она потом причитала и ныла! В доме не было растительного масла, которым можно было бы смазать ожоги на её ягодицах, не было

даже рапсового масла, которое снимает боль и способствует заживлению ран. Вся комната наполнилась едким дымом, клубившимся над ледяной водой, а Пимен, этот трус, не захотел так поздно будить соседей, чтобы попросить у них масло. Гаша плакала, завернувшись в льняную простыню, постепенно её плач затихал, пока она не уснула сидя.

А рано утром наконец-то нашлась работа для аптекаря Наума. Гаша полагала, что теперь рапсовое масло её ранам и волдырям уже не поможет, поэтому она ехала рядом с Пименом в лодке прямо до двери лавки, за которой у всех стен возвышались полки, забитые доверху таинственными вещицами. Супруг остался в лодке под каким-то легко выдуманным предлогом, потому что ему было неприятно рассматривать следы от ожогов на теле Гаши вместе с аптекарем. Нет, от этого ему было не по себе. В разговоре с аптекарем вряд ли было бы легко избежать упоминания основной пострадавшей части тела Гаши. Лучше он будет смотреть на рыбные склады и таращиться в небо, которое распростёрло свою глубокую синеву над Вилково, как будто в один день кто-то наколдовал приход весны. Но Гаша, видимо, была другого мнения в этом отношении. Она прошла в сопровождении аптекаря, обутого в резиновые сапоги, в заднюю комнатку, так называемую лабораторию, и особо не церемонясь, показала ему свои раны. При этом она немного улыбалась, и только Богу известно, как она улыбалась, Пимен, стоявший перед дверью, этого не знал. Ведь аптекарь Наум всё-таки был врачевателем, которому можно было довериться и который должен был точно ознакомиться с обстоятельствами дела. Гаша без колебаний стащила с себя юбки, словно это были безобидные листья капусты, она совсем не стеснялась, бесстыдница, после чего аптекарь дрожащими пальцами промыл её раны и очень медленно нанёс на них жирную мазь, эту нежно таявшую мазь.

А после обеда над затопившей всю округу водой стоял такой чистый и безупречно прозрачный воздух, словно небо не видело ни убытков, ни страданий и горя рыбацкого народа. Между тем пришло время хоронить Тудосе. Люди выдвинулись четырьмя лодками на север, среди них были многие рыбаки с ружьями, городской голова, батюшка, которому пришлось по этому случаю вылезти из своих четырёх стен, где он всё время прятался,

служащие и чиновники городской администрации, Яков, Фирс, Савел, Пимен и Гаша. Она была предусмотрительна и взяла с собой маленькую подушечку, на которой собиралась сидеть в лодке, но храбро стояла всю дорогу, потому что так ей было удобнее. Она старалась не обращать внимания на боль, ведь она не могла не проводить Тудосе в последний путь. Она была единственной женщиной в этой процессии и стояла там с полными слёз глазами. Когда они наконец выехали за пределы городка, оставив позади затопленные земли, рыбаки понесли на плечах гроб цвета синьки с аккуратным бумажным крестом к подготовленной могиле. Старый батюшка промямлил что-то своим неповоротливым языком, городской голова вздохнул пару раз, и по его команде, которую он произнёс с важным видом, рыбаки неуклюже дали залп из своих дробовиков над открытой могилой, а выстрел разнёсся далёким эхом по всей округе. Так они почтили память Тудосе, который в городке был наподобие солдата. А Гаша всхлипнула. Может быть, она упрекала себя, или на неё нахлынули иные чувства, о причинах которых никто не знал? Теперь, конечно, об этом не узнает ни одна душа, но Тудосе действительно знал все её секреты как свои пять пальцев.

Ещё было светло, и оставалось время для многих дел, поэтому они неторопливо поплыли назад в Вилково, останавливались у нескольких затопленных дворов и спрашивали измученных жителей об их потерях. При этом городской голова и Гаша проявляли себя наиболее активно. Иногда даже казалось, что это Гаша была городским головой, а он — лишь покорно кивающим писарем. Порой ей приходили в голову хорошие идеи, этого у неё было не отнять, вот только обратить их в свою пользу она не могла. Маленькая подушечка торчала, как курица, из-под её руки, пока она крайне многословно и нередко смешно описывала, как обвалилась печь. Охая и ахая, она рассказывала, как печь обрушилась с таким грохотом, люди дорогие, что у неё потемнело в глазах и голова кругом пошла. Да, нешуточное дело, а теперь она проходит лечение у аптекаря Наума. Пимен смотрел в сторону, а Гаша хвастливо рассказывала, как она стойко, словно безмолвный ягнёнок, терпела невероятную боль, ха-ха. А как долго будет длиться траур по караульному? Из какого-то окна мальчик со впалыми глазами кричал, что вода спадает, вода спадает. Но

никто даже и не думал верить его словам, хотя до этого тишину нарушил странный далёкий звук, словно на куски разорвалась ветхая пеньковая ткань. Паренёк восторженно махал над головой худыми голыми руками, а к его бледному лицу стала приливать кровь, и оно порозовело. Только когда лодка неожиданно натолкнулась на дно в том месте, которое они беспрепятственно проплыли по пути к могиле Тудосе, некоторые высказали предположение, что, вероятно, мальчик всё-таки был прав. А когда Фирс и Савел, которого Гаша сегодня не удостоила ни одним взглядом, добрались до двора Сверёвых, они увидели Дуню, которая ликовала, что вода уходит, что она в этом уверена, потому что нарисованные мелом отметки держатся на стене уже час и даже больше, а вода опустилась от них на два, а то и на три пальца. Теперь нужно только ждать, а не воздавать хвалу молитвам священнослужителей! Однако можно было не сомневаться, что многие всё же отнесут в церковь свой следующий улов. Потому что вода, хвала Всевышнему, действительно уходила, и все глаза наблюдали за этим с пылкостью распалённой страсти.

Огромный диск солнца сверкал, как новая лужёная сталь, и казалось, задержался дольше обычного над камышовыми крышами домов. Солнце растопило облака, заливало ледяную дамбу Очаковского гирла и устье Дуная таким ярким светом, что перед его мощью не могла устоять никакая твердыня; ломающиеся, крошащиеся льдины то наползали одна на одну, то успокаивались, то вновь громили друг друга, создавая при этом невероятный движущийся поток, который усиливался и не прекращался, напоминая бесконечный поток писем. Прозрачные ледяные стены трескались, и огромное количество скопившейся воды прорывалось между ними, струилось, растекалось, заливая тяжёлые качающиеся глыбы и унося их за собой. В направлении

устья ледяной покров разлетался на куски, будто на него обрушивались яростные удары огромных молотов. По толще льда с треском побежали тысячи прожилок, и от новых толчков, сразу же последовавших за первыми, лёд вырвался из крепко сжимавших его лап берега. Черноголовые чайки неистово кружили над освободившейся ото льда рекой, кричали, окунали свои пушистые зобы в воду, поднимая брызги, взлетали ввысь и снова падали вниз, их силуэты размывались в этом бешеном порхании, и казалось, что в воздухе парят чёрно-белые клочья. Дикие кошки бурили горящими, словно паяльник, глазами своих первых слабых жертв, проснулись лисицы, а куницы, выдры, хорьки, крысы и ежи осторожно, пока ещё боясь внешнего мира, толклись и суетились в дуплах вековых ив, между волосатыми и мохнатыми корнями, в складках коры тополей. Черепахи передвигали свои панцири на шаг вперёд и вытягивали дрожащие лапы наружу, прежде чем медленно поднять свою ношу. А почва под ними, глина и камни охотно терпели отпечатки их следов, все линии, канавки, борозды и дыры.

Не слишком ли рано развернулась активность в плавнях и густых зарослях деревьев, или это была лишь первая пробная игра? Впереди ещё предстоят морозы и снег, дождь и суровый ветер из степей Украины, которые разгонят всех смельчаков обратно по своим норам и убежищам, а жуткий рассветный холод ещё будет медленно проникать под гладкий, бархатный мех животных, пробирая до самых корней щетины и когтей. Но сегодня здесь в дельте уже зарождалась жизнь и пускала первые ростки, обещая добычу, покой и давно забытую усладу половой охоты и спаривания. Вода вновь нашла дорогу к морю, бежала извилистыми окольными путями через камыш и траву, запруды в обводных каналах, преодолевая их и оставляя позади себя. Песчаные отмели высотою с дом напрочь смело ледяными блоками, а зарывшиеся в самые глубокие уголки илистого дна сомы ждали свою пищу, раздували широкие пасти, подёргивали белыми и красными усами на челюстях, распластав свои скользкие туловища. Эти прожорливые чудовища хорошо знали, где им больше всего перепадёт, и быстро хватали и проглатывали стремительно приближавшихся отовсюду мелких рыбёшек, пуская бульбы в глубине.

Однако все эти шумные звуки совершенно не заботили

жителей Вилково, наблюдавших с довольным видом за убывающим наводнением. Вода спадала и исчезала прямо на глазах, все двери были открыты, вода уходила из домов, изб и хлевов и стекала в каналы, постепенно освобождая дворы и сады. Это происходило не в одно мгновение, конечно, требовалось терпение. Народ засучил рукава и помогал найти сток оставшимся лужицам, ручейкам и струйкам, все впали в молчаливое состояние лихорадочной деятельности, уклониться от которой не удалось никому. Люди больше не верили в угрожавший злой рок, и церковные звонари отправились спать. Через четыре дня вода осталась только в каналах, которые ещё были заполнены до краёв, а жители городка смогли вернуться к своим привычным делам или праздному сонному существованию.

Яков вновь ударился в пьянство, но иногда тайком шептал на ухо некоторым завсегдатаям трактира, что Мара плохо отзывалась о Пахоме, этом благочестивом монахе, только из зависти и злости. Нет, теперь он уверился в добропорядочности монаха ещё больше. Все дети вернулись здоровыми и смеющимися к своим близким. Никто даже пальца не порезал или поцарапался корочкой белого хлеба. Он считал, что Мара не внушает доверия. Для него она была лишь косоглазой сумасшедшей, припадки которой больше никто не мог понять. Кто вообще когда-либо верил её дурацким пророчествам? Может, пара дряхлых старушек, и Фирс, этот наивный дуралей, которому можно было наплести что угодно. Даже Яков в пьяном угаре мог быть очень рассудительным.

Вряд ли то же самое можно было со спокойной совестью утверждать об аптекаре Науме, пока он лечил Гашу. Нельзя сказать, что его поведение по отношению к жене рыбака было каким-либо безрассудным или даже развязным. Наум менял каждую повязку с достоинством мудреца, лишь изредка робко посмеивался, когда возился с мазью, а Гаша так терпеливо ждала, терпеливо, разумеется, но без одежды. Раз, два, и вот она уже сбросила свои юбки, стояла там и наивно демонстрировала своё цветущее пышное тело, которое блестело, как гладкая луковица. Однако Наум считал, что мазь действует недостаточно быстро, осматривал раны и говорил, что было бы неплохо добавить к ней порошок. И он добавлял это вещество, которое раздражало нос и

вызывало чиханье, неторопливо мешал дальше, потому что спешить было некуда, а затем обрабатывал кожу Гаши так бережно, словно это была паутинка. С такой нежностью к ней не прикасался ни один рыбак, а аптекарь, похоже, не уставал от заботливого лечения, которое длилось уже несколько недель.

Видимо, Гаша чувствовала себя страдающей королевой, но ведь Наум в конце концов был мужчиной. Если она иногда спрашивала, сколько должна ему за лечение, он её сразу же успокаивал, отмахиваясь рукой и говоря, что до этого времени ещё много воды протечёт через русло Дуная, а когда уже больше нечего было лечить и растирать, кроме здоровой гладкой кожи, бескорыстный аптекарь не взял ни одного лея. Однако Гаша заставила Пимена одолжить эти деньги исключительно для этой цели, поэтому она ничего не сказала мужу о великодушии аптекаря и теперь постепенно их тратила, покупая себе разные мелочи, водяные орехи и сладости. Нет, аптекарь не был лихоимцем, такого за ним никто не замечал, он с большим пониманием отнёсся к несчастью, постигшему дом Пимена, хотя Гаша и словом не обмолвилась об этом случае; он бы даже с радостью всучил ей что-нибудь ещё, сладкое средство от кашля или флакончик розовой воды, потому что так называемая лаборатория выглядела очень пустынно и тоскливо, когда она не приходила.

Когда же все раны наконец зажили, у Наума участилось мрачное настроение. Как только Гаша в нём больше не нуждалась, она даже не заглядывала в его лавку. Она забыла о нём, словно об упавшей где-то тыквенной семечке. Ведь у него были тонкие и боязливые пальцы, и он всё время дрожал. Неужели все аптекари обращаются с женщинами, как с больными и слабыми? Вот Савел, несмотря на его неблагодарность, был совсем из другого теста, если так можно выразиться.

Как и предполагалось, хотя об этом никто и не говорил вслух, погода в мгновение ока не улучшилась, и когда вода спала, оставшись лишь в каналах, напоминавших стоячие лужи, а Вилково со своими водными артериями и колокольней в центре снова стало похоже на колесо с тридцатью шестью спицами, шиной которого служил матовый небосклон, люди впервые заметили, какой ущерб причинило наводнение. Сквозь стены,

которые подмывало водой, гулял ветер, а из всех глиняных полов в домах города не было ни одного, который бы остался цел и не был повреждён. Поэтому при всей активной деятельности в большинстве дворов поселилась нищета, на которую ранним утром опустились снежинки. Они пролежали лишь час или два на заборах и на новом, только что насыпанном чернозёме в садочках, а затем бесследно исчезли, потому что за снегом последовал дождь.

Нехватка земли наблюдалась повсюду, пригодной земли. Глина вряд ли могла послужить ей заменой. Наводнение смыло землю с каждой грядки, слизало её вокруг каждого фруктового дерева, словно мёд. И теперь люди с большим трудом привозили её издалека на лодках в город, нагромождали мягкими, пахнущими холмами, а затем утрамбовывали лопатами, совками и босыми ногами. Земля была редкой ценностью, а сейчас стала ещё дороже; она была не у каждого, за повреждёнными досками заборов и ворот виднелись убогие, опустошённые дворы, а от кладок над каналами остались только опорные сваи, зарывшиеся глубоко в илистый грунт. Нигде не сохранилось ни кустов, ни многолетников, ни одного молодого деревца, а на всех ивах, тополях, айвовых деревьях, на планках заборов и крестах на кладбище принесённый ил оставил светло-серый слой, который точно отображал уровень воды во время наводнения. Так люди лучше запомнят это бедствие.

Двор Мары выглядел сейчас как высохшее русло реки, в котором ослабевшее течение выдолбило бесчисленные канавки и борозды. Мара таскала камни и бросала их на место смытой земли вокруг своей избы. Она подбирала камни везде, где находила, и кряхтя тащила их домой, говоря себе, что в будущем ни одно подобное наводнение не сможет унести эту тяжесть. Поэтому ей казалось, что она таким образом обезопасит себя навсегда.

— Двор выглядит ужасно, — сказал Фирс, когда вышел утром на улицу и вылил себе на спину воду из огромного ведра, так что брызги полетели на все лежащие вокруг камни.

— Ну так приведи его в порядок, — резко ответила Мара, отведя глаза в сторону и поглаживая двух старых собак, которые с первой ночи наводнения остались у неё. — Сколько лодок с землёй ты отвёз к Сверёвым? — спросила она будто между

прочим, но это точно прозвучало как намёк.

— Я не знаю, — равнодушно ответил Фирс, — но тебе я тоже помогу.

В тот день он увидел Дуню позже обычного. Он собирал камни по всем углам, принёс песок и выложил каменную дорожку, которая была похожа на широкую ленту и вела от ворот прямо к входу в избу Мары. Более крупные камни с обеих сторон поддерживали наподобие бордюра остальные, и между ними могла стекать дождевая вода, так что двор с точки зрения Мары прямо преобразился и приобрёл поистине роскошный облик. Она не отрывала глаз от каменной дорожки, торжествующе смеялась, и этот смех походил на низкое ржание, а затем высокомерно сказала:

— Камни лежат гладко и ровно. Нигде ни одного бугорка, ни одной вмятины. Ногам приятно ходить по этой дорожке, она — как ковёр, как бархат. Даже Дунина кровать не такая ровная и гладкая.

И потом, с трудом переводя дыхание, она побежала к воротам, остановила прохожего и спросила его вызывающе и чванливо:

— Разве я не богатая женщина, как думаешь? Скажи, не хотелось ли тебе иметь такой же двор, как вон тот? Пахом, ох, вот он — нищий. Он тогда жевал белый хлеб, но он нищий. Он спит на навозной куче, ха-ха. И от этого он лучше не становится. У него нет ни двора, ни камней во дворе. Больше мои ноги не будут промокать. Разве я не богата, как Илларион Полнектов?

Она опустила бледные веки, и издала смешок, который вылетел сквозь осколки её поломанных зубов. Затем с показной церемонностью она приподняла разодранную юбку и посеменила по камням, шаркая ногами, в то время как прохожий, с которым она говорила, уже давно скрылся из виду.

Когда Фирс ближе к вечеру закончил работу, он как всегда отправился к Сверёвым. У дверей передней Дуня встретила его более радостной, чем обычно, украдкой сжала его руку и сказала:

— Ты знаешь, Аким — самый непостоянный человек, которого я когда-либо встречала. До обеда он ожидал твоего прихода, а когда понял, что ты не придёшь, уселся со мной рядом и поведал мне сотни историй, которые произошли в Килии. Он бросил плести начатую камышовую подстилку, взял меня за руку и часами рассказывал мне одну историю за другой. Я смеялась, и он этому радовался, а его лицо казалось мне таким непривычно весёлым, что на минуту я даже забыла, кто передо мной сидит. Казалось, будто в тело Акима вселился Савел. Ты таким его ещё никогда не видел, нашего Акима. Оказывается, он бывает в хорошем настроении, даже может быть забавным и смешным, умеет шутить. Лишь иногда он сегодня бросался к двери, чтобы проверить, не идёшь ли ты. Но тебя нигде не было видно, наверняка, ты был занят другими делами. В Килии он знал всех портовых грузчиков и всех конокрадов, говорил, что мужики там суровые. Наверно, это было здорово. Фирс, ты даже понятия не имеешь обо всех этих вещах. Но Аким сегодня наконец-то разговорился и рассказал так много, что я уже запуталась во всех этих историях. Он даже развеселился от своих рассказов и иногда сам заходился смехом от своих слов. Слушай, а ещё в Килии есть роскошная церковь, на колокольнях которой гнездятся сотни птиц, аисты, ласточки и голуби, и когда начинают звонить колокола, в воздухе парят тысячи крыльев, белые, чёрные, серые коричневые. А один грузчик, румын, которого звали Тудораке, даже зимой всегда ходил босиком, мог незаметно подкрасться к птицам и поймать любую, какую ему захочется. Но сам он никогда не ел ни кусочка мяса, ни одного голубя. Ах, Аким рассказывал, что этот Тудораке был таким ловким и быстрым, как выдра. Он иногда нырял глубоко в Дунай и просто хватал всё, что попадётся под руку, вытаскивал трепыхающихся линей и сельдь.

Скрестив руки на груди, изумлённый Фирс продолжал стоять у двери напротив Дуни, так и не успев зайти в дом, чтобы поздороваться со стариком Калистратом. На его лице застыло молчаливое удивление, потому что даже голос девушки звучал

сегодня более наивно, чем всегда, и она очаровывала его своей необычной непринуждённой разговорчивостью. Когда он в последний раз видел её в таком воодушевлении? Уже давно, наверно, ещё в те зимние дни до возвращения Акима в город. Ему казалось, что глаза Дуни сияли больше, чем обычно, настолько радостным выглядело её лицо, освободившееся от всех печалей и грусти.

— Вот как, — сказал Фирс со спокойной и почти холодной сдержанностью, — не успел я на порог зайти, а ты мне уже так много всего наговорила. Обычно ты за всю неделю столько не рассказываешь.

— Тебя это удивляет? — сразу же прозвучал её ответ. — Но ведь раньше и Аким был другим. Сегодня я сама чувствую какую-то лёгкость и невесомость, словно птица или маленькая рыбка. Всем стало гораздо лучше и уютнее с тех пор, как Аким изменился и стал более общительным. Обычно он сидел молча, как пень, который не сдвинешь с места. Но сейчас всё по-другому, будто неожиданно свежий воздух проник во все окна и двери.

Они прошли в заднюю комнату, где старый Калистрат как раз принялся латать свою зелёный рабочий халат. В его движениях также ощущалась непривычная лёгкость, потому что работа быстро спорилась в его руках, пока он, улыбаясь, болтал с Фирсом, а густые брови больше не скрывали тот мрачный взгляд, который с недавних пор поселился в его глазах. Он радостно и немного горделиво сообщил, что собирается подарить Акиму новые снасти, которые он ещё раньше купил на отложенные деньги, заморские крючки, даже острее зубов щуки. Ведь Аким хороший, преданный сын. И он очень искусный рассказчик, его красноречивые истории будто сошли со страниц книг. Просто он, хитрый плут, раньше не хотел этого показывать. Старик Калистрат в самом деле гордился невероятной общительностью своего сына. Савел, дескать, тоже весьма находчив и остроумен, но на примере Акима они убедились, сколько всего можно увидеть и узнать за пару лет, просто диву даёшься. При этом старик сам стал разговорчивым, а его лицо немного порозовело, отчего он даже казался моложе.

Фирс задумчиво сидел рядом с ним, вообще не понимая, что значили все эти лившиеся потоком слова, потому что не мог

поверить, что при этом речь шла ни о ком ином, как об Акиме. Получается, что тот вдруг взял и превратился в кроткого ягнёнка? Долгое время ему казалось, что он не верит своим ушам, но ведь нельзя было путать старика Калистрата с Пименом, а Дуню с Гашей. Они не могли говорить всё это просто от скуки, наверняка у них были веские причины. Неожиданно внутри него тоже загорелся слабый огонёк радости, сопровождавшейся какой-то необъяснимой смутной надеждой. Он невольно проникся и заразился их настроением, словно болезнью, вспомнил об отзывчивости Акима во время совместных вылазок в дни наводнения, похвально отозвался о его разумных идеях.

— Нет сомнений, что Аким не зря прожил все эти годы в Килии. Он набрался большого опыта, — добавил он некоторое время спустя, потому что ему казалось, что старик Калистрат и Дуня могут обидеться на его немногословность.

Фирс не был занудой и не любил портить другим настроение. Что страшного в том, если во время разговора Аким превращался в ангела? За месяцы с момента его возвращения странное уныние непостижимым образом овладевало жителями этого дома, и, возможно, сейчас было самое время раз и навсегда покончить со всеми ложными сомнениями. Дуня с неутомимой жаждой находила что-то смешное в каждой фразе, ради забавы перекручивала слова, хихикала, смеялась так громко, что от этого звука дрожали оконные стёкла, будто случайно залетевшие в комнату ласточки. Это напоминало застолье без вина, когда все упивались собственным беспричинным весельем и благотворным воздействием смешных преувеличений. Никто даже не заметил, как один час сменился другим; огонёк керосиновой лампы танцевал над головами, словно маленький, попавший в ловушку мотылёк, а двор снаружи окутала тьма, которая, однако, не смогла скрыть ни один мимолётный взгляд Дуни, который предназначался Фирсу.

Савела к ужину как обычно никто не ждал. Он всё время где-то шлялся, появлялся лишь изредка, поэтому его присутствие за ужином было маловероятным. Однако все с нетерпением ждали Акима, потому что им было любопытно, какие ещё развлекательные истории он им поведает. Судя по всему, Дуне с её живым воображением Килия уже представлялась чем-то вроде столицы страны. Наконец они всё же взяли ложки и принялись

есть, иначе рыбная юшка могла совсем остыть; они как раз закончили сёрбать, когда на пороге появился Аким, как обычно резко захлопнул за собой входную дверь и едва слышно пожелал всем доброго вечера. Впрочем, он мог сказать что угодно, какое-нибудь проклятие или ругательство, потому что его слова никто толком не расслышал, он проглотил их, словно слюну, которая становится горькой, долго побыв во рту. Старик Калистрат, Дуня и Фирс замолчали, наступила напряжённая тишина, все словно притаились и терпеливо ожидали смены его поведения, которая хоть немного подтвердила бы всё то, что они рассказывали об Акиме весь вечер. Однако его, видимо, это мало заботило, он был как всегда замкнут, у него едва нашлось несколько более чем скудных фраз для Фирса, который пытался описать ему восторг Дуни касательно его историй о Килии.

— Ерунда, — отнекивался он, пренебрежительно махнув обеими руками, — знаешь ли, это получилось само по себе; я и сам не понимаю, как и почему.

— Ну не будь таким чопорным, Аким, а то получается, что я и отец обманули Фирса, — бросила ему Дуня с упрёком.

— Нет, я ничего плохого не имел ввиду, — сухо возразил брат, подтягивая к себе колени и смотря сквозь всех отрешенным взглядом в угол комнаты, в котором висели иконы. И затем он ответил уже громче, будто в нём начала закипать сдерживаемая ярость:

— Однако клоуном по приказу я тоже быть не могу.

Сестра протянула ему глиняную тарелку с рыбной юшкой, в то время как Калистрат сделал несколько осторожных намёков на свой подарок, новые снасти, которые якобы должны быть более эффективными, чем сотни рыбацких рук. Но Аким и сейчас не пытался вникнуть в смысл его слов и ничего не отвечал даже на чётко поставленные вопросы. Он лишь сжимал челюсти, словно изо рта мог вывалиться кусок, и сидел, упёршись ступнями в тёплую стену печи. Дуня какое-то время оставалась в передней комнате, потому что ей было неловко перед Фирсом за такую резкую перемену в поведении брата. Но тот повернулся к гостю спиной, глухо покашлял и затем медленно заявил, что вероятно скоро, да, очень скоро покинет Вилково и снова вернётся к своей старой жизни в Килии. Ему, дескать, там лучше, и он может отправиться в путь послезавтра, потому что в этот

день отплывает пароход.

— Ты хочешь покинуть нас? — перебил его старик Калистрат, которого больно и глубоко задели эти слова. На вопрос отца Аким уклончиво ответил, что там он может найти себе занятие получше, что он сегодня об этом размышлял и принял решение уехать послезавтра. Там, мол, ему есть где развернуться.

Даже Фирс очнулся от накативших на него мыслей и поднял голову, но ничего не сказал и лишь спрашивал себя, почему вдруг Аким решил снова уехать из дома в такую даль и в чужой мир. Ведь Фирс старался быть его верным товарищем, хотя Аким всегда относился к нему очень странно. Остальные рыбаки, которых он знал, никогда так себя не вели, пусть даже из-за пьянства они и были ненадёжными. Ведь речь шла о мужиках, если не считать Пимена или Пахома. Этого странного монаха с двусмысленной и подозрительной ухмылкой на прошлой неделе вновь пару раз застукали за кражей и прогнали как бродячую собаку, но что касается остальных, было понятно, что можно от кого ожидать. Между ним и Акимом всё наверняка могло сложиться совершенно по-другому; ведь он сам всегда был готов к любой работе, а этот отвернувшийся к печи человек всё-таки был братом Дуни. Разве они не договаривались, что будут вместе с Савелом выезжать на лодке на рыбалку? А теперь Аким срывал все планы и вёл себя так, словно Фирс не достоин объяснения или дружеской беседы. Он просто заявил, что уезжает, показывая всем своим видом, что если, мол, это кому-то не нравится, пусть открыто скажет ему об этом в лицо.

Но если Аким рассчитывал услышать от своего товарища Фирса подобное заявление, он в этом отношении глубоко заблуждался. Нет, Фирс даже не собирался что-либо возражать; услышанное было ему более чем понятно. Однако он вздохнул, вздохнул громко и полностью погруженный в свои мысли, будто рядом никого не было, в то время как Дуня и старик Калистрат обменивались растерянными взглядами.

— Сегодня был чудесный, отрадный день! — тихо сказала сквозь зубы Дуня, и в каждом звуке слышалось детское упрямство и горькая печаль. Но при взгляде на Фирса у неё возникло ощущение, словно он крепко держит её ладонями своих неуклюжих, добрых рук. И вся злость неожиданно отступила, а те гневные слова, которые она собиралась сказать,

затихли и расплылись в её сознании, как тихо журчащая вода. Фирс не шевелился, он был рядом с ней и словно поддерживал её, как прочная стена, на которую всегда можно опереться. Дуне хотелось хоть немного рассеять смятение отца, поэтому она сказала:

— Наверняка Аким знает, что делает. Он уже достаточно взрослый для этого. И что может его удержать, если ему не по душе эта жизнь вместе с нами?

На это брат ничего не ответил, а его тело как-то жалко съёжилось, будто комната вокруг него превратилась в безжизненную, застывшую в оцепенении степь. На этом все оставили его наедине с собой, хотя он находился среди них.

Однако вопреки своим намерениям на следующий день Аким вообще не выходил из дома, а лишь сидел и смотрел отсутствующим взглядом через окошко во двор, словно боялся погоды, или молча бродил босиком вокруг Дуни и старика Калистрата. Похоже, он опять не спал всю ночь, зашнуровывал дрожащими руками сапоги и, в конце концов, оставил их лежать возле себя. Он сидел на полу, упёршись спиной об стену, но в итоге усталость и сон взяли верх, и он задремал. Проснувшись, он снова побрёл нетвёрдой поступью к окошку, посмотрел на улицу и покачал головой. Тем временем его отец и Дуня занимались повседневными делами, периодически бросая на него изучающие взгляды, но не говоря ему ни слова. Возможно, они тоже сегодня плохо спали и сейчас пытались избежать всего, что могло вызвать новый всплеск в странном поведении Акима.

Старик Калистрат отправился на рыбные склады, чтобы прибраться в маленькой деревянной каморке, в которой он выполнял свою работу икорщика; он подготовил каждый лоток и каждое сито, соль и воду, словно вскоре у него должна была появиться куча дел. Сегодня он не хотел думать ни о чём, кроме работы, он уговаривал сам себя, высматривал возвращающихся домой рыбаков, но сколько бы он ни ждал, деревянные доски перед его дверью не громыхали от их шагов. Каждый раз, когда ему вспоминался Аким, он, будто пытаясь сбежать от этой причинявшей ему беспокойство и боль мысли, начинал чистить и проверять на пригодность старую бочку, которую он не использовал уже много лет. Он обстукивал бочарные дощечки и гладил их кончиками пальцев. Боже мой, Аким совсем от них

отдалился; едва вернувшись домой и наполнив отрадой их бьющиеся сердца, он вновь собирался исчезнуть в далёком городе, словно пропавший без вести. Руки старика дрожали, но он делал вид, что не замечает этого, и бормотал себе под нос:

— Должно быть, холод виноват в том, что мои руки стали такими неуверенными и немощными. За эту зиму я снова постарел. Да ещё и наводнение меня так истощило. От всей этой воды мои суставы заржавели.

Однако, вернувшись домой к обеду, он узнал от Савела, что Аким после долгих колебаний и раздумий принял решение пока что остаться в Вилково ещё на некоторое время. Старик Калистрат не отважился спросить у выглядевшего растерянно сына, правдива ли новость, которую Савел нашептал ему на ухо. Нет, сегодня у него больше ни на что не осталось сил. Присутствие Акима было подобно хрупкому кувшину, который мог выпасть у него из рук. Он настороженно молчал; наверное, он стал нерасторопен и стар, слишком стар, поэтому лучше было не вмешиваться. Лучше не предаваться радостным мыслям, лучше размышлять лёжа за печью, прижавшись к её нагревшимся стенам, пока тело не наполнится приятным теплом, которым можно немного насладиться. Конечно, на слова Акима нельзя было положиться. Однако сын действительно больше не упоминал об отъезде в Килию. Или он просто не хотел их расстраивать своими приготовлениями, а собирался потом всё быстро упаковать и умчаться на корабельный причал? Однако не происходило ничего, что бы указывало на это, прошёл и день отплытия парохода, а Аким чуть ли не со страстным рвением всё вырезал что-то из ивовой ветки. Однажды Фирс его спросил:

— Когда ты уезжаешь?

Тот поднял голову, словно очнувшись от своих сладких грёз, и улыбаясь, ответил:

— Я не уезжаю. Возможно, позже, ведь у нас ещё весь год впереди.

Дуня также слышала эти слова, которые, казалось бы, должны были поднять её унылый настрой, но она даже не обернулась к Акиму, а в её взгляде читалось равнодушие. Она тоже предпочитала оставаться глухой и ничего не слышать. Совсем не изменившись в лице, она неподвижно стояла там в своём платье с редкими сборками, будто брат ничего не сказал. И на

протяжении следующих недель о намерении Акима никто больше не упоминал ни слова.

Однажды ночью Савел случайно проснулся и испугался, увидев, что Аким не спит и таращится в потолок. Интересно, он так же выглядел, когда не закрывал глаза? Странные мысли роились в его не до конца протрезвевшем сознании, мысли, которые обычно были ему не свойственны. Вероятно, ему было не до шуток, и он спрашивал себя, может ли один и тот же человек лежать там без сна и одновременно спать здесь, в его собственном теле, словно спрятавшись в глухой сосуд? Горят ли его усталые глаза таким же нездоровым блеском? Как ни странно, но даже Савел, который всего лишь несколько часов назад закончил свой вечер в пьяном угаре, мог время от времени предаваться размышлениям, задавая самому себе такие странные вопросы. Или виной этому было разливавшееся по телу тепло выпитого вина? Почему это лицо рядом с ним, которое было и его лицом, лежало, не сомкнув глаз, а ему снился сон, в котором он видел светло-зелёные волны с белыми барашками у своих ног? Во сне рядом с ним была Гаша, и он впервые за долгое время снова разговаривал с Тудосе, с мёртвым Тудосе. Такими были его сны, не знающие границ, воскрешающие прах и давно забытые голоса. Эти сны не могла удержать ни одна закрытая дверь, они проходили сквозь стены, рисовали ему, как он ловит огромных белуг, которые водятся только в Волге, воссоздавали картины из всего того, что он знал и видел. Савел попытался прогнать все эти туманные мысли из своей постепенно протрезвевшей головы и тихо спросил Акима:

— Брат, тебе тоже жарко? Я прямо весь горю, не пойму, что в этот раз со мной сделало вино.

— Нет, — ответил другой близнец, — я не могу заснуть от холода.

— Тебе холодно? — снова спросил Савел, потому что не мог поверить словам Акима, а затем ещё раз повторил: — Тебе правда холодно?

— Ну я же тебе сказал! — немного рассерженно ответил тот.

— А мне очень жарко, — снова сказал Савел, — это странно, кажется, будто мы родились на свет не в один час и сейчас лежим не в одной и той же комнате.

На мгновение стало тихо, но затем Аким снова прошептал:

— Интересно, что я чувствовал, лёжа с тобой рядом?

— Где? — спросил Савел.

— В утробе матери, — сказал Аким и спустя несколько секунд медленно и нерешительно продолжил:— Тогда у нас ещё не было имён. Я не был Акимом, а ты не был Савелом. Мы по очереди шевелились, то я, то ты, а мама пугалась и смущённо улыбалась. Возможно, потом нас перепутали, ведь это было так просто. Ну, знаешь, после рождения или во время крещения. И на самом деле теперь ты — Аким, а я — Савел. Как мы можем знать правду, брат? Но сейчас мы лежим здесь, каждый в своей шкуре. Ты живёшь как сом, который проглатывает любую наживку, но не попадается на крючок.

Сначала Савел не знал, что ответить, но затем просто сказал:

— А ты прогуляй разок деньги в трактире, тогда и ты будешь рад снова очутиться в кровати, и сон не заставит себя долго ждать.

— Выпивка, — пробормотал Аким, — пожалуй, я тоже начну пить.

Вскоре после этого они замолчали, закрыли глаза, и, ни о чём не думая, на несколько часов забылись сном.

Как часто с этих пор Аким бывал в трактире Ивана? В течение двух недель его можно было встретить там каждый вечер, обычно в позднее время, когда большинство лавок уже пустовало, и лишь какой-нибудь нерадивый гуляка, сидевший в другом конце большого длинного зала, громко кричал ему через покинутые столы тост за его здоровье. В этот период он ударился в разгульную жизнь, растрачивал свои сбережения, будто хотел навсегда избавиться от денег. Рыбаки удивленно переводили взгляд с Савела на Акима. Складывалось впечатление, что братья соревновались, пытаясь переплюнуть друг друга в выпивке. Обращаясь к ним, Яков и другие рыбаки использовали то имя,

которое в этот момент приходило им на ум, будь то Савел или Аким, ведь в конце концов им было всё равно, если их путали, потому что никто не пытался их обидеть, произнося имя Аким вместо Савела, с трудом ворочая пьяным языком. Более того, это было чуть ли не достижением, если кто-то правильно произносил словечко Савел, медленно выговаривая непослушным языком эти два слога, которые давались с таким трудом. Однако часто Акима узнавали по его суровому и недружелюбному выражению лица, хотя он улыбался, стараясь не выглядеть таким холодным. Иногда он даже приглашал кого-нибудь из рыбаков за свой столик, потому что обычно часами сидел один, иногда он выходил из себя и мог прокричать хриплым голосом идущим навстречу людям:

— Я — Аким, Аким — это я, а не тот, кто сидит вон там. Он на полчаса моложе меня. По нему это заметно.

И тогда все собравшиеся в трактире рыбаки смотрели на Савела и пытались отыскать в его внешности что-то беспечное или возможно даже детское. И те, чей взор ещё не затуманился от водки, могли безошибочно разглядеть, что Савел, скорее всего, действительно родился позже своего брата. Но неужели эти полчаса можно было приравнивать к годам?

— Они разные, как день и ночь! — сказал однажды с глубокомысленным видом Яков и ткнул своим длинным корявым указательным пальцем на братьев. — Я в людях разбираюсь, меня не обманешь, — брякнул он вдобавок и направился нетвёрдой походкой от Савела к Акиму, прыснув смехом, который вылетел из-под его всклокоченной бороды.

Впрочем, Акима утомляли эти вечера. Выпивка помогала, но она не могла заглушить его смятение, которое в нём накапливалось и застревало как ком в горле, накатывало, как тяжёлая волна, которая поднималась вверх к лицу и давила на виски. Нет, его никогда не шатало, когда он был под хмельком. Как бы сильно он не напивался, никто этого не замечал, даже Фирс, который с недавних пор всё чаще обращал на него свой зоркий ястребиный взгляд, когда находился рядом с ним. Впрочем, ему не за что было придраться к Акиму, который постоянно проявлял свою находчивость, принимая активное участие в работах по восстановлению дома Сверёвых, потому что был изобретателен и всегда знал, что к чему; вместе с Фирсом

они привезли издалека столько земли, что смогли сделать во дворе насыпь, и пустить водосточные желоба под небольшим углом к каналу. Кроме этого, он заново выложил из кирпичей летнюю печь в саду. Теперь она выглядела как маленький побеленный локомотив без колёс, смотрелась весьма импозантно, вытянув длинную шею своего дымохода, и была действительно достойна восхищения. Даже Фирсу стало немного грустно и завидно, когда он увидел её в готовом виде, потому что если бы Аким не вернулся прошлой зимой из Килии, он тоже мог бы продемонстрировать, как можно сделать хорошую, просто великолепную летнюю печь. Савел ему совсем не мешал, его и сейчас мало заботило плачевное состояние небольших владений его отца, в которое их повергло наводнение. А Аким невольно превратился в противника Фирса, потому что нередко между ними возникало что-то вроде тайного соперничества. Тем не менее, часто они приходили к согласию по поводу распределения работы. Фирс таскал в вёдрах глину и воду, пока Аким делал в доме новый пол, утрамбовывал, разглаживал. Да, Аким во многом не уступал Фирсу, даже если он был более слабый и хилый. Работа казалась ему лучшим спасением от его странных приступов настроения, чем пьянство в одиночестве, которому он не так давно предавался.

Весенняя пора также помогала побороть уныние и бушевавшие в нём страсти. Сейчас Аким более чем ясно понимал, что его тянуло к Дуне. Тысячи раз он убеждал себя, что это не так, этого не может быть, но всё же снова и снова возвращался к бесстыдным и дерзким мыслям, которые вращались только вокруг сестры. Иногда у него возникало чувство неприязни, когда Фирс заходил в ворота, а Дуня приветствовала его весёлым и радостным возгласом. Как же здесь могла помочь выпивка? Постепенно Аким стал видеть в Фирсе своего врага и сам признавался себе в этом в моменты трезвой горечи, которые словно вспышки болезни коварно следовали за теми сладостными мгновениями, когда он невольно предавался приятным размышлениям. Но Дуня не подозревала о томивших его страстных желаниях; её щёки были гладкими, как стекло, а движения рук и бёдер лёгкими и игривыми. Она напоминала узкую, качающуюся на волнах лодочку, а Фирс — каменный причал, к которому она была крепко привязана цепью.

Им даже не нужно было говорить, потому что они понимали друг друга без слов.

Однако в устье Дуная наступление весны выглядело совсем по-другому и преподносило множество непредвиденных сюрпризов. Вилково постепенно становилось на ноги, словно выздоравливающий после болезни, хотя пока ещё с неба часто неожиданно сыпались ливни, покрывая рябью воды каналов. Но природа больше не собиралась мириться с угнетённым рабским положением, и каждое существо снова пускало первые ростки, а во всех уголках большого рыбацкого городка проснулась жизнь, чего почти никто не ожидал. Даже малыши просыпались по утрам раньше обычного и лупали глазками, вглядываясь в сереющий рассвет, весело резвились во дворах, строили из песка, ракушек и погнувшихся железных вёдер Вилково, каким его рисовало их изобретательное детское воображение, и в своём стремлении к восстановлению копия почти не уступала оригиналу. Все руки усердно принялись за дело, словно проснувшиеся осьминоги или пауки. Вокруг айвовых деревьев лежала и радовалась теплу перекопанная рыхлая земля, похожая на пушистый коричневый мех. А когда внезапно выглянувшее солнышко задевало своими лучами крыши изб, то камыш начинал потрескивать и хрустеть, будто каждый стебель шевелился, будто даже не имея корней, пытался снова прорасти и выпустить свои зеленые листья, которые будут тихо и робко дрожать на ветру, словно по-прежнему находясь на одном из бесчисленных островков в дельте Дуная.

Но самым странным было то, что даже лицо Мары разгладилось и порозовело, словно к её пергаментной коже опять прилила кровь. Она стала больше разговаривать с собаками или сама с собой. Казалось, будто что-то внутри выталкивало из неё слова, раздражало её язык, из-за чего она болтала без умолку. На рассвете она часто пробиралась в комнату, где лежал ещё спавший Фирс, укрывшийся старой овечьей шкурой, и его грудь вздымалась от глубокого, спокойного и равномерного дыхания. Она ещё больше нападала на монаха Пахома, громко ругалась на него каждый раз, когда он попадался ей на глаза. Он пытался ввести её в заблуждение своими жестами и взглядами, расположить её к себе, пока жадно и проворно грыз своими тупыми поломанными зубами свёклу.

Когда она как раз собиралась разразиться гневной бранью, он торжественно поднял правую руку и, улыбнувшись, как пьяный поп, проблеял:

— Ты — добрая женщина, Мара, очень добрая женщина.

Но она не позволила себя разжалобить и плюнула ему под ноги, будто испустив змеиный яд.

— Кровопийца, — бранилась она, — подлый кровопийца, пожирает свеклу, пока не найдёт что-нибудь повкуснее, возможно, нежную детскую шейку. Проклятый кровопийца!

Мара бешено махала руками, которые летали во все стороны, и пыталась что-то найти судорожно сжатыми пальцами. Затем, будто почувствовав прилив сил, она отломала кусок ветхой доски забора и швырнула вслед монаху, который уже повернулся к ней спиной и трусливо убегал. Казалось, что он ковылял на высоких ходулях, когда удалялся прочь, временами оборачиваясь с испуганным лицом и развевавшейся на ветру бородой вокруг дрожащих челюстей.

— Ты — добрая женщина, — повторил он писклявым фальцетом, полагая, что уже находится далеко и вне опасности.

Нужно было видеть, как неистово Мара бросилась за ним! Она вряд ли думала о своих усталых ногах и мчалась, не жалея сил. Но и Пахом вновь продемонстрировал, что он ещё не совсем стар и может побегать, если придётся.

Жизнь Пахома, которому и в прежние времена не доставляло особого удовольствия слоняться по городу в поисках пропитания, усложнилась ещё больше, когда поблизости появился новый враг, Флоря, страж порядка и караульный, который занял место Тудосе и, похоже, не намеревался каким-либо образом пренебрегать своими обязанностями. Несмотря на то, что он, как истукан, смирно стоял день и ночь на главной

площади в центре городка и в этом нисколько не отличался от своего предшественника, он любил внезапность, благодаря чему снискал некоторое уважение среди рыбаков. Он мог неожиданно показаться в том уголке города, где его появления меньше всего ожидали, демонстрируя людям неукоснительное выполнение своих обязанностей. Он совсем не пытался добиться их расположения, казалось, он ни в ком не нуждался и каким-то невероятным образом обходился самим собой, он даже не потребовал у городского головы прибавки к своему месячному жалованию, а когда жёны рыбаков, презиравшие его из-за малоподвижной профессии, скользили по нему брезгливым взглядом, он вообще не смотрел им вслед. Этот коренастый темноглазый человек не был ни тугодумом, ни наглецом. Если какой-то пьяный шёл мимо него нетвёрдой походкой, Флоря хватал его за руку так сильно, что от крепкого сжатия артерий тот мог даже протрезветь. В отличие от него Тудосе всегда помогал напившимся до чёртиков рыбакам, пытался привести их в чувство, уговаривал собраться с силами и как-то доползти домой, чтобы Вера, или Евгения, или Наташа, или Матрёна не ждали их очень долго. Тудосе их всегда поддерживал, как бескорыстный, преданный и недооценённый слуга. Флоря же вёл себя по-другому, обзывал напившихся людей свиньями, не помогал им, а только мог дать пинка сапогом, словно хотел вытереть его об их войлочные штаны.

Поэтому для некоторых новый караульный оставался загадкой. Он никому не набивался в друзья и отвечал на приветствие только в том случае, если прохожие были трезвыми и крепко держались на ногах. В противном случае он просто невозмутимо смотрел в небо или отворачивался спиной, демонстрируя свои широкие, крепкие и надёжные плечи. Тудосе тоже был румыном, но при этом оставался хорошим человеком. Но постепенно о нём стали забывать, потому что все говорили только об этом Флоре, его популярность росла, хотя он для этого и пальцем не пошевелил, ни разу не заговорил ни с одной женщиной, будь она старой или молодой, худосочной или пышной, похожей в своих платьях на раскрывшийся цветок с его мясистыми, бархатными и яркими лепестками. Что только не говорили о нём в народе! Ведь Флоря вёл себя так, словно он какой-то князь. Сначала рыбаки приписывали такое поведение

тому, что он чувствовал себя чужим в новом городе, или, может быть, пока был ещё неопытен и поэтому горделиво красовался на своём посту, будто новая метла, которая, как известно, по-новому метёт. Но проходили недели, а Флоря всё не менялся. Он вёл себя так же церемонно и замкнуто, никогда не улыбался, а лишь слегка ухмылялся. А если кто-нибудь наконец осмеливался у него что-то спросить, он отвечал с деловитой серьёзностью, иногда вытаскивал из кармана кителя маленький блокнот в обложке из чёрного блестящего клеёнчатого материала, пробегал глазами страницы, словно всю свою жизнь только чтением и занимался, находил то, что искал, сообщал эти сведения и снова чувствовал себя хозяином положения. Отныне Флоря был чем-то наподобие неприкосновенного органа власти.

Даже Пимен однажды намекнул на это во время своего очередного хвастливого рассказа в трактире Ивана, а Гаша, глядя на нового караульного, с которым она естественно стала заигрывать при первом же знакомстве, говорила себе, что всё-таки есть мужчины, которые сделаны из железа и стали. Похоже, что этому Флоре достаточно было знать, что написано чёрным по белому в его блокноте, он никогда не мечтал и вечно был начеку, как сторожевой пёс. Хотя он и принадлежал к городским властям, всё же напоминал лишь живой дорожный указатель в мундире. Разумеется, Гаша размышляла о том, какие у него были слабости и уязвимые места, и часто ругалась на него в присутствии Савела и других людей, надеясь, что это в итоге дойдёт до его ушей. Для начала его нужно было разозлить. А потом уже можно будет усмирить, успокоить и баловать. Ведь не мог же он быть таким бессердечным, как Авраам, который хотел убить своего сына. Как же похотливо она на него смотрела, как сладострастно улыбалась ему, и вела себя так, будто было не холодно, совсем не холодно, будто она вообще забыла надеть блузку и платья. Но Флоря, боже упаси, этого не замечал и лишь хватался за свою кобуру, ощупывал её пальцами, расстёгивал и опять застёгивал. А ведь он был в расцвете сил, лет около тридцати. Можно было бы с тоски умереть, если бы все мужчины в рыбацком городке были такими же холодными, как Флоря и Фирс. По сравнению с ними даже аптекарь Наум выглядел бабником, не говоря уже о Савеле.

Как раз Савела Гаше долго уговаривать не пришлось, хотя

приблизительно в это же время он находил для своих плотских утех и другие двери, которые были перед ним открыты, из-за чего она всё-таки немного обижалась. Разумеется, он должен был приходить только к ней, всегда только к ней. Однако его не касалось, кого она соблазняла, заигрывая сверкающими глазами. Савел практически никогда не жеманился, и такое чувство, как ревность, было ему абсолютно незнакомо. Скрывать свои увлечения от Пимена ему вряд ли было нужно; у Пимена вообще не возникало никаких подозрений. Он жил в своём собственном, недоступном для других, воображаемом мире грёз, порою весёлом, а порой и грустном. Главное для него было не работать, потому что он работу не искал и не находил. Иногда он набрасывался на Гашу, бил её, а она в очередной раз лупила его по голове иконой Василия Блаженного, краска которой уже наполовину облупилась. Потом он утихомиривался, становился мрачным, сидел молча пару часов в трактире, прежде чем перейти к новому рассказу о своих вымышленных приключениях, окидывая многозначительным взглядом своих выпивавших слушателей. Поэтому если Пимен долгое время сидел молча и не говорил ни слова, значит, случилось что-то серьёзное. В таких случаях он водил своим грязным ногтем указательного пальца по узору древесины столешницы и в буквальном смысле ощущал тихую боль в сердце, совсем тихую, а под рёбрами что-то неприятно давило.

Однажды он сказал об этом Савелу, но тот ответил ему как бы между прочим, словно точно знал, что случилось:

— Похоже, ты снова подрался с Гашей. В конце концов, твоя жена не так уж и неправа, если угощает тебя тумаками.

После этих слов Пимен сидел несколько минут обиженный, не говорил Савелу ни слова и вновь воспылал к нему дружескими чувствами только потому, что Савел защитил его перед другими рыбаками. А Савел не таил на него зла, он даже заступился за Пимена, когда заметил презрительные мины и услышал пренебрежительные высказывания ворчливых мужиков, которым за много лет на крючок не попалась ни одна севрюга или белуга. И тогда он вызывающе крикнул им в лицо всю правду:

— Да, Пимен сидит по-барски возле печи, он не вкалывает, потому что это ниже его достоинства, хотя у него ничего нет за душой; зато вы пашете как лошади, а всё без толку, и

продолжаете жить по уши в нищете. Так угодно Богу, слышите, Богу! А ваши пальцы в рубцах и трещинах, словно их погрызли крысы и мыши. Вот Пимен по сравнению с вами — настоящий барин. Он просто от многого отказывается и спокойно предаётся игре воображения.

При этом пьянчуга Яков злобно сжал зубы, хотя вряд ли Савел в своём выступлении намекал на него. Разве не он всегда шествовал с чуть ли не божественной и аристократичной неторопливостью, постоянно окружённый запахом перегара, который исходил из его перекошенного рта? Нет, Савел не мог иметь его ввиду, поэтому он снова разжал губы, успокоился и опустил кулаки. Но когда из-за соседнего стола поднялся рыбак, который был намерен опротестовать дерзкие слова Савела при помощи своих огромных, как лопаты, рук, тот ловко прошмыгнул в дверную щель на улицу, после чего всеобщее возмущение на некоторое время улеглось, но затем кто-то вновь вспомнил укоризненные слова Савела и уже собирался воздать ему по заслугам, когда тот чуть ли не трогательно сказал:

— Агап, послушай, ты лучше, чем ты думаешь, поверь мне, ты даже лучше Пимена, которого я недавно так расхваливал.

И страдающий катарактой, мутноглазый Агап, который мог одной рукой уложить троих типа Савела, стоял в растерянности, как Голиаф перед Давидом, потом кивнул, сделал глоток и вроде бы успокоился.

— Да, — ответил он заплетающимся языком, облизав влажные посиневшие губы, — ты нас всех хорошо знаешь. Этого у тебя не отнять, в этом тебе нет равных.

На этом Савел дружески похлопал Агапа по плечам, которые возвышались перед его лицом подобно широким круглым дамбам и заслоняли ему взор.

В то время как мужики заседали в трактире Ивана, а Фирс, стараясь быть поближе к Дуне, постоянно находил себе занятие в домике Сверёвых и поэтому принялся конопатить окна, пока эта мысль не пришла в голову Акиму, дельта Дуная полностью меняла облик своих владений. Раскрылись поры илистой почвы, куда больше не доставала вода; всё зеленело. В регионах выше Вилково паводки ещё продолжались, потому что вбирали в себя весь излишек многочисленных речушек и ручейков, всю талую воду, стекавшую из Карпат и приносившую с собой коряги,

мощные стволы и ветви, в которых иногда прятались гнёзда птиц. Рыбацкому городку не нужно было опасаться за новые постройки, потому что водные потоки находили другие пути, лились через углубления в почве, через непроходимые ивовые заросли, полностью накрывая ветви, едва успевшие пустить почки, и гладкую, как кожа, кору. Серая, а иногда чёрная вода текла медленно, ей некуда было торопиться, поэтому она не боялась никаких окольных путей. Те места, где осторожно начинала пробиваться робкая листва, снова превратились в охотничьи угодья цапель и беркутов, а в небе над волнами парили выпи. Куницы, хорьки, норки и крысы бешено мотались туда-сюда, ловили добычу и убивали её. Они хватали всё, что им попадалось, вгрызались в плоть и высасывали кровь, потому что сладкая кровь пилась легко и напоминала по вкусу солнце, лучи которого скользили по их блестящему меху. Зелень благоухала, постепенно набираясь сочности и мясистости. На дрейфующих камышовых островах и стволах деревьев укрепились переплетения корней хохлатки и незабудки, развевались и росли, насколько это было возможно при сильных порывах ветра. Глаза животных стали более зоркими, пеликаны наполняли свои подклювные мешки трепыхающимися мелкими рыбёшками, а чернозобые гагары жадно кидались за своей лёгкой добычей. Сотни бакланов, шумно махая мокрыми крыльями, от которых в воздухе разлетались брызги, кружились над вязами, серебристыми тополями, дубами и камышовыми зарослями, повсюду гадили, из-за чего воздух был пропитан едким смрадом. Птицы галдели, каркали, весело щебетали, кричали. У них уже начался период спаривания, они наслаждались и ликовали. Пищи вокруг было предостаточно. После каждого дождя всё вылазило из-под корней и буйной растительности. Вода словно нежилась под тёплыми лучами, кувшинки грели на солнышке свои широкие листья, качая на них маленьких трясогузок, синичек и ибисов. В мелководных обводных каналах, где вода текла медленно, извивались скользкие тела пиявок, с нетерпением поджидавших, когда из гнезда выпадет какой-нибудь птенчик, чтобы наброситься на беспомощное, неуклюже барахтающееся существо и высосать из него всю кровь до последней капли. Трава впитывала тепло благодатных лучей солнца, земля пахла, как маленький ребёнок.

Червяки и личинки лежали, уютно растянувшись и позабыв об окружающем мире, и потом резко вздрагивали, попавшись в острые клювы ловких скворцов. Как же беспощадно убивали друг друга соперники! Они жадно хватали пищу, грызли, насыщались, им нужна была живительная энергия и силы для спаривания. Вокруг них, словно после бурной ночи, кружились разодранные в клочья перья и пух. Небо над дельтой рассекали бесчисленные одержимые взмахи крыльев, от которых расходились облака и плыли затем в сторону моря или по направлению к гряде холмов Добруджи с их округлыми голыми вершинами.

Именно эти холмы, как полагал Фирс, он увидел вдали на горизонте в призрачном свете раннего утра, когда стоял на берегу Килийского гирла, оставив далеко позади последние дома на окраине городка и поднимавшиеся из их труб тонкие струйки дыма, которые ветер уносил в небесную синь. Несколько минут назад он видел, как Аким покинул город в этом направлении; он уже давно ощущал внутреннюю необходимость поговорить с ним с глазу на глаз, хотя вообще-то не знал, с чего начать и какой поворот может в итоге принять этот разговор. Однако он говорил себе, что должен внести ясность и обсудить с братом Дуни всё то, что уже многие месяцы лежало на его сердце тяжёлым грузом. Но вскоре он понял, что сегодня ему Акима не найти, потому что его не было видно ни за тополями, ни за кустами — нигде. Наверное, он свернул с этой дороги, и отправился в неизвестном направлении. Всё время у него какие-то тайны, думал себе Фирс, он жить не может без тайн. В сущности, Фирс не знал, от какого груза он собирался избавить свою обычно чистую совесть, но его охватила какая-то непреодолимая грусть, которая побежала по его телу, словно холодная кровь. Неужели его мощной шее стало труднее крутить и поворачивать голову? Ах, и огненно-рыжая борода вдруг стала казаться на ощупь жёстче?

Он вспомнил ту ночь в доме старика Калистрата во время наводнения, когда он впервые почувствовал, как это печально и унизительно всегда быть только в одном единственном месте и не иметь возможности находиться одновременно тут и там: в комнате возле Акима и при этом рядом с Дуней, по ту сторону разделявшей их двери, и в то же время ещё дальше, около Мары. Возможно, его неспособность наконец-то найти Акима,

выследить его где-нибудь, была причиной тому, что он вновь оказался во власти таких угнетающих странных мыслей. Он снова чувствовал себя узником, заключенным в своё собственное тело, и понимал, что не может вырваться из этой оболочки, из этого плотного переплетения кожи, и жил, и хрящей, и жира, и твёрдых тканей.

Фирс поднял правую руку к глазам, которые вдруг выпучились, будто он увидел что-то неслыханное. Но вскоре он её резко опустил и улыбнулся из-за своей собственной простодушной наивности, которая и раньше у него появлялась без всякой причины. Нет, наверняка Аким сейчас далеко от него и ни на шаг не отходит от Дуни. Может быть, брат шьёт ей новые сапожки, пока он тут бродит в одиночестве, делая осторожные шаги по извивавшейся лентой мокрой дороге, будто идёт в кромешной тьме. Возможно, Аким намеренно выманил его из города, чтобы провести следующие часы наедине с Дуней. А он, простофиля, попался на его удочку и торопливо шёл в том направлении, с которого Аким уже давным-давно свернул. Это была утомительная игра в прятки, и от неё определённо не становилось веселее. Раньше он мог разразиться своим громогласным смехом с такой же лёгкостью, с которой рыба плавает в воде, он это хорошо помнил; веселье прямо вырывалось из него наружу. А сейчас он всё время спрашивал себя, почему Аким так хотел вернуться в Килию, но в конечном итоге остался здесь, хотя его никто не уговаривал. Он так поступил просто из прихоти и даже не подумал о том, что этой странной нерешительностью только ранил чувства своих родных, а потом пошёл на попятную, как трусливый пёс. И это странное существо постоянно тенью ходило за Дуней, его возлюбленной. Фирс медленно выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. Честное слово, присутствие этого Акима никогда не ощущалось, он был словно невидимый ветер, который овевает всё цветущее, что распустило свои нежные лепестки и робко испускает чудесный аромат, щекочущий ноздри. Но вдруг Фирс очнулся от своих мыслей, заметив муравья, торопливо ползущего по его рукаву, который словно бежал по тонкой, блестящей нити и спокойно рассматривал её. Фирс потёр своей огромной, как лапа, рукой густые волосы на груди. Возможно, что между ними тоже бегала пара заблудившихся муравьёв. Фирс ощупывал руками всё тело,

как дерево, которое весной очищают от гусениц. Кожа чесалась, он чувствовал жжение вод ногтями. Сейчас ему уже было не до шуток.

Когда, проделав обратный путь, он наконец добрался до дома Сверёвых, Дуня и Аким были как раз заняты в саду подготовкой грядки для тыквы. Они решительно работали лопатами, перекапывая землю; сталь орудий с глухим звуком равномерно врезалась в землю, пока Фирс стоял у забора и наблюдал за молчавшими братом и сестрой, не отвлекая их от работы своим приветствием. Как только он их увидел, он как можно тише приблизился по мостику, который вёл вдоль канала, и вот он уже стоял там с важным видом, пока солнце всё больше и больше согревало его коротко стриженый затылок. Почему Аким и Дуня не разговаривали во время усердной работы, или они уже заранее договорились, какой длины должна быть грядка? На Дуне была светлая кофта с узором из красных и зелёных цветов, густые пряди волос свисали ей на лоб каждый раз, когда она поднимала и перекидывала землю лопатой. В её движениях ощущалась какая-то сдержанность, Фирс не мог этого не заметить и сморщил свой обычно гладкий лоб. Почему Аким не делал эту работу сам? Он мог бы ещё вчера попросить Фирса о помощи, если ему было скучно часами работать одному. Но об этом не прозвучало ни слова, и теперь приходилось вкалывать Дуне, пока её кофточку и юбку раздувало резкими порывами ветра, который дул через сад по направлению к воротам и овевал неподвижное широкое лицо Фирса. Иногда Аким стоял так близко к Дуне, что они задевали друг друга локтями, но при этом продолжали копать рядом и даже не обменивались ни одним словом или знаком в качестве предупреждения, хотя лопата брата несколько раз с пронзительным звоном натыкалась на лопату сестры.

Иногда Дуня отдыхала, тёрла покрасневшие ладони друг о друга, поднимала голову, а ветер убирал волосы с её белого лба. Казалось, что она с наслаждением вдыхает свежий воздух. Внезапно орудие Акима вновь звонко врезалось в лопату сестры, резко нарушив её приятный отдых, как гнусное тявканье, отчего девушка вздрогнула, словно металл задел её саму, а Фирс, взмахнув руками, укоризненно прокричал:

— Довольно! Я буду работать вместо неё.

После этих слов он прошёл через ворота, в то время как Дуня отшвырнула в сторону лопату, описавшую в воздухе дугу, и радостно поспешила ему навстречу с переполненным нежности взглядом, а Аким, слегка выпрямившись из согнутого положения, со скрипом пробурчал что-то себе под нос и продолжил своё занятие.

— Разве ты не видишь, что Фирс здесь? — сказала со смехом Дуня, удивленно приподняв брови. — Наверное, он тебя не замечает, Фирс, он полностью одержим тыквами, урожай которых будет собирать осенью, — сказала она, чтобы как-то объяснить крайне недружелюбное поведение брата.

— Ничего страшного, — ответил Фирс и заглянул в глаза Дуни, которая не могла отвести от него взгляд, — таков уж Аким. Он не любит, когда его без нужды отвлекают.

Он подошёл к Акиму почти вплотную и осторожно положил свою тяжёлую руку ему на плечо.

— Аким, — сказал он таким тоном, словно терпеливо уговаривая капризного ребёнка, — я здесь, я могу тебе помочь, если хочешь.

Тот прервал наконец ненадолго свою работу, и, прищурив глаза, посмотрел на Фирса снизу вверх, покачал отрицательно головой и коротко ответил, что в этом нет нужды, что он, дескать, и сам скоро справится, а всё, что сегодня было сделано, потребовало лишь незначительных усилий, которые даже не стоят упоминания.

— Хорошо, — ответил Фирс, — тогда я лучше стану с Дуней у ворот и буду ждать, когда старик Калистрат вернётся с работы.

В ответ на это Аким озлобленно прошипел:

— Ничего не делать может каждый. Она должна следить за огнём в печи, иначе он совсем потухнет. А ты, Фирс, можешь тем временем просто постоять, засунув руки в карманы. Никто тебе в этом препятствовать не будет.

Кровь ударила Фирсу в виски, и он едва удержался, чтобы ничего не возразить на сказанное Акимом, потому что это были не пустые слова, они словно обухом ударили его по голове. Он только провёл рукой по лицу, будто пытаясь успокоиться и сдержать закипавший в нём гнев, и направился к воротам, где остался ждать Дуню, которая выполняла в доме указание брата, только после этого вышла к Фирсу и не отходила от него до

обеда. А Аким неожиданно бросил свою работу и исчез в задней комнате, из которой и носа не показывал, пока Фирс не попрощался с его сестрой и отправился в ту часть города, где находился дом Мары.

Такие и подобные ситуации случались теперь чаще, хотя их никто не хотел и не провоцировал, даже Аким, которого лишь некоторые моменты внезапно выводили из его так или иначе неустойчивого равновесия, и он закипал. При этом между ним и Фирсом не доходило ни до горячих словесных перепалок, ни до ссор. Если вдруг Аким бросал Фирсу какое-то резкое замечание, тот мог медленно растянуть губы в улыбке и долго улыбаться с таким понимающим видом, что Аким тут же чувствовал себя обезоруженным и, возможно, через час уже забывал, что собирался сказать своему товарищу и гостю. А если он случайно попадал в трактир Ивана, то заказывал целую бутылку водки, наливал себе один за другим полный стакан и выпивал его, а затем с нарочитой поспешностью покидал пропитанное сладким дурманом заведение и оказывался на узких улочках, которые вели к угловатому разветвлению кладок вдоль каналов. Казалось, что он не хотел оставаться вместе с другими рыбаками ни на минуту дольше, чем было необходимо для опорожнения бутылки. Случалось даже такое, что он с трудом выдавливал из себя наполовину проглоченные, невнятные слова в ответ на простой и естественный вопрос, слова, от которых складывалось впечатление, что говорящий боится того, что кто-то может потребовать от него ответа, который он был неспособен дать. Напрасно он говорил себе, что он один, наедине со своими скрытыми чувствами, один в плотно окружавшей его оболочке, под которую никто не мог заглянуть, напрасно он убеждал себя, шепча себе, прежде чем наконец забыться спасительным сном:

— Не бойся, не бойся, они ничего не знают.

А за окном уже брезжил утренний рассвет, окутывая своим очарованием проснувшуюся землю и волны, колышущиеся на бескрайних просторах мутных вод.

Дуня, как правило, уже была на ногах, когда Аким наконец с трудом вставал с постели, в то время как Савел возился где-то в городе с какой-нибудь лодкой, чинил её, конопатил или смолил, принимая похвалы своей работы от Гаши, Пимена или мутноглазого Агапа. Никто из рыбаков не разбирался лучше Савела в починке маленьких плавучих транспортных средств, поэтому его, как опытного врача, спрашивали об имеющихся повреждениях и просили устранить их, потому что уже недолго оставалось до того, как можно будет начать ловить сельдь.

— Он настоящий волшебник, — отзывался о работе Савела Агап, при этом произнося это вяло и медленно, растягивая слова, что казалось, будто он никогда не закончит свою фразу; Пимен же гнал Гашу домой, чтобы та, чёрт побери, позаботилась о еде и наконец приготовила что-то человеческое. Но она, плутовка, уходила только через час или два, не торопилась и с наслаждением наблюдала за тем, с каким трудолюбием, свойственным, к сожалению, не всем мужчинам, Савел выполнял свою работу, хотя, по правде сказать, и у него данное качество появлялось исключительно в это время года и вскоре проходило, как легко излечимая болезнь. Так было всегда; иногда весенняя пора полностью затмевала рассудок, выкидывая его из головы, как ненужный хлам, а иногда превращала людей в старательных трудолюбов, толкая их в неожиданные сферы деятельности.

Только по Дуне со стороны не было заметно никаких изменений; она оставалась такой же бодрой, никогда не стояла без дела, скрестив руки на груди, не отдыхала. Казалось, её никогда ничего не утомляло, и только странные слова Акима, которые он шептал сестре в моменты чистосердечных признаний, иногда по прошествии многих дней всплывали в её памяти и навевали тягостные мысли, хотя она и пыталась отогнать их, думая о других вещах или о Фирсе. И тогда любая работа спорилась: она стирала сорочки братьев и отца, слегка нагнувшись над полым стволом липы, который служил корытом, или полоскала мокрое бельё, стоя на краю канала, и вода брызгала в её неподвижное лицо. А если Фирс как раз в это время проплывал мимо на лодке, время до вечера летело быстрее.

Однако эти встречи не превращались в обыденную рутину, когда чувства притупляются и истощаются. Каждое тайное прикосновение и каждое произнесённое слово только усиливали их желание вырваться из цепей и наконец насладиться свободой. Однако братья или отец почти всегда были рядом. Это мешало им свободно дышать, будто стены сдавливали тело, как тесная одежда. И чем отчётливее Дуня ощущала эту тесноту, тем проворнее она справлялась с домашними делами. Иногда она могла рьяно, чуть ли не фанатично подкидывать в печь хворост, который с треском поглощал огонь. Потому что временами ей тоже казалось, что в её теле скопилось слишком много энергии, которой нужен был выход. Однако она старалась сдерживать себя от осуществления некоторых внезапно возникавших затей. Она до блеска натирала каждую дощечку в доме, шила штору для окна, вкладывая в неё много труда и всё своё мастерство, благодаря чему штора вышла красочной и весьма импозантной. Теперь передняя комната, в которой она спала, казалась роскошной, почти королевской, по-другому не скажешь. Никто в Вилково и мечтать не мог о такой шторе, и Дуне даже казалось, что Фирс немного бледнел всякий раз, когда прикасался к роскошной ткани кончиками своих неловких пальцев.

— Ух ты! — вырывалось из его приоткрытого рта, — ух ты! Она вся в цветах, на ней так много цветов. Прямо огромный луг на шторе!

Творение Дуни повергало его в такое изумление, что он был готов лишиться чувств при виде всей этой красоты, столь приятно радовавшей глаз, и продолжал изумлённо рассматривать штору, будто был неспособен на что-либо другое.

Однако эта штора также свидетельствовала о тщеславии Дуни, которое усиливалось с каждым днём и порой перерастало в дерзкое высокомерие. Она больше не вылазила из выходных нарядов, носила только блузки из тончайшей хлопковой ткани, которые выглядели ослепительно и стоили немалых денег. Боже мой, для рыбацкого городка это было уже слишком! Однако этот материал ей купил Аким и как-то раз положил перед ней, не говоря ни слова. Он долго молчал, а затем наконец сказал:

— Это тебе. Я купил эту тряпку за бесценок. Стоила копейки, даже меньше, чем белуга длиной с аршин, которую я вчера случайно поймал.

Сначала Дуня не могла поверить словам брата и смущённо смотрела куда-то мимо его растрёпанных коричневато-болотных усов, но затем поняла, что эта прелесть действительно предназначалась ей, и вскрикнула от радости. Она орудовала иглой с лихорадочным восторгом, пока Аким сидел в задней комнатке, время от времени поглядывал в щель открытой двери, не говоря ни слова, и возился с ножом, то и дело проверяя остроту лезвия на мякоти своих шершавых ладоней. Затем он начал точить его о плоский камень, и рассекавший воздух звук напоминал отдалённое пение сверчка.

Насколько неподходящими были выходные наряды Дуни для Вилково, заметила даже Гаша, которая сказала об этом Пимену, Иллариону, Ивану, Агапу, Калину и Якову, а то, что девушка практические не общалась с соседками, с чахоточной Евгенией и Матрёной, женой церковного певчего, ещё больше усиливало всеобщее подозрение. Людям не нравилось такое заносчивое поведение, а тот, кто слишком задирает нос, может поискать себе и другое место жительства, не так ли? Эти слухи дошли и до Савела, о чём ему поведала своим длинным языком Гаша, когда он однажды вечером оставил Пимена в трактире за игрой в кости, а сам теперь проводил время с его женой. Он немного насторожился, но уже в следующее мгновение весело рассмеялся и ответил:

— Аким купил ей эту хлопковую ткань за пару леев. Он сказал, что это стоило копейки.

Однако Гаша ни за что не поверила, что такие наряды можно купить за бесценок, и не переставала прикидывать, сколько же может стоить такая роскошная ткань и какие бешеные деньги на этом заработали торговцы. Савел присвистнул и покачал головой. Наверняка, Гаша была права. Но он ничего не ответил, думая уже о чём-то другом, поэтому Гаша в конце концов оставила его в покое. Ведь он всё-таки Дунин брат, а в Вилково и так найдётся достаточно людей, с которыми можно спокойно посплетничать, не опасаясь посторонних ушей.

А было ли дело Дуне до всех этих слухов и разговоров? Она жила в своём тесном мирке, довольствуясь тем, что её окружало, и не обращала внимания на всё остальное. Ей было достаточно Фирса, а старик Калистрат был той осью, вокруг которой вращалась её жизнь и жизнь братьев, медленно протекая день за

днём. Утренние часы уже стали теплее, дышать было легче, а воздух сладким дурманом ложился на сомкнутые веки. Лишь иногда, когда Фирс стоял возле неё слишком близко, ей хотелось вырваться из его крепких, сжимавших её, как тиски, объятий; его шея пахла, как кора молодых ив, а глаза украдкой скользили по ней вверх и вниз. В такие моменты было практически невозможно отказать ему в просьбе, произнесённой с робкой застенчивостью, которая так не подходила к его мужественному лицу с мощными скулами, будто вылепленными из глины. Порой он мог неожиданно появиться перед ней в комнате, будто вырасти из-под земли, как огромная скала, но при этом с трудом находил подходящие слова и выглядел крайне неуклюже, когда делал комплименты или говорил нежности. Он едва отваживался намекнуть на свои желания, хотя глубоко внутри него бушевали дикие и необузданные юношеские страсти. Догадывалась ли об этом Дуня? Потому что она, как свойственно многим женщинам, никогда не говорила о том, что было ей приятно. Она не рассказывала об этом Фирсу даже тогда, когда стала сговорчивее и время от времени пускала его ночью в свою комнату.

В такие моменты они оба почти неподвижно сидели на кровати девушки, пристально смотря друг на друга и не шевелясь, чтобы не разбудить старика Калистрата и братьев, потому что любой шорох мог их выдать. Лунный свет падал на пол комнаты, напоминая пролитое молоко. И вот так, не имея возможности прикоснуться друг к другу и всё же наслаждаясь этой упоительной близостью, они проводили час и ещё один час, после чего Фирс босиком и беззвучно, словно тень, выбирался на улицу, пересекал весь город с его многочисленными каналами, на поверхности которых играла рябь, и наконец добирался до дома Мары. Во время одной из подобных полуночных прогулок он спугнул Пахома, который выскользнул из двора Агапа, напоминая в своей развевавшейся, разодранной рясе раненую летучую мышь, и тут же пустился наутёк. Фирс прокрался ближе к забору, и поскольку звёзды в эту ночь ярко освещали весь город, он, спрятавшись за летней печью, смог разглядеть несколько фигур, лежавших на циновках. Это были Агап, его жена и двое детей, которые спали на улице. Фирсу показалось, что перед этим Пахом низко склонился над одним из детей; однако он мог и ошибиться, ведь что можно было воровать из

кофточки маленькой девочки? Он хотел предостеречь Агапа относительно Пахома, но на следующий же день забыл о своём намерении, потому что был поглощён совсем другими мыслями в присутствии пышущей молодостью и красотой Дуни.

Но Дуня несмотря ни на что не переходила к откровенностям и больше прежнего присматривалась к Акиму, который лишь иногда ходил с Фирсом и Савелом на рыбалку. Хотя сейчас для этого было не совсем подходящее время, хотя улов был небогатым и приходилось рыбачить тайком за спиной властей и пограничников, потому что до окончания нереста ловля рыбы была запрещена, брату всё же не следовало вести себя, как затворник и домосед. Так по крайней мере считала Дуня, замечая в глазах своего молчаливого, скрытного брата недобрый огонёк. Она сама не знала, почему ей так казалось, и тем более не могла описать свои чувства словами. Разве у брата проснулось желание каким-то образом обидеть её? Но он же был близнецом Савела и его точной копией, сделал подарок, из-за которого все женщины в городе теперь ей завидовали. Нужно признать, что Аким казался весьма странным типом. Он напоминал непробиваемую стену и, наверное, всегда был таким. Он повзрослел и стал мужчиной в другом месте, далеко от дома. Возможно, он испытал и пережил столько, что не хватит и целой жизни, чтобы рассказать обо всём этом. Люди не могут быть похожи дуг на друга, даже если у них одинаковое лицо. Дуня больше не путала братьев, она как будто узнавала их по ауре, которая их окружала при входе в комнату, она чётко различала их голоса, даже если до её уха доносились мимолётные, едва слышные слова Савела или Акима. Аким вечно сидел или лежал в другой комнате угрюмый и мрачный, как туман, который стараешься не замечать, второй брат бывал дома реже, однако благодаря своей общительности и открытости прогонял во время обедов и ужинов любые унылые мысли. Сам он ни в чём не нуждался, ничего для себя не требовал, а если он делал подарки, то потом никогда не напоминал об этом.

Как-то раз Дуня снова осталась дома с Акимом, потому что отец и Савел отправились к большому каналу, чтобы помочь в покупке лодки молодому рыбаку, который был родом из этих мест и недавно поселился в городе. Погружённая в мечты, она медленно расчёсывала волосы, делая гребнем пробор. Она

занималась этим уже второй раз с начала утра и была поглощена своим отражением в зеркале, вставленном в украшенную никелированным цветочным орнаментом рамку, которое Фирс принёс ей ещё перед началом зимы и так неуклюже презентовал, что ей не оставалось ничего иного, кроме как принять его. Входная дверь была широко распахнута во двор, а позади в саду шевелились на ветру айвовые деревья, над которыми навис огромный диск солнца. Аким возился с вырезанием какого-то деревянного предмета, но Дуня не обращала на него внимания. Затем он, шаркая ногами, медленно подошёл к ней и спросил:

— Что ты здесь опять делаешь?

— Расчёсываю волосы, — непринуждённо прозвучал её ответ.

— Понятно, — сказал Аким с горечью и чуть ли не злобой в голосе, — а больше тебе нечем заняться?

Дуня подняла голову и посмотрела на стоявшего перед ней брата, её глаза заблестели, на губах появилась невероятно наивная, застенчивая улыбка, и она замерла не дыша.

— А разве мне нельзя? — произнесла она наконец, держа руку у выреза блузки.

— Ах, — ответил он, — ты можешь делать всё, что хочешь.

На последнем слове он запнулся, будто оно застряло у него во рту между языком и нёбом. Затем дрожащими, словно обессиленными руками он протянул ей деревянную вещицу, которую мастерил всё это время. Это был бокал, вырезанный из сердцевины ствола тиса.

— Вот, — добавил он, — это тоже тебе подарок.

На его губах застыла холодная улыбка. Дуня потянулась к нему, но его лицо выглядело таким напряженным, что она опустила руку, больше не смогла её поднять и лишь неподвижно смотрела в одну точку, в то время как Аким положил лёгкий бокал ей на колени.

— Спасибо тебе, брат, — произнесла она, — бокал прекрасен.

Аким уже направился неуверенным шагом к двери, как вдруг остановился и начал возвращаться, то и дело останавливаясь, словно каждый шаг давался ему с жутким трудом, покачал головой, будто пытаясь освободиться от пут, и пробормотал:

— Я — круглый болван. Подарил тебе пустой бокал. Так не годится, знаешь ли, это очень непорядочно с моей стороны.

Он порылся в кармане, вытащил оттуда монетку и стал её

рассматривать, она сверкала на его ладони, как кусок льда, затем потянулся онемевшими пальцами к своему подарку, бросил туда монетку, и она со звоном опустилась на дно бокала.

— Теперь порядок, — сказал он, направляясь в заднюю комнату почти хромающей походкой. — Теперь ты можешь купить себе ещё и новый гребень.

Дуня долго сидела в одиночестве, не замечая, как летит время. Она не стала благодарить Акима ещё раз. Бокал казался тяжелее, возможно, из-за того, что лежавшая внутри монетка давила на него своим весом. Зеркало на подоконнике ловило голубоватый отблеск, который отражался на потолке.

После подобных случаев, которым трудно было найти объяснение, Аким несколько дней избегал встреч с Фирсом и сторонился своей сестры, которая, однако, всё очень быстро и легко забывала. Он не заговаривал с ней и ждал, пока какой-нибудь обыденный и естественный вопрос не послужит поводом для сближения. А благодаря совместному проживанию возможностей для этого было предостаточно. Разумеется, Аким мог попросить у неё свежую сорочку или узнать, достаточно ли в доме камыша, который быстро расходовался, потому что печь поглощала его в приличных количествах. Поэтому иногда он был полезен, приносил камыш с берега Дуная или собирал хворост, который привозил на лодке. Передвижение рыбацких лодок по тянувшимся через весь город каналам всё ещё затруднялось из-за последствий суровой зимы. Вилково по-прежнему казался слишком большим для своего населения. Даже Аким медлил, прежде чем приступить к работе. Часто он бродил вдоль зарослей камыша, которые окружали изгибавшийся перед ним рукав реки, словно густая бровь, обрамляющая глаз. Иногда создавалось впечатление, что он больше ни с чем не может справиться, а его обессиленные руки вяло свисают с плеч. Он

словно опасался и чурался всего того, что зеленело, жило, пышно благоухало, беззаботно вбирая в себя тепло и пуская новые ветви в небо. Казалось, будто его пугает звук ломающихся стеблей камыша.

Он испуганно лупал покрасневшими от бессонной ночи глазами, если отец будил его утром. Эти утренние пробуждения были для него настоящей мукой, потому что едва он успевал заснуть, как за окном уже начинал брезжить рассвет, скользя по его свинцовым векам. Ему так хотелось хоть на минутку, хоть на короткое мгновение вернуться в прерванный сон, в котором ему снилась Дуня, где всё казалось милым, невинным и искренним, где не было упрёков и обвинений. О, как сладки были эти грёзы, в которых он наконец был свободным. Это был хороший сон, он не причинял боли и был наполнен разными событиями. Никакие мучительные размышления, никакое зло не омрачало это череду светлых видений о Дуне. Аким зарылся лицом в подушку, он не хотел расставаться с этим чудесным сном, который действовал на него так благотворно и умиротворяюще, что ему не хотелось возвращаться в реальный мир. Какой прок от этой реальности, в которой человек всё теряет и остаётся ни с чем? Почему просыпающийся не может продолжать грезить и при этом воспринимать своим трезвым сознанием обрушивающиеся на него звуки, пусть даже недолго, лишь мгновение, пока проводит ладонью по лбу? Почему он, вырванный из сна, должен оставлять там то единственное, что доставляло ему усладу и радость? Он сравнивал себя с яблоком, которое разделили на две половинки, но раненая мякоть каждой половинки жаждала снова воссоединиться с другой. И постепенно, приходя откуда-то издалека, у него возникал вопрос о грехе, о тех удивительных вещах, которым не было места в реальном мире среди этих стен с уродливыми окнами. Когда однажды его сладкий сон прервал шум упавшего на пол котелка, из него вырвался громкий крик, прозвучавший почти как упрёк и обвинение:

— Дуня, Дуня!

Сестра, которая проснулась намного раньше, услышала его голос, подошла к его постели и спросила, чего он хочет. Он резко подскочил, и это движение было подобно удару, которым он хотел бы разрушить реальную жизнь. Затем он начал искать что-то в выражении её лица, но не мог этого найти, потому что оно

осталось во сне и сейчас ускользало от него; какое-то время он не говорил ни слова, а потом едва слышно произнёс:

— Во сне мне было гораздо лучше.

Даже старик Калистрат постепенно привык к мрачному взгляду Акима, к его потускневшим глазам, которые казались больными. Как можно было узнать, что его тяготило, если он об этом не говорил, а всё время задавать вопросы, когда знаешь, что получишь лишь скудный и невнятный ответ, совсем не хотелось. Не каждый был таким же назойливым, как Яков или Пимен, которые даже не подозревали о том, насколько досаждали многим людям своим любопытством. Считается, что пьянство и любопытство являются несовместимыми качествами. Однако Яков был редким исключением. С тех пор, как закончилось наводнение, он мог не только мертвецки напиваться, но в то же время быть одержимым детской любознательностью. Иногда случалось, что он весь вечер сидел за барной стойкой в трактире Ивана, тарабанил ногами по её доскам и при этом просил одного из присутствующих докладывать ему о результатах игры в кости, которая происходила между двумя рыбаками. Вообще-то он не хотел совать свой красный от пьянства нос в дела других людей, пытался поступать разумно и держаться подальше от их пагубных увлечений, но если вдруг ему не сообщали, как выпали кости, он тут же начинал верещать:

— Сколько очков, слышишь, сколько?

Тогда ему называли число, и Яков снова сидел молча, шумно попивая из своего стакана, пока один из избранных им слушателей опять не забывал добросовестно доложить о результатах.

— Шесть очков, десять очков! — говорил он тогда, многозначительно понижая свой пропитый голос, — девять очков, а может и семь. Вы, наверное, думаете, что я тут просто сижу и пью, но мне не всё равно, кто выкидывает больше. У меня ведь тоже есть свои предположения, понимаете, свои расчёты. Я мог бы выиграть больше вас всех, вместе взятых, но я вам этого не желаю. С какой стати вы должны проигрывать мне последние штаны? Разве я вам враг? Мне от вас даже портянок не нужно, прошу заметить.

При этом, чтобы казаться более убедительным и глубокомысленным, он водил туда-сюда своим приплюснутым,

кривым большим пальцем левой руки по завиткам запутавшейся бороды, которую уже давно не расчёсывали, будто указывая на засохшие капли каши или дельфиньего жира, которые висели на волосках, как жирные мухи в старой паутине. Иногда, если его кто-то не расслышал, он мог запросто раздавить стакан в кулаке, и осколки со звоном медленно сыпались на пол. Он больше не тратил слова попусту, как раньше, боже упаси, он хотел пользоваться вниманием. И поэтому ему было без разницы, кто в этот момент сидел перед ним, главное, чтобы ему отвечали. В этом плане он не проводил различий между людьми. Только по отношению к Савелу он испытывал что-то вроде слабости. Савел действительно выделялся на фоне всех остальных, он был как изящная стерлядь среди тупоносых карпов. Если Яков встречал его, то пил в этот день меньше. Савел действовал на людей как выпивка, которая облегчает душу. Так однажды высказался о нём Пимен, и Яков этого не забыл. Он был немного благодарен Пимену за эти слова, до которых он никогда бы не додумался ни в пьяном, ни в трезвом виде. Конечно, Пимен всё больше лысел, по-другому и быть не могло, тонкие волоски выпадали и прилипали к шапке, будто никогда и не росли на его расположенной по соседству голове. Потеря и без того редких волос больно задевала его самолюбие. Однако у него был дар красноречия, о чём хорошо знал Яков, и вопреки всему Пимен не утратил этот дар.

С тех пор, как над Вилково и дельтой Дуная всё реже собирались дождевые тучи, с тех пор, как погода наладилась и почти всё время было солнечно, а сумерки опускались на землю гораздо позже, когда усталые рыбаки после изнурительной работы приводили свои лодки к глинистым берегам обводных каналов, усыпанным нанесённым водой песком, которые разветвлялись во все стороны и вели к их избам, Савела охватила неуёмная, неугасимая жажда деятельности. В городе больше не осталось ни одной повреждённой лодки, которую он бы не отремонтировал. Он делал это всего лишь за несколько леев и брал деньги лишь потому, чтобы не прослыть глупцом среди рыбацкой братии. Он считал усерднее, чем когда-либо, прибавляя в уме одну цифру к другой, однако делал он это не ради себя, не потому, что хотел набить себе карманы. Он купил большую солонку из прессованного стекла, которая была сделана

в форме церкви, принёс её в трактир и на глазах у всех подарил Пимену, который выглядел очень растроганно.

— Только тебе это под стать, — произнёс он снисходительно и при этом взглянул искоса на изумлённое лицо Якова. — Ты достаточно благороден для такого великолепного столового прибора. Прими его в память обо мне.

Гости трактира одобрительно и почти с благоговением закивали, ведь Савел явно не поскупился. С какой стати он должен был дарить это стеклянное сооружение именно Гаше, а не Пимену? Они — супруги, поэтому особой разницы не было. Но в последнее время у Савела не было никакого желания видеть Гашу. Он всеми силами старался ей показать, что ему хорошо живётся и без неё, что он легко сможет найти в Вилково и другую женщину, если в этом будет необходимость. Кто, скажите на милость, был готов на всё ради Гаши? Определённо не он, его нельзя было в этом упрекнуть, если только кто-то не собирался его оклеветать.

В его голове кружились разные мысли, он жаждал дать ей почувствовать своё презрение, ей, этой женщине, взгляд которой мог вскружить голову любому, этой женщине, которая была так уверена в своей власти над ним, что довольно часто позволяла себе заигрывать с Флорей, завлекая его своей порхающей синей юбкой. Но Савел хотел дать ей чётко понять, насколько он был бесценен, редкий гость, который вскоре, кто знает, может исчезнуть из её жизни навсегда. Солонка должна была послужить этому доказательством. Возможно, она просто не понравилась ему самому. Он едва удержался от соблазна плюнуть в неё. Его голова была занята столькими вещами, и его ничего не обязывало. Зачем Гаше теперь удерживать его в своей спальне, в то время как она думает о Флоре? Он её хорошо знал, даже слишком хорошо, и всё реже мечтал о её пухлых губах, которые вместе с большими красивыми глазами оставались её главным достоинством. То, что она им просто пренебрегала, задевало его самолюбие больше, чем если бы она не пускала его в свою постель и отказала ему в ласках.

Несомненно, Флоря был самым серьёзным караульным, которого только можно было себе представить, и поэтому жители городка старались избегать его, насколько им это удавалось. Многие считали, что лучше вообще не попадаться ему

на глаза, чем получить от него строгий выговор, который, как гнев божий, проливался из его уст на их грешные головы, хотя он и в этих случаях говорил так, словно тожественно читал фразы из своего блокнота в блестящей клеёнчатой обложке. Чем он так привлекал эту плутовку Гашу? Прежде всего, Савел не хотел явно демонстрировать свою ревность; ведь никогда раньше его так серьезно не занимали женщины. Вероятно, в большинстве случаев он думал только о ней, если как раз находился рядом. Лучше всего было позволить Гаше удовлетворить её необъяснимые прихоти. Видать, её привлекал каждый тупоголовый караульный; возможно, эта профессия казалась ей невероятно таинственной. Или она это делала только для того, чтобы таким образом почтить память Тудосе? Может, хотя бы Флоря должен был получить то, чего так страстно желал Тудосе вплоть до своей глупой смерти? Кто знает, может она хотела получить власть именно над душой городского караульного, чтобы потешить своё женское тщеславие? Понять поведение этой женщины было невозможно. Савел наконец осознал это; здесь не помогали никакие вычисления, и умение быстро складывать цифры не могло изменить его шансы в ближайшем будущем. Иногда он говорил о Флоре так, словно тот был жалкой мошкой, но Гаша лишь слушала его с улыбкой, обнажая свои белоснежные зубы, и даже бровью не вела. При этом она не поддакивала, но и ничего не отрицала, и уже в следующую секунду могла снова ласкать Савела, что, однако, не мешало ей всего через час как будто случайно пройти мимо поста Флори, кокетливо виляя своими пышными бёдрами.

Что же касается Флори, то он, похоже, не был настолько несообразительным, чтобы не заметить старания Гаши поймать его на удочку или не обратить внимания на её губы, безусловно, слишком пухлые, но в то же время отвлекавшие его от блокнота, губы, которые, наверно, было очень приятно целовать. Правда, караульный всё ещё продолжал делать строгий вид, порой сдвигая брови почти к переносице, если кто-то осмеливался спросить его о чём-нибудь, и не улыбался Гаше в ответ, как без лишних слов поступил бы какой-нибудь болван. Флоря привлекал Гашу именно тем, что никак не поддавался её чарам. Он никогда не подмигивал ей, никогда не хватал за руку, если она подходила к нему близко и заглядывала в его холодные, как

сталь, глаза, и при этом ей казалось, что такой взгляд может даже ужалить. Она проходила всё ближе мимо него, но он никогда её не окликал. Он медленно, с достоинством поправлял козырёк фуражки, а Гаше казалось, что каждый его жест тянется к ней. Было что-то завораживающее в непривычной серьёзности движений этого мужчины. Флоре не нужно было ни на что ей намекать, она бы и так с радостью отдалась ему. Она мечтала, что он наконец сожмёт её в своих объятиях и не выпустит, пока она не закричит от удовольствия.

Однажды ночью Гаша проснулась от страшного сна, в котором она что-то бормотала и говорила. Она открыла глаза и приподнялась, чувствуя, как холод пробегает по коже, по спине, по плечам до самой шеи. Пимен лежал рядом с ней с неподвижным лицом, повёрнутым к потолку; было слышно, как из его полуоткрытого рта раздавалось размеренное посвистывание. Хилый сморчок — да и только, дряхлая развалина, распластавшаяся на кровати. Она едва взглянула на него искоса, он был ей противен, и она подумала о Флоре, который наверняка сейчас стоял на перекрёстке в центре городка и смотрел в темноту. Кто мог знать, когда сомкнутся его бдительные глаза?

Она быстро зашнуровала сапожки, накинула на себя кофту и шерстяной платок, который был таким мягким, что на ощупь сложно было определить, где заканчивались его края и начиналась голая кожа Гаши. Ей нельзя было терять ни минуты, поэтому она тихо выскользнула из комнаты и спустя мгновение уже топала по двору и по доскам кладок под беззвёздным, равнодушным небом. Какая-то собака зашлась лаем, за ней ещё одна и уже следующая, ледяной воздух безжалостно обжигал шею, и от холода у неё сжимались соски. Но Гаша не думала об этом, она торопилась, не различая из-за быстрого шага мелькавшие в темноте постройки рыбацкого городка. Она

ничего не замечала, всё проносилось мимо неё и оставалось позади. Растрёпанная, со свисающими на лоб и лицо прядями волос, она наконец добралась до перекрёстка, на который струился тусклый свет фонарей, добавляя в ночной облик Вилково два нечётких жёлтых пятна. Свет был похож на слегка блестящий, небрежно рассыпанный песок, но Флори, которого она не сомневалась здесь найти, не оказалось на посту, где он обычно расхаживал туда-сюда, и его нигде не было видно. Холодный ветер дул Гаше в спину, настойчиво пытаясь сорвать платок с её плеч. Здесь было очень неуютно и пустынно, будто четыре ветра встречались именно в том месте, где Гаша вела наблюдение и терпеливо ждала, дрожа от холода. Каждое мгновение было подобно мучительной бессонной ночи. Колокольни церкви, которая была неподалёку, практически полностью растворялись в кромешной тьме. И ничто, кроме странствующего ветра, не нарушало царящую вокруг тишину, которая давила на уши и будто оглушала. Лишь изредка раздавался шелест ветвей или свист ветра в дуплах деревьев, а в воздухе стоял сильный смрад, в котором смешивались запахи соли, тлеющего камыша, морских водорослей, гнилой рыбы, смолы и дельфиньего жира.

Наконец из стоявшей неподалёку деревянной будки, которую было плохо видно в темноте, показалась фигура; человек встряхнулся всем телом, словно пытался сбросить с себя усталость, как капли воды. Это был Флоря, и он шёл прямо к Гаше, которую, видимо, узнал, потому что без всяких церемоний спросил спокойным и сдержанным голосом:

— Что ты здесь делаешь так поздно?

Гаша не проронила ни звука. Причина была не в том, что она, всегда такая бойкая и острая на язык, не нашлась, что ответить; внутри ей что-то подсказывало, что сейчас будет правильнее промолчать, поэтому она лишь смотрела на него из узких щёлок глаз. О да, она умела ответить на уверенный взгляд мужчины и делала это мастерски, обычно вставая при этом на цыпочки, а её глаза и пухлые губы соблазнительно и искушающе манили к себе; она больше не дрожала, держала себя в руках, словно мужчина уже сжимал её в своих объятиях. Он стоял перед ней, как бревно, почти вплотную. В один миг он осознал, что всякие разговоры сейчас были бы бесполезны. Его дыхание, как густой

дым, обдало её лицо и широкие щёки. Он прижался своей грудью к её груди, словно они должны были срастись воедино, какое-то время ощупывал её своими окоченевшими, деревянными пальцами, потом обхватил обеими руками и и медленно потащил к деревянной будке, в которой стояла грубо сколоченная лежанка, покрытая скудным слоем соломы. Наверняка там было не намного теплее, чем на улице, но Гаша и думать забыла о холоде, словно о мысли, которую она давно выкинула из головы.

На следующей неделе она часто оказывалась поблизости Флори, разумеется, случайно и ненамеренно, будто ноги сами приводили её сюда, потому что она испытывала к нему непреодолимое влечение, её притягивала немногословность и естественность этого человека, который ничего не просил и не требовал, а только просто и без лишних слов принимал всё, что ему предлагали. В случае с этим мужчиной любое жеманство, высокомерие или кокетство женщины было бы ненужным препятствием, которого он бы не понял. Флоре были не по душе женские уловки, он держался просто и открыто, и поэтому Гаше нужно было вести себя соответственно, если она хотела нравиться ему долгое время. Общение с Флорей благотворно влияло на характер Гаши; она больше не вела себя так, словно в мире не было ничего, кроме соблазнительных, сокровенных и всё же с готовностью оголяемых прелестей её тела. Флоря вряд ли воспринимал её благосклонность и симпатию как милость. Если она к нему не приходила, то на следующий день он не упрекал её за это, а если же появлялась в пределах его досягаемости чаще, он был рад её видеть. Гашу не нужно было принуждать, она приходила сама и улыбалась про себя от блаженства, когда Флоря её обнимал.

Но Савел не был бы собой, если бы он, снедаемый ревностью и шпионивший за Гашей, не узнал об этих отношениях, и они остались для него тайной. Если Гаша поздно ночью тайком шла к Флоре, Савел следовал за ней по пятам, словно тень. Он делал так много раз, тарабанил кулаками по стенам запертой деревянной будки, и, в конце концов, принял серьёзное решение, насколько оно могло быть таковым, покинуть Вилково и отправиться по Дунаю до Измаила, чтобы поискать там работу. Этот порт Бессарабии был намного больше и оживлённее Вилково, и Савел, которому не приходилось там бывать, поскольку он ещё никогда

так далеко не уезжал, представлял его себе невероятно густонаселённым городом наподобие Бухареста или Одессы. Разумеется, он не поднимал шумиху из-за своего решения и сообщил о нём только Гаше, упомянув об этом вскользь, будто о каком-то незначительном пустяке, хотя ему очень хотелось, чтобы она была немного удивлена, и опечалена, и расстроена. Она могла хотя бы сделать вид, что убита горем, чтобы отдать должное его преданности и ревности, в которой он почти уже признался, но она гордо держала свою коварную головку и даже не старалась притворяться, потому что хорошо усвоила уроки Флори и в последнее время презирала любые наигранные слёзы.

Она сказала Савелу, что если он решил оставить её здесь в нищете с Пименом, пусть так и поступает. Видимо, она для него больше ничего не значит, и он её ни в грош не ставит. При этих словах она смотрела не на Савела, а на бородатое, потрескавшееся лицо Василия Блаженного на иконе. Она почёсывала свои круглые коленки, и от этого получался такой неприятный звук, будто она соскребала пригоревшие остатки пищи со дна сковородки. Она не выглядела удивлённой или расстроенной и совсем не стеснялась Савела. Её колени были ничем не хуже, чем у других. Возможно, Савел должен был ещё раз её увидеть, прежде чем отправиться в Измаил. Она оставалась для него загадкой, и несмотря ни на что в ней сохранялась частичка её дерзкого, игривого кокетства. Та женщина, которая протянула руку ему на прощанье, была совсем не похожа на Гашу. Она пожелала Савелу счастливого пути и ехидно предупредила, чтобы он был осторожен и не споткнулся о порог от своего болезненного тщеславия. Она не нуждалась ни в упрёках, ни в угрозах. Её вселенная ограничивалась городком Вилково и окрестностями дельты Дуная; больше для неё ничего не существовало. Если он собрался поискать счастья в другой стороне, то, как говорится, скатертью дорога. Поэтому Савелу не оставалось ничего другого, как направиться к двери, хотя он с удовольствием отказался бы от своих намерений и снова вернулся бы в объятия Гаши.

Фирс не мог понять, почему после Акима вдруг собрался уехать и его брат-близнец. Помимо всего прочего нужно было помнить о том, что через пару дней наконец наступит период ловли сельди, который и так начинался в этом году с большим

опозданием из-за неблагоприятных погодных условий. Однако Савел упрямо настаивал на своём, и даже уговоры родных не могли заставить его отказаться от своих упомянутых вскользь намерений. Эта идея крепко засела в его голове, словно стальной клин. В трактире поднялся настоящий гвалт, когда он в гнетущей тишине сообщил всем, что на следующий день покидает Вилково на неопределённо долгий срок. При этом Якова охватила неистовая ярость, он бы с радостью выбил эту мысль из Савела, так сильно он его обожал, и в один миг он осознал, как невыразимо много значили для него лёгкость и жизнерадостность молодого рыбака. А лицо Пимена исказилось гримасой и застыло в неподвижности, и чуть позже по нему потекли слёзы.

— Послушай, Савел, — плаксиво шептал он ему на ухо, — тебя кто-то рассердил? Или ты на нас в обиде? Может, кто-то отказал тебе в твоём честном праве на оплату за ремонт лодок? Или Гаша вела себя с тобой недостойно? Бог его знает, ведь от этих женщин одни проблемы. Но я, Савел, я клянусь тебе, как брату, я не виноват в том, если Гаша, эта неисправимая женщина, каким-то образом перед тобой провинилась. Мы уже много лет женаты, и я её, так сказать, хорошо знаю, но я не могу отвечать за всё, что она делает. Разумеется, ты всегда был к ней так же доброжелателен, как и ко мне. Она могла отплатить тебе злом за добро, я этого не знаю, а ты, возможно, знаешь, но здесь я должен умыть руки, как Понтий Пилат, потому что меня определённо не в чем упрекнуть.

Пимен испустил такой печальный вздох, что его щуплая грудь непривычно вздулась. Он заметно выделялся на фоне неотёсанного, неуклюжего, бородатого, мутноглазого рыбацкого сброда, он был похож на изящную нить, случайно попавшую в моток грубой пряжи. Он долго грустно смотрел на Савела. Однако тот покачал головой и смущенно сказал:

— Нет, ты не должен себя упрекать Пимен, и Гаша не имеет никакого отношения к моему решению. Я не могу сказать о ней ничего плохого, она всегда была со мной приветлива и относилась ко мне, как к твоему лучшему другу, а в остальном пусть делает, что пожелает. Она — твоя жена, она ладит с соседями, и у неё много хороших знакомых в городе. Даже с Флорей, которого ни одна душа терпеть не может, она нашла

общий язык. Гаша легко сходится с людьми, она может найти себе компанию там, где это было бы наименее вероятно, завязать знакомство с кем угодно, но мне не за что на неё жаловаться.

Когда на следующий день раннее утро постучалось в низкие окна солнечными лучами, Савел прощался со своими родными. Воспринял ли кто-то его отъезд тяжело? Хотя он и сказал, что, возможно, вернётся в Вилково только лет через двадцать, все покивали головами и не поверили ему. При этом царила поистине оживленная атмосфера, братья и сестра обнимали друг друга, и даже старика Калистрата не впечатлили сказанные с твёрдой решимостью слова Савела. Никому не пришло в голову проводить его до парохода, который стоял на пристани, серый и проржавевший во многих местах. Караульный Флоря очень спокойно помахал ему рукой, будто тот направлялся не в далёкий край, а всего лишь до рыбных складов. Даже если бы Савела не было целую вечность, люди всё равно не были бы до конца уверены в его отсутствии. Каждый день начинался бы для Дуни и старика Калистрата так, словно сын и брат, шумно ступая по доскам кладок, вот-вот появится у ворот. Расставание с ним ни у кого не вызвало тоски и печали. От Гаши он не ждал ни растроганных чувств, ни хотя бы короткого, пусть даже сказанного вполголоса слова в знак примирения на прощанье, однако Пимен тоже не показался, и даже Агап, этот мутноглазый чурбан, не вышел его проводить. Однако, несмотря на то, что Савел пока ещё стоял на песчаной почве намывных грунтов Вилково, он уже был далеко от рыбацкого городка, который остался у него за спиной, и его мысли витали в другом месте, в том краю, который он лишь смутно и отдалённо мог представить себе в своём воображении.

Савел ещё никогда не ступал на палубу парохода, однако он сохранял непредвзятость и не переоценивал каждый трос,

шпиль, болтик и заклёпку убого оснащённого судна. Нет, сегодня его нельзя было удивить. Он оплатил свой серо-жёлтый билет и наслаждался поездкой, на которую имел полное право. Пусть другие думают о том, что будет завтра; его это мало волновало сейчас, пока он сидел здесь на деревянной лавке, узел с вещами лежал у его ног, как спокойная собака, и он уже всеми мыслями пребывал в Измаиле. Лишь один раз он прищурился, когда мужчина, который на его взгляд не производил впечатление человека, оказывавшего большое влияние на судьбы людей, без всяких церемоний безжалостно пробил ручным компостером его аккуратно сложенный вдвое жёлтый билет, как будто это должно быть только так, и никак иначе. Савелу было немного жаль красивой бумажки, но, в конце концов, он не собирался выражать протест против такого презрительного отношения к билету, который вылился ему в круглую копеечку. Какой-то мужчина в тёмно-синем костюме, пристально смотря ему в глаза, поинтересовался, есть ли у него уже работа в Измаиле. Однако Савелу, который хотя и был не из робкого десятка, в данной ситуации подобный вопрос показался весьма неуместным, поэтому он лишь ответил на него утвердительно, чтобы вновь вернуться к своим волшебным фантазиям.

Затем пароход резким толчком отчалил от пристани и, освободившись от цепей, поплыл к середине реки, оставляя позади дворы рыбацкого городка, казавшиеся издалека ничтожными и беспомощными, а отвернувшийся в сторону Савел не удостоил их даже беглым взглядом. Перед ним раскинулось безбрежное, кристально чистое небо, а утро окрасило всё вокруг в невероятно мягкие тона. Пароход скользил по рукавам Дуная в сторону моря, словно паря над водой, в небе носились чёрные силуэты бакланов, а цапли были похожи на падающие звёзды, стремительно бросавшиеся в камышовые заросли, отчего стебли с треском ломались. Его взору открывалась бескрайняя гладь озер, сверкавшая, как жидкое олово. Так прошло неизвестно сколько времени.

Однако в воображении Савела природный ландшафт превращался в город с огромными домами и церквями, башни которого сливались с яркими лучами солнечного света. О, Измаил! Этот город так крепко засел в его голове, будто больше нигде не мог найти себе места. Теперь в его представлении он

уже не был похож на Бухарест или Одессу, сейчас Савелу казалось, что он необъятен и сверкает золотыми куполами, как Москва, это была целая страна между городскими стенами, кусочек рая на земле, где скопилось всё: несметные богатства, большие окна, мягкие, белоснежные постели, снующие повсюду уличные торговцы, рыбаки, умевшие считать лучше него самого, телеги с зерном, лошади, девушки, иконы. Он жадно схватил правой рукой узел с одеждой, его ноги напряглись, он поднялся. Измаила пока ещё не было видно, но он манил его подобно обнажённой женщине. Когда спустя долгое время Савел, чтобы хоть чем-то занять себя, принялся проверять на прочность спасательные шлюпки парохода, ощупывая и обстукивая их, будто собирался быстро произвести починку, движение замедлилось, и судно стало приближаться к скоплению домов, возвышавшихся на пологих склонах берега.

Пароход причалил, а Савел так и продолжал сидеть с отрешенным взглядом, мечтая о прелестях Измаила. Раздались крики, гулко отскакивавшие от стенок парохода, словно камни, по щебёнке с грохотом проехало несколько телег, запряжённых волами. Под палящим солнцем стояли мужчины с оголённым торсом и медным загаром. Должно быть, это какой-то небольшой портовый город, который служит для короткой промежуточной посадки, подумал про себя Савел, не желая отрываться от своих сладких мечтаний. Но вдруг работник парохода, который изуродовал его билет в Вилково, крикнул ему с пристани, что он, мол, там делает наверху, ведь его билет действителен до Измаила.

— Конечно, — ответил Савел, — конечно, до Измаила.

— Ты что, ослеп или читать не умеешь? — спросил его тот чванливо. — На табличке же большими буквами написано — Измаил.

— Измаил, — растерянно повторил Савел, не в силах осознать смысл этих слов.

Его как обухом по голове ударило. Сейчас ему больше всего хотелось громко выругаться. Он медленно посмотрел вокруг себя, сплюнул, взял свой узел под мышку и торопливо посеменил по деревянному трапу, словно птенец, которого неожиданно спугнули в гнезде. Ему всё ещё не верилось, что это Измаил. Он был не в силах это признать, всё его сознание взбунтовалось,

однако ему не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в город по одной из разбегавшихся в разные стороны улочек.

Савел был разочарован. Его попросту обманули подобно тому, как мошенничают во время игры в кости. Он был рассержен, изнемогал от палящего солнца и пыли, с трудом волочил своё тело, словно второй узел с одеждой, и от этой ещё более тяжёлой ноши, которую было неудобно нести из-за отсутствия ручки, болели и изнывали пальцы. Его охватила печаль, притуплявшая все его чувства. В мгновение ока Савел превратился в другого человека, внутри его переполняла горечь разочарования. Но постепенно переулки и улицы становились шире, вдоль дороги каёмкой тянулись липы, тут и там красовались своими пышными кронами клёны и дубы, общественные парки нарушали монотонный облик построек, через открытые двери церквей виднелись застывшие в полумраке сводчатые залы, из которых исходил металлический блеск, сверкало серебро и латунь. Незаконченная булыжная мостовая, тюрьма с крохотными окошками почти под крышей, стройплощадки, казармы, школы, синие и позеленевшие от времени медные купола, пустые трактиры, столовые — все эти постройки были доступны взору любого бродяги и ни от кого не прятались. Но Савел, охваченный своим негодованием, не замечал ничего вокруг. Он лишь презрительно ухмылялся, а из-под его растрепанных усов струился пот. Значит, ради всего этого он совершил свое далёкое путешествие, большое путешествие. Серым и усталым выглядел город с его взмывавшими ввысь каменными стенами. С фасадов некоторых домов обсыпалась штукатурка, и как раз это сразу бросилось Савелу в глаза, невзирая на то, что он смотрел на всё рассеянным взглядом. Он запомнил это как ещё один аргумент против Измаила.

В конце концов он нашёл место для ночлега, которое ему с назойливой услужливостью показал проходивший мимо старый еврей. Это было построенное здание без наружной отделки, о штукатурке которого, скорее всего, забыли, как и о многом другом в этом убогом городе; оно стояло во дворе, по которому был разбросан всякий хлам, мусор, трубы, полуразбитые ящики и ржавые куски железа, и было похоже на каменный куб, внутри которого перед глазами невозмутимого молодого рыбака

предстали лишь голые стены и усыпанный соломой кирпичный пол. Маленькая лампа криво висела между пустыми оконными проёмами, в которых даже не было стёкол. В довершение всего этот убогий керосиновый светильник своим стеклянным колпаком напомнил ему лампу в комнате Гаши.

— А ещё здесь есть подобные царские хоромы? — язвительно спросил он своего немощного проводника, который, однако, не понял этого ядовитого выпада, боязливо поднял голову и смущённо посмотрел на него воспалёнными красными глазами. Савел оставил свой узел с вещами невероятно болтливой хозяйке этой странной ночлежки, отделался от старика поспешными словами благодарности и несколько часов бродил по ветхим разветвлённым улочкам города, и даже невероятно роскошные буханки хлеба, которые в огромном количестве наполняли витрины некоторых магазинов, не отвлекали его и не напоминали о чувстве голода.

С непокрытой головой Савел шёл под дождём, сильным дождём, который неожиданно обрушился на город и тем самым явно свидетельствовал о том, что лето с его безраздельной властью над солнцем ещё не пришло в дельту Дуная. Тяжёлые капли сыпались ему на волосы и лицо, но всё его внимание было сосредоточено на ситце, сукне, бархате и женских туфлях, высокие каблуки которых напоминали ему опорные сваи деревянных мостиков Вилково. Вода жадно заливала его красную сорочку, но его привлёк приятный аромат парфюмерной лавки, от которой исходил ещё более странный запах, чем от аптеки Наума в рыбацком городке. Это был настоящий рай для прекрасных обольстительниц, потому что в витринах лавки стояло множество коробочек с завёрнутым в красивую бумагу мылом, бутылочек, флаконч иков, больших и маленьких, похожих на целые семьи стеклянных сосудов, и на всех были разноцветные бумажные этикетки с изображением красивых женщин с золотистыми локонами и роскошной обнажённой грудью. Вот, значит, как всё устроено в городе. Здесь можно было бесплатно часами любоваться этими аппетитными женщинами со всеми их прелестями. И это не стоило ни копейки.

Неожиданно перед глазами Савела возникла невероятно богато одетая женщина, что он даже немного испугался и сделал несколько робких шагов назад; она улыбалась ему с картины и

была совсем не против того, что кто-то любуется её белоснежными зубами, самыми ослепительными зубами в мире, которые были ещё безупречнее, чем у Дуни. Молодой рыбак забыл обо всём на свете, затаил дыхание и стоял, вытаращив глаза от изумления. В этом отношении Измаил всё же значительно превосходил монотонное Вилково. Нужно признать, что с Москвой этот город, пожалуй, не мог сравниться, однако в нём всё-таки была своя особая привлекательность, которая притягивала его внимательный взгляд. Этим далеко не стыдливым и смиренным женщинам на бумаге Гаша и в подмётки не годилась. Им не хватало только одного, чем могла похвастаться неверная жена Пимена, изменявшая ему с Флорей, а именно её пухлых губ, этих мягких соблазнительных подушечек на лице. Это заставило его призадуматься. Ведь Гаша, эта подлая негодяйка, была из плоти и крови, а эти женщины в витрине будто застыли с румянцем на щеках. В них можно было даже плюнуть, и они бы не возмутились и никому не швырнули бы в голову икону Василия Блаженного, чтобы аж в ушах зазвенело. Вот такая жена нужна была Пимену. А он сам мог бы сейчас лежать дома на печи, а не шататься тут по Измаилу, где самые красивые женщины красовались своими пышными локонами только на этикетках маленьких бутылочек, в жёлтой жидкости которых таился восхитительный пьянящий аромат.

Дождь коварно и безжалостно хлестал по лицу Савела, поэтому он наконец решил вернуться в свою ночлежку. Болтливая хозяйка даже принесла ему плотно набитый мешок с соломой, который можно было использовать как подушку. Когда, судя по глубокому дыханию, он уже заснул, она всё ещё стояла над ним и смотрела сверху на его распластавшееся тело и растянувшийся в широкой улыбке блаженства рот. Спустя какое-то время он снова открыл глаза и почувствовал, что через оконные проёмы уже веяло вечерней прохладой.

Хозяйка ночлежки была занята тем, что сгребала лежавшую вокруг солому ногами в одну кучу. Она поинтересовалась, хорошо ли ему спалось.

— Вполне, — сухо ответил Савел.

Она вновь участливо спросила, отдохнул ли он.

— Вполне, — повторно прозвучал его ответ, хотя обычно он был общительным и не страдал косноязычием. Но горькое

разочарование, одолевавшее его подобно кислоте, разъедающей кожу, снова наполнило его мысли, когда он увидел, как эта женщина шаркает ногами, а ему в нос резко ударил едкий запах пота.

— Как тебя зовут? — поинтересовалась она, кусая большую головку лука.

— Тимофей, — ответил он, запинаясь, медленно растягивая эти три слога, — Тимофей!

Это имя как-то само пришло ему на ум, поскольку он относился к этой женщине с таким презрением, что даже не хотел говорить ей правду.

— Работу ищешь или как? — снова спросила она, пытаясь разговорить упрямого Савела, и едва он успел открыть рот, чтобы сказать что-то в ответ, продолжила:

— Я знаю весь город. Ты можешь устроиться у любого торговца зерном. Только слушайся меня.

Тут у него внутри что-то взбунтовалось, и, скрипя зубами, он сказал:

— Нет, мне не нужна работа, и жильё тоже. Солома и тут достаточно мягкая, и я могу уйти, когда мне захочется. Я не собираюсь батрачить в Измаиле, поняла?

Женщина спрашивала себя, что может представлять из себя этот мужчина, пока он, сжав кулаки и очень громко зевая, потягивался.

— Я не так беден, как ты думаешь, — прервал он её размышления. — Я бы мог заплатить и за гостиницу и обойтись без твоей жалкой соломы, но я не хотел обижать старого еврея, поскольку он привёл меня сюда по неведению, а я нездешний.

— Вот, значит, как, — сказала женщина, кивая и немного смутившись. — Я этого не знала.

Она запихнула остатки лука между жевавшими челюстями и уже стояла в двери, как вдруг сказала ему убедительным тоном:

— Ты недурён собой и мог бы добиться успеха в Измаиле.

Внезапно в его голове промелькнула одна мысль, и он сказал, словно пытаясь быстро исправить положение:

— Подожди немного и не уходи так сразу. Я как раз собирался узнать твоё имя, но ты даже не дала мне возможности спросить. Разве ты куда-то торопишься?

— Нет, — ответила она, и ей бы очень хотелось, чтобы это

прозвучало так, будто было сказано устами разочарованной княгини, — нет, но у нас тоже есть честолюбие, мы — порядочные женщины.

При этом она почесала левую ляжку, которая сбоку смотрелась довольно мощно. Она уже вышла во двор, где на каждом шагу валялась всякая рухлядь, и добавила:

— Но если тебе интересно, то меня зовут Вера, однако все меня называют только Верочкой. Но ты, разумеется, понятия не имеешь о подобных вещах, тебе такое и во сне не снилось.

Савел чувствовал себя сбитым с толку и униженным, однако не стал углубляться в эти мысли и отогнал их, как мух, достал из своего узла куртку и отправился в центр города. После сна он немного оправился от разочарования, больше не ожидал ничего сверхъестественного, и сейчас Измаил уже не казался ему таким уж плохим. К его сожалению все магазины и лавки уже были закрыты, и только из трактиров исходил жёлтый свет, разливаясь по улочкам и переулкам, и доносилась приятная игра скрипок и цимбал, а целый хор мужских голосов горланил во всю глотку песни. Савел неторопливо сдвинул шапку со лба на затылок, потому что не знал, что делать, и готов был зайти в первую же дверь и присоединиться к игравшим. Но вскоре ему в голову пришла самая хитроумная мысль, до которой он только мог додуматься, что в Измаиле наверняка должны быть заведения поинтереснее, предлагавшие более занимательную и соблазнительную программу. Ему об этом никто не говорил, но по-другому, ей-богу, и быть не могло; по крайней мере, в этом отношении Измаил должен был оправдать его представления о себе. В противном случае это было бы позорное клеймо, которое ничем не смыть. Всё-таки этот город казался более значимым, чем Вилково, несмотря на все его недостатки, которые застряли в памяти Савела подобно тоненьким рыболовным крючкам, причиняющим боль. Его подмывало любопытство и что-то внутри подсказывало ему, что это ещё не всё, что он ещё не успел увидеть и вкусить всего того, что мог предложить Измаил. Поэтому он поборол своё минутное искушение зайти в трактир и отправился на поиски, как ищейка, почуявшая след.

И совсем скоро его старания увенчались успехом, потому что из одного проулка доносился шум голосов, прерываемый стрекочущими и прерывистыми турецкими звуками. И, кстати,

это были женские голоса, высокие раскатистые женские голоса, которые как голуби кружили и порхали в темноте. Савел догадался, что попал туда, куда нужно, и более злачного места в городе не найти. Пока он подходил к освещённому саду, на деревянных воротах которого болтались выцветшие флажки, в голове у него мелькнула мысль, что наконец-то он сможет воочию увидеть женщин с этикеток на ароматных флакончиках. Какой-то мужчина приглашал его зайти без колебаний, потому что здесь, дескать, любой напиток стоит копейки, а турчанки поют так красиво, что можно даже расплакаться.

— Расплакаться? — спросил Савел и громко захохотал.

— Да, — сказал мужчина, кивая, — но, разумеется, это могут оценить лишь знатоки и гурманы.

Несколько керосиновых фонарей раскачивались от слабого ветерка, а между деревьями стоял большой железный навес, поддерживаемый парой опорных балок. В центре, в окружении столиков с немногочисленными гостями, играл и пел восточный ансамбль, состоявший из четырёх женщин различного возраста и такого же количества мужчин. Певицы сидели на помосте, а музыканты, беззаботно игравшие на своих инструментах, скромно разместились на низеньких скамеечках у ног женщин, которые были очень броско накрашены, словно пытались скрыть под ярким макияжем свои загорелые лица. Савелу они вообще не понравились, кроме одной, видимо, ещё очень молодой женщины с тёмными глазами и строгим, спокойным выражением лица, из-под белой блузки которой выпирала очень пышная грудь. А эта блузка была настолько прозрачной, как кожура сваренного яйца под скорлупой. Боже милостивый, чего тут только не увидишь! Савел сел за столик, заказал водки и не прекращал смотреть на эту женщину, которая, несмотря на её честное лицо, не казалась такой уж неприступной. Она даже слегка ему улыбнулась, не похотливо, как Гаша, боже упаси, а скорее как при встрече со старым знакомым, который только что вернулся в город после долгого отсутствия. Ну а Савелу, разумеется, тоже не хотелось казаться обычным парнем, поэтому он стал заказывать вино, приличное бессарабское вино, одну бутылку за другой.

Музыка ласкала его слух приятным теплом, он держал руку перед собой и рассматривал сквозь растопыренные пальцы

женщину. Она пела, как птица, как редкая птица. Савел вздохнул и готов был осмелиться на многое, чтобы вкусить всё то, о чём Пимен, Яков и Агап могли только мечтать в Вилково. Он не хотел быть похожим на них и довольствоваться своим жалким существованием, он жаждал взять от жизни всё. Кроме него ещё за двумя столиками сидели посетители, однако ему казалось, что ансамбль теперь играет лишь для него одного, и когда молодая турчанка подошла к нему с подносом, чтобы собрать деньги за музыку, он не поскупился и любезно бросил ей самые крупные монеты, которые только смог найти в своём кармане. Сейчас она улыбалась ему открыто, восточная плутовка, и спросила, пока он осторожно осматривал её с головы до ног, не желает ли он услышать какую-либо особенную, может быть, его любимую песню, на что Савел сразу же напел ей начало одной из популярных в Вилково песен, или, по правде сказать, не напел, а скорее громко промычал, захлёбываясь от смеха и с трудом переводя дыхание.

С ним случилось то, что собственно, и должно было произойти: вино, этот коварный напиток, который сначала казался таким невинным, что его можно было бы спокойно давать детям, а не широкоплечим рыбакам, наконец возымел своё действие, заставив его позабыть о всех своих разочарованиях в Измаиле. Сейчас жизнь казалась ему прекрасной, больше не существовало ни прошлого, ни смутного будущего, и даже неприятные воспоминания о Гаше беспомощно растворились в сладком напитке. Всё казалось чудесным, и в этом блаженном состоянии время проходило незаметно. В перерыве между двумя вокальными представлениями привлекательная турчанка отправилась в укромное местечко в саду, где между густыми кустами сирени и дощатым забором Савел притянул её к себе и долго целовал её шею, что она, как ни странно, позволила без всякого сопротивления.

Позже он узнал, что за выпитое с наслаждением вино нужно заплатить кругленькую сумму, однако не торговался, потому что как раз в этот момент на него смотрела турчанка. Когда после этого музыканты и певицы отправились домой, он, держась поодаль, проследовал за ними до невысокого домика, в котором они, вероятно, жили все вместе. Савел уже опасался, что ему придётся вернуться в холодную ночлежку, так и не удовлетворив

свои страстные желания, но в дом зашли только три женщины и все мужчины, в то время как молодая турчанка скрылась за находившейся рядом дверью, а затем через минуту снова появилась на пороге, вероятно, чтобы проверить, куда подевался Савел. Он уже был во дворе, спрятавшись за стволом уксусного дерева, чтобы не привлекать излишнее внимание. Он подкрался поближе и через поблёскивавшее в лунном свете стекло окна увидел, что женщина машет ему рукой и зовёт к себе, причём настолько явно и с такой нежностью, что он будет круглым глупцом, если не последует за ней. В маленькой комнатке, которая открылась взору Савела, не было ничего кроме кровати и букета бумажных цветов у стены, по которому прыгал дрожащий свет мерцавшей свечи, то освещая его больше, то затемняя. Турчанка протянула к Савелу руки, и он уже представлял себе, что сейчас начнётся невероятно волшебная любовная игра.

Однако его ждал весьма неприятный сюрприз, потому что неожиданно дверь за его спиной с шумом распахнулась, и один из музыкантов ворвался в комнату и набросился на него с криками, что он, мол, тут забыл, трус. Это был мускулистый человек, длинный, как корабельная мачта, лицо которого Савел в сплошной неразберихе даже не сразу смог разглядеть.

— Жалкий червь! — не унимался он. — Украсть у меня жену хотел! Ишь, размечтался, пьянчуга!

Почуяв опасность, Савел затаил дыхание и мгновенно протрезвел.

— Что? — тихо воскликнул он с беспокойством.

Но турок уже навалился на него, ударил его своими корявыми кулаками в грудь, отчего он упал навзничь, бил дальше, вцепился в него и не отпускал, рылся в его одежде, а застигнутый врасплох Савел начал защищаться слишком поздно, однако потом всё же схватил противника за глотку и царапал ему лицо, что тот в конце концов сдался, а поваленный Савел за считанные секунды с трудом поднялся с пола и, хромая, выскользнул из комнаты. Он не знал другого пути, как выбраться из этого безжалостного ада, поэтому поковылял по двору на улицу, где уже почувствовал себя спокойнее в скрывавшей его темноте. Его учащённое дыхание обжигало ему губы. Он ощупал себя; крови нигде не было, нигде, где он чувствовал боль, поэтому он пошёл прочь от этого

злосчастного места нападения и в скором времени добрался до ночлежки.

С чернильного неба снова лился дождь, холодный и беспощадный, как вдруг он заметил, что кто-то бежит ему навстречу из темноты. Он испугался, беспомощный бедняга, и задрожал. Однако это была хозяйка его пристанища, болтливая Вера, которая быстро принялась уговаривать его пойти с ней, что, дескать, она, хи-хи-хи, не имеет в мыслях ничего дурного и что она этой ночью одна в своей квартире. Зачем же ему спать там, на скрипящей жёсткой соломе? И чего тут, мол, долго раздумывать? Савел был далёк от того, чтобы терзаться подобными мыслями, но он в этот момент как раз обыскивал свои карманы и не мог найти денег, которые ещё должны были остаться после его легкомысленного кутежа. Он, как одержимый, ощупывал пальцами свою расстёгнутую куртку сверху вниз. Денег не было, и внезапно он вспомнил, что ещё во время драки с неуклюжим музыкантом, когда на него сыпались удары и тумаки, он заметил, как турок рылся в его одежде, но не обратил в тот момент на это должного внимания. Не должен же он был вернуться в этот ад, чтобы ему ещё раз напомнили о его пьяном загуле? Или он настолько наивен, чтобы осмелиться на это? В любом случае это была не такая уж и большая сумма, и об этой утрате можно забыть, даже если у него осталось всего пару леев на завтрашний день.

— Денег больше нет! — бросил он ей укоризненно. — Я их потерял, всё потерял.

— Ты их и не найдёшь, — ответила она успокаивающим тоном, словно была в курсе всего и присутствовала при драке, — с приезжими в городе такое часто случается. Хватит ломаться, как целомудренная дева. Пойдём.

И с этими словами она пошла вперёд, положив его тяжёлую руку себе на плечо. Сейчас он подчинился и последовал за ней. Он проклинал турчанку. Не она лежала рядом с ним, а Вера, эта без умолку болтавшая Верочка, но лучше было спать с ней, чем вообще в одиночестве.

Когда на следующий день он проснулся поздним утром рядом с женщиной, у него болело все тело, а руки и ноги во многих местах были покрыты синяками. Вера изрядно испугалась, увидев при свете дня, как его отделали, однако она не стала из-за этого менее ласковой, потому что успела оценить молодого рыбака, который, видимо, ей понравился. Она предлагала сделать ему, её красивому Тимофею, холодные компрессы, хотела, чтобы он на весь день остался в кровати и отдохнул. Но Савел, который после вчерашнего происшествия спустился с небес на землю и теперь смотрел на всё более трезво и рассудительно, отвергал доброжелательные жесты женщины, от которой, кстати, как и вчера исходил едкий запах пота. Порой Савел мог быть чувствительным. Он ни в коем разе не считал себя каким-то приблудившимся бродягой. Он хорошо знал себе цену, и прежде всего у женщин, поэтому, несмотря на вчерашнее происшествие, в этот раз не собирался уходить с пустыми руками. Он объяснил Вере, что хочет сегодня серьёзно и с толком осмотреться в городе, и попросил у неё небольшую сумму.

— В долг, разумеется, — заверил он, — я не хочу брать их у тебя просто так.

Но Вера решила ему показать, какой великодушной она может быть после подобной ночи, и протянула ему в десять раз больше, чем он попросил.

— Да, вот такая я, — пояснила Вера свой порыв щедрости, — ты просто этого ещё не знаешь, ты должен узнать меня получше. Ты не будешь разочарован. Я строга только с теми подонками, которые иногда спят во дворе. Моя ночлежка не для потаскух, ты понял?

Савел рассеянно кивнул в подтверждение, он казался раздражённым, потому что был сыт по горло этой женщиной.

В этот раз он шёл в центр города в более спокойном расположении духа, чем вчера. То ли вчерашнее происшествие наконец утолило любопытство Савела, то ли его болевшее, покрытое синяками тело было причиной этой явной задумчивости, или же на него так подействовала проведённая ночь с Верой, заставив относиться с лёгкостью к повседневным вещам, но сейчас ему было плевать на Измаил и какие-либо

перспективы трудоустройства в этом городе. Неужели он должен был трусливо принять предложение хозяйки ночлежки пристроить его продавцом или кладовщиком у торговца зерном, остаться с этой болтливой женщиной и навсегда распрощаться со своей свободой и всеми удовольствиями приключенческой жизни? Конечно, он мог бы продемонстрировать любому торговцу, что умеет считать гораздо лучше других и складывает в уме цифры с таким же рвением, с которым большинство мужчин может только есть и пить. Или лучше стать грузчиком в порту? То есть одним из этих парней с медным загаром и оголёнными торсами, которые только и ждут разгрузки судна, как голодные сомы, горбатятся под палящим солнцем, не разгибаясь, и выпрямляются только для того, чтобы опрокинуть вечером стакан водки? Нет, ну зачем делать выбор между всеми этими безрадостными перспективами? Ведь он же не был настолько беспомощным, а переживать понапрасну подобает другим, но не ему. Неожиданно его мысли снова вернулись к Вилково. Он же не был настолько глуп, чтобы кряхтеть от тяжеленных тюков и мешков, пока в Дунае ещё плавает куча осетров. Неожиданно осенившая его мысль была подобно открытию. Пусть даже церкви Измаила были в два раза больше, чем в рыбацком городке, а обнажёнными женщинами с невероятно блестящими золотистыми локонами здесь можно было любоваться на каждом флаконе, однако, всего этого было недостаточно. Этих женщин нельзя было обнять, а те, кого хотелось обнять, эти лицемерные турчанки, сразу же предавали, даже не успев узнать, на что он способен как мужчина. В этом отношении вилковские женщины казались более благоразумными и не думали только о деньгах. И, в конце концов, они, пожалуй, были более искренними, если не брать в расчёт Гашу, эту похотливую зазнайку. Гаша была исключением, чтоб ей провалиться; пусть убирается к чёрту, да побыстрее, пока бедному Пимену ещё не поздно вступить в новый брак.

Опустившийся на черепицы домов день предвещал грозу; издалека доносились слабые раскаты грома, отдававшиеся эхом в мрачных облаках, однако они казались какими-то ненастоящими и не представляли угрозы, а Савел и думать забыл о всех упрёках, которые ещё вчера он на каждом шагу готов был бросить к ногам этого убогого города. Денег на обратный билет до Вилково

благодаря великодушию Верочки у него было более чем достаточно, и, возможно, их даже хватило бы на покупку одной из этих чудесных бутылочек с ароматной жидкостью и красотками на бумажных этикетках с золотой рамочкой. Наверняка поездка из Измаила в Вилково не могла стоить дороже, чем путешествие оттуда сюда. Он пересчитал свои богатства, бережно отсчитывая одну монету за другой, отложил сумму на обратный билет в самый дальний карман и отправился в торговый квартал, где сильный сладкий запах, исходивший из парфюмерной лавки с мылом, картонными коробочками и флаконами, заставлял остановиться перед ней каждого прохожего.

Свежевыкрашенная деревянная дверь магазинчика не смутила его, потому что он был преисполнен уверенности, что у него достаточно денег для самого большого из прелестных флаконов, выставленных в витрине. На торговце был белый халат, который сразу же бросился в глаза Савелу, поскольку он не был ни ночной сорочкой, ни сутаной, и всё же выглядел празднично и довольно вычурно. Однако поскольку именно Савел был здесь покупателем с деньгами в кармане и мог командовать и чего-то требовать, его не очень заботил этот наряд торговца, который, возможно, мог удивить других, но не его, поэтому без долгих разговоров он озвучил своё желание:

— Я бы хотел флакон с женщиной на этикетке, с красивой женщиной, как вон те в витрине.

Мужчина за прилавком кивнул и заметил, что эта туалетная вода отличного качества, и он её может с чистой совестью порекомендовать, но Савел, не желая выслушивать подобные расхваливания товара, остановил его взмахом руки и спросил, хорошо ли пахнет эта фальшивка. Торговец удивился и немного обиженно ответил, что он закупает только известные европейские марки. Но поскольку Савел никогда и ни от кого в Вилково не слышал, что они живут не только в дельте Дуная, но кроме всего прочего ещё и в Европе, он лишь отвернулся со скучным выражением лица и спросил о цене, которую ему для его успокоения наконец назвали, и которая, к счастью, оказалась доступной для его средств. Держа заветный флакон в руке, он открутил распылитель, который украшал маленький колпачок. Он вылил несколько капель медово-жёлтой жидкости на левую

ладонь, растёр её осторожно и всё же немного нетерпеливо и с благоговением приложил руку к носу. Торговец хотел снова вставить что-то насчёт чудесного действия этой туалетной воды, но восхищённый Савел с улыбкой описал рукой многозначительный жест, ткнул ему под нос требуемую сумму и вышел из лавки с флаконом в руке, при этом держа его так, чтобы не дотрагиваться шершавыми пальцами до картинки с соблазнительной женщиной. И даже сейчас, находясь в его собственности, кокетливая дама, как и прежде, улыбалась ему.

Он не собирался возвращаться на обед в квартиру своей благодетельницы, хотя она обещала ему горячую уху из красной рыбы, и предпочёл перекусить в трактире на окраине Измаила, которая выглядела по-сельски скромно, заказал несколько кусков хлеба, овечий сыр и стакан сливового шнапса и сейчас поглощал всё это, спокойно любуясь изображением на этикетке флакона, стоявшего перед ним. Он каждый раз тщательно вытирал пальцы об штаны, прежде чем прикоснуться к драгоценной бутылочке, а после обеда слонялся мимо многих зерновых складов с лукавым и немного горделивым взглядом, потому что не собирался предлагать им свои услуги. Он был сам себе хозяин, и вдобавок ко всему жидкость в бутылочке пахла, как огромный букет цветов. Да, в это действительно было сложно поверить.

Однако вечером он снова вернулся к Верочке, не из-за подогретой ухи, боже упаси, а чтобы забрать свой узел с вещами. Разумеется, Савел ни словом не обмолвился Вере о своём намерении вернуться в Вилково; он искусно уклонялся от её бесчисленных расспросов и, напустив на себя очень важный и таинственный вид, сказал, что у него есть серьёзный шанс получить работу в известном магазине, после чего балаболка наконец-то оставила его в покое, но, к сожалению, ненадолго, поскольку вскоре принялась спрашивать о том, какой получилась уха, пришлась ли она ему по вкусу и пошла ли на пользу, ведь ему, дескать, нужно отдохнуть, потому что он какой-то бледный и измученный. Пока она болтала, Савел спрятал флакон в самый низ своего узла и с облегчением вздохнул, уверенный в том, что там он будет в безопасности, поскольку ему пришлось бы уехать в полном разочаровании от своего пребывания в Измаиле, если бы Вера его обнаружила и потребовала отдать, взывая к его мужскому великодушию, которое иногда было ему свойственно.

А когда Верочка наконец закрыла свои опухшие от его страстных поцелуев веки и погрузилась в глубокий сон, Савел с неимоверной осторожностью поднялся с постели и тихонько ускользнул. С лёгким узлом за плечами он аккуратно миновал все ящики и куски железа, валявшиеся во дворе, и пошёл враскачку в сторону порта, из которого, как он узнал, сегодня поздно ночью должен отправиться пароход в Вилково. Местами Измаил переливался мягкими красками в дрожащем свете пугливо мерцавших фонарей. Савел долго ждал в порту в окружении незнакомых, молчаливых мужских фигур, пока из темноты не появился пароход, на который струился нежно-бледный свет новый луны. Вновь загудел двигатель парохода, и опять Савел лежал, растянувшись на деревянной лавке, а ночной воздух обдавал прохладой его лицо. Вода, словно жужжащий шмель, шумела за бортом судна, которое неторопливо бороздило водные просторы своим привычным курсом; ласковое шептание волн усыпляло, и все с радостью забылись усталым сном. А когда утром Савел проснулся, пароход уже стоял у пристани Вилково, где со дна поднялись тучи ила. Савел уставился на мутную воду, затем перевёл взгляд на камышовые крыши рыбацкого городка, который ещё был окутан лёгким серебристым туманом. Он прямиком отправился в направлении родительского дома и долго стучал в дверь, пока её не открыл Аким, который совершенно спокойно и как ни в чём не бывало сказал:

— Ты вернулся.

В жизни Сверёвых совсем ничего не изменилось во время короткого отсутствия Савела и после его возвращения, тем более, что сейчас все по голову погрузились в работу, заканчивая последние приготовления к выходам для ловли сельди, потому что уже наступил май, и уровень воды в Дунае в затопленных регионах начал заметно спадать, а это всегда означало миграцию

рыбы из соседних озёр в русло реки. Как и каждый год, рыба огромными стаями устремлялась из стоячих вод в открытые каналы, откуда она пыталась попасть в основные притоки Дуная или в Чёрное море. Во время этих путешествий, которые следовали за периодом нереста и напоминали неистовую гонку после праздного безделья и покоя, дунайскую сельдь застигали врасплох жители дельты, они ловили её сотнями тысяч, грузили тоннами на лодки и привозили в Вилково на продажу и на засол. Для рыбацких поселений эти несколько дней весной были самым волнительным периодом в году, потому что именно в это время всегда была возможность за пару часов заработать маленькое состояние, что в случае с ловлей осетровых на крючковые снасти могло произойти лишь благодаря слепой удаче и чистому везению.

Конечно, народ в этих местах был суеверным, причём с малых лет, и приписывал чудодейственную силу всевозможным волшебным средствам, несмотря на то, что у каждого в углу комнаты стояли иконы с христианскими святыми, застывшими в золотой оправе; люди верили в таинственные приметы, полагались на предчувствия и сны, когда охотились на осетровых с заветной икрой, чтобы наконец немного облегчить своё жалкое существование. Но благодаря путешествующим стаям сельди у каждого была возможность вытянуть выигрышный лотерейный билет, и тот, кто не пользовался этим шансом, был достоин того, чтобы гнить в нищете. Поэтому всё население посёлков в дельте выходило поживиться добычей; даже дети и старики не могли усидеть дома, они ловили на удочку, хватали голыми руками рыб, которые кишили в каналах, тут и там поблёскивали серебристой чешуёй, выпрыгивали из воды, отчаянно трепыхались и, лишившись последних сил, в конце концов затихали и вяло лежали на сиденьях лодок. Иногда в смертельный плен попадали пескари, молодые осетра, форель, окуни, севрюги, карпы, судаки, кефаль, стерлядь. Ими никто не брезговал, их продавали, жарили на углях, варили в медных котелках, и от этого всё вокруг шипело, шкварчало, дымилось. Все с наслаждением хлебали рыбную юшку и обгладывали с костей тающее во рту мясо; дети резвились у корыт, хватая ещё барахтавшуюся рыбу за хвост. Целую неделю у каждого в карманах водились денежки, никто почти не спал, чтобы не

пропустить странствующие стаи сельди, люди стояли по пояс в холодной воде, а затем пили водку перед трактиром Ивана, потому что внутри уже не было свободных мест, пили, пока не становилось теплее в груди, пока уже не было сил стоять на ногах, пили до упаду, пока наконец не засыпали, сытые по горло всей этой изнурительной алчной гонкой. Чем выше стояла вода в затопленных регионах и озёрах, тем богаче был улов, тем больше сельди попадалось в сети, и тем тяжелее становились карманы трактирщика Ивана. Он брал монеты в ладони, и они со звоном сыпались в глубокие железные миски, рыбные бочки и чаны. Ну а кто не будет пить, когда удача сама приплыла в руки?

Поэтому наш предприимчивый Савел, который едва успел вчера вернуться в Вилково, не заставил себя просить дважды и сразу же заявил о своей готовности отправиться на лов сельди вместе с Дуней, Акимом и Фирсом, а в городе должен был остаться только старик Калистрат, которому полагалось наблюдать за засолкой добычи на складах. Всё было обговорено в двух словах, но, тем не менее, точно согласовано, и только Савела предупредили о том, что он должен внимательно следить за указаниями Акима, чтобы они не пропустили ни одной стаи. Фирс всё и так хорошо знал, хотя и слушался советов, а помощь Дуни в любом случае требовалась лишь для выполнения несущественных, второстепенных заданий. Пока его брат-близнец поучал их приглушенным сиплым голосом, строя из скудных слов фразы, Савел достал флакон с туалетной водой, брызнул каплю на ладонь, растёр её и восхищённо крутил головой туда-сюда, прошептав на ухо Дуне, что будет разрешать ей чуть-чуть подушиться только по воскресеньям, потому что, дескать, эта штука слишком дорогая, и ему лишь с большим трудом удалось раздобыть её в Измаиле. Он рассказывал, что эта покупка влетела ему в копеечку, и что он чуть не заблудился в большом городе. Впрочем, Дуня лишь посмеялась с него, назвав его щёголем и бабским угодником, и хотя с трудом верилось, что ароматная жидкость стоит целое состояние, как утверждал Савел, Фирсу всё-таки было очень жаль, что у него не было такого флакона. Дело не в том, что он был очарован златокудрой бабёнкой на бумажной этикетке, нет, его мысли были далеки от подобной мишуры, но ему бы очень хотелось подарить такую бутылочку Дуне, и тогда бы на её губах заиграла улыбка,

маленькая скромная улыбочка, от которой на душе у него стало бы теплее.

Аким в отсутствие Савела даром времени не терял и попытался воспользоваться самым простым способом, чтобы наконец удовлетворить свои мужские нужды. Возможно, Гаша не сможет точно отличить, какого из двух братьев она принимает в своей спальне, и тогда Савел не узнает, что он вторгся на его территорию. Белая и гладкая кожа Гаши обтягивала её упругую грудь, как тёплая и нежная ткань, и, возможно, её ляжки дрожали от наслаждения, словно она вдруг превращалась в раненого ягнёнка, который нуждается в ласке. Вскоре после отплытия парохода Савела Аким, воодушевленный надеждой, поспешил ко двору Гаши, торчал там целый час, пока она не подошла и стала перед ним вплотную.

— Савел выглядит по-другому, теперь я это знаю, — сказала она, засмеявшись вместо приветствия, и ожидала, что Аким сейчас начнёт искусно заигрывать. Однако её голос, который прозвучал ни странно, ни отталкивающе, так огорошил Акима, что он опустил глаза и готов был провалиться сквозь землю. Кроткий голос Гаши, который понравился брату-близнецу, невероятно поразил его, он будто обжигал внутри и очень отличался от чистого и нежного голоса Дуни, её спокойного и уравновешенного нрава, в котором была таинственность и очарование.

А вчера он случайно встретил Анисью, молодую вдову с худым лицом; женщина даже не взглянула на него и не обернулась, однако когда она проходила мимо с двумя ребятишками семи и трёх лет, которые с обеих сторон держали её за руки, от неё так и веяло приветливостью и доброжелательностью. Голос этой женщины также донёсся до его ушей, но не задел его настолько сильно. Он не резал слух и не впивался в сердце, будто осколок стекла; в нём было что-то похожее на плавные переливы голоса его сестры. Поэтому можно было бы закрыть глаза и обнять её, как будто держа в своих объятиях Дуню. Возможно, Анисья была очень спокойной и послушной, неизбалованной женщиной, которой был нужен мужчина. Всякий раз, когда Аким о ней думал, его глаза сужались в тонкие щёлки между опухшими и покрасневшими веками. Может быть, она могла бы немного облегчить его

существование? Конечно, он тоже мог быть тихим и кротким, он скорее готов был покориться, прежде чем его унизят, он стал слабым, и время от времени случалось, что он украдкой наблюдал за играющим ребёнком. В конце концов, Анисья могла бы даже помочь ему; она не была похожа на непорядочную женщину. Он заботливо берёг воспоминания о ней, словно ранимый цветок; кто знает, возможно, где-то и его ждёт спасение от тяжких страданий, и он обязательно найдёт его. Но сейчас ему нужно было сосредоточиться на ловле сельди. Ведь завтра утром и ему придётся терпеливо впрячься в тяжёлую работу по охоте за рыбой.

Крупные капли дождя стучали по поверхности каналов городка, когда местные жители с едва занявшимися рассветными сумерками отправились за добычей. На всех водных артериях, которые пересекали Вилково вдоль и поперёк и утопали в густой листве ясеней и ив, словно прикрывшись крыльями серафима, раскачивались чёрные лодки, гремели цепи, выгружались натянутые между заборными планками сети, слышались громкие перекрикивания соседей, а женщины с мокрыми от дождя лицами таращились в небо, которое раскинуло свой цементно-серый купол над дельтой и дальше в сторону моря. Повсюду толпами появлялись дети, огромными кучами, верные спутники монаха Пахома, который ковылял за ними, как раненый хорёк. Он хихикал так, что через растрёпанную, похожую на веник бороду брызгала слюна, когда он что-то невнятно блеял и отпускал шуточки перед мутноглазым Агапом, который лишь смотрел на него с презрением, как безмолвный истукан.

Только Флоре последующие дни предвещали множество скучных часов, потому что город опустеет и будет казаться вымершим. Кому сейчас нужна была власть, когда устье Дуная так щедро раздавало свои дары? А если кто-то и украдёт пару жалких рыбёшек, впоследствии судьба накажет его плохим уловом. Создавалось впечатление, что Флоря, этот любитель покомандовать, внезапно перестал зазнаваться и вести себя так, словно его блокнот был Библией, и только спокойно и терпеливо выжидал, пока кто-нибудь посторонний, случайно оказавшийся в городе, или какой-нибудь жалкий бродяга не пройдёт мимо его поста и спросит у него дорогу. Судя по всему, даже Пимен, который не участвовал в ловле сельди, поскольку со времён

наводнения боялся любой сырости, словно жаб, не нарушал одиночество караульного. Мечтатель Пимен неподвижно лежал под иконой Василия Блаженного с небольшой болью в желудке, он себя берёг и время от времени лишь жалобно и плаксиво причитал, пока Гаше вместе с другими женщинами приходилось солить на складах рыбу, чтобы таким образом заработать на жизнь. У этой женщины были, так сказать, и положительные стороны. По правде говоря, её не особо интересовал аптекарь Наум, который охотно спустил бы на неё часть своих сбережений, она больше не вспоминала о чудодейственных мазях, которые он ещё совсем недавно с такой нежностью наносил на её оголённые части тела; она не удостаивала его даже взглядом своих искренних или холодных фарфоровых глаз. Она не докучала Флоре жалобами о своих лишениях; задумчивый румын был только её любовником, даже если она и вскрикивала от наслаждения, когда он заключал её в свои крепкие, страстные объятия. Гаша не боялась работы, которая разъедала её руки. Она работала, засучив рукава, а выше локтя её кожа была такой же белой и желанной, прямо любо-дорого смотреть. Гаша знала это, и это её утешало. Она и сейчас не утрачивала своего честолюбия, которое словно леденец, таявший на языке, помогало ей вытерпеть изнурительную работу, тысячи скользких рыб и наполненных доверху бочек соли.

Перед двором Сверёвых лежали две подготовленные лодки; Дуня и Савел сели в одну, а Фирс с Акимом в другую. Савел с сестрой быстро уплыли вперёд по узким каналам, будто Савел не хотел, чтобы его догнали, Фирс следовал за ними, делая мощные гребки веслом, а Аким, немного съёжившись и дрожа от холода, сидел на узком сидении перед ним. Небольшой дождь слегка, словно кончиками пальцев, барабанил по доскам лодки, и когда они вышли к большому каналу, проплыли мимо складов и

добрались до широкой части Дуная, Савел, похоже, уже выбился из сил; обе лодки, закруглённые кили которых разрезали водную гладь, теперь двигались рядом к противоположному берегу и резко уходящему в сторону рукаву реки. Повсюду, куда ни глянь, на воде виднелись лодки, развевались паруса, сшитые из пеньковых мешков и цветных лоскутов. Лодки были похожи на чёрные серпы, качавшиеся на волнах, над которыми туда-сюда проворно носились дикие утки. Тысячи птиц дельты охотились за своей добычей, издавали пронзительные, каркающие звуки, перекликались, кричали, и весь этот гомон напоминал звон разбивающегося вдребезги стекла. Время от времени Дуня вставляла какое-нибудь словечко; эти сопровождавшиеся смехом слова говорились для Фирса, только для Фирса. Они предназначались ему одному, как будто никто больше не мог этого расслышать, как будто её братьев не было рядом. И тогда рот Фирса растягивался в широкой улыбке, а между кудряшками бороды поблёскивали белые зубы; он кивал, он понимал смысл каждого слова, который был сокрыт для других, и даже один раз лукаво ответил, неожиданно прокричав слова против ветра. Никто не спорил, царило взаимопонимание. Савел мучился с вёслами, полностью поглощённый греблей, а Аким снова замкнулся в себе и лишь изредка нарушал своё неприступное молчание, чтобы дать Фирсу короткие указания касательно направления движения. Он сидел, запрокинув голову, а его шпионивший из-под бровей взгляд застыл в облаках. Над ними низко нависло бескрайнее небо, дарующее безграничную свободу — но только птицам.

Они плыли между глубоко врезающимися в реку островами, где лишь высокие заросли камыша возвышались над водой тёмной стеной и иногда неожиданно мелькали испуганные пурпурные цапли. Случалось, что вблизи лодок проносились преследуемые щуками стаи мальков, выпрыгивавших из воды, как разлетающиеся блестящие искры. Густые ивовые заросли свисали над нагибавшими голову рыбаками, образуя узкие ворота и проходы, через которые они с трудом могли пробраться, тысячи веток хватали всё вокруг и цеплялись за глинистую почву, где поселились корни, впивавшиеся в землю, словно вампиры, и высасывавшие из неё все живительные соки, потому что были обречены навечно оставаться в глубине. Ветви

ломались в кулаках Фирса с громким треском, который отдавался далёким эхом, потому что ему приходилось расчищать путь для лодки Савела и Дуни, чтобы она могла беспрепятственно следовать за ними по уже проторенной дорожке. А там, где камышовые заросли расступались и вода лилась мощными потоками, уже работали другие жители Вилково, которые перекрывали соединительные каналы между озёрами и основными водными артериями. Они забивали сваи в илистое дно, сооружали длинные стены из сплетённых ивовых ветвей и крепкого камыша, чтобы не дать таким образом стаям сельди улизнуть. Мутная из-за поднявшегося ила вода булькала вокруг оголившихся мужчин, к ногам которых жадно прилипали пиявки. В некоторых местах клубами поднимался белый дым от костров, над которыми беспокойно дрожал воздух, а капли дождя с шипением падали в огонь. Одна старушка ругалась и фыркала, а женщина рядом с ней подкидывала в разгорающееся пламя хворост; какая-то малышка играла, вырыв себе в глинистой почве прудик глубиной с тарелку и положив туда крохотную мёртвую рыбёшку. Рыбка должна была лежать там, пока девочка напевала ей колыбельную. Иногда она дотрагивалась до её серебристой чешуи и укоряла рыбку за то, что она очень непослушная, затем переворачивала её, ласково уговаривала закрыть глаза и снова укладывала спать бездыханное мягкое тельце. И эта колыбельная звучала где-то в её собственном воображаемом мире и исходила от сердца, крошечного, величиной с орех сердечка, которое тихо билось в её груди.

Где же должна была начаться их охота? Они были в пути уже два часа, когда Аким и Фирс направили свою лодку к пологому берегу, спрятавшемуся под пышной кроной старых ясеней. Он был похож на огромную меховую шкуру, поросшую густой травой, блестел и красовался своим великолепием. Савел мигом позабыл о своей усталости, хватал и дёргал сети и снасти, первым выскочил из лодки, оставив позади себя Дуню в развевающемся ситцевом платье. Здесь, где по двум узким, мелким протокам вода текла из маленького озера, которое было в зоне видимости, в Старостамбульское гирло, повсюду ощущалась близость моря. Она чувствовалась в дуновениях ветра, словно приправа, которая щиплет язык своей терпкостью и горечью, в свежем воздухе, проникавшем в нос, в тихом

шелесте камышовых листьев. Здесь была защита от ветра, зелень и добыча, стаи которой они могли видеть в прозрачной воде невооружённым глазом. Савел гордо и дерзко смотрел на играющую в лучах солнца водную гладь, как будто она принадлежала ему одному или он её навечно арендовал, а когда один баклан стремительно бросился в воду, чтобы затем с рыбой в клюве снова взмыть в хмурое дождливое небо, он почувствовал, что его нахально ограбили.

— Проклятые бакланы! — ругался он, — чёрные, как сам дьявол, и жутко прожорливые, воровское отродье. Разве их кто-то сюда приглашал?

Однако Фирс с Акимом, которые уже принялись за работу, резко осадили его, сказав, что о своих наблюдениях он сможет рассказывать во всей красе следующей зимой за чашкой чая, потому что сейчас нужно было в первую очередь поймать как можно больше сельди и наполнить ею лодки.

Поэтому вопреки своей воле ему тоже пришлось закатить брюки выше колен, как это уже сделали Фирс с Акимом, чтобы перекрыть поток перегородкой из сплетённых ивовых ветвей, которую они смастерили ещё несколько недель назад. Они принялись забивать колышки в песчаную почву, а Дуня тем временем разложила бредень и накидные сети, быстро развела костёр, обдававший её клубами дыма, и варила мамалыгу. Иногда она тоже стояла по колено в воде, помогала, чем могла, побуждая таким образом Савела работать усерднее, потому что каждое бесполезно потраченное мгновение означало большие потери. Аким крикнул, что ей не стоит беспокоиться об обеде, потому что он сегодня никому не нужен, пока держал колья, которые Фирс забивал в почву мощными ударами. Кто, дескать, мог себе позволить сейчас думать о еде? Савел удивлённо посмотрел на его перекошенное ухмылкой лицо.

— Обеда не будет? — спросил он, будто вынося себе суровый приговор.

— Нет, — прошипел Аким и наступил в ил, который забился между пальцев ног, — нет, я не голоден. Поесть ты можешь и дома. Необязательно было приезжать сюда, чтобы мешать нам своей болтовнёй. Ну, а попутно, во время работы, я полагаю, Дуня сможет запихнуть тебе в рот пару кусков мамалыги. С голоду не умрёшь.

После такого резкого выговора Савел погрузился в печальные размышления, которые были чем-то вроде тоски, мимолётной тоски по тому, как он бродил в Измаиле. Разумеется, они с братом были близнецы, и иногда задумчивому Савелу даже казалось, что он видит себя, когда наблюдает за усердными, проворными движениями Акима, однако, несмотря на это, он снова и снова понимал, насколько они разные. Здесь не было лодок, которые нужно было чинить, и поэтому трудовой энтузиазм Савела часто исчезал именно тогда, когда Аким лихорадочно вкалывал. В мыслях он гладил белую нежную кожу Гаши, обнимал её грешное тело, о котором ему вообще-то следовало забыть, с тех пор как Гаша таким непозволительным образом была предана Флоре, он мечтал о соблазнительной златокудрой женщине на бумажной этикетке своего ароматного флакона, который он хранил в ящике с остальным скудным имуществом, которое состояло из нового ножа, водных орехов и двух перламутровых пуговиц, предназначенных для украшения красивой красной рубахи, которую он собирался купить после завершения эпопеи с сельдью. Савел как раз прикидывал в уме, сколько может стоить эта сорочка, этот великолепный, блестящий, как шёлк, предмет одежды, когда Аким крикнул ему:

— Прибей гвоздями конец этой ивовой штуки к последнему колышку и потом натяни между остальными. Ты слышишь, Савел? Не стой, разинув рот, будто ты никогда в жизни ничего подобного не видел!

Савел подчинился, сглотнул слюну и честно старался угодить брату, который вместе с Фирсом уже забивал в землю другие колья в самом узком месте второй протоки. Ивовые прутья кололись, и вскоре все пальцы Савела были в царапинах и ссадинах. Пиявки впивались ему в колени и сосали кровь до тех пор, пока он не начинал это чувствовать, молча снимал их с себя, словно безобидные ленточки, и бросал обратно в мутную воду. Он тоже научился за эти часы переносить лишения, он тоже примирился со своей участью, был покорным и не хотел давать повода для упрёков. Он самоотверженно стоял в ледяной воде, холод проникал во все поры до мозга костей, но он не проронил ни одного жалобного слова, ведь в конце концов тоже хотел показать себя мужиком и получить потом свою долю выручки за сельдь не просто так. Едва он справился со своей изнурительной

работой, Аким с Фирсом уже успели закрепить перегородки в другом месте протоки.

Сейчас одна из лодок лежала на болотистом берегу озера, а другая, которая стояла у обводного канала рукава реки, должна была служить в первую очередь для перевозки пойманного улова в Вилково, и управлять ею поручили Савелу.

— Хотя бы для этого сгодишься, — съехидничал Аким и внимательно посмотрел на бредень, а затем на просвет в небе, робко выглянувший из-за плотной завесы туч.

— Разумеется, для этого я достаточно хорош, — вырвалось язвительно у Савела, который не собирался быть постоянно в тени брата и тоже хотел иметь право голоса во всем этом утомительном предприятии. — Тебе не нужно об этом беспокоиться, — рявкнул он и добавил: — Я справлюсь с этим в одиночку; попробуй сначала поймать столько, сколько я смогу увезти в город.

— Замолчи уже, — сказал Аким, чтобы закончить эту словесную перепалку, — вместо того, чтобы делом заниматься, Фирс с Дуней вынуждены выслушивать нас, а день проходит, и сельдь не будет ждать, пока мы наговоримся.

Платье Дуни, стоявшей на берегу, казалось большим цветком, оно слегка развевалось от ветра вокруг её стройной фигуры. Спокойное лицо сестры было обращено к прояснявшемуся небу, казалось, что она наслаждается видом чего-то, что было для Акима недоступным, чужим и непонятным. Он смотрел на неё как на новое, неизвестное, но в то же время знакомое и родное создание, которое он, тем не менее, не мог понять и познать до конца. Затем он перевёл взгляд на Фирса, который стоял, уперев руки в бока, и с отрешенным видом полностью растворился в созерцании Дуни. Она стояла в лучах солнца, окруженная ореолом света, и казалось, даже воздух замирал, чтобы полюбоваться этой красотой, которая всё же оставалась недосягаемой для ночных порочных страстей Акима. Кровь закипела в его жилах, но Фирс не шевелился, он был словно странная тень Дуни, отбрасываемая далеко через бухту озера. Только кудряшки его бороды слегка развевались от дуновений ветра, будто девушка ка по волшебству перенеслась к нему и погладила его по щеке. Расстояние между ними не имело значения; когда он смотрел на неё, то будто преображался и

сиял, этот неподвижный истукан, которого Аким сейчас мерил взглядом с кислой миной. Дуня была одновременно и тут, и там; она принадлежала ветру, и она принадлежала ему. И пусть Аким неожиданно нарушил эту приятную тишину своими указаниями и запрыгнул в лодку так, что загрохотали все доски, пусть он говорил, что сейчас самое время начинать лов, Фирс глубоко проникся очарованием этого момента и наслаждался им, как согревающим сладким вином.

Он последовал за Акимом в чёрную лодку, всё ещё поглядывая сквозь узкие щёлки глаз на Дуню, которая теперь осторожным шагом пробиралась с берега к середине озера, окруженная песком, водорослями и кувшинками. Куда ни глянь, дно было плоским, как гладкая тарелка, и повсюду резво носились рыбы. Их серебристая чешуя блестела в прозрачной воде; от их движения оставались бледные полосы вокруг подвязанной юбки Дуни, и, недолго думая, она со смехом забросила накидную сеть, подсекла её и спустя мгновение уже крепко держала узел с упрямо трепыхавшейся рыбой в своих пальцах, цепких, как клещи. Таким образом, она уже могла похвастаться первой добычей, прежде чем Аким с Фирсом успели забросить свои сети; у неё был полный фартук рыб, которые отчаянно бились, трепыхались, извивались, сопротивлялись и порой снова ускользали в воду. Дуня была в восторге, она поймала больше, чем могла себе представить, и кричала Савелу и двум остальным в лодке, что рыбы слишком много, и она больше не может её нести. Боже мой, как же они дёргались и царапали своими плавниками её руки, как пытались проделать дыры в её фартуке, лишь бы только улизнуть! Дуне пришлось держаться, но рыбы не сдавались. Ведь для них речь шла о жизни и смерти. Она заметила это и больше не смеялась, ударяла рыбу по голове, вытащив её из фартука за прозрачные, растопыренные, дрожащие плавники.

После этого она притащила добычу Савелу, который сегодня был в плохом настроении, совсем не удивился её улову и презрительно рассматривал каждую отдельную рыбу. Спустя какое-то время он сказал, что это личинки и жалкие черви, а не дунайская сельдь, бывает и другая рыба, значительно крупнее, с которой приходится изрядно побороться, как с осетром. Но такие, конечно же, вряд ли могут попасться в убогую сеть Дуни.

Неожиданно брат разгорячился до неузнаваемости, он чуть ли не матерился, как будто из-за обидных слов Акима пытался теперь сорвать своё зло на сестре.

— Савел, — сказала она мягким и спокойным голосом, слегка потрепав его с нежностью по плечу, — Савел! Ты же не твой брат, ты же не Аким. Тебе это не к лицу.

Савел, который сидел отвернувшись, поднялся, нахмурив брови. И тут Дуня сказала своим детским и наивным голосом, в искренности которого никто не смог бы усомниться:

— Знаешь, а отнеси-ка ты этих мелких селёдок в подарок Гаше. Они бы ей пригодились, потому что своих у неё нет. Она работает на рыбных складах, а Пимен, сославшись на хворь, лежит дома на печи. Возьми их для Гаши.

Склонившись к упрямцу, хмурое лицо которого постепенно прояснялось, она уговаривала его, пока он наконец не смягчился, смущённо кивнул и даже сказал, что пойманная ею рыба, если повнимательней присмотреться, не такая уж мелкая и невзрачная. На этом Дуня успокоилась и вернулась к своей рыбалке, которая неожиданно превратилась для неё в серьёзное занятие, потому что озеро настолько кишело сельдью, что каждое забрасывание сети приносило свои плоды. Это разжигало честолюбие и возбуждало. Ну а кто не готов был потрудиться, чтобы потом сжимать рыбу в руке и с торжеством видеть ужас в её стеклянных глазах? Эти безмолвные глаза были похожи на синеватые мыльные пузыри и очень медленно мутнели, как остывающий дельфиний жир. Дуня рассматривала их, а Савел иногда прокалывал их заострённой веткой, чтобы хоть чем-то себя занять.

Между тем Фирс с Акимом направлялись в своей лодке к заднему берегу, который растянулся плоской лентой, местами окаймлённый нежно свисавшей кроной старых ив. Оставляя глубокий след, их лодка разрезала водную гладь и разгоняла густые стаи кишевших повсюду рыб. Мужчины разделись почти догола, оставив на себе лишь узкие набедренные повязки из мешковины. От их оголённых тел исходил матовый блеск. Они шли с бреднем, ловили всё, что попадалось под руку, иногда разговаривали с упрямыми, прыгавшими рыбами, кричали на них, словно это были понимавшие их противники. Однако в основном именно Аким ругался на бедную сельдь, пока Фирс

изумлённо смотрел на него, будто эта брань в конечном итоге предназначалась ему. Как агрессивно Аким натягивал сеть, искривляя губы в язвительной и властной ухмылке! Он так выкладывался во время этой охоты, тратил все свои силы, будто хотел таким образом утомить или истощить себя. Он неистово швырял добычу на дно лодки, будто рыба была его врагом, с которым он сводил счёты. Фирс с трудом мог понять эти вспышки гнева Акима, хотя нередко следил спокойным взглядом за его резкими, чрезмерно раздражёнными движениями, не мешая ему изливать свою ярость. Он вёл себя совершенно по-другому, не сердился на рыб, он вообще редко смотрел на них, этих слабых и беспомощных существ, и лишь иногда брал их в свои широкие ладони, чтобы прикинуть их вес. Если они весили прилично, он радовался. Они были для него как вода, как трава. Он следил только за их количеством, и чем больше оно росло, тем веселее становилось у него на душе. Его ступни, грузные и неуклюжие, с лёгкостью скользили по илу. Всё это напоминало ему безмолвный, но радостный праздник.

— Много рыбы, — сказал он наконец, будто пытаясь объяснить, почему улов такой богатый; это прозвучало как что-то естественное и лаконичное, не требующее ответа. — Много рыбы, тысяча штук, а может и больше.

— Недостаточно, — ответил кряхтя Аким, — в Килии мне удавалось поймать ещё больше.

Но в конце концов ему всё же пришлось признать, что ловля продвигается относительно быстро и что было бы неплохо, если бы Савел мог помочь здесь, а не ждать на другом берегу передачу лодок. С какой стати он должен там бездельничать, если тут ещё работы более чем достаточно?

— Может, позовём его? — спросил Фирс, лицо которого по-ребячески прояснилось.

— Думаю, стоит, — пробормотал Аким, снова потянув сеть и спрятав рот под бородой.

— Эй! — крикнул Фирс что есть мочи.

Казалось, что из-за долгого бездействия и скопившейся в нём энергии он только этого и ждал. Этот растянутый звук рассёк воздух, как брошенный камень, и долетел до Савела, который вынырнул из-за камышовых зарослей, помахал, и крикнул, что придёт, сейчас же придёт.

Его казавшаяся худой фигура побежала по берегу, и эта услужливая поспешность смотрелась как-то жалко.

— Я бегу, — кричал он время от времени, тяжело дыша, — я бегу, отвезу эту лодку туда, а сам вернусь на другой, чтобы вы могли забить её доверху. Или пусть Дуня подгонит её сюда, пока я сплаваю в Вилково?

Его никто не слушал, но он замедлил шаг, потому что пульс дико стучал в горле и сердце бешено билось, а затем ещё раз повторил свои слова, которые они опять пропустили мимо ушей.

— Мы так и сделаем, правда? А я уж в посёлке не позволю себя одурачить, точно не я, можете быть уверены, мне не нужны пальцы для того, чтобы считать.

Наконец он добрался до них, шлёпая по воде, забрался в лодку, освободил одно сидение от насыпанной в кучу рыбы и впрягся в заскрипевшие вёсла.

— Это приличный груз, — сказал он, с трудом переводя дыхание, чтобы хоть как-то извиниться перед братом и Фирсом за свою медлительность. — Он весит больше вас обоих, вместе взятых, уж поверьте мне.

Но даже сейчас ни у кого не нашлось для него ответа, поэтому он удовлетворился молчанием, стиснул зубы и погрёб, не обращая внимания на раны и мозоли на ладонях, и через пару минут уже был недалеко от отводного канала, в направлении которого озеро сужалось.

Пока Дуня подгоняла разгруженную лодку назад, Фирс с Акимом выкидывали улов на берег рядом с зарослями камыша. Рыбы яростно подскакивали в траве, перекидывались, их серебристые тела блестели на солнце, которое безжалостно и мучительно обжигало их чешуйки. Это было похоже на непрекращающуюся игру, потому что каждый раз после вытягивания бредня куча пополнялась новой сельдью.

— Как они прыгают в траве, наши серебряные птички, — прервала Дуня работу мужчин.

Фирс поднял голову и посмотрел на неё, и Дуне показалось, что его глаза стали больше, наполнившись теплом и нежностью, которая предназначалась ей. Даже Аким на секунду оторвался от работы и обратил свой взгляд на сестру, словно пытался таким образом заглушить смятение в душе, словно искал в её молодом и ясном лице что-то, что бы могло смягчить и облегчить его

страдания. Его голос прозвучал так, будто он старался от чего-то убежать и наконец нашёл выход, когда хрипло сказал:

— Дуня, дай нам немного мамалыги, я голоден.

Она подала Акиму, а потом Фирсу еду в ладонях, с которых капала жидкость. Они быстро её глотали, потому что сегодня ни на что не хватало времени, но на какое-то мгновение наступила странная тишина, которую нарушал только скрип зубов Фирса, неторопливо разжёвывавшего пищу. Его жевание напоминало медленное, тихое тиканье часового механизма, для которого не имело значения, пройдёт ли минутой больше или минутой меньше. Во время своей неистовой и лихорадочной работы Аким поранил палец, который теперь кровоточил и пропитывал липкой кровью мамалыгу. Однако он не обращал внимания на рану и только жевал, проглатывая мягкие куски вместе со сгустками крови, окрашивавшими мамалыгу в красный цвет. Так продолжалось дальше, да и кто, боже мой, будет волноваться из-за подобных пустяков, о которых даже не стоит и говорить? Ведь кровь не намного отличалась по вкусу от кукурузы.

Они успели накидать приличные горы рыбы на берег и в лодку, прежде чем Савел вернулся из Вилково с выручкой за первую партию. Ему удалось получить за улов неплохую сумму, и все были вполне довольны ценой, которую предлагали в этом году за дунайскую сельдь. По вискам Савела стекал пот, но он хотел показать, как сильно его недооценивали, поэтому, даже не отдохнув, снова уселся за вёсла непомерно нагруженной лодки. При этом он был очень немногословен, будто ему было тяжело сказать на пару слов больше, чем было необходимо. Только после того, как вся пойманная рыба была загружена в другую лодку, и он, с трудом набравшись терпения, добрался через отводной канал к рукаву реки, он одумался. То терпение, с каким он выполнял эти поездки, во время которых он был совсем один, представлялось ему чуть ли не героизмом. Это качество было совсем не присуще от природы беспечному и беззаботному Савелу, привыкшему радоваться и наслаждаться жизнью, оно поглощало его как кромешная тьма, из которой его наконец освободило появление на горизонте стоявших сплошной линией рыбных складов большого рыбацкого поселения. Только тогда он отпустил вёсла, и лодка сама поплыла по течению, а он сидел, скрестив руки на груди. Теперь можно отдохнуть. Здесь он был

вне досягаемости взглядов Акима, Фирса и Дуни, и они уже не могли досаждать ему своим глупым усердием. Он снова почувствовал, насколько сильно, не смотря ни на что, он был связан с амбарами складских помещений, потому что Гаша и другие женщины, которыми, как ему казалось, всё же не следовало до конца пренебрегать, наверняка тоже сейчас были заняты там засолкой сельди. Он ведь ничего не ел, честное слово, ни капельки мамалыги; он должен был показать своей простодушной родне, что готов даже отказаться от всякой пищи, только потому что Аким, которого он сейчас немножко ненавидел, неизвестно по какой причине вдруг решил, что можно мимоходом утолить голод мухами, мошками или, в лучшем случае, случайно залетевшими в открытый рот стрекозами. Ведь он тоже имел полное право претендовать на кусок мамалыги размером с кулак и поэтому сожалел, что час назад в присутствии брата и сестры он так бескорыстно и беззаветно жертвовал собой. А теперь он ощущал только сплошную пустоту в желудке, пока его лодка всё медленнее двигалась вперёд. Если бы он не заметил вдалеке церковные колокольни Вилково и деревянные постройки у большого канала, силы бы окончательно покинули его и внезапно бы улетучились, как выдыхается водка в бутылке, которую забыли закрыть. Поэтому он собрал в кулак остатки сил, мужества и честолюбия, и, не обращая внимания на свои израненные руки, покрытые мозолями и ссадинами, поплыл прямиком к треугольным фронтонам крыш складских помещений и вскоре отпустил перед ними вёсла. Справа, слева и сзади, отовсюду, куда ни глянь, на бескрайней, спокойной водной глади Килийского гирла виднелись оставленные другими лодками борозды, которые стрелами тянулись к той же самой цели.

Ни одна из тёмных лодок, из которых многие чинил и смолил Савел, нигде не задерживалась и не плыла сама по течению, потому что у измученного рыбака больше не было сил грести. Город притягивал плавучие транспортные средства, как магнит; все стремились сюда, поскольку их пассажиры опасались, что уже завтра закупочная цена на сельдь может упасть, потому что рыбу везли целыми горами, и большинство лодок буквально тонуло от своего молочно-бледного груза, излучавшего в свете вечернего солнца металлический блеск. Лодки прибывали с озёр Мерхей и

Радачино, с Приморского, Периправы, с островов Бабина и Черновка, Салмановский и Ермаков, по Очаковскому и Старостамбульскому гирлу, по впадающим в Дунай речкам Романово, Быстрое, Серион, Мусуна, по рукаву Среднему и гирлу Прорва, они подплывали непрерывно, словно дети, которые тянутся к матери. На воде белели надутые паруса, похожие на чаек, расправивших крылья и парящих в небе, они жадно ловили ветер, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, и будто подпевали в унисон вёслам, которые усердно работали без передышки. В этих спокойных водах народ чувствовал себя, как дома. Порой ручонки заснувших ребятишек свисали с бортов лодок в воду, которая ласково журчала, булькая вокруг маленьких растопыренных пальчиков, а родители этого даже не замечали, потому что в это время думали о весе пойманной рыбы. На мосту за устьем канала собрались люди, а сквозь толпу то и дело протискивался монах Пахом, это перепуганное ветхое порхающее существо. Он чуть ли не подпрыгивал, выпрашивая селёдку, и надеялся получить с каждой лодки хотя бы одну штуку, но рыбаки не скупились на ругательства, которые сыпались на него градом, кидали в него всё, что попадалось под руку, и только улов оставался при этом нетронутым, потому что рыба была слишком ценным товаром, чтобы швырять его в исцарапанную голову плакавшегося Пахома. Однако временами, когда никто не мог его заметить, опустившийся дальше некуда монах появлялся из-за тёмного угла складских помещений, перед которыми сейчас туда-сюда ходил городской голова вместе с аптекарем Наумом, который коротал время за тем, что беспокойно разглядывал целые горы наваленной в кучу сельди. Ну а кого же не привлекало это шумное оживлённое движение, наполненное громкими криками и возгласами? Кто, в конце концов, мог обижаться на представителя городской власти и чудо-врачевателя, от мудрых советов которого все предпочли бы отказаться, за то, что даже они заразились всеобщей суматохой и теперь мирно, никому не мешая, с достоинством расхаживали взад и вперёд? Старик Калистрат также нёс свою службу. Он стоял на весах, давал указания работницам, которые за небольшую подённую оплату сортировали, солили и укладывали рыбу в бочки, словно листья похожих на звёзды, серебристых цветов. То, чем они здесь занимались, в сущности, ничем не

отличалось от бесконечной, монотонной игры-головоломки, при которой они лишь изредка переговаривались, поскольку старик этого не терпел и всё время повторял, что они должны хранить молчание, ведь во время разговора можно ненароком забрызгать слюной сельдь, которая была даром небес. Это, дескать, было бы настоящее богохульство.

Все торопились, потому что столпившиеся лодки старались очень быстро сбросить свой груз и вернуться уже с новой партией, мужчины помогали друг другу, что, как правило, не входило в их привычку, чуть ли не бегом тянули корзины, в которых взвешивалась рыба; все ждали, когда наконец до них дойдёт очередь, в том числе и Савел. Он поднялся в покачивающейся на воде лодке, посмотрел отсутствующим взглядом на толпу суетившихся людей и выбрал из привезённой им добычи десять самых красивых и самых больших селёдок, которых он положил на сидение, а затем осторожно и бережно, будто это были драгоценные камни, завернул в старую пеньковую тряпку. И теперь они лежали там, аккуратно упакованные в свёрток, который было легко и удобно нести под мышкой. Но после этого Савел снова посмотрел на огромную толпу скопившихся людей, которые прибывали ежеминутно, чтобы поставить на весы свой груз и сразу же принести новый. Он не хотел стонать и кряхтеть, прогибаясь под непосильной ношей, как все эти алчные Илларион, Агап, Фрол или Иван. Его внимание привлекали некоторые неожиданные вещи, поэтому во всей этой суматохе он, видимо, решил уделить время наблюдениям. Он прикидывал в уме, сколько другие рыбаки могут получить за пойманную дунайскую сельдь. Ну ради чего нужно быть таким корыстным и думать только о том, как набить собственные карманы? И почему бы не посочувствовать аптекарю Науму, который почти как тень прислонился к закоптившейся деревянной стене и закрывал дверь магазина, поскольку ни одному из жителей Вилково сегодня не пришло бы в голову воспользоваться его услугами, чтобы купить какой-нибудь порошок или загадочную настойку от колющей боли в колене. Разумеется, он не мог поймать сельдь на своих начищенных до блеска столах, между полками и белыми тиглями, для подобного занятия он был, пожалуй, слишком благороден и слишком начитан умных книг. Однако Савелу всё

же казалось странным, что Наум совсем позабыл о своём, по всей видимости, новом костюме и тёрся спиной о стену рыбной коптильни, как будто жирная сажа могла украсить светло-коричневую ткань его выходного наряда. Аптекарь выглядел очень рассеянно и был полностью погружен в свои мысли. Лишь иногда он проворно крутил головой, которая поворачивалась на тонкой шее, как на смазанном маслом болте, с любопытством искоса поглядывал по сторонам, и только богу известно, кого он высматривал и выслеживал.

Калистрат Сверёв узнал своего сына, но поприветствовал его так же, как и любого другого рыбака, потому что у него было много работы, и долг обязывал его сосредоточить на ней всё свое внимание. Цепи весов звонко бряцали, а чугунные гирьки гулко ударялись друг о друга. Ну а что сегодня не издавало громких звуков? За узким столом, эдаким грубо сколоченным и неустойчивым предметом мебели, сидел по-городскому одетый мужчина, которому старик Калистрат как обычно прокричал точный вес, на что тот вытащил из ящика стола потрёпанные записи и монеты, положил их перед собой на листок бумаги, служивший ему для записывания выплаченных сумм, поскольку он всё время вносил какие-то трёхзначные, четырёхзначные, пятизначные или даже шестизначные цифры в одну колонку сверху вниз, отчего цифры напоминали кучу больших муравьёв, бегущих в одну линию. Савел сгрёб со стола предложенные ему деньги, сумму которых он, разумеется, заранее точно просчитал своим проворным умом; она была правильной, поэтому ему даже нечего было возразить.

Но как ни странно, он не бросился в ту же секунду за вёсла; это выглядело так, будто он решил закончить работу и не собирался больше ничего делать. Он взял свёрток с селёдкой, который предварительно припрятал в укромном месте, и засунул его под мышку. Конечно, это были довольно крупные, блестящие рыбы, а не те тощие и мелкие, которые попались в сеть Дуне. Однако сестра сейчас находилась очень далеко и не могла видеть, какую рыбу он выбрал со дна лодки, хотя в конечном итоге не было особой разницы в том, были ли это пойманные Дуней или вообще другие рыбы. Пока старик Калистрат был занят с другими людьми, Савел тихонько прошмыгнул через дверь внутрь первого склада. Ему в лицо ударил ужасно едкий

запах, в котором смешивались затхлость, запах влажной соли и рыбных отходов, однако, эта вонь, разумеется, ни на секунду его не остановила. В этих краях к такому все уже давно привыкли и абсолютно не придавали этому значения. Через покрытое пылью оконное стекло свет падал на скользкие, пропитанные влагой доски и балки и тянулся блёклой полоской дальше по помещению, в ту сторону, где женщины были заняты засолкой и укладкой рыбы в бочки.

Савел даже не обратил внимания, сколько их сегодня работало, он сразу же нашёл глазами Гашу в толпе женщин, которые горбились на низких стульчиках и рылись в огромных чанах и новых деревянных бочках, и направился к ней. Она сидела последняя в длинном ряду и была занята своей работой. Он спокойно шёл к этой гордячке, стараясь не наделать шума и как можно меньше привлекать к себе внимание. Немного наклонившись вперёд, со смущенной улыбкой на губах, слегка подёргивавшихся от волнения, он тихонько, почти что на цыпочках крался к ней. Он уже достаточно продемонстрировал, что может осторожно и тихо подобраться к любому, однако Гаша все ещё не поднимала головы от бочонка, поскольку как раз в этот момент укладывала на дно первый слой дунайской сельди. Какой же энергичной она могла быть, как сильно была поглощена своим занятием! Да, что же за странное качество это трудолюбие, качество, которое сбивает с толку и скорее похоже на сомнительный порыв, наводящий на размышления. Савел подошёл вплотную к Гаше и теперь возвышался над ней в отблесках света, который отбрасывала серебристая чешуя рыб, но она, видимо, всё ещё не замечала его, потому что её взгляд был обращён вниз, в центр между тонких досок стоявшего перед ней бочонка, как будто она высматривала что-то в очень глубоком колодце. Так прошло какое-то время, в течение которого Савел вдруг понял, что сегодня он был не так уж смел и дерзок, как он себе воображал.

Но в конце концов она подняла к нему глаза и только молча посмотрела на него, слегка приоткрыла губы, однако всё же не проронила ни слова и сохраняла невозмутимый вид. Пусть эта коварная плутовка и вела себя подло, но как артистично она это делала! Савел чувствовал себя жалким слабаком, поэтому он начал разговор. Пытаясь говорить начальственным тоном, что

ему не особенно удалось, он спросил, здесь ли Пимен, хотя прекрасно знал, что этого лодыря не сможет выгнать из его четырёх стен даже землетрясение или всемирный потоп, и что сейчас он спокойно лежит дома под надёжной защитой Василия Блаженного, созерцая висящую перед ним картину с изображением царя Александра на коне. Гаша отлично поняла, что этот бесполезный вопрос просто послужил предлогом для начала разговора, поэтому даже не собиралась на него отвечать и только воскликнула:

— Ах, ты уже вернулся из Измаила. Недолго же ты там продержался, в этом распрекрасном городе.

Затем она снова схватила селёдку, будто не могла выкроить для Савела ни одной лишней минутки или, может, кто знает, потому что в этот момент думала о Флоре. Между ними снова наступила напряженная тишина. Достаточно было лишь слова, одного жёсткого или бесстыдно ласкового слова, чтобы наконец разрушить это гнетущее безмолвие, которое среди всего этого шума жутко давило на уши и казалось Савелу дерзкой насмешкой. Поэтому он принялся торопливо объяснять причину своего прихода, впопыхах подобрав слова, которые, однако, совсем не соответствовали его истинным намерениям:

— Я должен передать эту рыбу Пимену. Конечно, это всего лишь небольшой свёрток, здесь совсем немного. Но рыба всё же съедобная, и она по вкусу не хуже, чем другая дунайская сельдь. Её поймала Дуня, не я, я был занят другими важными делами. Дуня просила передать это Пимену, он ведь захворал. Она о нём вспомнила.

Сказав это, Гаша улыбнулась, будто воспользовалась этой возможностью, чтобы похвастаться своими пухлыми и нежными губами.

— Твоя сестра очень добра, — произнесла она похвальным тоном.

— Да, — подтвердил Савел, поскольку не знал, что ещё сказать.

— Положи рыбу рядом с моим чепцом, чтобы я не забыла её, когда буду уходить вечером, — сказала Гаша, дав ему понять, что на этом разговор закончен.

Но внезапно с уст Савела шёпотом слетели пылкие слова, которые прозвучали не иначе, как попытка наверстать что-то

упущенное:

— Гаша, Гаша, Гаша, Гаша!

Он произнёс только эти слова, потому что не смог больше вымолвить ни звука, словно лишился дара речи. Складывалось впечатление, будто он помешался на её имени. Он сам себе казался неловким и неуклюжим и чувствовал, как в нём закипает злость. Прежде он так не горячился и умел сохранять хладнокровие, чем всегда отличался от других рыбаков городка, он никогда не пересчитывал, сколько штук рыбы должно быть в тонне, и ни с кем не ругался из-за этого; но сейчас внутри него всё бушевало, и он знал только то, что ему нужна эта женщина, нужна сегодня и сию минуту, он остро ощущал, как ему её не хватает.

Но вместо ответа она только пренебрежительно отмахнулась от него рукой, чего он раньше за ней вообще не замечал!

— Гаша! — взывал к ней Савел и не услышал, как его голос оборвался.

Но Гаша вновь остановила взмахом руки оторопевшего Савела, который что-то мямлил себе под нос, схватила его за рукав, подтянула его голову вниз ближе к себе, так, чтобы его ухо находилось напротив её губ, и прошептала, подчёркнуто разделяя слова:

— Живи своей жизнью и забудь обо мне. Тебе ясно?

И затем, спустя мгновение, в течение которого Савел стоял в нерешительности, огорошенный её словами, ещё раз повторила:

— Живи своей жизнью.

Гаша задумчиво кивнула, наполовину прикрыв веки, отчего её голубые глаза казались темнее и ещё соблазнительнее; она произнесла это неторопливо, чеканя каждое слово, пока старые ведьмы, сидевшие рядом с ней, укоризненно или возмущённо шушукались и шептались, словно пытались наточить свои злые языки о зубы. Однако Савелу было наплевать на их сплетни, он лишь молча стоял, все ещё сомневаясь в том, правильно ли он расслышал слова Гаши, потому что всё это так не походило на женщину, с которой он расстался всего несколько дней назад.

— Брось сельдь вон там, возле моего чепчика, если хочешь. Но тебя никто не заставляет это делать, и я была бы последней женщиной нашего города, если бы стала тебя уговаривать. Положи свёрток возле чепца или делай с ним то, что пожелаешь.

Нисколько не стесняясь, Гаша произнесла эти слова нарочито громко и более чем внятно, отчего все женщины на мгновение прекратили работу и прислушивались, тихо повторяя сказанное друг другу. Видимо, это было уже для Савела чересчур, слишком дерзко; он почувствовал, как по спине пробегает мороз, ему было неловко стоять здесь перед Гашей и среди всего этого бабья, подвергаясь их нападкам. Он оглянулся вокруг и, охваченный слепой злобой, не сразу смог найти место, где лежал головной убор Гаши, а затем швырнул свёрток с рыбой возле него.

— Ну что, нашёл наконец? — ехидно спросила Гаша.

Кто знает, зачем она произнесла эти последние слова? Она была ненасытной, и ей всегда было мало. А затем, вызывающе повернув к нему своё залитое румянцем лицо, она добавила:

— Пимен обрадуется этому гостинцу. И передай благодарность Дуне, искреннюю благодарность.

Савел ничего не ответил, пожал плечами и пошёл прочь, прошёл мимо отца к причалу и, долго не раздумывая, запрыгнул в лодку. Однако после этого он не сразу отправился в путь на своём небольшом челне, который слегка покачивался на воде недалеко от моста, едва заметно уносимый течением. Савел долго сидел там, осторожно положив ноющие от боли руки одна на одну, беспомощно водил кончиками пальцев по мозолям; он не шевелился и застыл в такой позе, наблюдая отрешенным взглядом за множеством прибывавших лодок и даже не слыша всех криков, возгласов и окликов, рассекавших воздух над его головой.

Неизвестно, сколько времени прошло до того момента, когда он, очнувшись от одолевавшего его чувства голода, заметил, что большой канал уже остался у него за спиной. Ну когда такое бывало, чтобы женщина выставила его дураком перед всем миром, больно уязвив его самолюбие? Ведь его, позвольте

заметить, звали Савелий Сверёв, и ни одной бабе до этого не приходило в голову путать его с каким-нибудь жалким дуралеем. Терзаемый обидой, он направил весь свой гнев на вёсла, и время от времени с его языка срывалось громкое ругательство, хотя он сидел совсем один посредине сидения лодки. Однако когда он ещё раз окинул рассерженным и затуманенным взглядом берег и склады, он заметил аптекаря Наума, который снова стоял рядом с рыбной коптильней. Тот зашевелился, сделал несколько шагов навстречу какой-то женщине и начал с ней разговаривать. Это была Гаша. Женщина в синей кофте не могла быть никем иным, кроме неё. Очевидно, Наум суетливо пытался её в чём-то убедить, судорожно сжимал кулаки, положил руку ей на спину, боже мой, в этом не было никаких сомнений — на её прекрасную спину. Что это он себе позволял? Но Гаша ловко стряхнула его руку и, похоже, устроила этому назойливому псу взбучку, потому что её рот ни на секунду не закрывался. Она отшила его, этого прилипалу, этого бездельника, и Савел, который как раз направлялся к месту рыбалки, где его ждали брат с сестрой и Фирс, почти простил её за то, что всего лишь час назад она так подло с ним обошлась. Ну и поделом аптекарю, он получил по заслугам, ишь, раскатал губу, похотливый сластолюбец! Савел грустно улыбнулся, но всё-таки у него был довольный вид; теперь он знал, что сегодня не только он один получил горькую пилюлю. А этот аптекарь оказался тёмной лошадкой и был не так уж прост, похоже, он не только торговал снадобьями, за которые брал приличные деньги и которые никогда не помогали. Прикидывается приличным человеком, а сам мечтает оказаться там, где всю зиму провёл Савел — на коричневом глиняном полу в спальне Гаши с царившим в ней беспорядком, между опрокинутой деревянной посудой и картиной царя на лихом белом скакуне, который становится на дыбы, как сущий дьявол. Однако теперь Савел перестал быть незаменимым, возможно, для других женщин он и значил что-то или даже очень много, но Гаше, этой подлой негодяйке, по всей видимости, прекрасно жилось и без него. Сейчас он обо всём сожалел, вспомнил о ночах, проведённых с Верочкой в Измаиле, и сплюнул, потому что иначе не мог освободиться от нахлынувшего на него чувства отвращения. Он сожалел о многом, однако, несмотря на пережитые неприятности, был преисполнен надеждой, что ещё

не всё потеряно. А мысль о том, что аптекарю в светло-коричневом костюме досталось ещё больше, чем ему, утешала и успокаивала его.

Винно-алое солнце уже клонилось к закату, и вся округа начала погружаться в призрачную тень, когда Савел добрался до озера, прохладные воды которого Аким и Фирс до сих пор бороздили своим бреднем. Они обрадовались, что он наконец-то вернулся, а его немногословность и мрачное настроение, придававшие лёгкий оттенок горечи всему, что он им сообщил, приписали исключительно мучившему его чувству голода. Эмоциональный Савел, который, как правило, всегда энергично жестикулировал, взял обеими руками очерствевший и безвкусный кусок мамалыги, откусил от него лишь пару раз и больше не ел, хотя вряд ли мог этим наесться. А затем его лицо вдруг приняло странное, загадочное выражение, и он стал расспрашивать Дуню, какого она мнения об аптекаре Науме. Сначала она не поняла, что он имеет ввиду своим вопросом. Савел смущённо пояснил, что его интересует, нравится ли Наум женщинам и может ли добиться их расположения. Дуня ничего не сказала, а лишь разразилась весёлым смехом, что и послужило ответом на его вопрос. На этом Савел пока что успокоился, однако ему ещё нужно было уладить некоторые дела с Акимом. Он заявил, что больше не желает ездить один в Вилково, а тоже хочет порыбачить, так что Фирс или Аким должны его сменить; это, дескать, нешуточное дело всё время отвозить туда доверху забитую уловом лодку. Поэтому они решили отвезти вечером обе нагруженные лодки в Вилково, а на следующий день предоставить транспортировку сельди Фирсу, который одобрил это утвердительным кивком головы. И поскольку было желательно тратить как можно меньше времени на другие вещи, кроме ловли и доставки рыбы в город, они приняли единогласное решение разбить завтра на берегу палатку и провести последующие ночи в ней. Только Дуня, похоже, не участвовала в этом разговоре, она удивлённо приподняла брови и какое-то время стояла с этим выражением на лице, рассматривая со стороны своего брата Акима и поглядывая на Фирса, который как раз растирал свою голую грудь, покрытую густой растительностью. Он незаметно поднял глаза.

— Как же чудесно будет проснуться здесь ранним утром! —

воскликнул он, будто обращаясь к самому себе. Эти слова прозвучали очень просто и естественно, и в этом был весь Фирс. Его не нужно было принуждать радоваться жизни, жизнерадостность сама била из него ключом.

Погрузив вечером всю сельдь, которую только смогли вместить лодки, чтобы при этом не опрокинуться, они отправились назад в Вилково; Аким с Фирсом сидели на вёслах, пока Савел дул на свои покрытые мозолями руки, а Дуня тихонько напевала себе под нос. На следующее утро отец разбудил их на рассвете, когда на бледном сумеречном небе ещё не успели погаснуть звёзды. Фирс уже стоял у ворот и, не шевелясь, терпеливо ожидал их, пока они не вышли из дома. Он почти не мигал, и от этого казалось, что он спит стоя, но он смотрел на водную гладь канала, вероятно, обнаружив что-то в иле, что привлекло его внимание, возможно, какого-нибудь крохотного, заблудившегося карпика, который блестел в воде подобно звёздам в небе. Хриплым голосом Аким выдавил из себя невнятное приветствие, а затем на плечах принёс из дома палатку и натяжные тросы. Дуня и Савел шли за ним с сонными лицами и стеклянными глазами. В этот раз расстояние до озера они преодолели значительно легче, потому что дорога была уже знакома, а Савел мог спокойно предаваться воспоминаниям о разных событиях и вещах, которые касались его одного.

Солнце уже взошло и постепенно начинало припекать, из-за чего энергия Савела совсем иссякла, в то время как Фирс налёг на вёсла, а Аким управлял второй лодкой, в которой сидела Дуня, держа на коленях натяжные тросы для палатки. Они были шершавые и жёсткие, и брат где угодно мог найти для них место в лодке, но почему-то решил навязать эту ношу сестре.

— Вот, возьми-ка, подержи их, ничего с тобой не случится, — были его единственные слова, когда он отдавал тросы Дуне.

Палец, который он поранил накануне, опять начал кровоточить, и с него медленно стекали красные капли крови, однако Дуня, похоже, даже не собиралась сказать ему об этом. Она знала, что брат всё равно не последует её совету. Хочет истекать кровью — пусть так и продолжает, если ему это не мешает. Сегодня ей было совсем не жаль Акима. Пусть так и сидит, истекая кровью. Солнце уже ярко освещало бесконечные просторы, открывшиеся её взору. Время от времени лёгкий

ветерок шевелил камыши в плавнях, отчего их листья пугливо трепетали. Когда компания наконец добралась до озера, Фирс занялся раскладыванием палатки на берегу, а братья сразу же залезли в воду, чтобы начать лов. Сейчас, когда они были раздеты, оба держались руками за сеть и молчали, даже с небольшого расстояния их было сложно различить. Создавалось странное впечатление, что один был лишь зеркальным отражением другого, которое поднялось из воды и стало рядом с ним. Дуня по очереди прокричала имена обоих братьев, которые быстро повернули головы, после чего она точно знала, который из них был Савел, а который Аким. Даже она, их сестра, не могла отличить их на расстоянии.

Фирс доставлял улов в город гораздо быстрее Савела и в скором времени возвращался обратно, спеша увидеть цветущую улыбку Дуни, которая ждала его перед палаткой и служила ему маленькой тайной наградой за его старания. Девушка варила рыбную юшку, и из котелка, висевшего над громко потрескивавшим пламенем, в воздух поднимались клубы пара, а мясо приготовленной сельди было невероятно мягким и нежным. Даже Аким выделил минутку, чтобы поесть, и не нашёл к чему придраться, потому что юшка была отменной на вкус. Он молча потягивал её из деревянной ложки и, прищурив глаза, время от времени поглядывал на сестру, пока Савел болтал без умолку. Он рассказывал о тюрьме, которую видел в Измаиле, огромной, каменной тюрьме, и вдруг спросил Фирса, действительно ли в мире так много преступников, воров и убийц. Однако Фирс, который, вероятно, был очень удивлён такому весьма неожиданному, как с неба свалившемуся вопросу, едва заметно пожал плечами и растерянно повторил:

— Воров и убийц?

А затем, когда от пришедшей в голову спасительной мысли его лицо прояснилось, он сказал:

— Нет, вряд ли их может быть очень много, к тому же они могут запросто спрятаться от полиции в камышовых плавнях дельты. Наверняка тюрьма в Измаиле пустует. Я не слыхал ни об одном преступнике в округе и ни одного не встречал.

— Может быть, её построил какой-нибудь хвастливый богач в подарок городу, — подытожил Савел с многозначительным выражением лица, — должно быть, он выложил кругленькую

сумму, чтобы прославить своё имя. Возможно, сейчас городской голова хранит там в камерах урожай со своих полей. Боже милостивый, кто же может это точно знать? Двери тюрьмы всегда закрыты, поэтому проходящим мимо людям абсолютно без разницы, находятся ли там пшеница, или кукуруза, или заключённые, особенно в том случае, что, собственно, случилось и со мной, если они несут в руках чудесный флакончик с пьянящим ароматом.

Савелу никто не возразил, однако Аким неожиданно встал и напомнил брату о том, что нужно наконец прекратить болтовню и поторопиться, чтобы хоть что-нибудь поймать.

В этом году удача была на их стороне. Каждый раз улов был приличный, а толпившиеся перед складами Вилково рыбаки открывали от удивления рты, когда Фирс привозил забитые доверху лодки. На своём пути от озера к городу он иногда встречал монаха Пахома, который где-то выклянчил, одолжил или каким-то другим образом раздобыл себе лодку. Он блуждал в ней туда-сюда по Килийскому гирлу без определённой цели и допытывался у проплывавших мимо рыбаков, куда же подевалась вся сельдь, потому что ему, дескать, не удаётся абсолютно ничего поймать; он клялся Святым Николаем и Апостолами Петром и Павлом, что ему в сеть не попалось ни одной селёдки, ни одной единственной жалкой рыбёшки. Он так громко испускал горестные вздохи, что его можно было услышать издалека; казалось, его охватила неуёмная, отчаянная жажда преследования, когда он, как одержимый, грёб с такой силой, что из-под вёсел фонтаном летели брызги, а его лихорадочный, горевший безумным блеском взгляд скользил по поверхности воды. При этом он беспрестанно говорил, невзирая на то, слышит его кто-то или нет, говорил поспешно и торопливо, будто его подгоняли, отчего его речь звучала очень странно.

Иногда его голос резко менялся, когда он внезапно начинал причитать и плакаться.

В числе прочих рыбаков он приставал даже к Фирсу, умолял его со слезами на глазах открыть секрет и рассказать, где тому удаётся поймать столько рыбы, и был несказанно рад, если Фирс бросал ему одну селёдку или несколько штук, смотря по настроению, и жадно хватал подачку дрожащими руками, крепко вцепившись в неё ногтями, словно она могла ускользнуть. В нём было что-то от изголодавшейся хищной птицы, в этом блеющем и хныкающем Пахоме, когда он дрожащим голосом сбивчиво благодарил Фирса, беспрестанно запинался и путался, блуждая в лабиринте своих коротких, бессвязных фраз, которые в очередной раз заводили его в тупик. Он начинал слова благодарности раз по десять или больше, пока наконец ему удавалось сказать их до конца. При этом он всегда добавлял:

— Ты добрый христианин, Фирс, милосердный христианин. Но вот Мара, пусть покарает меня бог, если я лгу, она мне ни разу ничего не давала, понимаешь, вообще ничего, хотя она тоже неплохая женщина. Господи, что это я говорю? Она умная женщина, мудрая татарка, язычница, перед которой склоняется даже монах. Вот так, ты понимаешь? Я с ней здороваюсь, Фирс, я всегда её приветствую, даже если она не носит чепец, как другие женщины. Но, разумеется, чепец ей не нужен, он у неё вот здесь, внутри.

При этом он показал изогнутым указательным пальцем на лоб.

— Скажи ей это, — продолжал он робким и доверчивым голосом, — передай ей это от меня, чтобы она знала, чтобы она больше не бросала мне вслед камни и палки.

В его голосе снова появились жалобные нотки, которые затем переросли в настоящий плач. Пахом с благоговением прижал селёдок к своей груди.

— Я не плохой, — плакался он, — я не плохой, а она ко мне так несправедлива, эта Мара.

Монах всё ещё продолжал неуклюже размахивать во все стороны руками, отчего рыба сверкала, как расплавленное стекло, пока Фирс уплывал от него прочь на своей лодке под палящими лучами полуденного солнца.

Однако главная противница Пахома тоже проявляла

активность и не сидела дома сложа руки, любуясь великолепной, гладкой, как стекло, каменной дорожкой в своём дворе, а объезжала обводные каналы в своём необычном транспортном средстве, которое, в сущности, представляло из себя не что иное, как большой старый ящик, щели которого она, похоже, старательно залепила смолой. Веслом ей служила узкая доска, при помощи которой она бесшумно гребла по воде или отталкивалась от илистого дна. Таким образом, по своим меркам она была достаточно неплохо оснащена, наша ясновидящая Мара. Она не обмолвилась Фирсу ни словом о своём намерении отправиться на ловлю сельди, потому что полагалась только на себя и считала, что справится со всем в одиночку, и теперь это странное создание плыло в своём ненадёжном и хлипком судне, склонившись с самодовольным видом над приличной кучкой сельди. Никому не было известно, как и где ей удалось их раздобыть, потому что у неё не было ни бредня, ни сети, ни сачка, и, отправляясь в неведомый район рыбной ловли, она брала с собой только дырявый мешок, из которого струилась вода, и старый, уже давно вылинявший фартук. Она тщательно выкручивала их всякий раз, когда сдавала свой улов работникам складов, и после этого вновь уплывала в ящике в бог знает какие отдалённые места своего рыбного промысла, пока вся округа наполнялась неистовым лаем двух больших собак, которых она взяла под свою защиту со времён наводнения и оставила жить у себя в избушке. Животные громко приветствовали Мару, когда её крошечный, едва различимый издалека силуэт появлялся на горизонте перед Вилково, радостно плыли ей навстречу и обиженно скулили, если она, отправляясь в очередное путешествие, прогоняла их своими криками и ругательствами, чтобы наконец с ними распрощаться. А когда Мара причаливала под мостом с богатой добычей в сопровождении заливавшихся лаем собак, которые, высунув языки, преследовали её по берегу или по воде, все жители города на мгновение забывали о своих делах, затихали и прислушивались, ехидно хихикали и глумились над татаркой, но при этом изумлялись тому огромному количеству сельди, которое она доставала из своего ящика. И затем уже смеялась она, смеялась им в ответ, и от этого громкого хохота её грудь неистово содрогалась. Возможно, она надеялась, что люди радуются её успеху вместе с ней, даже если

свойственное ясновидящим чутьё подсказывало ей, что этот смех неискренний.

Однажды она встретила на своём пути Фирса, но не сказала ему ни слова и даже не взглянула на него, как будто кроме неё на реке никого не было. Она стояла неподвижно, откинув голову назад и опустив руки, в которых держала доску, служившую ей веслом, и таращилась в небо, как будто обнаружила в облаках какую-то надпись и теперь пыталась расшифровать её; она медленно переводила взгляд из одной точки в другую и напоминала человека, внимательно и напряжённо читающего неразборчивый текст, смысл которого частично подвластен его пониманию, но частично всё же остаётся неразгаданной тайной. Фирс заметил Мару, и поскольку сегодня сложилось так, что он не был возле складов и не мог наблюдать за тем, какую шумиху она подняла, поразив всех присутствующих своим громким и сенсационным прибытием в ветхом ящике, он окликнул её, чтобы разузнать об успехах её странных и причудливых блужданий. Он прокричал её имя два раза, звук пролетел над поверхностью воды, на которой играла лёгкая рябь, достиг её ушей и как будто пробудил из мира грёз, в который она погрузилась. Она резко повернула к нему своё лицо, на которое как обычно свисали растрёпанные пряди волос, и с равнодушием в голосе сказала:

— Мне нечего тебе сказать. Ты от меня ушёл, Фирс. Ты теперь проводишь время с другими, но мне известны места, где рыба ловится гораздо лучше, чем у вас. Если бы ты плавал со мной в моей лодке, смог бы поймать больше. А теперь я тебе ничего не расскажу, ни слова. Можешь меня даже не спрашивать. Да и вообще, зачем меня спрашивать? С какой стати? Вы ведь всё знаете лучше, а ловите с гулькин нос. Не так ли? Ну ладно, у вас своя сельдь, а у меня своя. Так уж и быть, я не выманю рыбу из вашего озера. Пусть плавает себе, пока вы её не спугнёте. А вот мои селёдочки совсем другие. Они ручные и кроткие, как голуби, прекрасные рыбки, они послушные, покорные и доверчивые, сразу приплывают отовсюду, со всех сторон, стоит мне их поманить, потому что им нравятся мои глаза, этим чудным рыбкам. Они не такие как ты, Фирс. Ты живёшь там, где находишься в данный момент. Ну, ничего, в конце концов ты вернёшься и будешь стоять в дверях, а твоя постель будет готова

к твоему приходу. Она не достанется Пахому, нет, только не этому злодею. Пусть спит под мостом или слоняется без дела, жалкий краб. Нет, постель ждёт только тебя. Этому крабу она не достанется. Но больше мне тебе нечего сказать.

Этот непрекращающийся словесный поток, который неожиданно вылился из Мары, даже не дал Фирсу возможности задать ей хотя бы один разумный вопрос.

— Ты вправе на меня сердиться, — ответил он наконец, кротко смотря на неё с полной раскаяния улыбкой и надеждой в глазах, — я не узнавал, как у тебя дела, хотя, разумеется, мне следовало это сделать. Но, как я вижу, ты довольна своим уловом. Как раз об этом я и хотел спросить. Кстати, недавно я встретил Пахома где-то на реке. Он сказал мне, что ты мудрая женщина, Мара, он расхваливал тебя так, будто он твой жених.

— Что? — завизжала Мара, словно её в ногу ужалила гадюка, и задрожала всем телом от негодования, из-за чего ящик опасно закачался. — Что он сказал?

Она яростно отшвырнула от себя свою доску для гребли, которая плюхнулась в воду вдалеке, в том месте, где течение было более быстрым и стремительным, не добавила к этому восклицанию больше ни слова, отвернулась и застыла в неподвижности, будто Килийское гирло для неё полностью опустело и вымерло. Она больше не смотрела на Фирса, давая ему понять, что на этом разговор закончен. Он всё же попытался её успокоить и смягчить её гнев, но всё было напрасно, как будто его слова беззвучно повисли в воздухе. Что бы он ни придумывал, какими бы уговорами не убеждал её, как бы ни старался ей польстить, в чём он, конечно, был не мастак, все попытки достучаться до Мары оказались тщетны; она так и продолжала стоять неподвижно с отрешенным взглядом и замкнулась в себе, словно в закрытом подвале, тёмном и сыром, с кучей мокриц, ползающих под плотными стенами.

Только когда Фирс, осознав всю бесполезность своих стараний, продолжил свой путь дальше, Мара оттаяла и постепенно начала выходить из своего оцепенения; обнаружив, что её доску уже давно унесло течением, она принялась лихорадочно грести руками, и этому путешествию не было видно конца и края, потому что она приближалась к рыбацкому городку со скоростью улитки. Однако она никого не просила о

помощи и старалась не привлекать внимание проплывавших мимо рыбаков к своему странному способу передвижения. Сегодня ей не хотелось ни у кого просить весло. И через несколько изнурительных часов она всё же добралась до суши вдалеке от Вилково, где плотно стоявшие деревья тянулись ветвями к уже потемневшему небу, вытащила ящик из воды и оставила его под ивой. Мара до смерти устала, но, тем не менее, ей казалось, что она таким своеобразным способом отомстила Пахому за его лживые, язвительные слова.

— Я бы с удовольствием растоптала этого жалкого краба, — шипела она про себя.

Затем она ещё долго ковырялась и возилась в темноте под деревом, а его густые ветви обвевали её мрачное лицо приятной прохладой. В очередной раз Мара часами разговаривала сама с собой. Она никак не могла успокоиться, всё ещё распекала Пахома то за одно, то за другое, что-то невнятно бормотала себе под нос, не переставая проклинать своего врага.

К тому времени, когда ночь опустилась на землю и погрузила всю округу в призрачную тьму, окутав своим чёрным покрывалом озеро и стройную фигуру Дуни, Фирс уже давно достиг цели своей поездки, в процессе которой он встретил татарку. Костер почти догорел, начал затухать и бросил последний отблеск света на палатку, когда полумесяц медленно и нерешительно появился из-за кроны ясеней. Лунный свет окрасил лица холодным бледным цветом. Во время ужина они практически не разговаривали друг с другом и обменялись лишь парой фраз, чтобы обсудить самое необходимое. Пусть это были и мелочи, о них лучше было подумать сейчас, однако для размышлений ни у кого уже не осталось сил. Даже Фирс не похвалил сегодня рыбную юшку, потому что те остатки энергии, которые ещё в нём теплились, не могли устоять перед усталостью, которая в конце концов овладела всеми. Если бы Акиму сейчас вновь пришла в голову идея раздавать всем нелепые указания со свойственной ему нерасторопностью, он наверняка бы только тихо и презрительно шипел и вряд ли смог бы разразиться ругательствами. Поэтому он смирился и терпеливо заполз на коленях в низкую палатку, чтобы лечь спать. Дуне выделили крайнее правое место, рядом с ней растянулся Савел, а следующим за ним улёгся Аким, оставив Фирсу место с левого

края. Таким образом, Савел оказался возле Дуни, а Аким, даже во сне беспокойно размахивавший руками, втиснулся между ним и Фирсом, который своей могучей спиной, как шкафом, закрыл щель, образовавшуюся между травяным покровом и стенкой палатки, и таким способом задерживал сквозняк, прежде чем он доходил до остальных спавших. Его самого прохлада и ночная сырость не беспокоили. И едва низкое и тесное помещение палатки успело наполниться их спокойным и расслабленным после изнурительного дня дыханием, как они уже крепко спали, погрузившись в сладкое забытьё, о чём сами не подозревали. Ночью по брезенту палатки скользил лёгкий ветерок, осторожно насвистывая тихую мелодию.

Фирс проснулся, поскольку лечебный сон изгнал из его тела всякую усталость. Он осторожно пошевелился, стараясь не разбудить движениями своего соседа, и заметил бледный и серо-зелёный проблеск света, рассекавший окутывавшую его монотонную тьму. Интересно, это был лунный свет или первые признаки забрезжившего рассвета? Фирс не смог в этом разобраться, но разглядел нечёткие очертания лиц братьев-близнецов между собой и Дуней. Савел обхватил рукой плечи сестры. Но был ли тот, кто лежал во сне с открытым ртом, действительно Савел, а не Аким? А что, если братья по просьбе Акима, который придумал какой-нибудь предлог, поменялись местами, пока он спал и ничего не видел? Вполне возможно, что Дуня тоже спала и не могла слышать, как они оба шёпотом об этом договаривались. С каких это пор, боже мой, Савел позволяет убедить себя в чём-то без какой-либо веской причины? Фирс размышлял, напрягая все свои извилины настолько, насколько он вообще был способен думать, потому что он был кем угодно, но только не мыслителем. Он поднял голову, внимательно вглядывался в лица братьев, пытаясь найти между ними отличия, но они были совершенно одинаковые и похожи друг на друга, как кирпичи, которые отлили в одной форме. Фирс, ломающий голову над этими вздорными мыслями, обычно всегда был выдержан и владел собой, когда находясь среди себе подобных, ему приходилось разбираться с немногочисленными проблемами своего нехитрого существования. Однако сейчас в нём вновь поселилось неуёмное беспокойство, которое им вскоре полностью овладело и с

которым не так-то легко было справиться.

Ведь эти сомнения, кто из братьев обнимал Дуню и близко к ней придвинулся, пусть даже глупые и смешные, усердно грызли его изнутри и прямиком наводили на разные размышления, которые подобно кроту рылись в его голове. И когда он себе в этом признавался, эти размышления вызывали в нём прежде незнакомую, тихую печаль. Закрыв глаза, он видел перед собой рыбацкий городок, и Мару, и Агапа, и Якова, и Пахома. Возможно, Яков в эту минуту всё ещё пьянствует, упав грудью на стол в трактире Ивана? А Мара наверно зарылась своими рябыми от оспы щеками в мех старых собак, источающий терпкий запах? А что делают старик Калистрат и Фрол, уже видят сны или ещё не спят? А, может, в Вилково или Периправе умер какой-то рыбак? Он бы отдал многое, очень многое или скорее даже всё за то, чтобы иметь возможность хоть раз одновременно находиться повсюду, а не быть привязанным к одному единственному месту на земле, и запертым в своём теле, как в тесной узнице. Подобные сомнения терзали его с тех самых пор, когда эта мысль впервые пришла ему в голову во время бессонных ночей в период наводнения, однако он никому об этом не рассказывал, даже Дуне. Рассуждая здраво, он понимал, что будет излишне распространяться об одолевавших его приступах беспокойства, которые были скрыты под маской внешности и о которых никто не подозревал. Говоря по правде, он предпочитал молчать, и даже если открывал рот, то лишь тогда, когда речь шла о ком-то другом. Похоже, он и сейчас не нуждался во сне, поскольку совсем позабыл о нём. Он просунул свою широкую, неуклюжую ладонь сквозь щель в палатке и почувствовал влажную траву под небом, которого он не видел. И тут ему показалось, как будто его рука обрела глаза, будто она жила снаружи сама по себе и всё же сообщала ему о том, что утро уже окутало озеро туманной дымкой, словно парящей паутиной. Вот такие наивные мысли, которыми не следовало делиться ни с одной живой душой, могли неожиданно им овладевать.

Вероятно, уже рассвело, когда Фирс погрузился в благотворный полусон, из которого его неожиданно пробудил раздававшийся возле палатки шум, который представлял из себя жуткую смесь криков и истерического смеха. Дуня и братья тоже испуганно вскочили и с ещё сонными лицами прислушивались к

этим странным звукам. Это мог быть только голос Мары, её визгливый, кудахчущий и клокочущий голос, который Фирс сразу узнал. Что это взбрело в голову сумасбродной татарке? Похоже, никто не отвечал на её звериные вопли и призывы, и только спустя какое-то время потревоженная из сна компания наконец поняла, что все эти старательные крики предназначались им. Савел уже собирался подняться, чтобы немедленно положить конец этому нескончаемому словесному потоку, но Фирс удержал его и сделал знак помолчать, приложив палец к губам. Наконец они смогли более чётко разобрать те странные выкрики, которыми Мара пыталась их разбудить:

— Притворяетесь, что ещё спите, не так ли? Эй, Фирс, сучий сын, а ну-ка выходи! Если бы я вас не разбудила, вы бы не проснулись, сони, ха-ха-ха, вы бы все вместе проспали, маленькие сурки, и пропустили бы целый день. Вам что, не дорого время? Всегда нужно за вами приглядывать, постоянно присматривать и не упускать из виду, ха-ха, иначе другие выловят всю вашу сельдь, ха-ха-ха.

На секунду она замолчала, видимо, чтобы глотнуть воздуха, обежала вокруг палатки и тот час же продолжила свою ушераздирающую тираду:

— Но спать больше нельзя, Фирс. Тебе снилась Дуня, но и Акиму тоже, ха-ха. Вы делите их по-братски, ваши сны, они прекрасны, они для вас, как лакомые кусочки, это точно. Вы позволяете другу другу видеть эти сны и оба ими наслаждаетесь. Да и зачем ссориться? Зачем устраивать драку?

Дуня потупила взгляд и смотрела на подстилку в палатке, Аким таращился сквозь передний вход в палатку, он тоже был готов подскочить, поскольку не мог больше выносить сумасбродные выходки безумной провидицы.

— Фирс, — вопила Мара, — теперь, когда я тебя разбудила, ха-ха-ха, я могу идти. Можешь уже не вылазить из палатки. Сегодня я тебе больше не нужна. Я вас всех разбудила, Савела, Акима, Дуню, всех, и пока вы потираете сонные глаза, я поспешу прочь, далеко от вас, я не собираюсь мешаться под ногами.

Она снова прыснула со смеху, а затем добавила, причём в каждом её слове слышался лёгкий упрёк:

— Фирс, сучий сын, твоя постель всё ещё тебя ждёт. Ты хорошо слышишь? Ты слышишь меня, мой дорогой здоровяк? Я

ухожу, вы мне не нужны, просто я проплывала мимо, поэтому решила оказать вам услугу. Вы видите, ха-ха? Видите? Из меня вышел бы отличный звонарь. Колокола всегда бы звонили, когда нужно было бы оповестить людей! Нет, ну почему это Аким должен и дальше сладко спать? Я тоже не сплю, я подбираю селёдочек из воды, я пою, и они приходят, я заманиваю их чем-то новым, и они приплывают.

При этом она ударила обеими руками по натянутым стенкам палатки и поспешно удалилась, всё ещё продолжая бормотать себе под нос что-то невнятное и истерически смеяться. Неожиданно она замолчала, после чего наступила непонятная, тягостная тишина. А затем она ещё раз крикнула издалека:

— Дуня - это яблоко со сладкой мякотью, не так ли? А вот Пахом пожирает ворон, крыс и маленьких детей.

На этих словах её голос оборвался. Какое-то время до них ещё доносились бессвязные обрывки её фраз, которые разлетались в воздухе, как острые осколки стекла. Возможно, она плевалась или откашливалась, а, может быть, что-то другое наконец прервало её словесный приступ, пока она удалялась, обрывая на ходу сухие ветки деревьев.

Сидевшие в палатке ничего не сказали по поводу слов Мары, несмотря на то, что все, возможно, лишь за исключением Савела, сейчас размышляли о них, причём гораздо больше и упорнее, чем они сами полагали. Теперь, когда голос татарки наконец затих вдалеке, после неожиданного пробуждения для молодых людей наступила минута тягостного отрезвления. Каждый копался внутри себя, искал что-то, но не говорил ничего об этом другим, поскольку едва справлялся с тем, чтобы разобраться в себе. Фирс, который продолжал сидеть всё это время, снова улёгся на подстилку, подложил кулаки под голову, рассматривал потолок палатки и наконец принялся напевать какую-то мелодию. Никто до этого момента даже не предполагал, что Фирс может так тихо петь. Разумеется, он никогда не отличался чрезмерной горластостью и крикливостью, но то, что он способен испускать звуки настолько сдержанно и осторожно, честное слово, никому даже в голову не приходило. Наконец после некоторых колебаний Савел прервал все эти философствования и сказал:

— Эта сумасшедшая вас словно заколдовала. Вы что же,

забыли про сельдь? Ведь накануне вас прямо переполняло рвение. Получается, вчера даже нельзя было поесть, чтобы не терять времени, а сегодня вы валяетесь тут, как брёвна!

Слова Савела вернули им силы. Аким первым выбежал из палатки, а Савел сразу же последовал за ним. Дуня, однако, воспользовалась этим коротким мгновением, пока они с Фирсом были скрыты от глаз братьев, чтобы утолить охватившее её страстное желание. Она проворно подползла к Фирсу и посмотрела ему в глаза; он вытянул руки, притянул её голову к себе, словно икону, прильнул к её губам, и, трепеща от волнения, они слились в горячем страстном поцелуе.

Как ни сложно в это поверить, но в течение всего следующего дня их действия сопровождались какой-то странной застенчивостью и беспомощностью, что отрицательно сказывалось на выполнении работы. После бесцеремонных и голословных утверждений Мары, в которых, невзирая на их непонятность и расплывчатость, содержался достаточно недвусмысленный намёк, у них остался неприятный осадок, и от него никак не удавалось избавиться, как бы им этого не хотелось. Здесь не помогали ни ругательства, ни проклятия. Это не было похоже на кусочек сахара, который быстро размягчается и тает во рту, а скорее на кислый леденец, который раздражает нёбо и долго не рассасывается. Но кто бы осмелился об этом сказать или как-то затронуть эту тему? Они с головой погрузились в работу, только чтобы забыть обо всём. Да и погода, похоже, также благоприятствовала их намерениям, поэтому они продолжили ловить сельдь с ещё более упрямым упорством. Благодаря весёлому настроению Савел снова вернул себе репутацию шутника и остряка, которой он обычно пользовался у Дуни и Фирса, поскольку сейчас никому не приходило в голову ему в этом препятствовать.

Даже Аким стал вести себя намного любезнее и дружелюбнее, с тех пор как начал доставлять нагруженные рыбой лодки в Вилково и чаще отсутствовал. К слову сказать, они с Фирсом сменяли друг друга, но Аким, не желая уступать своему сопернику в силе, связал обе лодки вместе и повёз их в город. Однако эта задача оказалась ему не по плечу, и он не смог справиться с тяжелой ношей, которую серьёзно недооценил из-за своего упрямого стремления к самоутверждению, поэтому ему в конце концов пришлось отвязать на полпути одну лодку и оставить её в небольшом обводном канале. Таким образом, он отвёз в город половину груза, а затем вернулся за второй лодкой, которая стояла на привязи в канале с тихим течением под густой кроной деревьев, чтобы доставить на склады оставшуюся часть рыбы. Однако когда он приблизился к спрятанной лодке, оттуда неожиданно взлетела пара цапель, которые до этого усердно работали клювами, проворно хватая наваленную в кучу рыбу, и, похоже, уже успели вдоволь полакомиться таким щедрым угощением; испугавшись гневного крика Акима, они упорхнули ввысь, а он услышал в ответ лишь противный скрежет и шум порхающих крыльев. Было очевидно, что количество рыбы существенно уменьшилось, как будто Аким сам хотел раздарить её прожорливым птицам. Эти разбойники перерыли всю кучу сельди, а наевшись досыта, начали ради забавы дырявить своими клювами блестящую чешую рыб, которые, возможно, ещё трепыхались в предсмертной агонии. Однако натворить такое не могли лишь эти перепуганные цапли, которые устроили себе здесь пиршество. Вероятно, их опередила выдра, одна или даже несколько. Ну а кто мог помешать ей и птицам опустошить лодку? Или, может быть, её обнаружил Пахом? Аким чувствовал себя униженным и обманутым, и когда во время следующей поездки от озера в Вилково его болезненное самолюбие всё же не позволило ему упустить шанс снова порисоваться перед сестрой, управляя на её глазах двумя лодками, он спрятал одну из них более надёжно, тщательно прикрыв весь улов камышом и листвой деревьев. А когда затем подошла очередь Фирса перевозить улов в город, он также проплывал мимо этого места и очень удивился большому количеству недавно оборванных ивовых листьев, которые валялись на берегу, в то время как голые стволы деревьев устремляли свои взоры в бледно-голубую

небесную высь, беспомощно опустив свои покалеченные ветви. Ему показалось, что в местах разлома ветки всё ещё продолжают приятно пахнуть; он немного передохнул, а затем вновь взялся за вёсла.

В остальном всё шло так, как и должно было идти, учитывая опыт и ревностное усердие молодой компании. Дуня неустанно складывала слоями рыбу, которую они высыпали из сетей в кучу, и порой, когда она ощущала горячее дыхание солнца на своей коже, ей казалось, будто оно проникает ей под блузку, прижимается к её груди и согревает своим теплом подобно мужчине, и, возможно, подобно Фирсу. А Савел не переставал возиться с сетью и делал это настолько мужественно и стойко, насколько был способен при всей своей рассеянности; он совсем не смотрел на воду, и все его мысли, полные необузданных страстных желаний, снова и снова возвращались к Гаше, которой он даже намеревался подарить флакон с ароматной жидкостью и цветной фотографией шикарной женщины, привезённый из Измаила. Он был готов это сделать, если ему не удастся уговорить и вернуть Гашу каким-либо другим способом, и был согласен пойти на эту жертву, хотя это его ужасно огорчало и, так сказать, резало по живому. И вот так медленно тянулось время. Лишь поздно вечером, когда пар от котелка с рыбной юшкой, над которым склонилась Дуня, поднимался клубами в мерцающем свете костра и уносился в почти угасшее алое зарево заката, уже уступавшее место вечерним сумеркам, Аким вернулся обратно с пустыми лодками.

Лов сельди ещё продолжался, поскольку уровень воды снизился лишь на несколько сантиметров, и народ никак не мог справиться с огромным изобилием рыбы. Да и цена, которую предлагали на складах, пока что оставалась неплохой, учитывая тот факт, в каких огромных количествах привозилась сельдь. Всю неделю старик Калистрат проводил ночи один в своём доме, уставший и изнурённый, с пухнущей от забот головой. Он лишь изредка зажигал сальную свечу, в мерцающем свете которой комнаты выглядели очень пустынно. Он виделся с Савелом и Акимом, когда они привозили лодки с уловом, однако длительная разлука с Дуней вселяла в него сильное беспокойство. Ведь из всех его детей она единственная пока что оставалась для него ребёнком. Старик переживал, что с дочерью

запросто может случиться что-то плохое на том немыслимо далёком озере. Ведь она может с лёгкостью пораниться об острые, как пила, плавники молодой стерляди или порезаться о колючки алоэ, её могут укусить крысы и хорьки, которые способны забраться в палатку и натворить там бог знает каких бед. Старик с нетерпением ожидал возвращения дочери, словно после долгого отсутствия, которое длилось месяцы или даже годы. Фирс и сыновья постоянно обнадёживали его, что уже на следующий день они окончательно вернутся, однако Аким был против того, чтобы покинуть место лова, не закончив работу до конца. Поэтому старику волей-неволей приходилось терпеливо ждать, пока они продолжали свою охоту вдалеке от Вилково, пристально уставившись на сеть, провисавшую от богатого улова.

Иногда Акиму казалось, что воспоминания о словах Мары, которые он всё время старался от себя отогнать, разъедают его внутри, как ядовитая кислота. Он боялся татарки, не хотел иметь ничего общего с её пророческим даром, и поэтому снова стал задумываться об Анисье, хотя в моменты отдыха и бездействия продолжал мечтать о сестре. Анисья тоже была, словно не полностью созревший плод, и также выглядела моложе своего возраста. Она заботилась о своих детях с материнским усердием, однако, наверняка это не помешало бы ей найти пару свободных часов и для него, днём или ночью, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. Но, тем не менее, Аким ловил себя на мысли, что уже готов поддаться так часто охватывавшему его в присутствии сестры соблазну, поэтому в такие моменты он отворачивал лицо в другую сторону и, словно пытаясь навечно запечатлеть в памяти это имя, чётко и настойчиво повторял:

— Анисья! Анисья!

— А что у тебя с ней? — спросил его однажды Савел с другого края бредня.

— С кем? — уточнил застигнутый врасплох Аким. — О ком ты говоришь?

— Не я, это ты только что говорил об Анисье, — ответил брат.

— Не было такого, тебе послышалось, — оправдывался Аким, как будто он был обязан давать объяснения Савелу.

Тот как раз в этот момент думал о Гаше, но всё же ответил:

— Ею не следует пренебрегать, этой Анисьей. Худенькая, как девочка, но симпатичная. С тех пор как умер её муж, она

прозябает в одиночестве.

Аким сказал что-то невразумительное в ответ; это было в его духе, поэтому Савел даже не утруждался разобраться в словах брата. Ведь в монотонности тяжёлых рыбацких будней многое бесследно терялось.

Наконец однажды наступил момент, когда ходить с бреднем по реке больше не было смысла, и в довершению ко всему зарядил длительный обложной дождь, хлеставший холодными струями по согнутым шеям, который даже у Акима отбил всякое желание рыбачить. Вода бежала с неба бесконечным потоком, словно там наверху находилась вторая дельта Дуная, которая теперь выливалась на нижнюю. Дуня также выглядела усталой и измождённой и практически не выходила из палатки. Мокрые волосы мужчин склеивались и напоминали прилипшие чепчики, от которых невозможно было избавиться, поэтому никто даже не удивился, когда Аким наконец неожиданно сказал:

— Достаточно с нас этих мытарств.

Савел сначала не поверил своим ушам и даже переспросил, чтобы убедиться, правильно ли он понял намерение брата. Он сделал глубокий вдох, отвязал натяжной трос палатки и быстро сложил брезент прямо над головой Дуни. Тот улов, который им напоследок удалось поймать в сети неимоверно тяжкими усилиями, они погрузили на обе лодки, в которых ещё было достаточно места для всех четверых и для рыболовных снастей. Вероятно, было время обеда, но никто не ел. Они забрались в скользкие, блестевшие от покрывавшей их влаги лодки, а на дне было полно воды, которая хлюпала и колыхалась туда-сюда. Дуня и Савел накрылись кусками брезента от палатки, Фирс с Акимом сидели на вёслах, и так они продвигались вперёд. За непроницаемой завесой дождя, похожей на плотную пепельно-серую паутину, ничего не было видно. А когда на горизонте замаячило Вилково, постройки городка показались им как никогда высокими и прекрасными. Любая лачуга была больше палатки, а домики и три церкви представлялись им огромными

роскошными сооружениями, слепящими своим великолепием. Уже совсем скоро они будут крепко спать, спать в сухом месте. А старик Калистрат наверняка будет радоваться их возвращению.

Когда вечером старик вернулся и вошёл в дом через входную дверь, он обо что-то споткнулся и испугался, потому что в полумраке ничего не смог разглядеть. Это был Фирс, который, как бревно, растянулся на полу за порогом. Он даже не проснулся от того, что оступившийся старик Калистрат задел его ногой, а только вздохнул, погруженный в невероятно глубокий сон. На небольшом расстоянии от него прямо на глиняном полу лежали оба брата-близнеца, а между ними стоял чан, забитый до самых краёв селёдкой. В задней комнате он обнаружил Дуню, которая спала на своей кровати. Он не стал будить спящую дочь и только с нежностью рассматривал её родное, до боли знакомое лицо, затем осторожно наклонился и очень аккуратно поцеловал её в лоб. В печи время от времени потрескивал забытый огонь, а старик Калистрат, бесшумно ступая между спящими, ходил босиком по комнатам туда-сюда, и при этом казалось, что все прожитые годы никак не сказались на его теле, потому что он легко порхал, как седовласый любящий ангел-хранитель. Он недолго постоял возле чана с рыбой, взглянул на спящих сыновей, зажёг свечу и подсветил ею их лица, чтобы рассмотреть, который из них был Аким. Возле него он задержался подольше, стоял и смотрел на сына, разумеется, не проронив ни звука, а затем подсунул ему под голову скрученную овечью шкуру, которая ему самому служила зимой в качестве одеяла. Почему это Акиму должно было быть удобнее, чем Савелу? Да, это был сложный вопрос, на который старик сам не смог бы сразу ответить, но он поступил так, следуя внутреннему порыву и велению сердца, которые не требовали разъяснений.

Ночь прошла, но в доме Сверёвых никто даже не шевелился, разве только старик Калистрат как обычно спешил утром на работу в рыбные склады, и от его торопливых шагов слегка покачивались кладки вдоль каналов, а рядом с ним по воде бежало его отражение, в котором седая, растрёпанная, пушистая борода развевалась на ветру. Проспав всё утро и весь день, они проснулись только ближе к вечеру, после того как в их низкие окна уже успели заглянуть яркие солнечные лучи, которые затем сменились серым, пасмурным светом; они просыпались по

очереди, сначала Фирс, затем Аким, следующим Савел, и наконец Дуня. Зевая, они смотрели на стены, которые уже снова облачились в лёгкие тени. Только сейчас мужчины отчётливо увидели запёкшиеся царапины на своих руках, промыли их, поправили непослушными пальцами волосы своих бород. Они посчитали заработанные деньги, поделили их между собой, в очередной раз проверив арифметический талант Савела, при этом Дуня также получила свою долю, которая ей по справедливости причиталась, поскольку она заботилась об их пропитании и постоянно глотала едкий дым у костра. Никто не старался выторговать себе больше, даже Аким. После этого братья натянули шапки и даже смогли уговорить Фирса отправиться с ними в трактир, оставив Дуню заниматься домашними делами. Хорошо выспавшись, они чувствовали себя бодро и энергично, а после долгих дней изнурительной работы и лишений их переполняла тяга к неизведанному и жажда новых приключений. Им хотелось наконец прогнать из своего тела холод и сырость и будто бы отомстить им выпивкой за перенесённые страдания. Сейчас им было наплевать, потратят ли они на пару леев больше и меньше. Кто сейчас думал о том, что трактирщик Иван бессовестно обогащается, заламывая за водку и сивуху такие бешеные цены, каких не было ни в одном рыбацком посёлке во всей округе? Похоже, даже Савел на некоторое время позабыл о своей блистательной способности к арифметическим вычислениям, как только горячительный напиток поступил в кровь. В этих местах возвращение с рыбного промысла было более знаменательным событием, чем любой праздник. После долгого пребывания в холодной воде всем хотелось расслабиться и насладиться согревающим душу и тело, дурманящим и пьянящим напитком. Выпивка помогала вырваться из серости будней и почувствовать себя свободным, отвлечься от тягостных мыслей и погрузиться в сладкое забвение; в этом блаженном состоянии народ скидывал с себя одежду, сапоги и башмаки, и не имело значения, потеряются ли они или спустя несколько дней найдутся в песке на берегу главного канала города. Куда там христианским праздникам! После завершения лова сельди все гуляли больше, чем на свадьбе.

И уже спустя несколько мгновений братья и Фирс окунулись в

водоворот кутежа и пьяной попойки, после того как Савел громко захлопнул за собой дверь трактира, поскольку подвыпившие посетители непременно должны были увидеть, какие важные персоны удостоили их своим присутствием. Фирс, который был довольно редким гостем в этом заведении, улыбался во весь рот, а братья шли по обе стороны от него, пока они втроём совершали приветственный круг почёта, обходя все столы. Складывалось впечатление, будто все только и ждали их прихода, поскольку Яков и мутноглазый здоровяк Агап сразу же подняли тост за их здоровье, и даже Пимен оторвался от своих душещипательных историй, которые он как раз заливал любознательному Фролу, словно пьянящий шнапс, который должен был услаждать не только горло, но и слух. Мечтатель Пимен поднялся с лавки и громко прокричал Савелу о наполнявшем его восторге по поводу его возвращения. На мгновение шум, стоявший в трактире, затих, и все внимательно наблюдали, как Пимен, этот жалкий, дряхлый и сморщенный человечишка, подошёл к троице. Он украдкой взглянул снизу вверх на Фирса, как на чудовище, от вида которого ему было не по себе, и прежде, чем они успели сесть за стол, сразу выложил им всё о своём расстройстве желудка и обо всех недугах, которые якобы приключились с ним в течение одной недели, если, конечно, в этих рассказах была хоть капля правды, что, несмотря на его искренний тон, вызывало большие сомнения.

Трактирщик Иван швырнул через дверь ещё несколько табуреток в уже и без того переполненный зал, они уселись и любовались вместе с остальными присутствующими куском вяленой козлятины, от которой хозяин заведения отрезал перочинным ножом тоненькие ломтики с таким видом, будто всё это было только в их честь. Нужно признать, трактирщик делал это чуть ли не торжественно, потому что надеялся получить за каждый крохотный кусочек хотя бы один лей, несмотря на то, что этот посиневший, засохший и дурно пахнувший кусок мяса и близко не был похож на манну небесную. Савел заявил об этом открыто, чем снискал аплодисменты некоторых рыбаков, даже если они были совсем не прочь попробовать это яство, пропитанное острыми приправами.

— Это мясо тает во рту, как свиное сало, — расхваливал Иван свой товар, — и вы, возможно, никогда такого не ели, иначе вы

бы это оценили.

Тут поднялся шумный гвалт, потому что каждый, кто хоть раз в жизни пробовал на вкус сало, считал, так сказать, своим долгом вставить веское слово опытного и повидавшего виды человека, чтобы выразить своё возмущение бесстыдным враньём Ивана, который из жадности воспевал хвалебные оды этому куску козлятины. Тьфу! Да кто из них не знал, каким на вкус было сало, которое невозможно было раздобыть в Вилково, поскольку для их зачастую пустых рыбацких карманов это было слишком дорого. Своими лживыми хвастливыми речами Иван обидел прежде всего Пимена и Якова, который одновременно искоса поглядывал на игравших в кости рыбаков за четырьмя столами.

— Сколько очков? — нетерпеливо перебил он своего соседа, прежде чем тот успел назвать Ивана болваном и невежей и потребовал от него отрезать ему приличный ломоть вяленого мяса. При этом Пимен подчеркнул, что покамест он, слава богу, в состоянии за это заплатить, и обвёл присутствующих своими болезненно-красными глазами, чтобы убедиться в том, что все услышали его слова. Остальные тут же поспешили последовать его примеру, ведь вяленая козлятина возбуждала аппетит и жажду.

Очень скоро Пимена, который и сегодня был на мели, поскольку в отличие от других лов сельди прошёл для него незаметно, начали угощать стаканчиком те рыбаки, кому удача улыбнулась больше остальных, и он снова пришёл к выводу, что лучше всего держаться поблизости Савела, которого никто не мог превзойти по щедрости. Этому, похоже, было наплевать, потратит ли он одной купюрой больше или меньше.

— Сегодня я тебя угощаю, Пимен, — громко провозгласил он, чтобы все присутствующие смогли это услышать.

Теперь Пимен больше не чувствовал себя пятым колесом в телеге, и ему не нужно было держать на привязи свой усердный язык. Хихикая и покашливая, он начал забавно рассказывать о том, что Гаша, эта гордячка, пришила к своей юбке карманы, чтобы прятать в них свои покрасневшие от соли пальцы. Пимен подтрунивал над женой, отпускал остроумные шутки и наслаждался льстившим ему вниманием Савела, который, разумеется, не преминул осведомиться о здоровье и самочувствии Гаши, будто она была как минимум женой

городского головы. А здоровяк Агап развалился на столе посреди отодвинутых в сторону стаканов или на их осколках, поскольку сейчас не ощущал особой разницы. Он лежал там мертвецки пьяный, забывшись глубоким, беспробудным сном, поскольку пригрозил остальным выпивохам, что убьёт любого, кто осмелится его разбудить.

Яков тихонько вздрагивал, если ему сразу не докладывали, сколько очков выпало на костях, а Аким пил. Тусклый свет керосиновых ламп растворялся в сером дымном чаде трактира, башмаки отрешенно шаркали по глиняным полам, кто-то пел, кого-то тошнило, а Фирс пил. Он сидел рядом с Акимом; сегодня они находили общий язык гораздо лучше, чем обычно, осушили уже бог знает сколько стаканов и, тем не менее, продолжали пить. Иногда создавалось впечатление, что оба пытаются выведать друг у друга то, что таилось внутри каждого из них. Но нет, Фирсу это только казалось, он наивно брёл на ощупь в темноте своих философских размышлений. Они чокались, и толстые стаканы с гулким звоном ударялись друг о друга, однако это был приятный звук. Им хотелось шума и веселья; водка проливалась на раны и царапины на руках. Ничего, пусть печёт и жжётся, сейчас это не имело значения. Внезапно Пимен закричал, что Агап понемногу начал приходить в себя и шевелиться. А из глиняных кувшинов, которые Иван принёс попозже, можно было вылакать гораздо больше сивухи, чем из жалких маленьких стаканов. Они разговаривали, еле ворочая языком, упоминали и затрагивали те темы, которых в трезвом виде никогда бы не коснулись, и Фирс с Акимом не могли удержаться от того, чтобы не вспомнить о словах Мары, этих глупых словах, которыми она, как собака, облаяла сидевших в палатке. Поэтому они выпили ещё по одной, а потом ещё и ещё!

Постепенно наступила ночь, но ни один из рыбаков не покинул трактир Ивана. Чем дольше они оставались, тем естественнее и непринуждённее звучало каждое высказывание, даже если оно было довольно смелым или касалось вещей, о которых обычно умалчивали. Хотя ни для кого в городке не было тайной, что жена одного из рыбаков была бесплодной и не могла иметь детей, все давали несчастному супругу различные советы именно сейчас, когда каждый обдавал своего собеседника жутким перегаром и при этом сам был похож на закипевший

самовар. В этом состоянии процесс общения происходил гораздо легче, а смех, вызванный какой-нибудь глупой шуткой, которая никогда бы не пришла в голову ни одному болвану, казался оправданным, не говоря уже о том, что один из них мог хохотать так, что всё его тело сотрясалось от безудержного смеха. Фрол затянул песню, и последовательность этих протяжных звуков скорее походила на звериный вой, а не на человеческое пение. Однако все активно принялись ему подпевать. Вероятно, музыкальное представление Фрола пришлось очень кстати, потому что как раз в этот момент бурное веселье немного поутихло, а эта мелодия напомнила им о чириканье чижей, и о солнце, и о чистой воде в деревянных чанах. Это была хорошая песня, весёлая и радостная, и в каждом маленьком слове ощущалась лёгкость, даже когда её горланил Фирс, а Пимен визгливо блеял своими сморщенными, потрескавшимися губами. Единственное, что казалось странным, это то, что лицо Акима внезапно будто окаменело, и он единственный не знал ни слов, ни мотива песни, которую в разноголосицу тянули рты пьяных мужиков. Однако если кто-то и удивлялся этому, то он наверняка позабыл о том, что Аким много лет провёл в Килии, а узнать у него, какие песни пели там, похоже, не удавалось никому, даже Дуне.

Им захотелось обниматься, а затем танцевать, но все остались сидеть на своих местах и не стали отодвигать в сторону лавки, поскольку даже если бы они попытались освободить пространство для поворотов хотя бы двух человек, это намерение всё равно бы не увенчалось успехом. Поэтому в поисках новых приключений Савел ринулся через дверь на улицу и позвал всех следовать за ним. Прохладный и свежий ночной воздух ударил в их распухшие лица, и они прищурили глаза. После дождя земля возле трактира была мягкой и рыхлой и проседала под ногами, а разгулявшийся ветер пустил рябь по поверхности луж, на которые падал жёлтый свет из окон заведения. Но разве кого-то могли напугать лужи? Они горланили во всю глотку, а в ответ все собаки городка заходились неистовым лаем; они шли, спотыкаясь в темноте, хватали друг друга за плечи, выбрасывали ноги вперёд и назад, шлёпали по лужам, топтались то тут, то там, по рыхлой земле, по разлетавшемуся в стороны влажному и тяжёлому песку. С безрассудным лихачеством они кружились,

летели кувырком, и, сцепившись друг с другом, что в этой куче их невозможно было различить по отдельности, катались по земле в разные стороны. О, этот восторженный смех, это бурное, безудержное веселье! Их руки были запачканы грязью и уже практически не отличались от башмаков и сморщенных сапог. Жакеты и рубахи промокли до нитки; возможно, они были мокрыми от пота, или пролитой водки, или от слякоти и грязи. Они натыкались на белые стены и запачканной одеждой оставляли на них отпечаток своих фигур. Они бушевали и бесились от радости, не сдерживая себя, пока Агап так и лежал на столе в трактире, скрестив во сне руки, как самодовольный властелин.

Спустя некоторое время Фирс снова зашёл в трактир, в котором потрескивал и подпрыгивал робкий огонёк лишь одной керосиновой лампы, крикнул что-то Агапу, начал его трясти и наконец разбудил, после чего забытый всеми своими товарищами здоровяк, собравшись с силами, поднялся, чтобы отправиться домой. Разумеется, он не привёл в исполнение свою угрозу, о которой заявлял всего несколько часов назад, поскольку сейчас даже не помнил об этом и вёл себя, учитывая сложившиеся обстоятельства, покорно и добродушно. И сейчас Фирс вместе с Агапом, Акимом, Савелом, Яковом и Фролом медленно брели к центру городка, после того как ему удалось собрать их вокруг себя после упорных поисков и настойчивых уговоров. Пимена нигде не было видно; вероятно, в жуткой неразберихе он тихонько улизнул и сейчас где-нибудь бродил, погруженный в свои мечты, или лежал на дне канала, если только по счастливой случайности не оказался дома на своей печи, спрятавшись за спиной Гаши.

Они шли неторопливо, пошатываясь из стороны в сторону, и остановились, опешив от удивления, когда неожиданно наткнулись на Флорю, тень которого как из-под земли выросла перед ними на перекрёстке, и в своём нетрезвом состоянии они приняли его за призрака. С перепугу Савел и Фирс, у которых от выпитого количества водки ещё не до конца помутнел разум, даже немного протрезвели. Хотя они нетвёрдо держались на ногах и шатались вместе с остальными, они всё же чётко осознавали, что собирались сказать, и их распухшие, еле ворочавшиеся во рту языки выдавали адекватные фразы,

соответствовавшие по смыслу конкретному моменту. У Савела кровь подступила к вискам, когда он увидел Флорю.

— Когда он стоит там, наш блюститель порядка, то об него можно даже споткнуться, — пробормотал он, и у него тут же защемило сердце от мысли, что Гаша позволяла этому румыну себя обнимать, а его, кто прежде не испытывал недостатка в её изобретательных ласках, в последнее время отвергала и ни в грош не ставила.

— Флоря у нас полковник, м-да, представитель власти, — запинаясь, сказал Агап. — Здесь, на своём посту, он более влиятельное лицо, чем апостолы Пётр и Павел вместе взятые.

Сейчас они уже подошли почти вплотную к караульному, который вряд ли собирался избегать встречи с подвыпившей компанией. Но они также не были настроены просто пройти мимо и, похоже, не выказывали ни малейшего почтения к его должности.

— Приветствую тебя, Флоря, и добрый день, — проревел Яков в темноту, — мы все тебя приветствуем.

Но как ни странно, караульный не сделал им выговор из-за устроенного шума, как следовало бы поступить в силу его профессии и учитывая то рвение к работе, которое он прежде обычно демонстрировал, а только сдержанно обратился к ним с просьбой не думать, что они одни на белом свете. Он, мол, приставлен здесь для того, чтобы заботиться о спокойствии жителей города.

— О спокойствии, стало быть, — засмеялся Яков, и при этом в его голосе ощущался раздражительный тон, который можно было бы истолковать как нетерпимость и некоторую дерзость.

Однако несмотря ни на что в этот раз Флоря, кажется, этого не почувствовал, сегодня он был менее обидчив и резок, чем обычно. Говоря по правде, он даже не пикнул и проявлял просто ангельское терпение.

— Ведите себя тише, — настойчиво убеждал он шумную компанию, которая уже обступила его со всех сторон и, не обращая внимания на его уговоры, продолжала безобразничать и бесчинствовать.

Фирсу, который подошёл к нему почти вплотную, Флоря доставал лишь до подбородка, а Агап, дёргавший его сзади за воротничок служебной формы, смотрел на него сверху вниз,

выказывая всем своим видом презрительное отношение к караульному.

— Да он у нас коротышка, — сказал Агап своим спутникам, потрепав Флорю по плечу, — совсем ростом не вышел. Знаете, если бы на нём не было его коричневой солдатской фуражки, об него действительно можно было бы споткнуться. Всё-таки Савел прав. Этот Флоря стоит здесь только для того, чтобы путаться у нас под ногами, когда мы напились.

Честолюбивый караульный отчётливо слышал и хорошо запомнил каждое обидное слово, которое оскорбляло его слух, и думал о том, что при случае обязательно расквитается с этими дебоширами, но сейчас он сохранял спокойствие и, словно непробиваемая стена, с достоинством исполнял свой долг. Они насмехались и глумились над ним, оскорбляли всякими грязными намёками, грубость которых, разумеется, объяснялась их нетрезвым состоянием. А Флоря лишь молча глотал обиду, хотя внутри у него всё кипело от злости. Ему бы очень хотелось наброситься на рыбаков, а ещё лучше — арестовать их. Однако, то ли он не хотел затевать ссору, потому что был один против шестерых, то ли его внезапно охватила какая-то непостижимая робость, он не кричал и не ввязывался в драку, как обычно поступал без долгих размышлений, если ему на глаза попадался пьяный. Сегодня Флоря, который всегда был суров и непоколебим, вел себя поистине миролюбиво и даже вежливо посоветовал им не провоцировать более представителя властей и пойти домой, чтобы проспаться.

— Можно подумать, будто ты днём и ночью на страже, — съязвил Савел, которому очень хотелось бы плюнуть Флоре в лицо и поинтересоваться у него, как это ему удаётся исполнять свой долг и следить за порядком, когда он предаётся своим плотским утехам с Гашей так бурно, что содрогается вся будка. У него прямо язык чесался, однако он сдержался и только сказал:

— Как нести караул, ты, Флоря, друг любезный, похоже, учишься у Гаши.

Савел уже собирался бросить в лицо Флоре и другие веские обвинения, чтобы наконец выпустить пар и дать выход накопившемуся в нём гневу, но Фирс остановил его.

— Замолчи, Савел, оставь Флорю в покое! — крикнул он.

Однако как только после этих слов караульный предположил,

что Фирс встал на его сторону, он, быстро замахнувшись, неожиданно заехал Савелу по лицу, и удар пришёлся тому по зубам и губам, прятавшимся под пышной бородой. Савел очухался, и начал плеваться, слюна разлеталась во все стороны, попадая на носки сапог Флори и на пальцы Фирса. Это не было похоже на смелый отпор, однако он продолжать плеваться, как одержимый, и Флоря уже был готов схватить его за шею и прижать к земле.

Тем не менее, у него, видимо, сложилось неправильное мнение насчёт окружавших его людей, причиной которому, очевидно, было то трудное положение, в котором он оказался. Ибо Фирс издал странный зловещий звук, который рассёк воздух со страшной силой, всего лишь единственный звук, которым, однако, всё было сказано. Этот звук как громом поразил Флорю, и он резко отпрянул назад и вяло опустил руки, потому что в глазах человека, возвышавшегося над ним и пристально смотревшего ему в лицо, горел недобрый огонёк, в котором ощущалась непреодолимая мощь и, возможно, даже угроза.

— Не прикасаться, — сказал Фирс уже более сдержанно и спокойно, но Флоря уловил в его голосе строгий приказ и сразу не мог понять, что ему делать, поэтому стоял в растерянности, теребя пальцами одну из медных пуговиц, на которую его китель был застёгнут на груди, пока вдруг эта блестящая металлическая вещица не оказалась в его руке, чему он весьма поразился. На его лице читалось беспомощное удивление, хотя в этот момент он думал только об окружавших его рыбаках. И тут Агап разразился бурным безудержным смехом. По звуку он напоминал раскаты грома, и все собаки Вилково принялись неистово лаять ему в ответ. Даже разгорячившийся Савел не удержался и начал смеяться, а вместе с ним и Аким, который вплоть до этого момента молчаливо наблюдал за происходящим. Его рот растянулся в улыбке, и он весело сказал:

— Будь послушным, Флоря, иначе жизнь среди подобных нам тебе мёдом не покажется. Лучше быть немного уступчивее, чем одним прекрасным днём оказаться на дне реки и глотать ил. Он не очень вкусный, Флоря, запомни это.

Будто по условленному сигналу рыбаки, окружавшие его плотным кольцом, расступились, а Савел ещё раз повторил:

— Запомни это!

После этого они больше не обращали на Флорю внимания, не удостоили его ни одним, даже мимолётным, взглядом, и, как будто ничего не случилось, вновь принялись радостно шлёпать по лужам, поднимая брызги, спотыкаясь, брели дальше под непроницаемым покровом ночи, позабыв о караульном и оставив его позади себя злобно скрежетать зубами от кипевшей в нём ярости.

В конце концов каждый из них добрался до своей двери, и теперь в домах и избах лежали спящие мужчины, которые практически не шевелились, хотя, возможно, уже перевалило за полдень. После бурного загула их мучило жуткое похмелье, поэтому они вернулись к привычной рутине повседневности ещё сонные, в плохом настроении, раздражённые и сердитые. Даже Фирс, который проснулся уже целый час назад, всё ещё лежал на своей лежанке и терпеливо выслушивал хвастливые речи Мары. Она с гордостью рассказывала, что благодаря рыбному промыслу значительно приумножила своё и без того немалое состояние, ликовала и на все лады поясняла ему, что он мог бы получить в десять раз больше, если бы плавал вместе с ней в её ящике, в этом замечательном, великолепном ящике, который сейчас сох во дворе и служил кровом для двух её собак. Он лежал молча, подсунув кулаки под голову, однако, когда татарка язвительно спросила, чем же это его так поразила Дуня, что он даже лишился дара речи, его глаза гневно засверкали.

— Не суй свой нос в чужие дела! — резко бросил он, и эти слова просвистели в воздухе, как удар кнута, потому что он не боялся дать ей отпор. Однако из-за того, что они сейчас были одни, Мара больше не стала называть его сукиным сыном, а только сказала, что может одолжить ему денег столько, сколько ему потребуется, и долго водила ногтями по его грубым, покрытым мозолями ступням, на что он, погружённый в ещё свежие воспоминания о Дуне, совсем не обращал внимания. Возможно, в понимании Мары это означало нежность и ласку. Трудно было понять её странные причуды. Она просто делала что-нибудь, чтобы убить время. То это были собаки, которых она гладила, то Фирс. Интересно, проводила ли ясновидящая в своей голове, в которой роились запутанные и бессвязные мысли, какую-либо разницу между животными и ним? Разве можно было это утверждать, смотря в глаза Мары, которые она

постоянно закатывала и которые уже пару недель при каждом резком повороте головы мерцали зеленоватым блеском? Фирс не был похож на монаха Пахома. Видимо, не поддающееся измерению и бог знает насколько проницательное чутьё Мары не могло обнаружить в нём ничего предосудительного и непристойного, и поэтому он продолжать жить под её крышей. Ну, а ему было абсолютно всё равно, чем она занимается в своей спальне. Пусть хоть голышом извивается в диком танце или предаётся иным странным удовольствиям в соответствии со своими татарскими представлениями. Вскоре после лова сельди должна была начаться охота на осетров. Сейчас Фирс думал только об этом и о прелестных ушках Дуни, украшавших её драгоценную головку, как два маленьких цветочка.

Аким, тяжёлое похмелье которого постепенно сменилось приносящими облегчение и свободу мечтами, решил наконец попытаться выбраться из тесной клетки тяготивших его сомнений. Довольно уже мучить сознание гнетущими мыслями! Он хотел о них забыть, вытеснить их чем-либо другим, навсегда стереть из головы, даже если бы для этого ему пришлось совершить убийство. Однако он почувствовал значительное облегчение, оказавшись на свежем воздухе, который невероятно нежно и ласково скользил по морщинам, появлявшимся на его лице при каждом робком слове. Дунайские селёдки, ещё вчера заполнявшие до краёв чан, теперь варились на печи или попадали в руки Дуни, которая окунала их в солёный уксусный рассол и укладывала слоями в громадные пузатые глиняные горшки. Отойдя от дома на некоторое расстояние, Аким всё ещё чувствовал запах уксуса, который пах щавелем и травой. Он отправился разыскать Анисью, поскольку даже не знал, в каком уголке города находился её дом, а спрашивать об этом сестру ему не хотелось. Какое-то время он шёл вдоль каналов, направляясь к тому месту, где недавно её видел, по пути встретил Савела и Пимена, который ковылял ему навстречу с повязкой на лбу, излив целый поток горестных стонов, нытья и жалобных

причитаний уже во время приветствия и в каждом последующем слове. Аким не стал долго это выслушивать и пошёл прочь, повсюду высматривая Анисью, но так её и не встретил.

Только на следующий день, когда он продолжил свои поиски, он наконец её заметил. Как раз в этот момент она проводила своими худыми руками по личику трёхлетнего мальчика Трофима, которого она таким образом умывала, склонившись над каналом с мутной коричневой водой, в то время как сопротивлявшийся ребёнок громко всхлипывал и чихал, а его старшая сестричка Евлампия с деловитым видом уговаривала его слушаться маму.

— Вода не сделает тебе больно, — неустанно повторяла девочка, пока Аким, замедлив шаг, смотрел на мокрые пальцы Анисьи, которые выглядели намного старше, чем она сама. Было что-то хрупкое и тщедушное, но в то же время милое и привлекательное в напряжённом лице молодой вдовы, на котором ярко выделялись серые глаза, а во всех её движениях всё ещё ощущалась юношеская живость и лёгкость. Но Аким сразу заметил её грубые, покрытые вздувшимися венами пальцы, словно она водила ими по его груди или гладила по лбу. Её пальцы его как будто оттолкнули, хотя он старался не обращать на них внимание; он приблизился к ним и, забыв поздороваться, прошёл мимо, устремив взгляд к церковной колокольне. Он закрыл глаза и был не в силах отделаться от мысли, что Дуня несравнимо красивее и очаровательнее Анисьи. Вот только какая ему от этого польза? Он вернулся назад, постоял немного, заглянул в пустынный двор, в центре которого находилась изба, более низкая и бедная, чем все остальные в городке. Он увидел бледно-красную стену и перед ней Анисью, которая возилась со своим чепчиком, пытаясь закрепить его на голове. Малышка Евлампия тянула на своих худеньких ручках продолжавшего плакать братишку к дереву, которое наполовину засохло, а оставшиеся ветви были покрыты редкой листвой. Там она стала осторожно опускать ребёнка вниз, пока он наконец дотронулся ногами до земли и ещё громче расплакался. Анисья не заметила его и исчезла за входной дверью.

Аким пригладил свои растрёпанные усы над верхней губой, грустно вздохнул и уже сомневался насчёт своего намерения сблизиться с этой женщиной. Но вдруг ему захотелось

улыбнуться, и он так и сделал, после чего повернулся к Евлампии и как можно более тихим и приветливым голосом спросил:

— Что случилось с паршивцем?

Девочка была удивлена и, видимо, сначала не поняла, откуда доносились эти слова. Поэтому какое-то время она молчала и только немного погодя ответила:

— С ним ничего не случилось, просто мама его помыла.

А затем, недолго думая, добавила:

— Только его зовут не так, как ты его назвал, его имя — Трофим.

Аким смутился из-за укоризненного тона девочки, которая уже отважилась подойти к нему поближе, и сказал:

— Да, возможно, ты права. Разумеется, ты знаешь имя своего брата лучше, чем я. И, тем не менее, он – паршивец и крикун. Но ведь при крещении этого никто не мог знать, и его назвали Трофимом; это хорошее, доброе имя, и лишь немногих так зовут в этих краях.

Как только малыш сообразил, что незнакомец не представляет опасности и мило общается с его сестрой, он вытер остатки слёз со своих век и тоже осмелился подойти к воротам. Он рассматривал Акима с любопытством, свойственным ребёнку, обнаружившему что-то новое в окружающем его мире, и уставился на него с раскрытым ртом и широко открытыми глазами, которые ещё блестели от слёз. Его синий войлочный кафтанчик висел на нём, как колокол, из-под которого выглядывали худенькие ножки. Евлампия набралась храбрости и сказала:

— Я всегда удивляюсь, что ему не стыдно реветь. Он ужасный плакса, и его совершенно не волнует то, что его хныканье — это просто позор. Его единственное желание — это ходить, как грязнуля и замарашка. Мама уже с ним замучилась. Он ест тыквенные семечки вместе со скорлупками, не хочет их выплёвывать.

— Вот как, значит, — ответил Аким безучастно, уставившись на дверь и витая мыслями где-то далеко.

Наступило молчание, но дети не чувствовали какой-либо неловкости или смущения, и всё их внимание было полностью сосредоточено на незнакомце. Даже если бы он не проронил ни слова, он бы вряд ли показался им странным. Откуда им было

знать, был ли этот человек перед ним разговорчивым или мог всё время молчать, ничего не говоря? Своими пытливыми глазками они изучали его внешность, каждую пуговицу, каждую складку на его одежде, и для начала им этого было достаточно, а затем Аким вытащил из кармана три монетки, которые он протянул детям.

— Твоей сестре полагается две монетки, — пояснил он малышу, — понимаешь, она получит две, потому что она не плачет и не ходит, как грязнуля.

Неожиданно Трофим зашёлся таким звонким плачем, что от рыданий сотрясалась его грудь под кафтанчиком, и даже озадаченный Аким, неуклюже протянувший руки вперёд, стоял рядом с ним в растерянности и уже сожалел о своём порыве щедрости, который стал причиной такому бурному расстройству мальчика.

Анисья выбежала из дома и поспешила к ним, сердито нахмурившись, в то время как Аким смущённо поздоровался и пытался оправдаться перед ней за свой поступок:

— Я дал им монетки, но мальчуган недоволен; он хочет получить больше.

Рот Акима растянулся в виноватой улыбке, а молодая женщина утешительно погладила светловолосую головку малыша. Её ладони были похожи на ладони старухи, сейчас он это отчётливо видел и чуть не испугался, однако всё же кивнул, когда она поблагодарила его за монеты.

— Щедрый подарок! — сказала Анисья, лицо которой до сих пор не прояснилось и оставалось хмурым. Похоже, её не особенно удивляло то, что Аким стоял сейчас перед ней. Она воспринимала его присутствие с такой же простотой и непринуждённостью, с которой относилась к уже привычным для неё всхлипываниям Трофима.

— Этого хватит на сотню водяных орехов, — наконец произнесла она, указывая на поцарапанный кулачок малыша, который схватил монетку и крепко держал её, как жука, который может улететь.

Аким заметил веснушки но носу Анисьи; сегодня он не мог нормально думать и не знал, что говорить. Однако его не особо заботило то, что ему не удавалось заполнить паузу и умело продолжить начатый разговор. Он уже собирался сказать

женщине что-то о своей сестре, поскольку ему как раз пришла в голову эта мысль. Однако затем он передумал, набрался духу, одёрнул свой пиджак, сдвинул со лба шапку и сказал:

— Мой брат вас знает. Он вчера рассказывал о детях.

Анисья не поняла, что он намеревался ей таким образом сообщить, растянула губы в улыбке, в её глазах застыл вопрос, а на лице появилось ожидающее выражение. Тогда Аким постарался изъясниться понятнее:

— Савел знает всех людей, он мой брат-близнец, а дома он рассказывает нам то об одном, то о другом. От него ничего не ускользает.

И поскольку его объяснение показалось ему недостаточно понятным, спустя мгновение он добавил:

— Возможно, ты приняла меня за него. Но я другой брат, которого ты не знаешь. Я много лет жил в Килии.

— Да я и Савела едва знаю, — ответила Анисья, убрав золотистые пряди волос с лица Евлампии.

— Ты не ловила сельдь? — спросил Аким, обрадовавшись тому, что ему наконец удалось найти тему для беседы, которая никак не клеилась.

— Нет, — ответила женщина, — я бы не смогла оставить детей одних, иначе я бы слишком сильно о них беспокоилась и в итоге все старания не принесли бы никаких результатов. Рыба ускользала бы у меня сквозь пальцы.

Она снова слегка улыбнулась, искривила свои постаревшие пальцы, как будто тщетно пыталась что-то схватить, а затем пояснила:

— Так бывает, когда приходится во всём себя ограничивать. Когда муж был поддержкой и опорой, всё было по-другому.

— Но ты же могла присоединиться к нам, — возразил Аким, — и тогда можно было помогать друг другу.

Однако, задумчиво кивнув головой, Анисья, похоже, выразила некоторое сомнение в искренности его слов. Он приблизился к ней на два шага, а затем прошло несколько секунд, которые показались ему вечностью, прежде чем она, нерешительно пожав плечами, наконец ответила:

— Ну, ты пришёл слишком поздно. Время лова сельди уже прошло, и никто не начинает рыбный промысел тогда, когда озера опустошены и словно вымерли.

— Слишком поздно? — воскликнул Аким, как громом поражённый, поскольку он, вероятно, обратил внимание только на её первое предложение, а всё остальное пропустил мимо ушей.

А женщина со смехом сказала:

— Не нужно так пугаться! Я и сама потихоньку справляюсь. Конечно, мне нелегко, но с голоду мы пока не умерли.

— О, разумеется нет, — ответил Аким, который сейчас просто не замечал крепко прижавшихся к матери детей, а лишь пытался разглядеть что-то в глазах Анисьи, прятавшихся под редкими ресницами. — Я слышал, что ты очень усердно трудишься. Вот только не знал, почему это люди говорят: «Красивая вдова эта Анисья! Горбатится целыми днями и белого света не видит.»

Женщина взглянула на Акима и сказала очень тихо и задумчиво, как будто её слова не предназначались стоявшему перед ней мужчине:

— Ты проходишь сегодня мимо нашего двора и вдруг ни с того, ни с сего считаешь, что должен заботиться обо мне и моих малышах.

— Я не хотел сказать ничего плохого, — возразил Аким, — но я бы мог когда-нибудь привезти лодку камыша, принести охапку хвороста или кусок волчьего меха. Новые сапоги всегда пригодятся.

Взгляд серых глаз Анисьи смягчился и потеплел.

— Обычно люди с нами разговаривают по-другому, — сказала она задумчиво, отчётливо разделяя каждое слово. — Но если вдруг тебе в ближайшее время нечего будет делать, ты мог бы привезти стопку камыша и сложить во дворе.

— Да, — ответил он утвердительно на её просьбу, и при этом все его мысли опять кружились вокруг Дуни. — Да, — повторил он, словно пытаясь навечно запереть это намерение в своей памяти. — И заодно у меня будет повод заглянуть к вам, — добавил он, сглотнув горькую слюну, которая накопилась во рту, натянул шапку пониже, и вскоре Анисья и её дети остались у него за спиной, а он так и не осмелился ни разу обернуться.

Теперь Аким знал, что ему нужно делать, он понял, чего ему нужно избегать в общении с Дуней и как проложить дорожку к

Анисье, чтобы его знакомство с молодой вдовой не прошло бесследно, так и не принеся никаких результатов. У него были свои желания, однако, когда доходило до дела, он чувствовал себя слишком беспомощным и не находил в себе сил, чтобы свернуть с протоптанной дорожки своей привычной жизни, в которой постоянно присутствовала Дуня. Он терзался и мучился, пытался обуздать свои порывы, словно строптивого и упрямого скакуна, и когда наконец с неимоверными внутренними усилиями ему удавалось убедить себя направить свои шаги к дому Анисьи, он всё равно мог в любую секунду передумать и вернуться, поскольку против своей воли был привязан к Дуне всеми фибрами своей смятенной души. Однако, побыв пару часов в обществе Анисьи, он, постепенно узнавая её лучше, охотно поддавался её чарам, потому что в ней странным образом переплеталась некая суровость и в то же время скрытая уступчивость. Иногда у него возникало непреодолимое желание освободить эту таившуюся в ней нежность, хотя он никак не мог забыть Дуню. А её он каждый день видел воочию дома и каждую ночь в своих снах. Тем не менее, существовало достаточно окольных путей, которые пролегали мимо сестры и вели к Анисье, прямиком к её дому с его тесными комнатками и низко нависавшими потолками, которые зрительно давили своей тяжестью. Здесь на каждом шагу доводилось натыкаться на Евлампию, спотыкаться через Трофима, который притаскивал в дом всю найденную в своём и соседних дворах гальку, складывал из неё башенки своими крохотными, невероятно терпеливыми пальчиками, пока они в очередной раз не рассыпались с глухим стуком. Трофим с превеликим удовольствием приволок бы под крышу своей матери и сложил там в кучку все камешки Вилково. В этих местах их было относительно немного, но он находил их, вырывал и выковыривал из ила, обмывал водой, высушивал на солнце, после чего они были чистыми и немного блестящими, обращался с ними, словно с подчинёнными, которые выполняли все его приказы. При этом он практически никогда не смотрелся в зеркало и поэтому не знал, когда его лицо было запачкано. Однако он каждую минуту внимательно осматривал и проверял свои камешки, натирал их об свой кафтанчик, и когда они начинали слегка блестеть, он улыбался про себя от радости. Время от времени грохот его разрушавшихся построек заполнял

тишину, тем самым напоминая Анисье о том, что они с Акимом были не одни в этом мире.

Разумеется, их отношения складывались не без затруднений и, естественно, не за один день. Анисья не принадлежала к тем женщинам, которым можно было легко вскружить голову любым мимолётно брошенным пылким словом. Хотя она была приятно удивлена, когда на следующий день после их первой встречи он выгрузил у порога не обещанную охапку хвороста, а огромного сома, Аким и тут умудрился попасть впросак. Изобразив на своём угрюмом лице подобие улыбки, он неудачно пошутил, сказав, что сом предназначается Трофиму, и это вновь обернулось маленькой трагедией, потому что малыш принял его слова за чистую монету, решив, что это его новая игрушка, схватил рыбину крохотными ручонками и гордо водрузил её на свои камешки. Он заявил, что сом будет там почивать и слушать его бурные аплодисменты. Трофим всегда очень серьёзно относился к своим играм, и, разумеется, тут же разразился дикими душераздирающими рыданиями, когда Анисья забрала у него рыбу, чтобы порезать её на куски и приготовить на обед. Захлёбываясь от плача и неистово размахивая кулачками, Трофим отчаянно защищал то, что считал своей собственностью, потому что он совершенно не задумывался над тем, будет ли на обед что-то съедобное или нет. Ему было свойственно думать о хлебе только тогда, когда он начинал ощущать чувство голода в желудке. Во всех остальных случаях буханки хлеба служили ему только для игры, потому что в них можно было делать дырки, тем самым превращая их в пещеры и гроты, которые отлично подходили в качестве тайного убежища для навозных жуков и мокриц. Таким образом, идея Акима представить сома в качестве подарка для Трофима привела к тому, что он опять нечаянно оказался нарушителем спокойствия в этом доме. Мальчуган так долго плакал, пока ему не пообещали, что он получит другой подарок взамен сома. И Акиму пришлось сдержать своё обещание, если он хотел тишины и покоя. Он вырезал Трофиму из дерева флейту, принёс полные карманы водяных орехов, которые выложил рядом с бесчисленным множеством собранных камешков, подарил ему четырёхугольный лоскут, чем-то напоминавший носовой платок. И теперь малыш таскал в нём туда-сюда свои камешки,

поскольку, дескать, он отлично пригодился как раз для этой цели; при этом о своём сопливом носике Трофим даже не думал, потому что тот находился слишком близко под его любопытными глазками, чтобы его можно было рассмотреть. Даже Евлампию он замечал только тогда, когда в ней нуждался. Сестра исполняла роль подсобного рабочего при возведении всех его сложных строительных конструкций, сразу же подскакивала к нему, если он вдруг начинал обиженно всхлипывать, она сидела в углу комнаты на маленькой скамеечке, задумчиво поглядывая на Трофима своими большими, широко раскрытыми глазами. На улице солнце заливало своими тёплыми лучами весь двор, однако дети не хотели там играть и оставались в тени, словно боялись яркого света.

А тем временем Аким стоял за спиной Анисьи или рядом с ней, был там, словно предмет домашнего обихода, который постоянно попадался ей на глаза, в то время как она, возможно, смотрела на сундук или кувшин. Она не возражала против его визитов в её дом, однако в начале их знакомства не вынуждала его присесть. Если он хочет наблюдать за ней во время работы, пусть так и поступает, хотя из всех его бессвязных фраз и намёков она так толком и не поняла, что заставляло его приходить к ней, потому что в каждом произнесённом им слове ощущалась какая-то недосказанность. Анисья даже сомневалась в том, действительно ли ему нужна женщина. В противном случае, полагала она, он бы вёл себя совершенно по-другому, а не дотрагивался бы неуверенно до её руки, как будто ему это пришло в голову только для того, чтобы вызвать её внезапный, безмолвный отпор. Собственно говоря, она вряд ли бы сопротивлялась, но долгое время Аким продолжал вести себя двусмысленно, непонятно и странно, поэтому она ни разу не отважилась затушить свечу, чтобы в темноте он наконец мог спокойно её обнять, когда проводил у неё вечера, тихонько рассказывая ей одно и то же, словно знал только десять слов, которые использовал в речи, и ни одним больше. Пока перед ними лежали спящие дети — Евлампия на кушетке, подложив ладонь под щёку, в то время как синеватые отблески играли на её чрезмерно выпуклом лбу, а Трофим, свернувшись клубком, рядом с печью в окружении всевозможных камешков — присутствие Акима не будоражило кровь терпеливой Анисьи. Возможно, в

конечном итоге Аким бы и мог разбудить её страсть, однако он не производил впечатления мужчины, к которому она чувствовала сильное влечение. Как ни странно, он никак не мог побороть свою робость, и даже если иногда доходило до того, что Анисья уже была готова сделать всё, что он потребует, он внезапно переходил на отвлечённые темы или рассказывал о своих близких. Анисью всегда очень удивляло то, с каким пылким энтузиазмом он говорил о Дуне и Савеле. В такие минуты у него неожиданно развязывался язык, и он мог за один раз рассказать больше, чем за все вечера, которые они проводили в напряжённой, гнетущей тишине. Или, может быть, Аким боялся, что может проснуться Трофим и, потянувшись за своими камешками, увидеть обнажённое тело своей матери? Однако дети спали крепким, беспробудным сном, и в тишине комнаты было отчётливо слышно их спокойное, равномерное дыхание. Что могло их разбудить? Двор был окутан кромешной тьмой, а иногда за окном в небе висело несколько звёзд, похожих на крошечные горящие металлические осколки, на которые Аким мог долгое время неподвижно таращиться. Порой он проводил кончиками пальцев по её губам, гладил ладони, а она охотно позволяла ему это делать, причём без всякого кокетства, свойственного женщинам, и сидела перед ним, смотря на него широко раскрытыми глазами, напоминая Евлампию.

Так прошла неделя. Стояла чудесная погода, лето уже вступило в свои права, а в воздухе над дельтой Дуная радостно носились тысячи насекомых. Савел так и не смог возобновить отношения с Гашей, которая не желала сменить гнев на милость, а Пахом, как и прежде, продолжал тайком слоняться по ночам. Однажды Акиму показалось, что он заметил в окне лицо монаха, отскочившего в испуге, однако из-за сильной усталости он был невнимателен и не мог поклясться в том, что ему не померещилось, поэтому не стал рассказывать об этом Анисье, хотя сам испугался промелькнувшей в окне тени, что у него даже мороз пробежал по коже. Что здесь могло привлечь внимание Пахома? Несомненно, он боялся наткнуться на Акима или Анисью, а в спящей Евлампит не было ничего интересного, как и в любом другом заснувшем от усталости ребёнке. Её худенькое тельце растянулось на мешке с соломой, а её плечи погрузились в него с естественной грацией и изяществом. Евлампия не была

ангельским ребёнком. Но Анисью трудно было представить без дочери, которая казалась Акиму зеркальной копией её матери, только намного моложе. Таким образом, необязательно было иметь брата-близнеца, чтобы существовать в этом мире в двойном экземпляре. Пока Аким носился с подобными мыслями, Анисья думала о питьевой воде, хлебе, рыбе, яблоках, о кофточках Евлампии, которые ей стали малы, об этом мужчине, который, как она предполагала, бог знает где удовлетворяет свои плотские потребности и, тем не менее, каждый вечер появляется у её двери, спрятав за спиной мешочек для Трофима, свёрток для Евлампии или ещё какой-нибудь подарок. Постепенно Анисья к этому привыкла и больше не благодарила его.

Но однажды Аким отчётливо продемонстрировал, что из угрюмого молчуна может вдруг превратиться в совершенно другого человека, и что Анисья сильно ошибалась, когда воспринимала его замкнутость как что-то естественное и привычное и не ожидала никаких перемен. Вряд ли она подозревала о том, что порой он был подвержен резким и внезапным сменам настроения. В тот день они как обычно были вместе, как вдруг дети, игравшие в передней комнате, непривычно расшумелись. Аким отправил их во двор. Он сказал это прямо и без обиняков, добавив, что дети должны играть там, а не торчать всё время в четырёх стенах. Двор, дескать, достаточно большой. Трофим был удивлён, потому что слова Акима прозвучали в этот раз как приказ, от выполнения которого нельзя было уклониться, или даже почти как угроза. Малыш оторвался от своей игры и посмотрел на нелюбезного гостя. На серьёзном детском личике отчётливо читалось смущение и растерянность. Разумеется, Аким повторил своё распоряжение более настойчиво, подчеркнув, что он выразился достаточно ясно. Первое, что сделал Трофим, - это начал подходить ближе к Евлампии. Без долгих размышлений его ноги потопали в том направлении, где сидела сестра, которая уже протянула к нему руки, испуганно поглядывала искоса на Акима и затем выбежала из дома вместе с мальчиком. Сегодня она вела себя спокойно и миролюбиво, послушная Евлампия, утешала Трофима снаружи у порога, что во дворе, мол, тоже хорошо играть, и что она знает одно место, где можно найти саму красивую гальку, белую, круглую и блестящую. Трофим тут же

перестал плакать, услышав о великолепных камешках.

Следующим утром Аким не поехал с Фирсом на лов осетра и остался дома, но не спал, а долго неподвижно лежал на кровати, придумав отговорку, что он якобы приболел и что его мучают боли в ногах от растянутых сухожилий, после чего Дуня принесла ему чай, озабоченно взглянув в его глаза, избегавшие её взгляда, заботилась и ухаживала за ним, и в каждом её действии, которое она делала ради него, ощущалось стремление как-то его утешить. Она окунула тряпку в льняное масло и обмотала ею его лодыжки, за что Аким поблагодарил её, поблагодарил не один раз в порыве охватившего его умиления с трогательной и пылкой восторженностью, которая показалась Дуне болезненно-странной. Тряпка впилась в его кожу подобно туго затянутой пряжке, а от льняного масла зияющие раны зудели, как от горячего воска, поэтому он в конце концов вскочил и поковылял через распахнутые двери в трактир на глазах у сестры, проводившей его растерянным и изумленным взглядом до ворот. Он принялся выпивать, назвал Ивана подлым обиралой и продолжал пить дальше. Если уж приходится платить бешеные деньги за отвратительное пойло, то почему бы не насладиться возможностью бросить в лицо трактирщику пару матерных слов?

И теперь Аким с бешено бьющимся пульсом в горле мчался к Анисье, чтобы получить то, что ему сейчас было нужно, то, что ему причиталось. Дети выскочили во двор и побежали дальше к воротам; Анисья удивилась, увидев намотанную выше башмаков промасленную тряпку, к которой уже прилипла пыль и песок, и спросила, не болит ли у него что-то. Вместо ответа он лишь отрицательно покачал головой, схватил её за плечи, повалил на пол возле печи, сорвал с неё одежду, а она ни малейшим жестом не выразила возражения или сопротивления этому неистовому порыву страсти. Она лежала спокойно, сжав губы, и покорно отдавалась ему. Он целовал её, и улыбался, и матерился сквозь зубы. У Анисьи было молодое и покорное тело, о чем Аким даже не предполагал, она лежала безмолвно, наслаждаясь его ласками. Она заметила паука, который торопливо полз по потолку комнаты; казалось, что пробивавшийся через маленькое окошко свет переливался бледноватыми серо-голубыми оттенками, а каменное лицо Акима смягчилось и прояснилось; рядом с правой

рукой Анисьи валялся опрокинутый лужёный котелок, демонстрирующий свою пустоту и отбрасывающий мерцающий блеск; вдалеке были слышны радостные крики детей, по звуку похожие на звонкие трели. Затем Анисья поднялась, так и не проронив ни слова, пока Аким продолжал лежать на глиняном полу, повернувшись лицом вниз. Постепенно кисловатый запах земли начал щекотать ему ноздри.

Однако его отношения с Анисьей, которые теперь стали более раскованными, не смогли окончательно развеять смятение, в котором он постоянно пребывал, хотя женщина привыкла к нему и старалась вызволить его из дебрей тягостных размышлений. Она не была похотливой, как Гаша, или ненасытной и развратной, как некоторые жёны рыбаков в Килии. Для этого ей совсем не хватало времени, потому что большую его часть она посвящала детям, и в повседневной рутине забот лишь после Трофима и Евлампии доходила очередь до Акима, которого она иногда кротко подзывала к себе. Она спокойно брала его руку и прижимала её к своей груди, а он вряд ли воспринимал это как дерзкий вызов. Анисья могла позволять ему некоторые вещи, но при этом оставалась за пределами всякой похоти и разврата и казалась невинным, целомудренным и очаровательным созданием, подобным ещё не созревшему плоду. Когда Аким узнал её лучше, та простота и суровость, которая была вызвана её бедностью, приобрела для него иной смысл. В то время как в углах комнат других домов красовались образы святых в позолоченных рамках, здесь висела лишь маленькая иконка рядом с заменённым выступом печной стены. Она гармонировала со скромным обликом Анисьи, так же, как и стены комнаты с пожелтевшей побелкой, или её платье, которое было ей узковато и сидело более плотно, чем было принято в здешних краях. А на её старческие руки Аким больше не обращал внимания.

Однако вся беда заключалась в том, что возвращаясь от неё домой каждый вечер, ему приходилось красться через спальню Дуни, чтобы добраться до своей постели. А из-за этого Фирс теперь не мог наслаждаться теми чудесными часами, которые он проводил с Дуней, потому что им приходилось соблюдать осторожность, чтобы не быть застуканными из-за неожиданного возвращения брата. Утрата этого драгоценного времени,

наполненного ласками и нежностью, порой очень огорчала Фирса. Он ожесточался и черствел, и это состояние было под стать его голым ступням, которые с недавних пор наконец вылезли из башмаков. Они были большие, тяжёлые и влажные, эти ступни, которые с приближением каждого лета покидали свою оболочку и нежились на солнце, как будто самостоятельно осознавали радостное освобождение, не имевшее ничего общего с остальными частями тела. По оголённым ступням людей в Вилково сразу можно было понять, что наконец наступила тёплая пора, и перед этим теплом невозможно было устоять. Ступни взрослых и детей шлёпали по песку на берегах реки или по илу. Когда Аким был один, он также постоянно смотрел на свои ступни, которые лежали перед ним на полу, словно отделившись от тела. И тогда в глубине его мутной души поселялось ощущение, будто эти угловатые ступни ещё больше усиливали его уныние и грусть. А когда он вставал, ему казалось, что вместо ступней у него две огромные земляные глыбы, которые ему приходится тащить.

Однако Анисья, очевидно, ничего об этом не знала, и лишь однажды озадаченно смутилась, словно её осенила какая-то догадка, пока Аким долго играл с её ладонью, молча качая её туда-сюда. Но вдруг к нему пришла какая-то мысль, и он резко остановился и прекратил движение. Сразу возникло странное и тревожное чувство, как в первые секунды после внезапной остановки часов. В воздухе повисла гнетущая и призрачная тишина, и Анисья чувствовала, что его мучает боль, которой она не могла найти объяснение и которая, несмотря на всё происходящее, начала тяготить её. Насколько это было возможно, она составила себе об Акиме мнение, которое мало-мальски отражало её отношение к нему, и не обращала внимания на шушуканья некоторых соседок, которые в конечном итоге не могли повлечь никаких серьёзных последствий, поскольку никто не завидовал ей из-за Акима. Ну, а если об этом и судачили, подкрепляя при этом свои сплетни чуть ли не сказочными преувеличениями, то происходило это только для того, чтобы некоторые старухи могли утолить голод своей бурной фантазии. Анисья была бедной женщиной, которая наверняка никогда не обманывала своего супруга. Но ведь она не могла вечно хранить верность умершему мужу, и поскольку Аким, пусть даже

необычным и странным способом, ухаживал за ней, она не видела ничего преступного в том, что отвечала ему взаимностью. Она не считала Акима хуже других, даже если зачастую только ему самому было известно, что он хотел сказать той или иной фразой, произнесённой хриплым и осипшим голосом. Вот только как, ради всего святого, она должна была надавить на него, чтобы точно узнать, почему он превозносит Дуню так, словно сестра настолько безупречна и совершенна, что с неё можно рисовать изображение Богородицы на алтаре большой церкви? И почему он, тихо рассказывая ей о занятиях Фирса, которого в городе никто не мог в чём-либо упрекнуть, всегда говорил о нём с ядовитой желчью, посылая в его адрес злобные проклятия и бормоча себе под нос ругательства, будто тот в этот момент как раз проходил мимо?

Несколько дней подряд он приходил к ней реже. Трофим и Евлампия тоже заметили это со свойственной детям загадочной интуицией и очень радовались, потому что, по всей видимости, недолюбливали Акима, хотя он до сих пор продолжал приносить им леденцы, водяные орехи и тыквенные семечки. Дети чувствовали, что он забирает у них время матери, которое причиталось им, начинали ревновать и часто обсуждали его, когда были одни.

— У него страшные глаза, знаешь, очень страшные глаза, — объяснял Трофим стоявшей рядом с ним сестре свою неприязнь к Акиму.

А Евлампия, которая в этот момент убирала с его лба прядь волос своими хрупкими пальчиками, словно редким гребнем, многозначительно кивнула, нахмурила брови и сказала:

— Такие глаза могут быть только у сатаны, ни у кого в городе нет таких глаз.

Трёхлетний малыш задумался; прежде ему не приходилось

предаваться глубоким размышлениям, и теперь, когда возникла такая необходимость, это стоило ему невероятных усилий и было равнозначно пытке. Досада и огорчение заставили его впервые задуматься по-настоящему. Он не имел представления о том, как выглядит сатана, однако в каждом предложении Евлампии, которое касалось каких-либо качеств Акима, он слышал подтверждение своей неприязни к этому человеку. А запутавшийся в своих чувствах Аким, видевший в Анисье женщину, которая, возможно, сможет освободить его от душевных страданий, даже не подозревал, что дети его очень недолюбливают, и он может их причислять скорее к своим врагам, нежели к друзьям. А они не скрывали недоброжелательное отношение к своему противнику и демонстрировали это открыто и смело.

Однажды на глазах у Акима Трофим растоптал тыквенные семечки, которые тот принёс ему в качестве гостинца. Он топтался по ним, а затем раскидал ногой по комнате, чуть ли не плача от ярости и крича, чтобы Аким их больше не приносил, потому что они горькие и острые.

— Острые, как перец, — прокричала Евлампия и выбежала через дверь, хотя Анисья приказала ей остаться и убрать семечки с пола. Девочка притворилась, что не расслышала слова матери, и Трофим тоже убежал, когда увидел рассерженные и покрасневшие от гнева лица Анисьи и Акима. А во дворе сестра взяла его на руки, будто пытаясь спасти от угрожавшей ему опасности, и помчалась вместе с ним по кладкам вдоль каналов; при этом от быстрого бега она едва не поскользнулась и чуть не упала. Она прекратила бежать только тогда, когда внезапно наткнулась на Соню, дочь мутноглазого Агапа и её ровесницу, которая попыталась её остановить, поскольку опасалась, что Евлампия может оступиться, потерять равновесие и свалиться в воду.

— Я вас не пущу дальше, вам дальше нельзя, — прокричала малышка Соня.

А Евлампия, приняв её за своего врага и подумав, что девочка сговорилась с Акимом, попыталась вырваться, однако уже в следующее мгновение Соня принялась настойчиво и искренне убеждать её остаться с ней и вместе играть, что в конце концов Евлампия поддалась на её уговоры. А когда уже начало темнеть,

Анисья, беспокоившаяся за беглецов и оббегавшая в их поисках всю округу, нашла обоих детей вместе с их новыми друзьями у дома Агапа. Она не устроила им нагоняй; как бы то ни было, она чувствовала себя немного виноватой. Она молча протянула им руки и повела домой своих беглецов, которые, вдоволь наигравшись и нарезвившись, сейчас вряд ли помнили об истинной причине того, почему они сбежали из дома, а только взахлёб рассказывали о том, в какие наряды были одеты сделанные из бутылок куклы Сони. Евлампия ликующим и дрожащим от восторга голосом описывала чудесные нарядные платьица и головы кукол из лоскутков пеньковой ткани, но с настоящими носами и ушами.

Девочки постепенно подружились и часто проводили вместе время после обеда в обществе молчаливых кукол из бутылок, с которыми они обращались так же, как и с Трофимом.

— Он — это та же бутылка, только большая, — высказалась однажды дочурка Агапа о Трофиме, который действительно катался в пыли, словно округлый стеклянный сосуд, держа в каждом кулачке по три или четыре камешка размером с горошину.

Евлампию устраивало то, что Соня приглашала её поиграть, и она охотно следовала за ней, причём всегда не без задней мысли, что делает это умышленно, потому что она хотела таким образом дать матери понять, что уходит от неё специально, пока Аким проводил с Анисьей время. У неё в голове мелькали мысли о мести, которыми она не делилась даже с Трофимом. Она была одинока, замкнувшись в себе вместе со своей обидой на мать, и иногда даже злилась на нелепые шутки детей Агапа. Она забывала об Акиме только тогда, когда один из братьев Сони вырывал у неё из рук бутылку, с которой она увлечённо играла, и с громкими криками убегал, когда сделанная из лоскутков голова куклы съезжала с горлышка бутылки и нужно было её вернуть на место, когда Трофим, которым она порой пренебрегала, снова привлекал её внимание своим громким плачем, или когда она полностью погружалась в волшебный мир своих игр. Эти игры значили для девочки больше, чем самый сладкий грушевый сок или сахар на запечённых дольках тыквы. Только в такие минуты Евлампия ненадолго чувствовала себя счастливой.

Однако по прошествии некоторого времени иногда начали

происходить случаи, когда Соня, которая прежде была полностью увлечена игрой, под каким-нибудь предлогом все бросала и исчезала на час. И тогда, разумеется, приходил конец тому усердию и энтузиазму, с которым они заботились о переделанных в куклы бутылках, а пылкая преданность Евлампии давала трещину, и чудесная игрушка вновь превращалась в безжизненное стекло. Горько разочарованная, она звала Трофима, хватала его за ручку и тащила домой, хотел он этого или нет. Для её маленького братишки наступили сложные дни: он больше не мог совладать с Евлампией; нередко она даже демонстрировала ему, что может прийти в ярость, поэтому он стал её побаиваться. Единодушны они были лишь в том, что очерняли Акима и ненавидели его. В таких случаях Трофим был согласен со всем, что утверждала сестра о злых качествах маминого ухажёра. Евлампия рассказывала брату, что однажды Аким схватил мать за руки и ядовито шипел на неё, и она, дескать, видела своими глазами, как он ел ракушки и камешки, камешки Трофима, белые и красные. Малыш тяжело вздохнул, осознав свою утрату. Неужели ему придётся лишиться всего только потому, что Аким, это чудовище, появился в их доме и не собирался оставить их в покое? Заметив улитку, Трофим тут же позабыл о всех прочих размышлениях. Однако Евлампия чаще вспоминала о своём враждебном отношении и поэтому не осмеливалась смотреть Акиму в глаза. Отвернув взгляд, она кралась вокруг матери, очень редко радовалась и вела себя более открыто, если её противник заходил в ворота позже обычного или целый день вообще не омрачал их жизнь своим присутствием. В такие моменты Соня могла звать её сколько угодно и давать ей какие угодно обещания, но Евлампия оставалась дома, сидела то тут, то там, старалась быть рядом с матерью, ничего не говорила и лишь уклончиво или смущённо улыбалась, если Анисья, обеспокоенная отсутствием Акима, начинала об этом говорить. Да и Трофим снова лежал на глиняном полу посреди комнаты, раскидав вокруг себя гальку, и временами отрывался от своего увлекательного занятия и поглядывал на дверь, чтобы проверить, не идёт ли нарушитель их спокойствия. И если Аким действительно переступал порог, не обращая внимания на Трофима, малыш начинал бросать камешки в стены, из-за чего обсыпалась штукатурка, образуя

маленькие серые отверстия. В эти дырки Трофим совал свой указательный палец, когда был уверен, что Аким находится с матерью в соседней комнате, выковыривал ногтем ещё что-то и размышлял. Малыша охватывала печаль, оставляя на некоторое время отпечаток на его низком лбу.

Куда же пропадала Соня, когда она так неожиданно бросала остальных девочек, озадаченных её внезапным уходом, и исчезала из поля зрения опечаленных подруг, скрывшись за стоявшими недалеко ивами? Однажды Евлампии надоело просто так бросать увлекательную игру и тащить Трофима домой, пока Соня занимается чем-то таинственным. Она осторожно последовала за Соней в том же направлении, пока Трофим с другими мальчиками сгребал на берегу канала глину и песок, чтобы построить какой-то маленький рыбный склад. Сначала девочке не удалось сразу же обнаружить следы подруги, потому что ей преграждали путь кусты и бурно разросшиеся сорняки. И всё же вскоре Евлампия услышала впереди шаги ничего не подозревающей Сони, пока она наконец не остановилась в укромном месте возле мостика, который состоял лишь из пары неплотно сколоченных планок. Там девочку ожидал монах Пахом, который растопыренными пальцами правой руки держал крошечного кролика. Соня издала восторженный возглас, увидев живую пушистую шкурку в руках монаха, и даже Евлампия чуть не забылась и не выскочила из своего укрытия. Однако она дорожила своим честолюбием и сдержалась. Нет, её не приглашали на эту встречу, хотя ей казалось странным, с чего вдруг Соня лишала её радости увидеть кролика. Монах говорил и говорил без умолку, его язык торопливо подпрыгивал туда-сюда под всклокоченной бородой, а Соня время от времени гладила спину кролика. Пахом очень суетился, сегодня он без труда находил нужные слова, соединял их вместе, и его речь напоминала мурлыканье кота; он смеялся, и его веселый смех со свистом вылетал через все дырки в зубах, а затем поднял кролика высоко над своей потрёпанной монашеской шапкой, которую он носил зимой и летом, из-за чего Соня не могла дотянуться до пушистой шкурки, опечалилась и покачала головой. Тогда он вновь засмеялся своим странным смехом, похожим на собачий лай. Однако даже Евлампия не обратила на это особого внимания, потому что кролик и ей казался драгоценным

сокровищем, от которого она не могла оторвать глаз. Тем временем монах вытер левой рукой выступивший на лице пот и вытер ладонь о рясу, расстёгнутую у шеи. Вероятно, он пытался в чём-то убедить Соню и потрепал её по плечу. Он делал это очень искренне, наклонился к её уху и неожиданно из него снова вырвался странный глухой смех, словно его рот был наполненный пылью. Да, Пахом как никто другой умел обращаться с детьми.

Даже Евлампия говорила себе это всю дорогу, прежде чем на обратном пути к дому Агапа она догнала свою подругу и призналась ей, что тоже видела чудесную зверушку. Она знала, что во время наводнения Пахом заботился о Соне и её братьях и кормил их белым хлебом, однако тот факт, что монах отыскал укромное место возле мостика только для того, чтобы показать девочке кролика, представлял способности Пахома обращаться с детьми в более привлекательном свете, особенно для Евлампии, чувствовавшей себя одиноко и испытывавшей недостаток любви и ласки. Остальные мужчины в городке рыбачили и упивались сивухой, а Аким не оставлял их мать в покое. Похоже, только Пахом точно знал, что нравилось Соне и ей самой. А, значит, ему было не всё равно, будет ли кто-то восторженно удивляться его шуткам и бог знает откуда принесённым чудо-зверушкам или же чувствовать себя обделённым, огорчаться и предаваться смутным мыслям, спрятавшись в тени айвового дерева или забора. Летом всегда приятно находиться в тени. Тень можно было найти под листвой, за кустарниковыми изгородями, за одной из четырёх стен дома в зависимости от времени суток. Монах не только умел ладить с детьми, он, возможно, дарил им радость. Но когда Евлампия завела об этом речь, Соня сразу же замолчала, приняв скрытный вид, словно могла общаться со своей подругой без слов.

— Не говори никому об этом, — попросила она, — понимаешь, Пахом запретил мне об этом рассказывать, иначе он не сможет завтра принести кролика.

Евлампия понимающе кивнула. Она точно не подведёт, будет держать язык за зубами и ни в коем случае никому не проговорится. Даже Трофим никогда не узнает о том, что она видела у монаха живого кролика и что Соня действительно прикасалась к нему своими собственными руками.

В этот раз Пахом вёл себя более осмотрительно. Камни уже достаточно часто летали ему в голову и свистели мимо ушей. Он закрыл свои синеватые веки, и его губы растянулись в улыбке. Никто не должен об этом узнать, ни любопытный Яков, ни Флоря. Пахом не собирался забивать кролика, чтобы его съесть, хотя мог бы утолить таким образом свой голод. Кролик нужен был ему только для того, чтобы показывать его Соне, поэтому никто не сможет пожаловаться, что животное исчезло навсегда, никому не придёт в голову такая мысль. Он незаметно подкрался ко двору, который стоял в стороне на окраине рыбацкого городка, и долго, с ангельским терпением, подзывал к себе собаку, почесал ей холку, при этом дрожа от страха, что собака может его укусить, затем осторожно погладил её по лбу между глаз. Он повторял эту процедуру каждый день, пока животное к нему привыкло и не начинало лаять, если он появлялся поблизости. Несомненно, собака была более доверчивой и ласковой, чем Мара, которая лишь громко ругалась на него, и, похоже, постепенно привязалась к монаху и освобождала ему тропинку, которая вела к сараю, построенному из переплетённых ивовых веток. А оттуда он постоянно выходил с кроликом на руках, трусливо оглядываясь по сторонам своими безумными глазами. От страха у него тряслась голова, торчавшая на немощной дряблой шее. Он исчезал с кроликом на час, чтобы потом, осторожно спрятав его в складках своей рясы, честно вернуть обратно. Только тогда он не осмеливался ещё раз пройти через непослушную, тяжёлую и скрипящую стальную дверь, а приседал на корточки во дворе и отпускал кролика, который поспешно возвращался в свою клетку через вырытое отверстие под стеной. Да, честность монаха была чем-то особым! Но люди не должны были говорить, что он, как крыса, ворует кроликов и сворачивает им глотки, словно острыми клещами; особенно Мара, которая из всех его противников была самым опасным врагом, не должна была ничего заподозрить своим проницательным чутьём. Похоже, для Пахома было очень важно, чтобы его снова не застукали как вора, и поэтому он голодал теперь чаще, чем обычно, чтобы удовлетворить своё непонятное желание и дать возможность Соне погладить мягкую зверушку. И тогда девочка тихонько говорила:

— Шу-шу-шу, его мех такой гладкий и нежный, как у листьев

мака.

И Пахом повторял эти слова каждый раз, когда вспоминал о Соне, останавливался, закрывал глаза, вытирал ладонью выступившие на лбу или висках капельки пота и восторженно напевал своим блеюще-визгливым голосом:

— Шу-шу-шу.

Наверняка его больше нельзя было упрекнуть в нечестности, однако его постоянно не покидал страх, и прежде всего, когда он обходил окольными путями пост Флори, делая при этом большой крюк, или замечал издалека Мару с её собаками. Тогда он, долго не раздумывая, бросался наутёк что есть мочи. Он убегал и прятался в безопасном месте. Однако голод тоже доставлял ему хлопот, давая о себе знать болями в желудке, урчанием в животе и головокружением, когда палящее солнце со всей своей мощью припекало его монашескую шапку. Пахом сильно исхудал и стал ещё более тщедушным, прямо весь скукожился; слишком тяжело давалась ему вся эта честность, слишком чётко представало всё перед его засевшими глубоко в голове мыслями, которые он то и дело пытался прогнать из потаённых уголков. Ах, сплошная измождённость и протяжное «Шу-шу-шу» при каждом воспоминании о Соне! Святые небеса, как же можно так жить изо дня в день? Перед складами стоял едкий запах рыбных внутренностей, как будто кто-то разлил кислоту, а айва была пока что размером с орех, зелёная и противная на вкус, как уксус. Какой прок лезть за ними через забор, обрывать с веток и пытаться грызть, если с их помощью не утолить голод? Прошли те времена в период наводнения, когда можно было набраться наглости и потребовать в городской администрации белый хлеб для своих питомцев. Из-за этого Мара ему завидовала. Если он слонялся вокруг рыбных коптилен с их покрытыми сажей стенами, блестевшими на солнце, ему иногда перепадал кусок рыбы с темно-золотистой чешуёй. Тогда он жадно отщипывал от него кусочек за кусочком, проглатывал всё, разжёвывая своими тупыми зубами и озираясь вокруг с опаской, что кто-нибудь может его прогнать, хотя он был полностью поглощён поеданием наконец перепавшей ему пищи. У старика Калистрата ему часто удавалось выклянчить кусок хлеба, который он выпрашивал, блея жалобным голосом, и в большинстве случаев добивался своего. У Сони он не просил ничего, ни горсточки мамалыги, ни

хлебных крошек. Даже если она грызла перед ним тыквенные семечки, выплёвывая лузгу, он только молча щурился, делая вид, что ничего не замечает.

Однако главным местом, которое в дни нужды непреодолимо притягивало его жадный и полный тоски взгляд, словно волшебная страна, был магазинчик Еремея, мясная лавка в Вилково. Люди шли к Еремею, если лов сельди оказался удачным, если они полагали, что в кармане есть пару лишних лей, которые можно потратить, если приближалось Рождество, Пасха или Троица, либо планировалась свадьба с шумным пиршеством. Окровавленный фартук мясника всегда был в рыбацком городке признаком предстоящего праздника. Он свисал с его тела, как многообещающий символ богатства и изобилия. Пахом был рад, что Еремей терпел его и позволял рассматривать выставленный в витрине товар. А товар этот был действительно истинным чудом с его богатством цветов, белых, жёлтых и розовых, сиреневых и красных. Перламутровым блеском мерцали высушенные кишки и пузыри, рядом с ними висели аккуратно разрубленные бараньи туши и говяжьи бёдра, а глаза телячьих голов напоминали мутное стекло. Мясо в изобилии красовалось в каждом уголке, покрытое жировой оболочкой, похожей на воск и простоквашу. Из нежной мякоти выглядывали кости, а из свежих и сочных кусков мясной массы, в которую Еремей с наслаждением втыкал свой нож, сочилась кровь. От всего исходил сладковатый и мощный запах свежего мяса. Здесь были нескончаемые горы забитых и разрубленных на куски туш, мышц, печени, почек, лёгких, потрохов и прозрачных жил, сочетание матового жира и раскроенных тазобедренных частей. Да, что ни говори, тут взору покупателя открывалась целая мясная страна. Она была так близко и всё же, спрятавшись за стеклом витрины, оставалась недоступной для дрожащих пальцев монаха, который мог ею только любоваться. Пахом кусал нижнюю губу и вытирал потные руки о свою рясу. И если случалось, что мясник подходил к двери, монах начинал расхваливать его, наклонив голову и притворяясь, что разговаривает сам с собой.

— Еремей, — бубнил он, — продаёт то, что вкусно. У Еремея самые лучшие телята в Вилково. Их лёгкие мягкие и нежные, как хлебный мякиш. Тот, кто может их купить, ест их с уксусом и

жиром.

Но тот, кому предназначались эти слова, никогда ничего не говорил в ответ. Он стоял с надменным видом в своём фартуке, задумчиво и всё же мечтательно смотря в небо своими маленькими глазами, словно обнаружил в облаках что-то из своего имущества. Пахом продолжал бормотать, говорил намного понятнее и громче, не будучи уверенным, что до слуха Еремея доходят его слова. Другие люди всегда его замечали и слышали, о чём явно свидетельствовали их оскорбления и камни, летевшие ему вслед, но для этого гордеца он, похоже, был бестелесным и безголосым, как воздух. Иногда монах, смущённо улыбаясь, лицемерно говорил в качестве приветствия:

— Да хранит тебя Бог, Еремей.

Однако даже это не давало никаких плодов и не приводило к взаимопониманию. Мясник оставался глух, если ему было так угодно.

Зато у Мары был более острый слух, от которого ничего не ускользало. Хотя она всегда кричала так, словно обращается к тугоухим, шаги Пахома она распознавала ещё издалека, прежде чем он показывался в её поле зрения. Несмотря на то, что монах изо всех сил старался добиться расположения прорицательницы, его постоянно охватывал страх, когда он приближался к ней. Как-то раз после ночи, проведённой в беспокойном, прерываемом стонами сне, она даже обнаружила в задней части двора глиняный горшочек, который был аккуратно замотан в тряпку, а рядом с ним Пахом, чтобы быть узнанным в качестве дарителя, нарисовал палкой в песке фигуру. В рисунке были легко узнаваемы облачение священнослужителя и монашеская шапка, поскольку Пахом, по всей видимости, имел талант к рисованию, чтобы изъясняться подобным образом. Пару секунд Мара накапливала во рту слюну и затем гневно сплюнула на

землю перед собой. Однако то ли потому, что из-за приятной погоды она, вопреки своему обыкновению, была в этот день настроена благодушно, то ли потому, что всё-таки хотела удовлетворить своё женское любопытство, она не швырнула сосуд в ближайшую стену и не наступила на него, чтобы без труда раздавить пяткой на мелкие осколки, а издала короткий глухой смешок, наклонилась к горшочку и развязала пеньковую верёвку, которой была привязана тряпка вокруг горлышка. Горшок был наполовину наполнен мёдом. Густая жидкость блестела на солнце и медленно колыхалась, отражая нахмуренное лицо Мары. Мёд приятно пах липой и переливался янтарными красками. Мара вылила пару капель себе на ладонь и слизала мёд языком. Обе собаки терлись мехом о ноги женщины, прислушивались, поглядывали на неё. Только богу известно, где Пахом смог раздобыть этот мёд, чтобы выразить с его помощью своё преклонение.

А когда почти голый Фирс, который, видимо, ещё не до конца проснулся и двигался немного заторможено, вышел из дома, чтобы вылить на себя воду из деревянного ведра и стряхнуть сон, она его остановила, посмотрела на него отрешенным взглядом и сказала:

— Он принёс мёд, этот Пахом. Мёд сладкий, очень сладкий. Съем всё без остатка. Однако этому негодяю от этого легче не будет. Наверняка он не скоро покажется мне на глаза. Я ещё не забыла про детей и не дам ему белого хлеба как тот глупец, городской голова, — и сжала в кулак ладонь, к которой прилип мёд.

Поскольку мысли Фирса витали в другом месте, он только кивнул в ответ и пошёл к ближайшему дереву, чтобы скрыть за его стволом свою наготу от глаз Мары. Прохладная вода приятно полилась по его телу, и на кудряшках волос на его груди повисли капельки, блестевшие на солнце, которое уже залило весь горизонт на востоке ярким светом. Фирс всё ещё не мог забыть свои сны, сны о Дуне и Савеле. Он встретил Савела накануне, и тот, в полной растерянности и снедаемый беспокойством, без долгих объяснений поведал удивлённому слушателю о мучившем его горе, признался ему во всём без оглядки и просил совета, как вернуть Гашу и навсегда отбить её у Флори. Однако для этого нужен был острый и находчивый ум, а Фирс не принадлежал к

числу людей, которые могли быстро думать, поэтому он не смог посоветовать Савелу ничего другого, кроме как забыть всё, что происходило этой зимой вместе с айвой и иконой Василия Блаженного, и, возможно, попытаться ещё раз уехать в более спокойные края. Однако этими словами он, сам того не желая, ещё больше разозлил Савела. Ведь тот обратился к Фирсу за помощью, чтобы попросить разумного совета, каким образом можно переманить Гашу у румынского караульного, а не для того, чтобы его уговаривали бежать от опасной женщины. И теперь Фирс снова размышлял, что же делать с Савелом, но ему так и не удавалось найти выход.

Савел и с Пименом часто разговаривал о Гаше, расспрашивал его, давал ему понять, что хотя Флоря и был блюстителем порядка, он не был ангелом-хранителем Гаши, в ответ на что слышал от ничего не подозревавшего мечтателя только хвалебные оды в честь румына. Пимен снова жаловался, что у него выпадают волосы. Он завидовал Флоре; у того, мол, шикарная шевелюра, а не облысевшая голова с горсткой редких, поседевших волосинок, как у него самого. Конечно, у Флори шапка плотно сидела на голове и не скользила туда-сюда, словно по гладко отшлифованному пушечному ядру. А вот ему приходится худо, ведь несмотря на то, что он смазывает голову жиром, керосином и прочей вонючей гадостью, он всё равно каждый день находит выпавшие волосы в шапке, а не под ней, где они должны расти по божьему замыслу. Проявлять терпение и выслушивать Пимена, описывавшего своё горе на все лады и находившего для караульного только хвалебные слова, было очень тяжело даже Савелу, который сдерживался, как мог, просиживал там бесконечные часы, чтобы разузнать хоть что-то полезное для себя. Однажды, когда он был сыт по горло разглагольствованиями Пимена, он дерзко спросил его, неужто тот собирается оставить Флоре в наследство всё своё имущество, свой дом со двором и всем, что в нём находилось, включая Гашу. Пимен ответил, что не собирается, захихикал, подмигнул и задумчиво спросил, откуда у Савела берутся такие мысли. При этом он трусливо ощупал пальцами голову в поисках волос.

Таким образом, вселить беспокойство в Пимена или выбить его из привычной колеи оказалось нешуточным делом. Он жил, заточённый в воображаемом мире грёз в окружении своих

причуд и странных фантазий, и в этом из всех жителей рыбацкого городка он больше всего походил на Мару, даже если никто об этом не говорил. Поэтому он без труда обходил каждую ловушку, которую пытался расставить для него Савел. Зачем ему было узнавать о Гаше вещи, которые, возможно, наведут его на ненужные размышления или побудят к каким-то действиям? Зачем утомлять себя злобными размолвками и ссорами в эти и без того невыносимые летние дни, когда ветер хлещет в лицо, словно горячая вода, только для того, чтобы угодить Савелу, который при всей свойственной ему доброжелательности и щедрости скорее всего был круглым глупцом? Вот Флоря — это был особый случай. На днях он повёл себя по отношению к Пимену очень дружелюбно, выделив его среди прочих жителей города поистине братским приветствием, и разговаривал с ним, как с равным, не иначе как с представителем городских властей, а не так, как с человеком, который, собственно, должен был походить на всех остальных рыбаков, и, тем не менее, не желал пошевелить и пальцем, чтобы поймать хоть жалкую рыбёшку. Эти упорно трепыхающиеся создания казались Пимену скользкими и противными. Порой даже случалось, что у него мороз пробегал по коже, когда ему приходилось брать в руки рыбу. Видимо, Флоря был такого же мнения о всех обитающих в воде тварях; он не раскрывал рот от удивления и не делал изумлённый вид на радость самым добропорядочным жителям городка, когда кто-нибудь хвастливо сообщал ему о пойманной самке белуги длиною с дерево. Похоже, ему было абсолютно безразлично, идёт ли речь о тонне икры или больше; когда другие слушали об удачном улове, затаив дыхание, он не отрывал взгляда от исписанных таинственными текстами страниц своего блокнота. И Пимен чувствовал, что ему не нужно опасаться Флори, поскольку он был у него в милости, даже если тот не обмолвился об этом ни малейшим намёком. Однажды, после той ночи бурного загула в трактире Ивана, румын посоветовал ему не очень-то доверять Савелу и остерегаться его. А он, Флоря, будет за ним наблюдать и клянётся в этом римским правом. При этом Флоря слегка прищурил свой правый глаз, и Пимен почувствовал глубокое почтение к человеку, который считал его своим доверенным лицом в этот знаменательный час.

— Римское право, — шептал он себе под нос, — римское

право.

И, робко пожав на прощанье протянутую ему руку Флори, добавил:

— Римское право — это удивительная вещь, в которой, без сомнения, разбираются только грамотные люди!

А румын был одним из таких людей, да и кто бы осмелился сказать, что ещё написано на страницах его блокнота в чёрной, празднично блестящей обложке? Караульный был истинным примером целомудрия, строгости и непоколебимости. Именно по этой причине он вёл себя дружелюбно не с каждым. Ведь он хорошо знал свои законы.

Нельзя сказать, что Савел жутко боялся власти, которой был наделён Флоря, или его поистине стального взгляда, которым тот будто пилил людей. Ведь в конце концов Савел не зря принадлежал к многочисленной братии рыбаков, а Флоря был никем иным, как преемником Тудосе, оплачиваемым холопом, подчинявшимся приказам городского головы, даже если ему удалось завоевать сердце такой тщеславной гордячки, как Гаша. Однако ради своего благополучия не следовало забывать о том, что Савел не напрасно считался во всей округе самым лучшим умельцем считать в голове цифры. И Флоря также должен был это помнить. Разумеется, в одиночку, без помощи товарищей вряд ли удастся разобраться с Флорей, это будет неоправданный риск. В эти тёплые летние ночи самые сумасбродные мысли Савела о мести росли, как дрожжевое тесто, а вся его весёлость исчезла. И теперь в душные ночи не только Аким ворочался без сна на траве во дворе, подсунув ладони под голову или сжав их в кулаки и расставив в стороны, таращась застывшим взглядом в звёздное небо. Однажды Дуня резко остановилась перед ним и сказала испуганным голосом:

— Ты очень изменился, Савел, теперь ты стал похож на брата. Такое чувство, что даже твой голос теперь напоминает по

звучанию его голос. Порой я больше не могу вас различить.

Савел презрительно скривил рот, как обычно делал Аким, засмеялся, стал смеяться громче, и этот непонятный смех вписывался в общую странную обстановку это дня с его удушливой духотой.

— Я бы не знал, что со мной случилось, сестра, однако сегодня Мара сказала мне то же самое.

В течение многих дней он не ходил на рыбалку за осетром, просыпался утром ещё до старика Калистрата и ускользал из дома, потому что ему было неприятно не давать ответа на вопросы Фирса и своих близких и только молча пожимать плечами. Однажды в ивовых зарослях он заметил Пахома и рядом с ним малышку Соню с радостно-ликующим взглядом, а через несколько шагов он неожиданно наткнулся на Евлампию, которая отпрянула назад и покраснела, будто её застукали за преступлением, невнятно промямлила ему слова приветствия, на которые он даже не обратил внимания. Однако через некоторое время он снова встретил монаха и обеих девочек, потому что бродил кругами по кладкам вдоль каналов, не имея представления, где он, слонявшийся теперь без дела по всей округе, вообще находится.

А однажды во время его блужданий ему встретился аптекарь Наум, который вопреки своему обыкновению не прошёл поспешно мимо него, как он поступал всегда, словно в лавке его ожидало человек десять клиентов, которые горели желанием приобрести его чудотворные мази и настойки. В этот день на нём был новый костюм, и, возможно, кто знает, он сожалел о том, что не может надеть из-за летней жары свои резиновые сапоги, которые выставлял на всеобщее обозрение во время наводнения. Эти драгоценные резиновые сапоги выделяли его среди прочего люда даже больше, чем серая ткань его наряда, хотя, по правде говоря, при таком солнцепёке в них бы слишком потели ноги, он бы только мучился, ощущая жжение своих чувствительных стоп, и в конечном итоге ему бы всё равно пришлось топать домой босиком, перекинув через плечо эту блестящую чёрную уродливую обувь. Однако сегодня, похоже, ему было не до отличий, выделявших его среди других, и тем более он не рассчитывал на то, что Савел снимет кепку в знак приветствия, на которое ему придётся ответить кивком головы. Такой

вежливости от молодого рыбака, измученного любовным горем, он мог бы ждать, вероятно, очень долго, так же долго, как и больных в городе, которым бы потребовалась его помощь.

Немного робко и, тем не менее, решительно он подошёл к Савелу и протянул ему руку, которая была похожа на высохший и скорчившийся корень. Он не чувствовал неловкости и сразу знал, что собирается ему сказать, отнюдь не колебался, и на языке у него уже вертелось первое слово. Более гнусавым, чем обычно, голосом он сказал:

— Это утро, Савел, это утро очень жаркое, и эти чудесные летние дни меня совсем не радуют. Я всё время торчу в задней комнатке своей лаборатории и практически не шевелюсь; я старею, сам того не замечая. Мои суставы совсем закостенели.

Савел посмотрел ему прямо в глаза пронзительным взглядом, в котором чётко читалось нежелание завязывать разговор. Наум заметил это, схватился за локти, будто боясь их протереть, однако продолжил говорить, словно он был курантами, которые должны закончить бить, потому что этого требовала натянутая пружина в их механизме:

— Наверное, ты удивляешься, Савел, почему я тебя сегодня остановил и рассказываю всё это. Да и откуда тебе знать? Наверняка эта мысль промелькнула у тебя в голове. Но послушай, мне нужно больше двигаться, нужно как-то размять мои заржавевшие кости. А одними лекарствами этого не добьёшься, о чём, разумеется, не следует распространяться в городе. С этой целью было бы неплохо ежедневно садиться за вёсла, но для этого мне нужна лодка, понимаешь, конечно, не большая, не для транспортировки огромных белуг и севрюг, а такая, в которой бы хватило места для меня и ещё кое-кого, скажем так, для меня и одного клиента, для меня и одного человека, которому нужно быстро возвращаться из аптеки к своим тяжелобольным членам семьи, к своему ребёнку, к своей матери. Поэтому обдумай мою просьбу своим острым умом. Ты самый лучший специалист в городе в вопросах, которые касаются лодок, у тебя этого не отнимешь, даже если Флоря осмеливается хладнокровно опровергать это. Наверняка ты знаешь, где можно найти лодку, которая бы подошла для моих целей, ты точно это знаешь, Савел, тебе нужно только вспомнить. Такие вещи порой просто выпадают из головы. Само собой

разумеется, для подобных размышлений требуется время. Время нужно даже самому мудрому человеку на земле, поэтому не нужно слишком беспокоиться и принимать близко к сердцу мою просьбу по поводу лодки. Дело совсем не срочное. Однако мы бы могли предметно обсудить этот вопрос и наверняка смогли бы найти взаимовыгодное решение. Я был бы рад получить твой совет, потому что я по достоинству ценю людей, которые разбираются в своём ремесле, а ты способен на гораздо большее, ты прекрасный знаток водных транспортных средств, которого Вилково, собственно, вообще не заслуживает. Таким образом, ты мог бы оказать мне услугу, и поверь, тебе не придётся жаловаться на вознаграждение. Никто не работает бесплатно, никто не раскидывается своими знаниями просто так. Любой труд должен оплачиваться, и от меня, Савел, ты тоже получишь свой гонорар.

У Савела, на которого вылился весь это словесный поток, даже не было возможности вставить хоть что-то в ответ. Он удивлённо смотрел на Наума, понемногу выходя их своего рассеянного состояния, моргал глазами, кивал, снова кивал, и наконец сказал, что об этом вопросе можно подумать, что дело стоящее. Возможно, он и не такой известный специалист, как полагает аптекарь, однако всё же в состоянии отличить прогнившую древесину от прочной и качественную смолу от водянистого сырого масла. Кроме этого, он, дескать, точно знает, какой киль лучше разрезает воду. Однако это не делает его мудрецом. Аптекарь энергично закачал головой в знак протеста, как будто ничего не могло заставить его сменить своё уже давно составленное суждение. Он, мол, всего лишь врачеватель, и, тем не менее, позволит себе ещё раз подчеркнуть, что город просто не заслуживает такого знатока в лодочных вопросах. Просто подлатать лодку и произвести чудесный ремонт, как это неоднократно делал Савел, это, нужно заметить, две разные вещи. Жаль только, что у Савела нет денег, чтобы построить собственную верфь, настоящую, большую верфь, подходящую для производства любых лодок, которые необходимы для рыбной ловли в дельте реки. Савел, который уже успел отвернуться, снова повернулся к аптекарю и улыбнулся, представив себе верфь, но его мысли снова вернулись к Гаше, к воспоминанию о том, как она недавно стояла перед ним с дрожащими коленями под юбкой.

— Да, — ответил он, — приличная верфь здесь бы не помешала, а древесину в больших количествах можно было бы купить в Измаиле или даже в Галаце, который по слухам является ещё более богатым портом.

— Галац отправляет древесину до самого Египта и Сирии, — сказал аптекарь, удивлённо подняв брови, и этими словами в одно мгновение вернул Савела на землю и разрушил его самые смелые мечты, которые тот лелеял ещё пару секунд назад.

— Верфь, конечно, — продолжил он спустя некоторое время, — верфь должна быть построена вместе со всеми деревянными складами, которые полагаются для этого дела. Но прежде ты должен раздобыть мне лодку, я не хочу ничего покупать, не получив твой ценный совет. Ты обещаешь помочь мне в этом?

При этом в гнусавом голосе аптекаря чувствовалась какая-то торжественность и значительность. Савел не сразу осознал всю серьёзность данного вопроса и спрашивал себя, не тронулся ли Наум умом. Но, похоже, аптекарь был в здравом уме, подтверждением чему была логичная последовательность их разговора. Осторожно и с какой-то набожностью в движениях он принялся вытирать белоснежным носовым платком свой блестящий от пота нос, водя этой щегольской вещицей то вверх, то вниз, пока Савелу, несмотря на уважительное отношение, наконец не надоело всё это благочестивое поклонение чистоте. В конце концов Науму не следовало вести себя так, словно его орган обоняния — это рука святого из кованого золота в церкви, которую церковный служка натирает целую неделю, чтобы в воскресенье она выглядела чудотворной. Ведь нос аптекаря, как бы он его ни тёр, оставался обычным красным носом.

— Я не слышал, чтобы кто-то продавал лодку, — сказал Савел, — но я тебе сообщу, если услышу что-нибудь по этому поводу.

На этом он уже хотел отделаться от Наума и продолжить свой путь. Однако аптекарь хорошо знал, чем его можно удержать. Как бы между прочим он заметил:

— Конечно, я мог бы попросить Пимена узнать, не продаёт ли кто лодку, ведь он со многим общается и, как правило, абсолютно ничем не занят, однако я не доверяю ему так, как тебе.

— Пимена? — удивлённо воскликнул Савел, который вновь

внимательно слушал своего собеседника. Для него было новостью то, что Пимен что-то соображает в лодках.

— Конечно, — ответил аптекарь и при этом насупил брови, — однако у Пимена, по всей видимости, и так достаточно хлопот с его женой и не в последнюю очередь с Флорей.

Этими хитрыми словами он попал точно в цель; бросок был удачный, и Савел сделал шаг назад, а затем снова вперёд, уставившись прямо в глаза аптекаря, которому вдруг стало как-то неудобно в его костюме, как будто он сковывал каждое движение. Неужели его наряд неожиданно стал ему тесен? Наум на мгновение побледнел, полагая, что перегнул палку, но, тем не менее, нерешительно произнёс:

— Ну, в конце концов, это неудивительно, ведь Гаша — красивая женщина, и мужчинам её два раза просить не приходится. Флоре живётся неплохо.

— Флоре живётся неплохо, — повторил Савел, охваченный гневными мыслями и всё же осознающий то, что последними словами он выдал себя и теперь стоял как обнажённый со всеми своими горькими страданиями напротив своего товарища по несчастью.

— Разумеется, — сказал Наум поспешно, — нужно было бы помочь Пимену и просветить его.

— Я уже пытался это сделать бесчисленное множество раз, — ответил Савел громко, открыто и возмущённо. — Он слишком труслив, чтобы посмотреть правде в глаза, — чуть ли не кричал он, — а жена ему изменяет каждый раз, когда он поворачивается к ней спиной. Это просто позор для всего города. Караульный делает всё, что ему заблагорассудится.

— Говоря по правде, — продолжил Наум после нескольких секунд напряжённой паузы, — это плевок в лицо всему рыбацкому народу, оскорбление всем, кто относится к рыбакам. С какой стати румын хозяйничает в ваших гнёздах?

Судорожно сжав кулаки, Савел утвердительно ответил на вопрос, всем телом затрясся от гнева, и при выдохе у него вырвалось злобное шипение.

— Скоро мы устраним этот недостаток, — скрипя зубами, произнёс он и замолчал, чтобы больше ничего не говорить и по оплошности случайно не сболтнуть лишнего.

— Я с тобой совершенно согласен, — прозвучал ответ

аптекаря, — я тоже считаю, что с этим нужно разобраться. Ну а что касается покупки лодки, прошу тебя обмозговать этот вопрос твоим острым умом. Твои честные старания обязательно будут вознаграждены.

— Ах да, лодка, — ответил Савел озадаченно и всё ещё как обухом по голове ударенный, — конечно, я не останусь равнодушным к твоей просьбе помочь с покупкой, и если уж на то пошло, в этом деле на меня можно положиться. Даю тебе честное слово.

С этими словами он приложил руку к козырьку своей кепки и свернул на более узкую кладку; он хотел побыть один, немного успокоиться и обуздать бушевавшие в нём страсти, потому что пульс бешено стучал в его венах, а кровь приливала к коже. Он сможет найти общий язык с Наумом, и тот получит самую лучшую лодку, ведь Наум заслуживал самой лёгкой и самой знатной лодки, которую только можно будет найти в округе. А судьба Флори вскоре изменится.

Вскоре произошли некоторые вещи, которые дали повод слухам. Однажды средь бела дня Мара неожиданно появилась перед румыном, скривила губы в ехидной ухмылке, обнажив свои жёлтые лошадиные зубы, и предупредила его о Савеле, который, дескать, во всех уголках городка разжигает к нему вражду. Люди, мол, шепчутся о том, о сём. Она бормотала, что Гаша, конечно, пышная красавица с белой кожей, на которую любо-дорого посмотреть, однако соблазнительные формы не должны никого делать глухим и немым, ха-ха, иначе можно оказаться с рассечённым топором черепом.

— А кровь на вкус сладкая, — продолжила она после недолгой паузы, пока смотрела ему в глаза, — кровь хорошо прилипает к кончикам пальцев.

Флоря немного покраснел, хотя прежде ему всегда удавалось сохранять спокойный и невозмутимый вид, что бы ему ни говорили.

— Убирайся прочь, — неожиданно закричал он на прорицательницу, — мне не нужны твои грязные таинственные предположения, я в состоянии сам разобраться с этим трусливым негодяем.

Он бросил эти слова ей в лицо, словно острые камни. Однако Мара совсем не испугалась закипевшего от ярости Флорю,

которого прежде никто в городе не видел в таком состоянии. Она стояла перед ним и даже не моргала, напоминая глиняного истукана, а слова караульного разбились в щепки об её задумчивое, каменное и абсолютно непробиваемое выражение лица. Это было в стиле татарки, которая в одночасье будто превращалась в каменную глыбу, и тогда уже её было ничем не пронять, которая могла находиться на расстоянии одного шага и, тем не менее, быть недоступной. Она больше ничего не сказала и не прилагала усилий, чтобы объяснить всё Флоре каким-то другим образом, а лишь медленно подняла обе руки ко лбу, широко растопырив пальцы, покачала головой и, практически не отрывая ступни от земли, побрела по улице, увязая в горячем песке.

— Тьфу, — вырвалось у неё, когда проходила мимо церкви, повернув взгляд в другую сторону, — ну и ладно, тогда я больше ничего не знаю.

Однако предостережения Мары всё же крепко засели в голове у Флори, хотя он и не прекратил из-за этого свои отношения с Гашей.

Однажды постоянно недовольная жена Агапа шепталась со своими соседками о низости караульного, которого она назвала подлым, но, к сожалению, всё-таки красивым мужчиной. Она судачила, что Гаша, похоже, хотя в это и трудно было поверить, стала его жертвой; это такое горе, страшное несчастье, потому что в городе живут только верные жёны, богобоязненные и порядочные, которые не обращают внимания на похотливые взгляды чужих мужчин. Иначе возникла бы поистине уйма проблем, если отвечать взаимностью на каждый сладострастный взгляд. Затем она вытерла нос своей волосатой тыльной стороной ладони, в то время как стоявшие вокруг женщины зевали и про себя думали о том, были ли у мутноглазого Агапа сладострастный взгляд.

Аптекарь Наум тоже добросовестно исполнял свой долг по осуществлению плана мести. Каждому редкому посетителю, заглядывавшему в его лавку, вместе с мазями и пилюлями он постоянно подсовывал тонкий намёк на отношения между Гашей и Флорей. При этом он всегда подчёркивал, что он, конечно, не вправе судить об этом, однако всё же необходимо потребовать от городского головы удалить Флорю из города. Разумеется, он не

имеет ввиду, что с караульным должно случиться что-то плохое, боже упаси, он никому не желает зла, но Флорю могли бы перевести в другое место, например, в Галац или ещё куда-нибудь, может быть, даже поближе к столице. Несомненно, Флоря от этого только выиграет. По мнению аптекаря, из-за своего крутого нрава караульный не вписывается в жизнь рыбацкого городка, хотя нельзя отрицать, что он добросовестно выполняет свою работу и следит за всем, как сторожевой пёс, поэтому он заслуживает лучшей участи, чем провести всю жизнь, стоя на перекрёстке и вздыхая в одиночестве. Однако в принципе высказанное замечание в отношении Флори не совсем верно. Ибо Флоря никогда не вздыхает. Это, дескать, одна из его хитростей. И вот таким образом распутную женщину порицали, а мужчину хвалили за его качества. Клиенты аптекаря понимающе кивали, запоминали себе всё сказанное и передавали это дальше. А Наум как никто другой умел навязать своё мнение, да причём так, что ни Флоря, ни Гаша не смогли бы его в чём-либо упрекнуть, если бы кто-то проболтался им о его словах. Однако этого не случилось. Постепенно дошло до того, что их обоих стали воспринимать как что-то инородное и даже враждебное. Без долгих разговоров или даже молча все сговорились и ополчились против них, но пока что не было подходящего повода, чтобы нанести решающий удар.

А когда сплетни со всеми возможными преувеличениями стали ходить среди людей, как разменная монета, аптекарь больше так не торопился с покупкой лодки, хотя Савел отнёсся к этому поручению достаточно серьёзно и водил Наума на просмотр нескольких весьма приличных транспортных средств. Порой продавцы лодок кружились роем вокруг аптекаря, словно голуби вокруг церковных колоколен. А Наум не переставал важничать и напускал на себя такой чванливый вид, как будто речь шла о приобретении большого парусного судна. Как бы продавцы не расхваливали достоинства своего товара, ни одно предложение не казалось ему достаточно заманчивым. Ведь во время каждого нового торга аптекарю представлялась отличная возможность ещё больше очернить Флорю в глазах рыбаков. Он даже отправил к Флоре двух ничего не подозревавших рыбаков из Периправы, которые неуклюже пытались всучить ему выкрашенную в синий и зелёный цвет лодку, сказав им тихонько

на ушко, что караульному лодка нужна для выполнения служебных поручений и для ночных поездок, во время которых он предавался разврату. Однако они ни в коем случае не должны были проболтаться блюстителю порядка о том, кто отправил их к нему, потому что похождения Флори с женой Пимена должны были остаться тайной, которая уже была известная всему миру. Постепенно Савел наконец понял, что аптекаря больше интересовала возможность посплетничать с людьми, чем покупка лодки. Подобно тому, с каким усердием он складывал в уме многозначные цифры, он размышлял теперь над тем, кого ещё он мог привести к Науму. Ведь аптекарь умел искусно вплетать в разговор ехидные замечания, выставлявшие Флорю на посмешище, даже лучше, чем он сам, закипавший от злости каждый раз, когда слышал имя караульного. Аптекарь казался менее заинтересованным и поэтому более независимым. У него не подступал к горлу комок ярости, когда он язвительно улыбался при мимолётном упоминании о мнимом целомудрии Гаши или, будто хитрая обезьяна, закатывал глаза, прятавшиеся под постоянно слегка опухшими веками. Нужно признать, что он не напрасно изучал травоварение в университете города Яссы, и, кроме того, умел злорадно высмеивать людей и плести хитрые интриги. В этом отношении Савел очень скоро признал в нём непревзойдённого мастера. И посаженные в умах людей семена враждебной неприязни постепенно давали свои плоды. Люди не прекращали судачить, передавая злые сплетни из уст в уста. Ну а зачем ещё бог дал человеку язык?

Даже Фирсу, который, к слову сказать, при всём своём внешнем спокойствии с наступлением тёплой поры был не в ладах с самим собой, приходилось неоднократно слышать язвительные шутки. Именно он был тем, кто помимо Мары наиболее чётко ощущал усиливавшиеся в городе слухи про Гашу, старался пропускать их мимо ушей и неоднократно советовал Пимену прекратить проводить жаркие летние вечера в трактире. Сивуха, дескать, слишком горячит кровь, а это не очень хорошо и может привести к приступам ярости, что он знает по себе, потому что недавно на собственном опыте убедился, что от огненного напитка можно полностью потерять голову. Затем он задумчиво добавил, что Гаша — красивая женщина, что Пимену следует хотя бы раз присмотреться к ней поближе, и что без

сомнения он может гордиться своей женой.

— Гордиться? — воскликнул Пимен удивлённо, тем не менее, польщённый до глубины души. — Да, но послушай, я как-то не думал о том, что люди могут быть высокого мнения о моей жене.

— Конечно, могут, — заверил его Фирс, — но ты должен о ней заботиться.

Пимен немного обиженно скривил рот и начал жалобно причитать:

— Но я же не могу всегда это делать, да и она уже не ребёнок, а у меня каждый день выступают слёзы на глазах, когда я вижу, в какой нищете мы живём. И только когда я выпиваю немного водки, всего лишь капельку, поверь мне, Фирс, всего один глоток, как лекарство, только тогда слёзы прекращаются. Откуда только берётся вся эта вода в моей голове? Она, скажу я тебе, льётся фонтаном из моих глаз. Из-за того, что я постоянно вытираю слёзы, мои ладони и рукава вечно мокрые. Даже когда я смеюсь, что, однако, в моём бедственном положении случается редко, мои глаза плачут. Я очень злюсь, когда дети видят меня таким. Они думают, что я тронулся умом, и хихикают у меня за спиной. А ведь я смышлёный человек, толковый человек. Вот так печально обстоят мои дела, Фирс. Но я благодарен тебе, что ты обо мне думаешь. Несмотря ни на что, ты — настоящий друг, который мне больше всех по душе.

Фирс присвистнул, провёл пальцами по рыжим кудряшкам своей бороды, которая отливала на солнце медным блеском, и продолжил свой путь туда, куда он направлялся в эти послеобеденные часы.

Началась неделя, и Фирс должен был ездить с Акимом и Савелом к устью Очаковского канала, чтобы максимально использовать время, в течение которого была разрешена ловля осетровых. Наблюдая за своими спутниками, Фирс размышлял о

том, что порой братья-близнецы сидели в лодке в одинаковой позе, неподвижно склонившись над вёслами, однако Савел гораздо быстрее и легче выходил из печально-угрюмого состояния и впадал в бурное веселье, в то время как Аким застывал в своей замкнутости, словно спрятавшись за непроницаемой оболочкой. Вероятно, не прошло ещё и недели с тех пор, как они выпивали вместе за столом в трактире; Фирс, сидевший между Савелом и Акимом, был не особо расположен к разговору, молча поворачивал голову то вправо, то влево, пока братья общались между собой, и лишь изредка подавал голос, когда ему задавали вопрос настойчиво и чересчур громко, будто тугоухому. В воздухе вокруг троих выпивавших стояла удушливая духота и запах гнили, который в летнюю пору постоянно приносило ветром от большого канала и рыбных складов. Долгое время Савел тоже сидел молча, не говоря почти ни слова, и лишь иногда с его уст слетало убойное ругательство, либо он кряхтел и плевал перед собой на пол.

Затем, пока Фирс предавался грёзам о прекрасных ступнях, пальцах и пятках Дуни, Аким, видимо напустился на Савела и принялся его распекать, хотя в последнее время его непостижимые, внезапные вспышки гнева стали случаться реже. Постепенно дошло до того, что братья, которым выпивка развязала языки, начали закидывать друг друга самыми язвительными и тяжкими упрёками, неожиданно высказав друг другу больше, чем за всё время с момента возвращения Акима из Килии. Вероятно, они приберегли на потом некоторые слова, которые теперь гневно рассекали воздух. Аким уличал Савела в его презрительном и надменном отношении к образу жизни Флори, а подвергающийся нападкам брата Савел обвинял Акима в его неприязни к Фирсу, которая, дескать, нередко доходила почти до враждебности, что прежде не раз отчётливо ощущалось в его непонятных выпадах и ехидных замечаниях. Фирс старался успокоить Савела, говоря, что его обвинения несправедливы, что ему это только кажется, потому что он сам ничего подобного не замечал. Аким — надёжный напарник в работе, отличный напарник, упорный и выносливый, проворный и ловкий. После этих слов откровенной похвалы Аким едва ли стал менее молчаливым, чем его сосед, однако продолжать выпивать ещё более жадно и пару раз поднял тост за Фирса, при этом чокался с

ним с такой неистовой силой, что глиняный стакан рассыпался в его руках на мелкие осколки. Украдкой взглянув на ладонь, он увидел несколько сочившихся капель крови. Это должно было стать знаком для того, что пора расходиться и отправляться домой, однако они не решились встать и остались сидеть на лавке, после чего Савел по своему обыкновению незаметно исчез, будто растворившись в воздухе, а Аким продолжил пить без остановки, поглощая выпивку, словно губка, которая долго пролежала сухой в кладовке. Уже наступила ночь, но каждый раз, когда Фирс решительно вставал из-за стола, чтобы уходить, невменяемый Аким яростно хватал его за руку и удерживал, пока не заснул рядом с ним беспробудным сном.

Фирс перекинул его через плечо, словно забитого ягнёнка, принёс в бессознательном состоянии домой к Сверёвым и осторожно положил у порога, чтобы не разбудить никого в доме. Однако несмотря на все его старания сильно не шуметь Дуня проснулась и поспешила к двери, чтобы увидеть Фирса, потому что открыв глаза, сразу же нутром почувствовала его присутствие; она растерянно взглянула на лежавшего на полу брата, силуэт которого расплывался в темноте, и после неловкого объяснения Фирса, что Аким в беспамятстве, она почувствовала унижение и стыд, но, тем не менее, в следующий же момент обняла Фирса обеими руками за шею и притянула к себе. В пьяном угаре Аким спал на траве во дворе до самого утра, а влюблённые провели это время вместе в Дуниной комнате, причём Фирс, у которого в венах ещё играл алкоголь, вёл себя более легкомысленно и раскованно, чем когда бы то ни было. Он оставался с Дуней и не хотел уходить до самого утра, пока в задней комнате не начал шевелиться старик Калистрат, и кроме того, существовала опасность, что предрассветные сумерки могут разбудить Акима и загнать его в дом. Однако в этот раз беспечность заставила позабыть Фирса обо всех мерах предосторожности, и он снова и снова прижимался с закрытыми глазами лицом к её телу, которое спокойно и с робкой сдержанностью отвечало на его ласки и всё равно оставалось для него соблазнительным и искушало своим чудесным ароматом.

Этот случай ярко продемонстрировал, что Фирс скорее был готов послать к чертям все моральные устои и благовоспитанность, чем поддаваться страху своей

возлюбленной, что их могут застать вдвоём, или принять решение отдалиться от неё хотя бы на шаг и, обуздав кипевшую в груди пылкую страсть, вернуться в одинокую, холодную темноту, которая окружала дом Мары. Нет, он не мог постоянно проявлять терпеливую готовность дать заковать себя в оковы и плевать хотел на всякую предосторожность. Однако, если бы ему немного не повезло и Аким застукал их вместе, он бы с криками и угрозами выставил его за дверь. Фирс едва успел попрощаться с Дуней, как её брат, таращась в полумрак предрассветных сумерек, ввалился в дом и, громко топая ногами, прошёл мимо её кровати в соседнюю комнату. Таким образом, Фирс, который в детстве часто попадал в неприятные ситуации и получал нагоняй, лишь по счастливой случайности избежал опасности, которая его поджидала, что заставило его призадуматься над случившимся.

Сейчас наступила пора, когда можно было неплохо заработать. Каждый понедельник они ездили к устью рукава реки и возвращались в город только в конце недели, чтобы наконец забыть бурлящие, опасные, переливавшиеся разными цветами и источавшие гнилостный запах воды, коварный рыбацкий народ, морскую зыбь и бесконечную терпеливую работу. На илистом грунте, казавшемся надёжным, вместе они соорудили хижину, которая вполне годилась для ночлега и защиты от непогоды. Они спали на грубо сколоченных лежанках, покрытых камышом и соломой, а круглые глаза святого на иконе в латунной рамке молчаливо смотрели в маленькое окошко. Возможно, при всех тяготах рыбацкой работы и такой изнурительной жаре, которая каждого делала более уступчивым и смирным, а нередко робким и покорным, даже Аким должен быть стать немного сговорчивее и покладистее. Фирс также надеялся на это, и его благородное сердце не пряталось в груди и не оставалось глухим, когда подобные мысли кружились у него в голове. В последнее время присутствие брата Дуни нередко вызывало у него ощущение, что когда-нибудь Аким втихомолку воткнёт ему нож между рёбер. Хотя его, Фирса, вряд ли кто мог упрекнуть в трусости, он подозревал о самых потаённых мыслях Акима, не обмолвившись об этом ни словом. Видимо, Аким был по характеру таким же, как и его взгляд — скрытым и словно обращённым внутрь, как будто он высматривает камень,

который можно будет швырнуть Фирсу в голову. Впрочем, эти предположения Фирса о тайной враждебности угрюмого Акима не заставили его хоть на шаг отдалиться от Дуни.

А сейчас он направлялся к тому месту, где они должны были встретиться, как человек, который не хотел признавать никакие ограничения. Он что-то говорил себе под нос, пел, горланил, слегка прикрывал веки, пока его ноги дерзко топали по кладкам вдоль каналов. Перед его лицом мельтешили крылья бесчисленных насекомых, которые тучами летали вокруг, повсюду наполняя воздух своим жужжанием. Так он дошёл до большого канала, где стояла их лодка и где его уже ждали Савел и Дуня, потому что девушка не хотела лишать себя удовольствия проводить их перед отъездом на рыбный промысел, ещё раз ободряюще похлопать по плечу, бросить им вслед несколько слов, улыбнуться и помахать на прощанье рукой, пока они удаляются на лодке от берега. Дуня неустанно желала им одного и того же: пусть улов будет богатым, пусть это будет сказочная добыча. Её глаза сверкали, и она заранее радовалась их успеху, как будто её желание уже исполнялось вместе с первым взмахом вёсел Фирса. Наверняка огромная самка белуги из рассказов отца может когда-нибудь случайно заплыть из Волги в устье Дуная, и Фирс оглушит её несколькими ударами, вытянет на берег, а на выручку от икры построит замок, настоящий замок в центре Вилково, замок во дворе старика Калистрата, а не на пустынном каменистом грунте Мары.

Сейчас она сидела с братом на пеньке спина к спине; на ней было новое светло-красное ситцевое платье, которое буквально блестело своей новизной. Его недавно подарил ей Аким, при этом смущённо пробормотав, что это, дескать, всего лишь ничтожная мелочь и что, возможно, платье ей не подойдёт. Похоже, она глубоко погрузилась в свои мысли, потому что всё ещё не замечала Фирса, хотя он уже подошёл к ним совсем близко. Савел слегка повернул голову, произнёс его имя, и тогда Дуня поднялась, пошла ему навстречу, её губы растянулись в улыбке, которая, однако, не могла скрыть некоторую печаль, нерешительно прикоснулась к его руке и остановила на нём взгляд своих прекрасных глаз, что было для него самым лучшим подарком, в котором она ему никогда не отказывала. Хотя он не произнёс ни звука, Дуня без слов сразу же поняла его вопрос и

ответила, что Акима здесь нет, что он не показывался с самого утра. Люди ей сказали, что он, кипя от гнева, выбежал из города, а Анисья следом за ним, как собачка. Однако пока ещё не поздно, поэтому его можно и подождать. А затем через мгновенье добавила, что, возможно, они ждут его напрасно. Видимо, это замечание разозлило Савела, и он раздражённо спросил, с чего это она взяла и не Аким ли сообщил ей, что просто решил кинуть его и Фирса. Фирс попытался уладить назревавшую ссору, заметив, что пока ещё не вечер, что он сам только появился и надеется, что это не послужило поводом сомневаться в его приходе.

— Нет, конечно, — поспешно возразила Дуня немного сдавленным голосом.

Никто не хотел вселять друг в друга ненужное беспокойство, они устроились поудобнее и терпеливо ждали, как можно медленнее выдыхая воздух. Фирс растянулся перед братом и сестрой прямо на травяном ковре из мать-и-мачехи и дурмана; пышная растительность практически не давала тени, и он лежал под открытым палящим солнцем, украдкой поглядывая на молчаливую и охваченную смутной тревогой Дуню и пытаясь поймать её взгляд. Время текло, и в воздухе между тремя ожидавшими витала какая-то холодность и неприступность, которую не удавалось отогнать ни укоризненным скрипением зубов Савела, ни попытками успокоиться. Надломленные сочные стебли примятых Фирсом сорняков насыщали тёплый воздух своим едким запахом. Даже тихие слова Дуни, пытавшейся их приободрить, не могли заставить время бежать быстрее, а Савел не переставал ворчать себе под нос что-то невнятное. Может быть, им с Фирсом следовало ехать самим? Видимо, данный вариант исключался; что-то удерживало их от этого. Ведь нельзя было уезжать бог знает куда, не зная, где запропастился один из спутников. Они поднялись. Похоже, уныние и беспокойство покинули их. Они решили, что поедут следующим утром и, разумеется, отправятся гораздо раньше, ещё до рассвета. Несколько жалких часов особой роли не играют, а огромная белуга, о которой мечтала Дуня, обязательно попадётся им на крючок завтра, непременно завтра, ближе к вечеру, когда будет прохладнее, чтобы было легче оглушить её по голове деревянными молотками и сильно не мучить бедное существо.

Это были слова Савела, однако ни Дуня, ни Фирс не смогли сейчас по достоинству оценить комичность его высказывания и никак не отреагировали на шутку, поэтому он, не получив ответа, чувствовал себя немного обиженным из-за того, что напрасно старался их развеселить. Они отправились в путь, везде высматривали брата, пришли домой окольными путями, и Фирс оставался с ними до вечера, пока не вернулся к ужину старик Калистрат. Однако никаких признаков и следов Акима они так и не обнаружили.

В последнее время Аким вёл такой образ жизни, который мало кто мог бы выдержать. Он ударился в разгул и кутил днями напролёт, бездумно раскидывался деньгами, готов был лезть из кожи вон, чтобы только дать волю своим неистовым и безудержным порывам, словно тяговая лошадь, которая охотно содрала бы с себя кожу, постоянно терпящую удары кнута, чтобы тёплая кровь свободно сочилась наружу. Анисья, к которой он постоянно приходил в чрезмерном раздражённом или вялом и сонном состоянии, едва держась на ногах, совсем не узнавала его, хотя всегда была готова поддержать его советом и окружить нежной заботой. Она уже давно привыкла к его угрюмому и холодному выражению лица, к его рукам, которые нередко неподвижно держали и сжимали её пальцы. Аким мог быть кем угодно, но только не скупым скрягой, потому что всегда приносил что-то в дом: и рыбу, и соль, и кукурузную муку, и белый хлеб, который могли себе позволить лишь богачи. Даже Трофим иногда приближался к нему более кротко и покорно, когда тот держал под мышкой буханку хлеба с блестящей корочкой. В такие моменты малыш ненадолго забывал о своих упрёках и своей неприязни к Акиму. Он прикладывал большой кусок рыхлого мякиша к своей щеке, смотрел на мать, закатывая глаза от блаженства, улыбался и вдыхал приятный аромат свежего хлеба, широко раскрывая ноздри своего носика.

— Пахнет лучше и приятнее, чем цветок, — описывал он своё наслаждение этой роскошью.

Евлампия в этом отношении и сейчас оставалась непреклонной; её расположение нельзя было купить за кусок тыквы или другой фрукт, поэтому каждый раз, когда при возникновении направленных против Акима соображений она сравнивала его с монахом Пахомом, этот друг детей с кроликом в

руках превращался в её мыслях в доброго волшебника, который был способен на то, о чём другие люди даже не подозревали. Нет, Евлампию нельзя было соблазнить хлебным мякишем, а когда дверь за матерью и Акимом демонстративно захлопывалась, и это означало, что детям не разрешается ни постучать снаружи, ни даже робко побарабанить по ней пальцами, не говоря уже о том, чтобы зайти в комнату, девочка отчётливо ощущала, как её охватывает горечь и печаль. Тогда она неуверенным шагом уходила из дома, терпеливо перенося эту боль, от которой щемило сердце, пока Трофим, уцепившись за её правую руку, болтался на ней подобно клубку. Девочка больше не верила в его силу убеждения. От ненависти Трофима к Акиму было мало толку, потому что она мгновенно таяла, как лёд в тёплой руке. А мать оставалась пленницей Акима.

В последние дни он не часто появлялся в доме Анисьи, а если и приходил, словно почувствовав её горе и терзавшее её беспокойство за него, то его внезапно охватывала необъяснимая робость и застенчивость. Порой можно было подумать, что он разучился нормально ходить, как прочие люди. С недавних пор его походка выглядела как-то неестественно: он постоянно ковылял, ходил, прихрамывая, как будто наступил на ржавый гвоздь, который глубоко впился в ступню. Он путался в собственных ногах и спотыкался на ровном месте. У него и в мыслях не было обижать женщину, которая по непонятной причине привязалась к нему, однако иногда в моменты близости, когда он хотел всецело принадлежать ей, его вдруг охватывало отвращение к её телу, и неожиданно в нём начинал расти страх, который не удавалось скрыть уклончивым ответом или пошлой шуткой. Когда он впадал в молчаливое уныние, казалось, будто по его рту ползёт жирный и мохнатый паук, которого никак не удаётся стряхнуть, и поэтому он плотно сжимает губы. В такие моменты он лежал, замкнувшись в себе и отвернувшись, и Анисья знала, что до него не доходит ни одно её слово, что она была одна, что её никто не слушал и не обращал на неё внимания. Если же она не сдавалась и пыталась рассеять его непонятные страхи, он срывался, хватал её за запястье и стягивал с кровати либо вскакивал и бросался во двор, а затем мчался бесцельно по кладкам в неизвестном направлении, всё равно куда, лишь бы только как можно дальше.

Иногда происходили случаи и похуже: он становился жестоким и агрессивным, едва мог находиться под крышей Анисьи, вымещал своё зло на себе и окружающих. Он бы очень хотел ответить женщине примирительным, утешительным жестом или виноватой улыбкой, в который бы она, возможно, смогла бы прочитать, что он ужасно сожалеет о принесённых ей страданиях. Однако он постоянно снова и снова видел только терпеливую и самоотверженную доброту покорной Анисьи. В такие минуты в голосе Анисьи появлялись нотки голоса сестры, чистого и искреннего, который даже в состоянии сильнейшего опьянения был усладой для его ушей. Анисья могла просто поставить перед ним глиняную тарелку с рыбной юшкой, сопроводив это крошечной улыбкой на лице, и при этом, даже если она ничего не делала, в каждом её движении, в каждом взгляде ощущались тепло, нежность и ласка, отчего он стыдливо опускал голову, посвящая внимание рассматриванию своих покрытых рубцами и ссадинами пальцев. Порой он просил её забыть его, бросить, как старый поношенный головной платок, и забыть, плюнуть ему в лицо, если он ещё хоть раз осмелится появиться у её порога, просил, чтобы она приказала детям бросать в него камни, куски глины, всё, что попадётся под руку. Он говорил, что он плохой человек, ядовитое создание, что он, мол, думает о других вещах, но всё равно приходит к ней. Потом он пару дней у неё не появлялся, нигде не показывался и сидел за самым дальним, неприметным столом в углу трактира Ивана или не выходил из дома, лежал на полу комнаты и притворялся перед Дуней, что у него болят коленные чашечки, что он не может сделать ни шага, болят так, словно в них собрался один только гной. Это происходило довольно часто, пока он, очевидно, сам не забывал про свой мнимый недуг, резко вскакивал и, не сказав ни слова в объяснение, уходил из дома.

Однажды, напившись до беспамятства, он два дня, как мёртвый, лежал в комнате Анисьи. Женщина сказала детям, что он якобы болен, и сон — лучшее средство для его выздоровления. Поэтому она просила их не шуметь. И тогда брат с сестрой, подкравшись на цыпочках к распластавшемуся на полу телу Акима, рассматривали его хмурое лицо и удивлялись тому, что он лежит так спокойно и не выгоняет их из комнаты, как он это часто делал. Сейчас их противник лежал молча и совсем

беспомощный у ног Евлампии и Трофима; при желании они могли наступить ему на голову, как на жука или орех. Он был бы не в силах сопротивляться. Девочка чувствовала, как в ней бурлит радость, она представляла себе, будто одолела своего врага и теперь могла распоряжаться его судьбой на своё усмотрение. А Трофим, пока мать высыпала во дворе золу, осторожно потрогал своей левой ступнёй бороду Акима, даже если это требовало от него особых усилий, что от напряжения от даже высунул язык, который торчал между губ. Однако, видимо, этого ему было недостаточно, он тоже хотел дать волю своему чувству мести; он сжал кулачки и грозил ими перед закрытыми глазами Акима.

Утром того понедельника, когда его ждали брат с сестрой и Фирс, чтобы согласно его обещанию отправиться вместе на лов осетра к устью Дуная, его снова охватили странные приступы, поэтому он был совсем не настроен начинать работу и уезжать из Вилково на целую неделю. Предыдущий вечер он провёл с Яковом в трактире, а ночь у Анисьи, уговорил Якова на игру в кости, выиграл у него шестьдесят леев, что было немалой суммой денег, но в конце игры вернул синие банкноты взволнованному собутыльнику, расстроенному из-за проигрыша до глубины души, и еле ворочая онемевшим от выпитого количества водки языком, заявил, что они играли на эти проклятые деньги только ради интереса. Он никогда даже и не помышлял о том, чтобы обчистить дорогого друга Якова! В итоге счастливый обладатель своего проигрыша снова повеселел и не преминул похвально отозваться о невероятной щедрости Акима.

— Твой поступок делает тебе честь, — произнёс он напоследок перед тем, как попрощаться, — ты достойный человек, так же как и Савел; вы оба унаследовали это качество от старика Калистрата, только от старика Калистрата, этого человека с безупречной репутацией; он пользуется безграничным уважением, это точно, абсолютно безупречный человек!

При этом он энергично размахивал руками, будто хотел таким образом подчеркнуть убедительность своих слов.

Когда Аким проснулся утром рядом с Анисьей и почувствовал усердные ласки её старческих ладоней на своих руках и плечах, он резко вырвался из её объятий, охваченный неприятным

чувством снизошедшего на него отрезвления, которое закралось в каждый уголок его сознания. Этот внутренний холод доставлял ему боль, он будто давил на него, как стены тесной комнаты, его невозможно было отогнать ни вздохом, ни кряхтением или кашлем, он прочно засел в его душе. Аким нахмурил брови, посмотрел на Анисью и затем сухо и сдержанно сказал:

— Сегодня ты видишь меня в последний раз. Будет лучше, если я уйду и больше никогда не вернусь. Зачем тебе, доброй женщине, нужны все эти сложности?

Анисья внимательно слушала, будто ей оглашали приговор, схватилась за его рубашку, потому что почувствовала в его словах твёрдую решимость, отчего у неё в голове всё будто звенело.

— Ты останешься здесь, Аким, и останешься сейчас, я тебя не отпущу, нет, о тебе кроме меня никто не позаботится. Я тебе нужна, я это знаю, даже если ты так не считаешь, я всё равно тебе нужна, — отвергала она его возражения, прижавшись всем телом к его спине и судорожно вцепившись пальцами в рукава его рубашки.

Он пытался вырваться, и в итоге изношенная ткань не выдержала и с громким треском порвалась. Анисья стояла в растерянности, держа в руках две тряпки. Евлампия и Трофим проснулись в испуге, оглядывались сонными глазами вокруг себя и совершенно не могли понять, почему мама не отпускала Акима, почему она преграждала ему путь и не обращала внимания на слёзы, которые ручьём бежали по её щекам, почему запиналась, умоляла, обнимала руками его колени и не уступала, хотя он оттолкнул её с такой силой, что дети от ужаса закричали. Трофим был бы сейчас счастлив, если бы мать прогнала Акима, этого нежеланного гостя в его маленьком ограниченном мирке, и швырнула ему вслед его куртку вместе с проклятием. Он не почувствовал бы ни капли сожаления к этому человеку. Однако поскольку он слышал, как плакала и всхлипывала Анисья, видел её исказившееся от страха, мокрое от слёз лицо, вся враждебность в нём в один миг растаяла и испарилась, но дала волю накопившемуся в его груди горю, и он тоже начал плакать. И чем жалобнее Анисья умоляла Акима остаться, тем громче и горестнее плакал Трофим. Только Евлампия сидела неподвижно на корточках, плотно сжав губы, рядом с рыдавшим братиком, пока наконец не принялась утешительно гладить ладонями его

взъерошенные волосы.

Аким всё-таки вырвался из объятий Анисьи и ринулся во двор, громко захлопнув дверь прямо перед её носом. Он побежал, а она кинулась за ним следом, но перед этим, стараясь успокоить детей, успела крикнуть им, чтобы они никуда не уходили и оставались дома, не волновались за неё, что она скоро вернётся, очень скоро, что она уходит максимум на час, и то недалеко, совсем недалеко. Евлампия схватила Трофима за плечи и оттолкнула его на кровать. Иначе он мог бы побежать за матерью, которая неотступно следовала за Акимом по кладкам вдоль каналов и, обгоняя его сбоку, пыталась преградить ему путь, уговаривала его, старалась достучаться до этого бесчувственного эгоиста и кричала, что он не может её бросить. Однако ей не удавалось ни отговорить его бежать дальше, ни убедить его замедлить шаг. Ноги будто сами несли его вперёд, словно они не подчинялись человеку, к которому были направлены мольбы Анисьи. Испугавшись шума, к заборам выскочило пару женщин, которые удивлённо кричали им вслед, пытаясь узнать, в чём дело, но Анисья не отвлекалась на их вопросы и продолжала бежать. Обрывки криков пролетали мимо неё, будто листья, которые она не замечала; она следовала за Акимом, она принадлежала ему, и ей было наплевать, что об этом думают люди. Аким же шёл вперёд, как будто он был один, спрятавшись внутри себя и заколотив все входы гвоздями. Он торопился, словно его что-то подгоняло, спешил, не смотря по сторонам и не беспокоясь о том, что Анисья, следовавшая за ним, могла споткнуться и растянуться во весь рост, подняв столб пыли. Даже если и так, пусть себе валяется. Однако у неё не поубавилось рвения, она неустанно преследовала его, словно была колючей терновой ветвью, плотно обмотанной вокруг его тела.

Куда же ему было податься? Последние разветвлявшиеся каналы и тропинки рыбацкого городка уже остались у него за спиной, а его лицо постепенно начало обдавать горячим воздухом, и он уже не знал, было ли это тепло летнего дня или же он попал в ад. Сейчас Анисья реже обращалась к Акиму, которому этот длительный поход не доставлял особого труда, она только старалась держаться вплотную к нему, не отставала ни на шаг, и когда она вдыхала и выдыхала воздух, её губы были

слегка приоткрыты и подрагивали. Голубое небо низко нависло над их головами, а беспощадно палящее солнце будто пыталось испепелить обоим людям все волосы вместе с черепной крышкой. Анисья хватала Акима, но он стряхивал с себя её руку, делая вид, что не замечает её, хотя она всё время была рядом, так же, как тысячи мошек и стрекоз, которые носились вокруг него по воздуху. Акиму нелегко было справиться с бурлившим и бунтовавшим внутри него негодованием. Ему хотелось побыть одному, чтобы положить конец своему несчастью и бесславному позору. Вокруг было достаточно глубоких коварных вод, достаточно болот, трясин и сгнившего камыша, которые при каждом неверном шаге готовы были затянуть свою жертву в бездну.

Постепенно они приблизились к рукаву реки, который разветвлялся между камышовыми зарослями, роскошным ковром из огромных белоснежных ромашек, похожих на звёзды, между тростником и пышной кроной вязов, и превращался в огромную сеть неслышно журчащих каналов, проток, речушек и ручейков. Аким нечаянно наступил на черепаху, оторопел от неожиданности, растерянно взглянул на Анисью, которая тут же с готовностью поймала глазами его взгляд. Часто его ноги попадали в ямы в земле, из-за чего ему приходилось останавливаться, хотел он этого или нет. Водная артерия становилась шире, и возле её берегов взору открывались круглые озёра, похожие на мёртвые глаза. Иногда из окутывавшей их туманной дымки поодиночке выныривали цапли. На какое-то время Аким позабыл о своём намерении. Сейчас его внимание занимала грудь, по которой струился пот. Он засунул руку под рубашку и вытер пот липкой ладонью. Похоже, Анисья не страдала от жары, не сопротивлялась ей ни одним жестом, и к молчаливому удивлению Акима не поступала подобно ему. Неужели сегодняшнее странствие будет длиться бесконечно? Ведь в одном-двух часах пути отсюда суша закончится, и перед его ногами раскинется прохладное, неприступное море, которое преградит ему путь, такое же безжалостное, как и он сам, такое же равнодушное. Впрочем, он даже сам себе не признавался в том, что был отчасти рад забрести в дикие заросли, в которых была тень и прохлада, и укрыться под сенью парочки старых ив, защищавших своими ветвями его вяло свисавшие плечи от

мучительного пекла. Тем не менее, он пока что не собирался останавливаться, нет он не думал об этом. Почему бы и дальше не топтать траву и и те немногочисленные цветы, которые робко выглядывали из неё?

Вероятно, уже был полдень, хотя и казалось, что время тянулось очень долго, потому что Анисья больше вообще не пыталась что-то сказать и лишь постоянно молчала, словно дала обет молчания или ей зашили рот. На их пути снова встречались деревья с пышной кроной, снова ивы, дубы, акации, ясени. Вопросительный взгляд Акима бегло скользнул по лицу Анисьи. Он остановился в нерешительности и, стоя на небольшом клочке земли, зашатался из стороны в сторону, а затем упал в траву. Пару секунд Анисья стояла рядом с ним под кроной дерева, а затем присела возле его запачканных глиной, шершавых ступней. Аким вёл себя так, словно все эти часы были совершенно бесполезны. Он почувствовал голод, однако сейчас не мог сказать об этом Анисье. Он лежал, широко раскинув руки; рядом с его ладонью проползала веретеница, однако он не пошевелил и пальцем. Анисья проявляла ангельское терпение, она не проронила ни единого звука, была тише воды, а в нём накапливались злоба и гнев, потому что она не жаловалась, не причитала, прекратила его уговаривать и даже не упоминала о голоде или жажде. Однако, в конце концов, он не мог устоять перед непреодолимой силой тишины и покоя, и его гнев отступил. По сути, ему было не в чем упрекнуть женщину, которая сейчас сидела рядом с ним и отколупывала крошечными кусочками налипший на его ступни и засохший ил, чем она занималась уже приличное время, поэтому в данный момент ему не приходило на ум ничего лучше, кроме как лежать спокойно и не шевелиться.

Ближе к вечеру именно она поднялась первой, пока он продолжать лежать неподвижно, приминая травяной ковёр своим онемевшим, ноющим затылком, и не подавал признаков, что собирается возвращаться. Его удивило то, когда она проворно вскочила и без всякого объяснения поспешила прочь, исчезнув в кустах. Он почувствовал, что от ощущения свободы ему стало легче дышать, и пошевелил затёкшими от длительной неподвижности конечностями. Он продолжал лежать и ожидал возвращения Анисьи. Она должна была снова появиться в том

месте, где прежде густые заросли поглотили её и скрыли от его взора. Он ждал, но она нигде не показывалась. Прошло ещё немного времени, прежде чем он потерял терпение. Внезапно на него нахлынул приступ страха, от которого в горле перехватило дыхание. А вдруг Анисья что-нибудь сделала с собой, вдруг она шла с закрытыми глазами и упала в воду, в холодную и неуютную воду, посреди рыб и пиявок? Что, если эта молчунья отважилась нанести ему в качестве прощального подарка такой удар и просто исчезнуть в зарослях или на дне озера? Первым делом он мгновенно подскочил и окликнул её. Он продолжал кричать, но из гнетущей тишины ответа не последовало. Он побежал в том направлении, в котором она ушла ранее, однако не обнаружил никаких следов Анисьи. Он стал очищать себе путь, с треском ломал ветки, снова и снова выкрикивал её имя и, громко ругаясь, убирал руками листву, которая ограничивала видимость.

— Анисья, Анисья!

Но никто не откликался, никто не шевелился поблизости. Прошло уже бог знает сколько времени, в течение которого у него каждую минуту от страха замирало сердце, как вдруг он услышал какой-то шорох.

— Анисья!

Однако это была всего лишь куница, которая испуганно выскочила из своего укрытия. Аким проглотил то слово, которое собирался выкрикнуть. Он повернулся и направился с поникшей головой, полной смутных и неясных мыслей, обратно туда, где они были вместе. Анисья была там. Она нерешительно подошла к нему, кротко протянув ладонь с кучкой водяных орехов. В выражении её простого лица повис осторожный вопрос, но вместе с тем оно источало тепло и нежность, против которых невозможно было что-то возразить. Она робко сказала, что искала плоды и насобирала недалеко отсюда эту жалкую горстку орехов, которыми можно немного утолить голод; больше ей нечего было добавить, и она только дышала, обдавая своим дыханием закрытые веки Акима. Он молча, не сказав ни слова благодарности, схватил предложенные орехи. А затем, когда Анисья нежно притянула его к себе утешительным, по-матерински заботливым жестом, словно ребёнка, который был болен и измождён, он больше не сопротивлялся и позволил ей отвести себя домой.

Следующим утром Аким отправился с Савелом и Фирсом на ловлю осетра. Сейчас было излишне упоминать о том, что вчера они напрасно прождали Акима, поэтому даже Савел не стал этого делать, тем более что ему хотелось оставить в прошлом все ссоры и размолвки, которые возникли между ними по бог знает чьей вине. Ничто не казалось более естественным и очевидным, чем то, чтобы выяснить отношения и начать всё с чистого листа, отправившись вместе на новый рыбный промысел, а не поливая друг друга упрёками и обвинениями. Ведь в ближайшее время им снова нужно было сплотить единый коллектив, в котором все зависят друг от друга. При этом помогали даже мелочи, на которые обычно никто не обращал внимания. Лёгкие белые облака, которые во время поездки защищали их от палящих солнечных лучей и тем самым препятствовали скапливанию тепла и перегреванию частей тела, благоприятствовали их спокойному и невозмутимому настрою. Савел сидел на вёслах и больше не закипал от злости при каждом воспоминании о Флоре, Аким делал то же самое и отгонял от себя свои неприязненные и враждебные мысли о Фирсе, а Фирс знал, что даже самые прекрасные мгновения несли на себе отпечаток печали, которая внезапно охватывала его, потому что он не мог быть одновременно и здесь, и на море, и рядом с Дуней. Конечно, эти странные мысли были просто смешны, но они пробирались глубоко внутрь его сознания, овладевали им на некоторое время, и ни одна метла была неспособна вымести их оттуда. Они были свойственны Фирсу так же, как и его любовь к запаху воды, который он мог вечно с наслаждением вдыхать, широко раздувая ноздри, будучи соседом, спутником и врагом бакланов, старых сомов, севрюг, хорьков и крыс. В такие моменты он всегда ощущал, будто внутри него ждёт что-то несбывшееся, будто в нём просыпается беспокойство подобно голоду или жажде, и в такие моменты это странным образом сближало его с Акимом.

Однако, несмотря на внутреннее чутьё, Фирс не знал об Акиме абсолютно ничего, так же как и тот о нём. Волосы и кожа скрывали то, что было внутри, и каждый жил в своём собственном мирке, словно в разных домах, через стены которых туда не мог проникнуть посторонний взгляд. Даже сегодня не изменилось ровным счётом ничего. Но сейчас у них было много дел, они искали себе занятие, в котором могла пригодиться их помощь, не отлынивали от поручений, а всецело отдавались работе, наслаждаясь спокойствием этого дня.

Наконец они прибыли к месту назначения, и с правой стороны перед ними раскинулось море, которое встретило их своей бездонно глубокой синевой. Их хижина стояла в нескольких шагах от берега в окружении остальных временных жилищ, в которых рыбаки из Вилково и Периправы проводили лето. Где-то, испуская клубы пара над дымящим пламенем, варились дельфиний жир и смола, которые были необходимы для рыболовных снастей, где-то обустраивались и приветствовали своих соседей недавно прибывшие рыбаки. Перед общими взорами оживлённо шевелились река и море. Тут и там росло несколько айвовых деревьев и подсолнухи с сочными и пышными листьями. А рядом их ожидало море с живыми существами, скрытыми от взгляда в бездонной глубине, присутствие и запах которых они ощущали поблизости. Ну и кто же в этом случае мог найти время на глупости? Кто не готов был расправиться с собой, как с рухлядью, которую швыряют в угол, потому что она уже давно устарела и была источена ржавчиной? Хрустящая солома на лежанках издавала приятный аромат, напоминавший запах хлеба, сладкий и нежный, и их тела, сами того не подозревая, зарывались в неё поглубже.

Затем наступили сумерки и вечер, а потом и следующее утро, которое требовало от каждого большей предприимчивости, большей внимательности, ловкости и проворности и не оставляло места мечтам и размышлениям. Быстрым и сдержанным движением они осеняли свою грудь крестным знамением и перед отправлением в путь бросали мимолётный взгляд на икону. Красные, тёмно-зелёные и фиолетовые рубахи вскоре становились коричнево-чёрными от смолы, которая мгновенно высыхала на солнце, оставляя на ткани блестящие тёмные пятна. Они усердно работали, гребли сквозь воду,

покрытую лёгкой рябью, проверяли рыболовные крючки. Однако в первое время им не очень-то везло, улов был довольно скудным. У соседей в других хижинах дела шли не намного лучше, и когда усилившаяся жара стала сдерживать дувший с моря ветерок, словно бетонная плотина, и ложилась на лодки невидимой тяжёлой ношей, которую не удавалось сбросить и которая забирала у каждого последние остатки сил и упорства, весь рыбацкий коллектив принял решение отложить на время работу и искупаться. Словно похожие друг на друга крупные жеребцы, загорелые мужчины с огненно-рыжими бородами, раздевшись догола, медленно заходили в воду, которая становилась ещё более мутной от их движений, чувствовали под ногами водоросли и ил, а перед их закрытыми глазами роились с гулким жужжанием тучи насекомых. Они шли, скрестив руки на груди или уперев их в бока, не было слышно ни разговоров, ни смеха, они молчали, как будто уже с головой погрузились под воду и превратились в существ, обитавших здесь. Это напоминало какой-то тайный ритуал, который выполняли все, и создавалось впечатление, что их обнажённые тела ощущали присутствие рыб. В глубине души они любили эту реку, от которой зависело их существование, которую они опустошали и грабили так же, как щуки и сомы.

Впрочем, даже во время рыбного промысла случались вещи, которые не забывались, давали пищу для размышлений и порой преследовали рыбаков даже во сне, из-за чего они дико размахивали руками и ногами, раскидывали под собой камыш и солому или могли с дикой яростью ударить кулаком по стене хижины, будто пытаясь разбудить остальных товарищей. Ведь рыба, о да, рыба не была такой уж жалкой и беспомощной, как об этом наивно полагали там, на суше. У рыб был свой собственный язык, свои знаки, свои хитрости и уловки. Не раз они выступали в роли тайных посланцев, разведчиков, предупреждающих об опасности, заступников и мстителей. Только слепцы не понимали этого. Одна молодая рыба, попавшаяся на крючок, смотрела на Фирса и Акима невероятно укоризненным человеческим взглядом в тот самый момент, когда они собирались ударить её о дно лодки, чтобы оглушить, а другая, махнув хвостом из последних сил, вырвалась из их рук и едва не ускользнула в воду. Севрюга длиной в локоть могла отшвырнуть

приближавшегося к ней человека с недюжинной силой, а огромная рыбина, каких до сих пор никто никогда не видывал, была способна в последнюю секунду улизнуть, мягко разрезав воду своей острой, как клин, серой мордой, и скрыться в глубине. Таким образом, невероятных происшествий во время рыбного промысла вообще не случалось, а все сказочные истории могли повергать слушателей в изумление в другом месте, потому что для большинства они были как хлеб насущный. Хотя подобно тому, как между широким растаявшим устьем Очаковского канала и морем не было никаких границ, точно так же не было предела фантазии рыбаков. Так, например, пойманный вчера Савелом карп так сильно напоминал отца Агапа, что все рыбаки вздрогнули от ужаса и бросили счастливую рыбу обратно в воду. После того, как они повнимательнее рассмотрели голову рыбы, из которой на них вылупился мутный глаз Агапа, они с радостью отпустили её и выглядели так, будто освободились от опасного проклятия. Откуда же им было знать, не вселилась ли действительно душа отца Агапа в этого карпа?

Более того, рыбаки всегда даровали свободу молодым осетрам, попавшимся на крючок. Они делали это по старому обычаю и прежде, чем отпустить рыбу, откусывали кусочек её пасти. При этом отчаянно трепыхавшуюся молодую белугу или севрюгу хватали ниже головы, улыбались ей, а потом целовали и без церемоний просто откусывали зубами кусочек верхней губы, выплёвывая затем этот хрящик. Поступая так, они следовали суеверному обычаю, смыслом которого было усмирение алчности. Очень часто они снимали с острого, как игла, крючка выросшую и раздобревшую самку осетровых, у которой не хватало кусочка пасти, и это означало, что когда-то, возможно, много лет назад, она уже побывала в руках и зубах рыбаков, которые снова отпустили её на свободу. Рыбакам доставляло удовольствие ощущать сжимающими руками отчаянное сопротивление молодой рыбёшки, вертевшей головой и пытавшейся вырваться, для них это было весёлое развлечение, оживлявшее монотонное однообразие тяжёлых рыбацких будней. Нельзя сказать, что они страстно желали этого. Но вот Аким улыбался только тогда, когда смотрел на такого маленького осетра, когда неистово трепыхающаяся рыба, уже изуродованная его зубами, будто надёжными клещами,

извивалась в его руках во все стороны. Всё это очень напоминало игру в кошки-мышки.

После сильной бури, которая будто перепахивала и сметала в кучу все притоки Дуная, срывала камыш с крыш рыбацких хижин и носила их тяжёлыми связками по воздуху, после жуткого ливня, который с шумом падал на грудь Акима большими каплями, потому что он один, сняв с себя одежду, искал прибежища под открытым небом и стоял в тускло-сером свете бушевавшего ненастья, судьба наконец вознаградила их тяжкие старания, преподнеся в качестве поощрения большую севрюгу. Она неутомимо и отчаянно вертелась на крючках, которые всё глубже впивались в её плоть, и едва не утянула лодку вместе с командой в глубину, прежде чем Фирс, широко размахнувшись обеими руками, нанёс ей сильный удар по узкому лбу деревянным молотком. Оглушённая таким способом рыба перестала сопротивляться, и они медленно потащили её за лодкой и вытянули на берег. Они были рады такой знатной добыче, и даже Аким одобрительно кивнул Фирсу, когда севрюга лежала на берегу, выставленная на обозрение остальных рыбаков, которые рассматривали её с видом опытных знатоков. Севрюга была на редкость большая, размером с Фирса. Они с первого взгляда знали, что в брюхе рыбы не было икры, но всё равно остались довольны, особенно когда Савел, не успели они и глазом моргнуть, поразительно быстро подсчитал предполагаемую выручку, не использовав, кстати, для подсчётов ни одного пальца и не делая вопреки своему обыкновению чересчур умное лицо. И поскольку уже приближался конец рабочей недели, у Савела, похоже, на уме было что-то другое, когда Фирс, услышав сумму, которую они вместе должны были получить за пойманную зверюгу, напустил на себя важный вид, как он поступал лишь в редких случаях, и изобразил недвусмысленный жест, намекая на выпивку. Что касается Савела, он скорее был склонен снова разыскать аптекаря Наума, чтобы нашептать ему на ушко какие-нибудь подстрекательства, связанные с Флорей, Гашей и Пименом.

Их возвращение в Вилково с пойманной добычей не произвело большого впечатления и не вызвало изумления. Никто не крестился от удивления, когда они выгрузили севрюгу перед рыбными складами, никто не охал и не ахал, что обычно

было очень лестно. Дуня не встречала их здесь, а старик Калистрат был занят с другими рыбаками, в улове которых обнаружилась икра. Немного расстроенные, они поделили полученные деньги, после чего Фирс с большим удовольствием поплыл бы с братьями на лодке в их дом, чтобы увидеть Дуню, однако Аким, смотря холодным взглядом в его глаза, со злобой и чуть ли не угрозой в голосе решительно заявил, что ему, Фирсу, вне всяких сомнений сейчас лучше отправиться прямо домой, что ему не стоит ещё долго плыть с ними окольными путями. Да и потом Мара, наверняка Мара уже нетерпеливо ждёт у ворот, учуяв его дыхание, и уже преисполнена безудержной радости по поводу его возвращения. Поэтому он, добряк Фирс, не может её сегодня разочаровывать. Слушая эти слова, Фирс посмотрел Акиму прямо в глаза, а затем обвёл взглядом здания рыбных коптилен, бочки с каменной солью, куски льда и весы. Он не мог ничего возразить против этих вызывающих слов, поэтому перебросил пеньковый мешок, в котором находились необходимые ему вещи, через плечо, махнул рукой на прощанье и отправился в одиночестве к дому Мары. Поблизости слонялся высматривавший что-то монах Пахом, который боязливо прижался к стене дома, когда Фирс проходил по громыхавшим от его шагов доскам кладок. Он ни в коем случае не хотел попадаться на глаза Фирсу, боже упаси.

В ещё светлом небе, раскинувшем свой купол над городком, уже начали появляться первые признаки сумерек, и вдалеке вечерний горизонт окрасили светло-розовые тона. Братья решили долго не задерживаться на берегу канала, на котором толпились возвращавшиеся домой рыбаки, оба сели в лодку, не обменявшись ни словом, схватились за вёсла, небольшая чёрная лодка начала двигаться. Савел стоял впереди, широко расставив ноги, Аким позади него, поэтому, когда их фигуры синхронно наклонялись в обе стороны, снова казалось, что один из них был лишь тенью другого, чётко следовавшей его движениям. Довольный тем, что он снова вернулся и мог быть ближе к Гаше, Савел начал напевать себе под нос песню, и его пение не стало печальнее или громче, когда они проплывали мимо дома Пимена. Таким особым способом он беспечно и без всяких задних мыслей выражал радость по поводу своего возвращения, потому что здесь, в рыбацком городке он снова чувствовал себя в

безопасном месте. А затем неожиданно, будто очнувшись от лёгкого опьянения, этот его весёлый настрой подхватил и Аким, который начал ему подпевать, хотя из-за хриплого голоса ему это сносно удавалось. Лодка без труда скользила дальше, и, похоже, вперёд её двигала скорее весёлая песня, чем усилия их рук. Узкий канал, в который они заплыли, резко сворачивал под густой листвой нескольких ив, сквозь пышную крону которых ничего не было видно, и дальше тянулся к круто поднимавшемуся вверх мостику, который соединял кладки на обоих берегах.

Братья продолжали петь. Но на мостике, под которым они должны были проплывать, они увидели фигуру женщины, нет, скорее молодой девушки в развевающейся на ветру блузке и юбке, которая, наклонившись через редкие, грубо сколоченные перила, махала им рукой. Это была их сестра. Из Акима вырвался крик, который напоминал звук отделившегося обломка скалы, падавшего в пропасть:

— Дуня!

О, эта девушка, от её белоснежной улыбки внутри сразу вспыхивала радость, она была так близко и всё же оставалась недоступной. Появление сестры не заставило Савела прекратить песню, он даже не собирался этого делать и продолжал петь, как ни в чём не бывало, а звуки слетали с его губ один за другим. Он лишь махнул ей левой рукой в знак приветствия и снова погрузил в воду весло, чтобы не тормозить эту чудесную поездку. Аким, стоявший за ним, уже позабыл про песню, весло с грохотом выпало из его рук, которые теперь вяло свисали вдоль туловища. Он опустил лицо вниз и не шевелился. Сверху Дуня смогла увидеть лишь его затылок, когда лодка с братьями проплыла под мостиком и продолжила движение. Она хотела спросить, куда подевался Фирс, но проглотила свой вопрос, а Аким так и не обернулся, чтобы взглянуть на неё, как будто был связан верёвками, которые не позволяли ему пошевелиться. А когда Дуня какое-то время следовала по берегу за братьями, из-за чего в её висках дико стучала кровь, она ещё раз вспомнила, как Аким стоял в лодке, отвернувшись и застыв в оцепенении, и ей показалось, что он стал ещё меньше и тщедушнее.

Дуня с лёгкостью забыла бы об этом случае, если бы не Аким, который, словно неясное напоминание, появлялся неожиданно у порога или из-за ствола дерева в саду и после долгих, почти мучительных минут молчания расспрашивал её, не говорил ли ей Фирс в последнее время о чём-то, что не предназначалось для посторонних ушей. Тогда Дуня широко раскрывала глаза, в тёмной глубине которых читался недоуменный вопрос. Она медленно качала головой в знак отрицания, и от нетерпения Аким готов был испустить возмущённый возглас или оторвать кусок ткани от своей поношенной рубахи.

— Нет, — возражала она, — ты ведь знаешь Фирса. Он говорит не намного больше, чем когда спит или жуёт тыквенные семечки.

Аким молчал, но по нему было заметно, что ответ Дуни его далеко не убедил.

У Фирса тоже были свои подозрения, особенно после того, когда Мара просветила его о странном отношении Акима к сестре, даже если тот и проводил большую часть своего свободного времени под крышей Анисьи. Что мешало Фирсу предложить Дуне поговорить со стариком Калистратом и попросить его благословения на женитьбу? Ведь это не значило совершить смертельный грех. Разве он не увиливал от вопросов Дуни, которая уже давно делала ему намёки, хотя сам себе в этом не признавался? Ведь не было ничего более естественного, чем стремиться окончательно воссоединиться с любимой девушкой. Жаркие летние ночи мучили Фирса, словно его голое тело покрывали горячие камни, и порой навевали совершенно сумасбродные мысли. Утром, когда он проснулся после одной из таких бессонных ночей, Мара фыркнула ему в лицо:

— Опять не сомкнул глаз, глупец. А язык у тебя во рту распух так, что ты не знал, куда его девать.

Она вся затряслась от безудержного пронзительного смеха, ласково похлопала Фирса по груди, а затем резко прекратила смеяться, её обычно бледные щёки залились румянцем, и она добавила:

— Знаешь, если ты об этом скажешь, открыто скажешь то, о чём ты всё время думаешь, о своих намерениях относительно

Дуни, которые не выходят у тебя из головы, он точно тебя зарежет. — Она испустила звонкий, режущий слух свист. — Понимаешь, Фирс? Но ты будешь молчать. Тебе не нужно ничего делать кроме того, что соблюдать осторожность и хранить молчание. Ну, а поскольку ты и так с трудом открываешь и закрываешь рот, ты с этим точно справишься, ха-ха.

Она стояла близко к нему, и её слова отдавались в его ушах пронзительным и резким звуком, прежде чем он повернулся и поставил её на место:

— Лучше занимайся своими собаками.

— И Пахомом, — крикнула Мара укоризненно, как будто он забыл что-то ужасно важное.

Однако мысли Фирса уже витали где-то далеко; ему казалось, что полузакрытыми глазами он видит руки Акима с его чёрными от грязи, омерзительными ногтями. В последнее время он часто представлял себе внешний вид и движения его рук, когда закрывал глаза. Поэтому он пробормотал в ответ:

— Хорошо, Мара, и Пахомом.

Тогда ясновидящая с торжествующим видом кивнула, словно добилась от него чего-то грандиозного.

Поэтому с неприятным чувством на душе, которое его порой охватывало, Фирс сдерживался произнести слова, которые в присутствии Дуни так и вертелись у него на языке. Эти слова будто мечтали вырваться наружу сквозь его молчаливые уста, чего бы это ни стоило. Но затем Фирс снова вспоминал руки Акима, внезапно оборачивался, будто Аким стоял рядом с занесённой над его плечами или затылком рукой. А когда Дуня спрашивала его о причине такого явного беспокойства, он только неуклюже отнекивался:

— Ах, чёрт возьми! Мне просто показалось, что зашёл один из твоих братьев.

И Дуня отлично знала, которого из братьев он имел ввиду, но не называла его имени вслух. Ей казалось, что лучше этого не делать, дабы не накликать появление Акима. Однако это лето, как ни одно предыдущее, будоражило её кровь, поэтому некоторые мысли, которые навевали унылое и мрачное настроение, она прогоняла улыбкой. В течение дня жара была настолько изнурительной, что даже у Дуни пропадали её тщеславные замашки. Но вечерами она всё же одевала одну из

своих самых ярких ситцевых блузок, для которых Аким подарил ей всё необходимое и которые она пошила себе сама. Фирсу не особенно нравились эти блузки, по крайней мере, он не говорил ни слова, когда Дуня спрашивала, хорошо ли они сидят и к лицу ли они ей. Он даже отводил взгляд в сторону и в тысячный раз рассматривал икону в уголке комнаты, указывал на неё пальцем и расхваливал шикарное облачение в зелёных и золотых тонах.

— Где бы взять такую рубаху, такую зелёную рубаху,— с трудом выдавил он из себя.

— Такого цвета? — удивилась Дуня, потому что ей, видимо, никогда бы не пришло в голову, одеть что-то подобное. Ведь было бы высокомерно и грешно ходить в таких нарядах, как у святых. Но у Фирса в голове прятались самые невероятные мысли.

— Да, — наконец ответил он, — тебе бы тоже был к лицу этот цвет, в отличие от той жуткой ткани, которую раздобыл для тебя твой брат.

При этом он сделал рукой презрительный жест. Дуня была очень удивлена резкостью этого высказывания и сразу не поняла этой перемены в Фирсе. Она даже отпрянула назад, когда он стремительно подскочил к ней, не долго думая, схватил за руки и больше не отпускал, пока она наконец не прильнула нежно своей головой к его груди.

Таким образом, даже Фирс не всегда оставался одним и тем же; в его натуре также таились неожиданные сюрпризы, о которых не подозревал ни один человек.

А через несколько дней после этого случая Дуне пришлось стать свидетелем ещё более непривычной сцены. Аким купил ей в подарок ожерелье с золотистыми стеклянными бусинами, которые ослепляли взор волшебными и чудесными радужными переливами, когда на них попадали лучи солнца или любого другого света. Некоторые даже начинали при этом тереть глаза, но Фирс не выразил восхищения этими прекрасными бусами, которые красовались в четыре ряда вокруг шеи поспешившей ему навстречу Дуни, когда он зашёл однажды вечером в переднюю в доме старика Калистрата.

— Фирс, — ликовала Дуня, — смотри!

И провела рукой по своему новому украшению. Но складывалось впечатление, что слова сиявшей от счастья

девушки повисли в воздухе и затихли, не долетев до его ушей.

— Выброс их, — сказал он вместо обычного приветствия, презрительно скривив рот, прежде чем Дуня успела ему сообщить, от кого она получила бусы в подарок. Она оторопела и открыла рот от неожиданности, потому что на лице Фирса застыло холодное, каменное выражение. Она хотела взять его за руку, однако тот убрал её за спину.

— Ну чего ты от меня хочешь? — робко вырвалось у Дуни, потому что ей в голову уже закралась догадка о причине такого грубого поведения.

— Выброс их! — приказал он, и поскольку она продолжала стоять неподвижно и только смотрела на него умоляющими глазами, он потянулся к бусам своей огромной, как лапа, рукой и дёрнул изо всей силы, отчего стеклянные бусинки, словно крупные градины, с шумом попадали на глиняный пол и раскатились по комнате. Из Дуни вырвался тихий возглас; часть ожерелья, оставшаяся висеть на шее, рассыпалась, и бусины медленно скатились вниз тонкой струйкой по её блузке. В двери, которая вела в заднюю комнату, мгновенно появился Аким, сжав кулаки и уставившись на Фирса диким и полным ненависти взглядом. Но Фирс спокойно смотрел на него, будто стена, от которой отскочил бы любой удар. Так они стояли некоторое время, почти не дыша. На большее Аким не осмелился.

Когда впоследствии Фирс был в одиночестве под низкой крышей дома Мары либо под усыпанным звёздами небом дельты, вдалеке от прочих рыбаков, он немного презирал сам себя, и порой случалось так, что движения его ловких рук больше не были такими же уверенными, как раньше. Он больше не пил из ручейков и маленьких речушек, в которых замечал ужей, хотя ещё пару недель назад это бы его не остановило и показалось бы ему смешным. Ведь он не имел ничего общего с Наумом, который постоянно был такой щепетильный и чувствительный, что, по всей видимости, объяснялось его бабской профессией, требовавшей большой осторожности! Ведь добрые, худенькие змейки с раздвоенными языками, похожие на тонкие волосинки, никому не причиняли зла. Ну почему бы и не утолить жажду, опустив свой рот в воду рядом с ними? Эти существа не казались назойливыми, они уплывали своей дорогой, чувствуя себя спокойно в привычной среде. А если иногда случалось, что они

цеплялись за ноги или от страха даже наматывались вокруг них, когда он порой переходил вброд речку, их можно было спокойно расплести, словно покорные ленточки из локонов Дуни. Вот только даже сейчас Фирсу было намного проще обращаться со змеями, потому что они не были такими нежными и тонкими, как ленточки. Их можно было спокойно потрогать, не боясь при этом нечаянно испортить их шелковистый блеск своими шершавыми, потрескавшимися пальцами. Ей-богу, Дуня стала вести себя, как аристократка. Аким дарил ей ленточки, которыми она украшала себя для Фирса. При мысли об этом Фирс выломал ветку ивы толщиной с руку. Зелёная ветвь, упругая и жёсткая, сопротивлялась, однако в конце концов ей пришлось уступить, кора треснула, волокна древесины порвались и полетели щепки. На этом Фирс успокоился и пошёл дальше с довольным видом.

Далеко за пределами рыбацкого городка, посреди камышовых зарослей и огромных кустов тростника, он однажды неожиданно натолкнулся на Пахома, который, услышав шаги приближавшегося к нему Фирса, с любопытством высунул голову. Видимо, он кого-то ждал, дрожащий от волнения монах, а при виде внушавшего ему страх молодого рыбака случайно выпустил из рук кролика, которого он держал. Ему бы очень хотелось не шуметь и вести себя тише воды. Только бы Фирс его не заметил, только бы не учуял. Но драгоценная зверушка, которая ему не принадлежала и была незаменима благодаря своему очарованию, на глазах удалялась от него приличными прыжками. По всей видимости, монах посчитал, что в данной ситуации будет разумнее без долгих размышлений погнаться за кроликом и поймать его, и ему было безразлично, будет ли он замечен и остановлен Фирсом. Поэтому он поскакал за беглецом как можно быстрее, держа в протянутой руке первоцвет в качестве приманки. Как он только не корчился и приседал, как

чмокал губами, приманивая зверька, словно обещая кролику тысячи нежных поцелуев, пока по его лбу ручьями струился пот! Фирс заметил его, подкрался по узкой тропинке поближе и наблюдал за этой странной охотой. В зарослях камыша происходила возня, раздавался треск, хруст и скрежет. Это продолжалось некоторое время, и поскольку Фирсу некуда было спешить, он спокойно наблюдал за всем этим процессом, а затем окликнул Пахома.

С выпученными, затёкшими кровью глазами, расцарапанным лицом и прилипшими к растрёпанной бороде каплями крови монах медленно вылез из тени камышовых зарослей. Он как обычно прятал кролика, сердце которого бешено билось под пушистым мехом, в складках своей рясы. Этот стучащий звук доставлял Пахому огромное наслаждение, и на мгновение он почти забыл о своём страхе перед Фирсом. Он чувствовал, как барабанит сердечко животного, которое лежало на его ладони, словно в тарелке. И всё время один и тот же звук: тук-тук, тук-тук.

— Ближе, — сказал Фирс, — подойди ближе.

Он сам не знал, зачем произнёс эти слова и что давало ему на это право. Пахом медлил в нерешительности, сделал один крошечный шаг вперёд и едва слышно промямлил:

— Доброго дня тебе и да благослови тебя бог.

Фирс раздражённо крикнул, почему, ради всего святого, Пахом не подходит ближе, и в следующее же мгновение ему стало стыдно за себя. Ну что ему сделал монах? У Пахома от страха тряслись руки и ноги, будто он чувствовал, что конец его близок.

— Он бы утонул, кролик бы утонул, — выдавил из себя своими дряблыми губами монах, — если бы я его не спас. А теперь он в безопасности, и я отнесу его домой.

При этом в его блестевших глазах отражался такой ужас, такая жалкая беспомощность, что Фирс даже готов был попросить у него прощения. Поэтому он не стал спрашивать, где Пахом украл кролика, больше не сказал ни слова, повернулся и пошёл прочь окольными путями, сделав большой крюк, чтобы снова не наводить на беднягу страх. А когда Фирс отошёл на приличное расстояние, Пахом проглотил слюну, сделал несколько раз глубокий вдох, жадно хватая ртом воздух,

захихикал и, наконец придя в себя и освободившись от всех мучений, с облегчением вздохнул и справил малую нужду.

Монах поджидал Соню, доверчивую дочурку мутноглазого Агапа, но уж никак не Фирса, этого незваного гостя. Девочку, которая, по всей видимости, невероятно нуждалась в нежности и ласке, он встретил накануне и во всех подробностях нашептал ей на ухо целую басню о забавных причудах и потешных свойствах кролика, рассказывая ей об этом с неописуемым восторгом и настолько искусно, что никто в Вилково никогда не мог бы предположить о наличии у монаха такого изумительного дара красноречия. Он врал и фантазировал так, словно в него на полчаса вселился дух Пимена. А малышка Соня какое-то время слушала его внимательно, пока в уголках её глаз собиралась влага, которая затем превратилась в слёзы, медленно скатывавшиеся по её щекам крупными каплями. Ей очень бы хотелось как-то скрыть своё волнение, которое она так неловко выставила напоказ, но Пахом осторожно провёл своим указательным по её щеке и, улыбаясь, вытер эти мокрые капельки. Почему же девочка сегодня не пришла? Пахом погрузился в странные фантазии, по нижней губе на жидкие пряди его бороды стекала слюна, а пот беспрестанно выступал через все поры. Он закрыл глаза, бормотал себе под нос что-то непонятное, гладил правой рукой пушистую шею кролика, затем вдруг резко остановился, начал душить зверька, сжав пальцами его шею, и тут же отпустил, как будто обжёгся об неё.

— Нет-нет, только не давить, — сделал он сам себе замечание.

А затем, будто давая разъяснение и поучая ребёнка, добавил:

— Кролик мне нужен для Сони, шу-шу-шу, для Сони.

Девочка так и не пришла, поэтому, когда вечер постепенно спустился на землю и раскинул над водой и сушей своё чёрное покрывало, Пахому не оставалось ничего другого, кроме как отнести кролика обратно в его жилище. А Соня в это время продолжала выгребать глину со дна мелкого канала вместе со своими братьями и Евлампией, потому что на следующий день они собирались построить из неё целую церковь, великолепное сооружение фантастических размеров, доходящее Соне до колен, церковь, фасады которой будут обращены на все четыре стороны света, а для колокольни из двух связанных друг с другом ивовых прутьев был изготовлен крест, лежавший в песке рядом с

неустанно копошившимися детишками.

Старания Пахома не увенчались успехом и на следующий день, потому что Соня не собиралась уходить, пока грандиозная постройка не будет возвышаться на затоптанном и запачканном глиной травяном покрове берега канала. Никакие рассказы о кролике или восторженные расхваливания его очаровательности не помогли ему убедить девочку прийти к тому укромному месту в камышовых плавнях. Он обещал, что Соня сможет подержать зверушку в своих руках целый час.

— Целый час! — подчеркнул он.

— Сначала церковь! — с важным видом ответила Соня, руки которой были до сих пор в иле, когда Пахом осторожно вынырнул из-за куста, заговорил с ней и пытался выяснить, почему она заставила его ждать полдня напрасно. Он сказал укоризненно, что кролик так нетерпеливо ждал девочку и всё время высматривал её. Тут из Сони вырвался ликующий возглас:

— Искал меня, искал меня!

И после этих слов она залилась радостным, звонким смехом.

— Тише, — успокаивал её Пахом, размахивая руками и пытаясь утихомирить расшумевшегося ребёнка, — тише, иначе нас услышат, и тогда я больше не смогу принести маленького нежного кролика. Кто же тогда будет его ласкать и гладить?

Монах проводил трясущимися пальцами, которые будто судорожно что-то искали, по худеньким плечикам девочки, по её вздымавшейся от глубокого дыхания груди. Она переживала, что убежала от своих друзей, а игра требовала её присутствия. Кажется, она всё ещё пребывала за пределами окружавшей её действительности. Она снова была очарована и околдована и совсем не замечала рук Пахома, скользивших по вырезу и складочкам её тоненькой, широкой рубашечки, которую летом подвязывали пеньковой верёвочкой выше бёдер. Неожиданно девочка насторожилась и в замешательстве посмотрела в сосредоточенное и напряжённое лицо монаха. Пахом вздрогнул, словно очнулся, быстро забрал руку, промямлив, что он заметил на ней жучка и хотел его поймать. Но сейчас он улетел прочь, хи-хи. Он смутился и замолчал, на его лице проявилась недобрая ухмылка и он снова заблеял, пока его голос не оборвался где-то в глотке.

— Хорошо, — пропел он сладким голосом, — но завтра ты

ведь придёшь, не правда ли?

— Конечно, я приду, — ответила Соня, — церковь к тому времени уже будет стоять. Евлампия будет батюшкой, а Трофим нашим церковным певчим.

С этими словами она поспешила назад к своим друзьям.

Над Вилково уже нависло вечернее небо, богато усыпанное звёздами. Детские голоса становились всё тише и робче, в них слышалась усталость, и постепенно они замирали, словно крохотные огоньки, которые, загоревшись ещё один раз, полностью угасали в домах. Всё погрузилось в сон: люди, кроны деревьев и крыши домов. Только Пахом шумел где-то в темноте, не смыкая глаз, а Мара ворочалась во сне и стонала, разбудив Фирса, который взглянул через окошко на ночное небо, но затем снова медленно закрыл глаза и забылся сном.

На следующий день Пахом был охвачен беспокойством и суетливым волнением. Казалось, он что-то искал своими покрасневшими, опухшими глазами, под которыми виднелись темные круги, и как будто ждал, что с ним произойдёт что-то неожиданное. Он снова стоял перед мясной лавкой Еремея, громко прищёлкивал языком при виде вяленых бараньих туш, которые висели с печальным видом по правую и левую сторону от входной двери в лавку, однако затем потихоньку улизнул, прежде чем мясник лениво и медленно подошёл поближе, обратил взгляд к небу и, даже не моргая, уставился на беспощадное палящее солнце, как будто назло царившей повсюду жаре отдых его глазам давало созерцание лишь этого вида. Однако в этот раз всё было не так, как обычно. Сейчас ему никто не воздавал похвалы, поэтому по прошествии некоторого времени мясник повернул голову в том направлении, в котором, по всей видимости, скрылся Пахом. Еремей вёл себя так, как это наиболее соответствовало его натуре. После недолгих размышлений он покачал головой, потому что ему показалось, что человек, который всего несколько минут назад ковылял вокруг его лавки, был вообще не монах. Ведь Пахому обычно всегда было что сказать, он тут же принимался расхваливать телячьи лёгкие или почки. Несмотря на то, что гордый Еремей никогда ничего не отвечал этому жалкому бродяге, тот факт, что сегодня он не слышал невнятного бормотания Пахома, вызвал у него недовольство и досаду. Разве это не выглядело так, словно

Пахом забыл о своём долге? Еремей медленно сплюнул себе под ноги, и белая пена слюны зашипела, упав на горячий песок. Он начал сомневаться в своём умении разбираться в людях, проверенном долгими годами практики. Видимо Пахом был не таким человеком, каким он себе его представлял. Прошёл час, но монах так и не возвращался к лавке, а Еремей в который раз себя спрашивал, не боится ли тот усилившегося ближе к полудню солнцепёка, из-за чего больше не показывается поблизости. Как бы то ни было, отсутствие Пахома с его непонятными оборотами речи, которые мясник слушал уже тысячу раз, отвернувшись и сохраняя самое безразличное в мире выражение на лице, сегодня были для него равносильны утрате.

А монах в это время спешил к кроличьему сараю, поскольку боялся, что живая игрушка за одну ночь вдруг может исчезнуть. Для этого опасения, которое заставило его потерять душевный покой, не было никакого повода, однако Пахома по непонятным причинам обуял страх. Поэтому когда он ещё издалека увидел зверька, он разразился радостным смехом, который вылетал изо рта сквозь его поломанные зубы. В восторге он хлопнул себя по колену. Затем он слонялся из одного конца рыбацкого городка в другой, пересёк его вдоль и поперёк. Время тянулось невыносимо медленно, и эти часы до вожделенного свидания с Соней в камышах показались Пахому самыми долгими в его жизни. Боже мой, как лениво тянулись минуты одна за другой! Но он не должен был ни о чём думать, если не хотел, чтобы кровь приливала к вискам мощной волной; ах, только ни о чём не думать! Неужели он должен беспрестанно бить себя кулаками по вискам, чтобы хоть немного освободиться, хоть слегка вырваться из оков?

Наконец наступил час долгожданной встречи. Ветра не было, и камыши едва заметно колыхались вокруг него. Он весь дрожал, а в горле бешено стучал пульс, пока монах прижимался лицом к кролику. Его знобило и лихорадило. У него было ощущение, что по пальцам и рукам бегает целый рой муравьёв. Соня высматривала его, пробежала участок пути, а затем снова пошла более спокойным шагом, закрывая руками глаза, которые слепило солнце. Она улыбалась с любопытством, убрала с лица за уши несколько прядей волос, которые загораживали обзор. С ухмылкой на лице Пахом выскочил из зарослей навстречу

девочке, неся кролика на руках, как чудесный трофей. Соня остановилась, широко раскрыла глаза от удивления, а затем, вскрикнув от радости, протянула руки к животному. Но Пахом встал на цыпочки и поднял зверька как можно выше над головой, и Соня не могла до него дотянуться, поэтому сказала укоризненно:

— Ты же обещал, что позволишь мне подержать кролика целый час.

— Да, — ответил монах неуверенным голосом, неспособный совладать с дрожью своих губ. — Да, конечно, но только не здесь на тропинке. Вон там.

Он ткнул пальцем в воздух, и девочка, следившая за его неопределённым движением, не могла понять, что он имел этим ввиду и на какое место указывал. Поэтому Соня снова спросила с отчётливым нетерпением в голосе, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться:

— Где? Где ты дашь мне зайчика?

— Вон там, — снова ответил монах и кивнул головой влево, — там нас никто не увидит. Там ты сможешь делать с кроликом всё, что захочешь.

После того, как прозвучали его последние слова, он больше не знал, чем заполнить возникшую паузу, и разразился поддельным, неестественным смехом. От этого странного смеха, который звучал как пронзительный крик от боли, у Сони спёрло дыхание. Нахмурив лоб, из-за чего на лице появилось сомневающееся выражение, она сказала:

— Ах, прежде твой смех не был таким ужасным.

Создавалось впечатление, что слова девочки ещё больше развеселили монаха, и он опять зашёлся смехом, который, вылетая со свистом сквозь его тупые зубы, звучал ещё более странно, чем в предыдущий раз. При этом он держал кролика высоко левой рукой, а другой обхватил Соню за плечи.

— Пойдём вон туда в кусты, — пробубнил он. — Я знаю там одно хорошее местечко.

Девочка удивлённо посмотрела на него, сглотнула слюну и кивнула:

— Хорошо. Сегодня жарко, — добавила она немного спустя, пока пальцы Пахома пролезли в вырез её рубашечки. Его рука гладила, щупала, рылась, словно животное, которое хочет где-то

укрыться и копает лапами в поиске убежища.

Похоже, в проницательное сознание Сони закралась какая-то смутная догадка, и на мгновение она задумалась. От его молчания ей стало не по себе. Она хотела что-нибудь услышать, услышать хотя бы свой голос, поэтому снова начала говорить, хотя сейчас ей это давалось нелегко:

— Ты знаешь, что мы сегодня закончили строить нашу церковь? Евлампия — хороший батюшка, но вот Трофим, которого мы назначили на должность церковного певчего, во время службы не справляется со своим заданием и не хочет слушать наставления сестры. А ещё он гнусавит.

— Конечно, — горячо прошептал Пахом, пока его рука жадно скользила по спине девочки. Его кончики пальцев были похожи на щупальца осьминога с присосками. Соня ещё раз замедлила шаг в нерешительности. Но монах продолжал подталкивать её вперёд почти силой, против её воли, усыпляя её внимание ласковыми и нежными словами, странно посмеивался, пока по его лицу и глазам струился пот:

— Туда, туда.

Вдруг Соня заметила, что руки монаха тоже были влажными. Они напомнили ей пиявок, но Пахом мгновенно отвлёк её, приговаривая таинственным голосом:

— Никто не знает, как хорошо будет кролику с тобой там, в камышах. Этого не знают ни Евлампия, ни Трофим. Кролик будет сладко спать на твоих коленях.

Соня снова недоверчиво взглянула ему в лицо, хотя прежде не сомневалась в возможности этого удовольствия. От камыша, который лениво нежился на солнце, исходил кисловатый запах, и когда он попал в ноздри девочки, она содрогнулась. Монах грузно шёл впереди; его голова врезалась в паутину и тащила её с собой, словно колпак, однако он ничего не замечал.

— Только не бойся, — сказал он с искажённым гримасой лицом, побуждая ребёнка идти дальше, пока камыши не захлопнулись за их спиной. Потайное место было недоступно взору и скрыто в глубине густых зарослей. Никто из проходящих мимо людей не смог бы заметить просвет или слегка примятые кусты в необъятных камышовых плавнях. Где-то взметнулись ввысь две пурпурные цапли, озарив тёмно-золотыми вспышками вечерний небосклон.

Когда во время вечерних сумерек все дети как обычно возвращались после игры по домам, чтобы вместе со своими родными хлебать на ужин рыбную юшку, Сони среди них не было. Поначалу никто не терял терпения, полагая, что она задержалась в каком-то из соседних дворов. Агап сидел в трактире и слушал Пимена, рассказывавшего ему и Якову о Сулине и о привычках иностранных моряков, которых он там якобы часто встречал. Говоря по правде, Пимен вообще никогда в жизни не видел этого маленького портового городка в устье среднего из трёх главных рукавов Дуная даже издалека, но, тем не менее, продолжал самоуверенно говорить, потому что вполне доверял своей внутренней интуиции, подсказывавшей ему, что он не ошибался, рассказывая о народе, который был неизвестен рыбакам. А когда после долгого и тщетного ожидания в двери трактира появилась жена мутноглазого Агапа, чтобы узнать, не с отцом ли Соня, поскольку она, дескать, везде её искала и нигде не нашла, Агап лишь спокойно ответил, что девочка наверняка уже вернулась домой и жене не стоило беспокоить его по этому поводу. При этом он возмущённо спросил, неужели она не слышит, о каких важных вещах рассказывает Пимен. Растерянная женщина какое-то время смотрела в бездумные, мутные глаза Агапа, пока собутыльники молчали, а за столом стало невероятно тихо, затем пожала плечами и внезапно разразилась неслышными рыданиями, от которых содрогалась её тяжелая грудь. Она повернулась и пошла прочь.

Она продолжила поиски, выкрикивала имя дочери в темноту, побежала к Анисье, в доме которой в это время нечаянно застала Акима, попросила разбудить Евлампию и спросила её, не знает ли девочка, где запропастилась её подруга. Моргавшая сонными глазками Евлампия сразу же подумала о кролике, но вспомнив о том, что это секрет, о котором нельзя никому рассказывать, только ответила, что после окончания строительства церкви Соня ещё присутствовала на первой службе, а потом исчезла. После долгих и напрасных поисков жена Агапа вернулась домой, сидела и плакала, окружённая остальными детьми. Анисья пришла к ней и пыталась её успокоить. Ведь не один раз случалось, что уставший ребёнок засыпал где-нибудь на намывных грунтах дельты и только на следующий день

возвращался к родителям. Но мать Сони лишь всё время растерянно качала головой, тихонько всхлипывала либо кидалась к воротам, чтобы проверить, не появится ли ребёнок из темноты. Когда она стояла там сама, она заходилась громкими рыданиями, от которых просыпались все собаки в соседних дворах. Тогда они начинали лаять, и это лай долго не прекращался. Однако Соня не появлялась. Возле дома жена Агапа наткнулась на Акима, который, видимо, последовал за Анисьей и выглядел очень постаревшим. Он отвечал на поставленные ему вопросы так неуверенно, что можно было подумать, будто он что-то скрывает и знает, где находится Соня. Однако именно Акиму удалось убедить Агапа наконец оторваться от выпивки и на рассвете прочесать все дороги и тропинки вокруг рыбацкого городка в поисках следов пропавшего ребёнка.

Люди не сидели, сложа руки, кричали и обыскивали при этом каждый укромный уголок, делали всё возможное и даже оповестили городского голову и Флорю. Ведь Флоря в силу своей должности должен был следить и чуять лихо лучше, чем другие люди. Когда Флоря разговаривал об этом с Пименом, Агапом и Гашей, он использовал специальные выражения, которых вообще никто не понимал.

— Это сатана! — вставлял иногда Пимен, которому хотелось как-то высказаться, иначе бы он чувствовал, что румын его унижает.

А это вызывает возмущение, думал он про себя и улыбался караульному очень дружелюбно, будто прощает ему его высокомерие. Но Флоря пользовался этой возможностью и говорил так, чтобы потешить своё самолюбие и придать себе ещё больше значимости. Он принял самодовольный вид, как генерал. Однако такое поведение не шло ему на пользу, разве что Гаша мысленно восхищалась им. С невероятной скоростью, которая казалась рыбакам просто сказочной, Флоря царапал что-то в своём блокноте, в этой драгоценной вещице, подчёркивавшей его величавость. Он воображал себя высшей силой, выносившей приговор о жизни и смерти, и напускал на себя соответствующий вид. А Соня так и оставалась пропавшей без вести. Люди даже Пахома спрашивали о ней, в ответ на что он лишь удивлённо поднял брови, ухмыльнулся и, то и дело запинаясь, начал

рассказывать что-то о копчёной кефали, этой превосходной, великолепной рыбе для господских обедов и ужинов. Священнослужители также не могли ничем помочь и говорили только о Божьей воле и его мудром провидении.

Однако люди сочиняли более зловещие истории. Возможно, ребёнок утонул, когда купался? Или серые сомы снова отомстили рыбацкому народу, подкрались к плескавшемуся на мелководье возле берега ребёнку, повалили его своими мощными плавниками, утащили в глубину и сожрали? Ах, эти широкие и надутые пасти сомов, эти челюсти, усыпанные острыми зубами, болотно-зелёные пятна на их сытом, раздувшемся брюхе! Люди считали сомов коварными чудовищами, вселявшими в рыбаков страх, потому что они якобы воровали детей. Никто воочию не видел подобных нападений, однако эти жуткие истории ходили в народе испокон веков. Таким образом, малышка Соня наверняка стала жертвой коварных водных хищников. Агап не плакал. Он лишь стучал кулаками по трещавшим под его ударами столам в трактире и клялся, что отныне будет охотиться только на сомов, не будет ловить никакую другую рыбу, кроме этих проклятых монстров. Вскоре о пропавшей девочке забыли. И только мать Сони, братья и сёстры, Евлампия и Трофим иногда видели её во сне.

Аким также был среди тех немногочисленных людей, которых глубоко затронуло исчезновение Сони, хотя он практически не знал девочку и обменялся с ней лишь парой слов, когда она однажды пришла ко двору Анисьи, чтобы забрать Евлампию поиграть. Ребёнок как ребёнок, мало чем отличавшийся от всех остальных, которых много умерло за долгие годы, причём услугами аптекаря Наума никто не воспользовался. Как ни странно, Аким твёрдо задался мыслью во что бы то ни стало отыскать Соню и вернуть её матери и прилагал все усилия, чтобы достичь этого. Днями напролёт он рыскал по окрестностям вокруг Вилково, обыскивал все основные и окольные пути. Он чувствовал себя униженным судьбой и для своего собственного успокоения хотел хотя бы в этот раз доказать, что ещё способен принести какую-то пользу. Если бы ему действительно удалось найти заблудившуюся или спавшую Соню, он бы принёс её на руках домой к её родным, как он себе это часто представлял, и тогда, несмотря на внутренние

страдания, он бы всецело ощутил усладу и прилив сил от снизошедшей на него милости. Тогда бы он чувствовал, что не совсем напрасно жил всё это время, не напрасно бродил, словно призрак, по тропинкам и кладкам Вилково, пугая их своей тенью.

Эта неудача, о которой он рассказывал Анисье жалобным, сдавленным голосом, была для него как новое наказание, следовавшее за многими другими. Прежде он ни с кем об этом не разговаривал, ни с Флорей, ни со своим легкомысленным братом-близнецом, а только молча искал девочку, пока его твёрдые и шершавые подошвы не покрывались ранами и волдырями.

— Почему я не смог найти Соню? — спросил он однажды Анисью укоризненным и обвиняющим тоном, опустив вниз мокрые от слёз глаза. — Почему не случилось так, что я её спас, я, я, я и только я? — Он чуть ли не кричал, возмущённо топал, поднимая своими израненными ногами пыль. — Почему я не должен получить хоть что-то, чтобы быть благодарным, чтобы, преклонив колена, получить прощение? Неужели я всегда буду чувствовать себя отверженным? И кто сказал, что всё будет напрасно?

Пошатываясь, он пошёл в дом, а Анисья, которая не сразу поняла причину его отчаяния, недоумевающе смотрела ему вслед, и на какое-то время её руки застыли в неподвижности в деревянном корыте среди мыльных пузырей, которые поблёскивали на замоченной грязной одежде, словно синеватые стеклянные цветы. В данный момент она не могла крикнуть ему вслед никакие слова утешения и чувствовала себя ещё более жалкой и беспомощной в этом водовороте жизненных событий, которые никогда нельзя предугадать.

Если каким-то вечером он не приходил к ней, она полагала, что сама в этом виновата, поскольку была неспособна понять его запутанные намёки и разгадать их смысл, как бы самоотверженно она не добивалась Акима. Она радовалась, узнав, что ночи, во время которых она были лишена его присутствия, он проводил в доме старика Калистрата либо под скудной кроной айвового дерева в его дворе. Однажды, пока дети спали, она ускользнула из дома и пришла по громыхавшим несмотря на её осторожные шаги доскам кладок к воротам, за

которыми где-то во дворе лежал Аким, ворочаясь без отдыха и без сна и уткнувшись полным ненависти лицом в траву. Охваченная страхом, она прошептала его имя, а затем произнесла его громче и более внятно. Дворовая собака была спокойной, не залилась лаем, лишь медленно подошла к забору и, просовывая голову через отверстия между заборными планками, начала лизать её старческие руки, но Анисья этого не замечала. Она нетерпеливо водила вокруг себя глазами, до боли напрягала глаза, устремляя взгляд в туманную темноту сада, над которым мерцал узкий серп молодой луны. Внезапно она оторвала кусок ткани от своей полосатой кофты, завернула в него камень и забросила его во двор, чтобы напомнить таким образом Акиму о себе. Завтра он наверняка найдёт тряпочку, поймёт, от кого это послание, и, возможно, вспомнит о ней и больше не будет оставлять её в одиночестве. После этого она ещё час или больше бродила, делая каждый робкий шаг как можно медленнее, и наконец добралась домой, лишённая всяческих сил и подавленная, как будто её кто-то побил.

Кофта Анисьи так и осталась разодранной и обтрёпанной, словно её погрызли кручина и нужда острыми крысиными зубами. Несмотря на бедность, прежде она всегда следила за своим внешним видом, но сейчас не могла найти в себе сил, чтобы устранить ущерб, который нанесла себе сама. Ибо Аким так и не появлялся. Он снова уехал с Савелом и Фирсом к устью Очаковского канала, даже не попрощавшись с ней и не обмолвившись ни словом о своём отъезде из Вилково. Анисья случайно узнала об этом от Фрола и теперь страдала втихомолку, терпеливо ожидая возвращения Акима в город. Пусть порванная кофта лежит всё это время на лавке, она там никому не мешает. Хотя дети чувствовали, что для них могут наступить лучшие времена, поскольку Аким уже несколько дней не показывался в их доме, в этот раз явная раздражительность матери удерживала их от попыток сближения. Она сердито отворачивала голову в сторону и упрямо смотрела в одну точку, погрузившись в размышления, если вечером перед сном Евлампия или Трофим пытались её приласкать. Она отталкивала от себя озадаченных, ничего не понимавших детей, словно что-то назойливое и надоедливое.

В такие минуты Трофим начинал рыться в мешочке с галькой,

который пошила ему сестра, пока не засыпал сидя. Однако Евлампия в глубине души была возмущена таким поведением матери, и чем больше Анисья замыкалась в себе, погруженная в мысли об Акиме, тем сильнее становилось упрямство девочки. Евлампия страдала; тем не менее, она бы с радостью в любую минуту забыла о своей скрытой злобе, если бы мать не отвергала её с таким раздражением. Ах, если бы только можно было разок всхлипнуть, разок всплакнуть, находясь в объятиях мамы! Однако ничего не менялось. Однажды днём с неба неожиданно полил такой сильный дождь, что все каналы наполнились водой до самых краёв, и их гнилостные, дурманные испарения больше не пропитывали воздух такой вонью. На свежем воздухе Евлампия подняла свою понуренную голову, словно оживший цветок, и вышла со двора Анисьи, чтобы побегать босиком по мокрым камням. Было несказанно приятно ощущать прохладную влагу горячими ступнями. Она чувствовала себя одиноко и неожиданно осознала, у кого сможет найти сочувствие и понимание. Только она не сказала никому ни слова, и даже Трофим не должен был ничего знать. А думала она при этом о пушистом мехе кролика.

В следующую субботу Аким и его спутники доставили к рыбным складам приличный улов. Можно было поистине радоваться такой добыче и немного попраздновать. Наверняка Анисья не отказалась бы от куска какой-нибудь дешевой шерстяной ткани на юбку, тем более что на причитавшуюся ему выручку от икры Аким мог бы купить целый рулон, если бы мысль об этом посетила его хоть на мгновение. Нет, ему и сейчас не приходило в голову сделать шаг навстречу ожидавшей его женщине; у него вообще не было подобных намерений. Он сидел рядом со стариком Калистратом на пороге дома, подперев подбородок руками и наблюдая за Дуней, которая возилась у дымившейся летней печи. От него не ускользало и то, когда практически не менявшееся лицо Фирса прояснялось или омрачалось. И с какой стати Фирс вдруг, будто между прочим, упомянул имя Анисьи? Пусть она живёт, как жила раньше, и не думает, что он вернулся с моря только ради неё. Она смиренно проявляла к нему терпение и никогда не держала на него зла. Однако, когда Аким думал о ней, эти мысли были похожи на давно забытые и стёршиеся из памяти воспоминания. Анисья так

и не смогла завоевать его сердце.

На следующий день исчезла Евлампия. Кроткая и тихая Анисья бегала по всему городку с громкими воплями, напоминавшими вой, исходивший из пасти раненого умирающего животного. Агап выбежал из трактира и кинулся прямо ей навстречу, а следом его жена, которая примчалась из другого направления. Запыхавшаяся Анисья выпучила глаза на них обоих, замолчала, а затем снова закричала, где же Соня, где же её Евлампия, малышка Евлампия. Она схватила Агапа за руку, не в силах понять, куда мог подеваться ребёнок. Ещё несколько часов назад девочка несла Трофима на плечах через двор, а сейчас не отзывалась ни на один оклик, который долетал до ушей жителей городка и отдавался далёким эхом. Люди, одетые в выходные наряды и белые рубашки, собирались у ворот, на площадях вокруг церквей. Гаша, на которой было похожее на яркий цветник платье, горько плакала, в отчаянии размахивая руками перед лицом удивлённого городского головы, поскольку, несмотря на распространяемую аптекарем Наумом и Савелом клевету, она была мягкосердечным человеком и также страдала от горя Анисьи, словно речь шла о её собственном ребёнке. Между рыданиями она несколько раз вздохнула так громко и протяжно, что очнувшийся от своих мечтательных размышлений Пимен, услышав эти звуки, подумал про себя, что она, ненасытная женщина, наверно съела в обед чересчур много или наелась слишком жирной пищи. У него возникали подозрения, что порой она не может насытиться и переедает, а теперь мучается от тяжести в раздувшемся желудке.

Анисья врывалась в каждый двор, глядя вокруг себя безумными глазами. Она ни у кого не спрашивала разрешения, забегала без слов приветствия в комнаты рыбацких домов, где пожилые женщины и мужчины при виде её крестились перед иконами в позолоченных рамках. Аким шёл за ней, держась

поодаль, поскольку боялся, что она может причинить себе вред. Поэтому он стоял перед воротами, незамеченный Анисьей, пока она обыскивала избы, открывала и снова захлопывала крышки сундуков, проверяла застенки печей, не прячется ли там Евлампия. Постепенно она добралась до перекрёстка главной улицы, где её уже будто поджидал Флоря, потому что он подошёл к ней с деловитым видом и начал что-то спрашивать, но она ничего не понимала. Она просто оттолкнула его, потому что не хотела, чтобы её задерживали. Неподалёку от входа в церковь собрались, будто для тайного заговора, рыбаки, среди которых находились также Фирс, Савел, Яков и Фрол. Поскольку было воскресенье, многие были свободны от работы и слышали возмущённые возгласы о недавнем исчезновении девочки, и похоже, всех начинал охватывать страх, что на них тоже свалилось несчастье. Что же будет дальше? Каждый боялся, что под угрозой находится его собственный ребёнок. Тут Агап вышел на середину круга, образованного стоявшими рыбаками, и создавалось впечатление, будто он их обвиняет, будто требует от них ответа, хотя он не проронил ни слова. Они молчали, не зная, что делать, лишь ещё ближе придвинулись друг к другу и стояли плечо к плечу, понурив головы. Ласточки, гнездившиеся на церковных колокольнях, кружили над их головами, наполняя воздух своим звонким чириканьем, и, сделав взмах блестящими крыльями, взмывали в безоблачную высь.

Даже Савел отчётливо ощущал, что не способен избежать влияния этих событий и что утрата Анисьи и Агапа касалась и его самого. По его телу пробежала волнами холодная дрожь. Неужели мутноглазый Агап смотрит ему в глаза? Он не осмелился поднять взгляд и отвернулся в сторону, будто увиливая от ответа. Вдруг он заметил Пахома, который, находясь от них ещё на приличном расстоянии, странной ковыляющей походкой вынырнул из тени забора и пятился назад по той дороге, которой он шёл по направлению к центру городка. К лицу Савела прилила кровь. В мгновение ока его словно молнией осенила неожиданная, не дававшая ему покоя навязчивая мысль, почему его глаза подозрительно уставились на монаха. Внезапное воспоминание о тех зимних вечерах, когда он спугнул Пахома, шпионившего под окнами дома Агапа, а впоследствии застал его ещё раз в компании Сони, снизошло на него, как

озарение. Едва успев осознать это, он первым делом выкрикнул имя Пахома. А затем, спустя секунду, в течение которой на лицах рыбаков застыло полнейшее недоумение, он заорал, как одержимый:

— Пахом, Пахом, Пахом, это Пахом, это он!

Савел изо всех вил бросился сквозь кольцо мужчин и прорвался через него. Спустя мгновение он уже бежал. А вся толпа неслась за ним по пятам. Видимо, монах услышал ещё первый крик Савела, потому что, долго не раздумывая, втянул голову в плечи и кинулся наутёк, бежал со всех ног, мчался невероятными прыжками в попытке оторваться от преследователей, и чтобы ничего не сковывало движения, развязал верёвку, которая подпоясывала рясу, а затем сбросил с себя рясу и шапку. Пока что между ним и несущейся вперёд толпой, к которой присоединились Анисья и ещё пару женщин, оставалось приличное расстояние.

— Ловите его, убийцу! — долетали до его ушей пронзительные крики, раздававшиеся сзади.

Монах не оборачивался, хватал открытым ртом воздух, но ноги неустанно несли его вперёд, словно он помолодел на много лет. На узких, громыхавших от сотни шагов кладках, которые вели вдоль каналов, было мало места для продвигавшейся вперёд массы людей; можно было продвигаться только гуськом друг за другом, поэтому преследователи сбивались в кучу, в которой каждый расталкивал остальных широко расставленными локтями, чтобы пробраться вперёд. Благодаря этому монах получил преимущество и опережал их. Внезапно мост с треском проломился от непривычной, создающей колебания нагрузки, и рыбаки, выкрикивая ругательства, попадали в воду. Но никто не сдался, никто не выбился из сил, хотя на бегу горячий воздух обжигал их закрытые веки. Из всклокоченных бород струился пот. Перед глазами Пахома всё рябило, словно его загоняли в огонь. Вдруг он озадачился, потому что здесь кладки заканчивались и дальше путь разветвлялся на несколько тропинок; он резко свернул, прошмыгнул за забор, на мгновение исчез из поля зрения растерявшихся преследователей, а затем снова выскочил из кустов, существенно опередив их.

Анисья больше не упускала его из виду, и хотя постепенно некоторые люди из толпы всё-таки останавливались в полном

изнеможении, она вместе с Савелом, Фирсом и Фролом продолжала преследовать по пятам монаха, который в конце концов тоже должен был когда-то выбиться из сил. Они потоптали несколько грядок тыквы, через которые пробежал Пахом, сорвали с петель ворота; расстояние между ними и спасавшимся бегством монахом постепенно сокращалось.

Вилково уже остался далеко позади. Пахом переходил вброд высохший приток реки, двигаясь мимо торчавших повсюду голых стволов деревьев с гнёздами бакланов, которые испуганно взлетали в небо и кружились над болотами. Впереди он разглядел камышовые плавни и густо разросшийся лишайник на деревьях с противоположной стороны, а затем белые и крупные кувшинки на краю заболоченного озерца. Он задумался, как поступить дальше. Может, стоит оббежать озеро вокруг? Он колебался, а в голове пронеслась мысль, что Савел и Фирс уже неподалёку и ему грозит страшная опасность. Возможно, они оба не рискнут без колебаний последовать за ним и пойдут в обход болота, а он сможет укрыться где-нибудь в густых ивовых зарослях.

Поэтому он медленно зашел в воду, чувствуя песок под ногами, затем ил, который становился более жидким и прилипал к ступням. Он продвигался вперёд с неимоверными усилиями, едва волоча ноги, к которым будто бы были привязаны тяжеленные гири. Вдруг он почувствовал, как твёрдая почва уходит из-под ног, услышал голос Анисьи и испустил крик; его преследователи не успели и глазом моргнуть, как он пошёл ко дну. Он сделал взмах и ещё раз широко развёл руками, но беспощадная трясина поглотила его, и мутная вода с бульканьем сомкнулась над его головой. Анисья, Фирс, Савел, Агап и прочие рыбаки подошли поближе, стояли на берегу и таращились на то место, где на поверхности озера ещё виднелась бурлящая воронка.

— Сам сатана прибрал его к себе, — сказал в ужасе Савел, держа перед собой сжатые кулаки.

После длительной задержки, которая казалась вечностью, они наконец отправились назад в город: Анисья, опиравшаяся на Агапа, и все остальные, рассредоточившиеся по маленьким кучкам, которые обменивались возмущёнными криками, проклятиями и осеняли себя крестным знамением. На обратном

пути они увидели Мару, которая шла им навстречу. Когда она появилась перед ними, выступающие скулы её побитого оспой лица подёргивались от волнения, с которым ей не удавалось справиться, а с подбородка стекали слёзы, прежде чем она смогла совладать с собой и заставить свои дрожащие губы произнести слова:

— А ведь я знала, я это знала. Но никто не хотел меня слушать. Только напрасно поднимала шум. Пахом убил детей, обоих детей. Пахом задохнулся там в трясине и утонул. Да уж, ему пришлось наглотаться ила, много ила. А ведь я предупреждала вас во время наводнения и впоследствии ещё много раз, ха-ха-ха.

Вдруг она разразилась безумным смехом, а затем промямлила, расчленяя слова на слоги:

— Бедная Евлампия. Я видела её в своих снах с Пахомом, с этим кровопийцей. Ох, ох!

Она подняла руки над головой, изобразив подобие крыши, а потом сделала угрожающий жест в направлении озера, в котором утонул монах, пока Анисья пристально смотрела на неё, вылупив глаза.

— Мои сны меня не обманывают, — крикнула Мара и ударила себя в грудь. — Вам следовало бы понять это раньше, но нет, ваши мысли были заняты другими вещами, пока ваших деток не задушили, как котят.

Из горла Анисьи вырвался протяжный, угрожающий звук, напоминавший рычание зверя, который с напряжённым вниманием готовится прыгнуть на спину своего врага.

— Закрой свой рот! — зашипела она. — Если ты об этом знала, значит, в этом и твоя вина. Ты это скрывала, сукина дочь.

Стоявшие вокруг люди почувствовали, что в данный момент с Анисьей шутки плохи, быстро встали между ней и Марой, которая снова зашлась пронзительным смехом.

Фирс схватил провидицу за руку и оттащил её в сторону, пока Агап неуклюже пытался успокоить Анисью своими глуповатыми речами.

— Моя Соня тоже умерла, — сказал он, кивая головой, — и мне сейчас не намного лучше, чем тебе. Ты ещё молодая женщина и наверняка сможешь найти себе кого-то.

Тут Анисья врезала по плечу склонившемуся к ней с

отеческим участием Агапу. Он оторопел, проглотил следующее слово, которое собирался сказать, и отпрянул назад.

— Она опасна, как ядовитая гадюка, — промямлил он укоризненно, немного оправившись от неожиданного испуга. — Если ей не по душе наши добрые слова и сочувствие, тогда каждый из нас будет скорбеть и переносить своё горе в одиночку, — объяснил он некоторым женщинам, которые обступили его с трогательной заботливостью, словно его несправедливо обидели. — Мы загнали до смерти убийцу её ребёнка, отомстили ему, а она ещё и неблагодарна.

Он констатировал это уже рассудительно и спокойно, чтобы ещё раз разъяснить женщинам гневный приступ Анисьи. Толпа старых перечниц издала вздох, словно заразившись этой манерой от Гаши, которая сейчас рыдала перед Флорей, высмаркиваясь в юбку с роскошным цветочным рисунком и совсем не жалея свой выходной наряд, потому что придавала слезам гораздо большее значение, чем всем этим бесполезным тряпкам. Анисья стояла с отрешённым взглядом, как вдруг ощутила, что в её жилах закипает кровь; внутри неё что-то сломалось, и она больше не могла переносить эту муку. С отвращением и в полном недоумении она отвернула голову и бросилась прочь. Сейчас ей хотелось только одного: не видеть эти тупые назойливые лица и сбежать от них подальше!

Однако Анисья была не единственным участником этого неистового забега, который гнал её к Трофиму и её избе. Савел, который, повинуясь странному порыву, следил за Анисьей, будто ей ещё грозила опасность, без колебаний кинулся вслед за ней. В какой-то момент она услышала шаги позади, которые показались ей знакомыми, узнала робкую и нерешительную походку, начала что-то подозревать, но всё же не была уверена, кто бы это мог быть, хотя несмотря на безумную боль от пережитой утраты в глубине души у неё теплилась надежда, что это может быть Аким. Она резко замедлила шаг и затаила дыхание, оглянулась и в нерешительном выражении лица Савела увидела черты Акима. Она схватила его за руку, словно рука была последним спасительным островком. Ведь в эти минуты безвыходности и отчаяния для неё было очень важно чувствовать тепло его руки, которая была способна послужить ей опорой и поддержкой, ощущать сочувствие и готовность разделить с ней горе, которые

она, как ей казалось, видела в его глазах. Савел слегка прикоснулся к её плечу, чтобы как-то её утешить; всхлипывая, она прижалась головой к его груди и долго плакала. Он не шевелился и молчал.

Взрослые и дети шли мимо или робко подходили ближе, и когда среди них появился Аким, Савел осторожно подозвал его жестом и одновременно дал ему понять, приложив палец к губам, чтобы тот не произносил ни слова, ни звука. Аким понял его, он точно знал, что задумал брат, знал это, как будто они обо всём заранее договорились. Тогда Савел, который сейчас по чистой случайности стоял рядом с Анисьей, неожиданно освободился из её объятий, незаметно подсунул на своё место Акима и тихонько улизнул, прикрываемый фигурой брата. Аким бросил взгляд на медленно удалявшегося Савела. Трудно сказать, что выражал этот взгляд: благодарность или только страх человека, который сам не определился в жизни, а теперь ещё должен был найти правильный путь для Анисьи? Затем Аким погладил её по волосам своими неуклюжими руками, а когда вскоре после этого Савел исчез за густой кроной огромной ивы, он наконец сказал:

— Не стоит так долго здесь оставаться, Анисья. Трофим проголодается.

И они пошли вместе дальше.

В дальнейшем, все последующие дни и ночи ему пришлось неоднократно испытать на себе, сколько недоразумений и ошибок порождали его близкие отношения с этой женщиной. Ему бы хотелось её утешить, скрасить её одиночество в это тяжёлое для неё время, когда земля уходила из-под ног и привычная жизнь дала трещину, хотелось приласкать её, приласкать словами, не вступая при этом в интимную близость. А кто ещё разделит с ней её горе? Агап строил из себя обиженного и повернулся к ней спиной. Что же касается Гаши, то она, в принципе, была бы не прочь пару раз поплакать вместе с Анисьей, однако это давалось ей гораздо легче не в компании несчастной женщины, сидя в тесной комнатушке, а на глазах зрителей, демонстрируя им свою растроганность, будто достопримечательность. Ибо Гаша любила себя и считала, что слёзы ей к лицу. Аким перепробовал разные способы, чтобы, насколько это было возможно, хоть на какое-то время прогнать из сознания Анисьи жуткие воспоминания. Однако зачастую она

оставалась непреклонной и неприступной, закрывшись в себе от всего мира наедине со своей болью. Чтобы отвлечь её и дать ей отчётливо почувствовать, что Трофим нуждается в матери, он посвящал мальчугану гораздо больше времени, чем раньше, подзывал его к себе, когда сидел в комнате Анисьи, играл с ним, набивал свои карманы камешками, а затем высыпал их на глазах ликующего от радости ребёнка. Он делал всё это в надежде немного облегчить женщине жизнь, чтобы она не так остро воспринимала его нехватку как мужчины. Он не мог оставить её, расстаться с ней, даже если ему этого хотелось. Если вдруг он собирался вечером уйти, она могла вцепиться в его рубашку с такой силой, что в её кулаках остались бы одни клочья, если бы он был непреклонен и настаивал на своём возвращении в дом старика Калистрата. Сейчас женщина нуждалась в нём больше, чем когда-либо. Ведь в этом случае она могла взглянуть на него и обменяться с ним парой слов либо взять его руку и медленно водить ею по груди, зная, что кто-то есть рядом. Такое поведение не требовало объяснений. Она испытывала острую необходимость в его присутствии. Ей было легче переносить постигшее её несчастье, ощущая его близость, даже если всё то время, которое он проводил с ней, он постоянно томился желанием поскорее уйти. Ведь он — живой человек, мужчина; сейчас он был для неё единственным, пусть даже слабым, но в то же время несказанно отрадным утешением. Она готова была довольствоваться его самыми скупыми словами, самыми неловкими успокоительными фразами, которые она воспринимала как большой подарок. Акиму казалось, что горе от утраты ребёнка окутало её, словно плотная паутина. Разорвать эту паутину и освободить из неё Анисью он смог бы лишь в том случае, если бы окружил её нежностью и лаской, которую бы она ощущала, как его дыхание на своей коже, но именно этого ему хотелось меньше всего. Зачастую он не мог придумать ничего другого, кроме как избегать под каким-либо неумелым предлогом её болезненно-неистовых объятий, которые помогали ей забыть свою боль.

Когда однажды он намеренно наступил на ржавый гвоздь, чтобы найти себе оправдание и больше не ходить к Анисье, он просто позвал прыгавшего перед деревянным забором Трофима и попросил Дуню дать мальчугану карпа для матери. Через

ребёнка он передал его матери, что болен, что с ним, дескать, приключилась напасть, страшная напасть. Однако совсем скоро он поправится и тогда придёт к Анисье и даже принесёт гальку, много-много гальки. Выслушав сообщение, Трофим не кивнул в знак согласия, чего вообще-то ожидал Аким, он даже бровью не повёл и наверняка не поверил его словам, потому что даже упоминание о камешках оставило его совершенно равнодушным.

— Разве ты не будешь рад камешкам? — спросил Аким, удивлённый безразличием ребёнка.

Тогда Трофим натянуто улыбнулся, и на его щёчках появились две маленькие ямочки.

Однако рана сыграла с Акимом злую шутку и зажила неожиданно быстро, хотя он желал чего угодно, но только не этого; она вскоре затянулась, оставив после себя лишь маленький шрам, как будто его собственное тело решило наказать его за причинённый вред. Может, стоит взять сырую щепку и расцарапать ею ступню? Он покачал головой, вспомнил Анисью и пришёл к убеждению, что она несчастна не больше, чем он сам. Впоследствии Трофим ещё раз пришёл к его двору, осведомился о его самочувствии, точно повторив слова, которые ему раз восемь или десять произнесла мать, заставив выучить их наизусть. Ребёнок сразу же получил ответ, что Аким ещё не выздоровел. После этого он спровадил малыша домой, вручив ему мешочек кукурузной муки. А когда нога Акима окончательно зажила, он стал вести себя так, будто Анисьи вообще не существует. Он постоянно убеждал себя в этом и, похоже, иногда сам в это верил. Аким решил, что к Анисье, которая, как он очень надеялся в глубине души, найдёт себе другого мужчину, он больше не пойдёт. Он полагал, что таким образом оградит её от событий и случаев, которые бы напоминали ей о нём.

Лето было в самом разгаре и обрушилось на рыбацкий городок с сокрушительной силой, вследствие чего население воспринимало перипетии своего существования с большим безразличием, чем раньше. Разумеется, побег Пахома и его гибель в трясине пока ещё не перестали быть волнительной темой пересудов, однако сейчас во всей округе царила усыпляющая жара, расползаясь повсюду подобно гадюкам, обитавшим в камышовых зарослях, и больше нигде не осталось хотя бы клочка воздушного пространства, в котором бы не роились тысячи жужжащих в унисон мошек. Над каждой постелью висела защитная сетка, слегка подымавшаяся и опускавшаяся от дыхания спавших людей. Похоже, что с исчезновением монаха наконец успокоилась даже взбалмошная Мара. Лишь иногда она ходила вокруг Флори шатающейся походкой и говорила ему, что хочет он этого или нет, он не должен смеяться, нет, он не должен смеяться, ему следует остерегаться. Но кто при такой жаре будет испытывать внутренне напряжение, чтобы чего-то бояться? Кому было дело до того, что Наум так и продолжал в своих разговорах перемывать Гаше все косточки или начинал мямлить с резко побагровевшим лицом, если кто-то случайно упоминал имя караульного? Пусть лучше смотрит в оба за своими тиглями и бутылочками, которые в один прекрасный день, если солнце начнёт припекать изо всей силы, могут взлететь на воздух вместе с его лавкой, пусть многоуважаемый аптекарь лучше сам остерегается и не надеется на то, что Гаша когда-нибудь вновь придёт в его лабораторию с целью продолжительного лечения.

Однажды ранним утром Флоря зашёл в лавку Наума и потребовал у него средство для быстрого затягивания шрамов, после чего аптекарь с побелевшим от ужаса лицом потянулся дрожащими руками за коричневой мазью. Приказным тоном Флоря спросил, из чего изготовлено средство.

— Из чего? — у аптекаря спёрло дыхание.

— Ну, из чего смешана эта дрянь? — усмехнулся караульный презрительно с таким видом, будто собирался в следующее мгновение пнуть ногой фаянсовый тигель.

Оторопевший аптекарь пробормотал что-то о жире и редких лечебных травах.

— В ней нет соли? — крикнул Флоря укоризненно.

Наум медленно и боязливо покачал головой в знак отрицания.

— Нет ли там смолы? — закричал вероломный караульный, как будто это был общепринятый и известный даже глупым детям факт, что именно смола залечивает все раны.

— Входит ли в состав смола? — произнёс аптекарь спустя мгновение, и при этом его виски стали белыми, как мел.

Флоря ударил дубинкой по прилавку и открыл рот, чтобы задать последний решающий вопрос:

— А пороха там нет?

— Нет, — прошептал Наум еле слышно и быстро сглотнул слюну, которая стала как ком поперёк горла.

— Нет пороха? — заорал Флоря и, после того как аптекарь моргнул от волнения несколько раз, пришёл к разгромному выводу:

— Значит, там есть яд, крысиный яд или трупный яд.

— Ради всего святого, не говорите так, — умолял аптекарь, полностью потеряв самообладание. — Я всё пойму, если вы будете говорить тише.

Но Флоря неистовствовал ещё громче:

— Нет пороха, это просто смешно!

С этими словами он резко повернулся, прошипел ещё что-то и сплюнул. Когда же он распахнул дверь, чтобы выйти на улицу подобно оскорблённому князю, от которого требовали сделать что-то бесстыдно низкое и непристойное, он решил довести до конца начатое дело и, гордо запрокинув голову, нарочито громко сказал:

— Ещё один шарлатан!

Но подобные происшествия были не самыми занимательными из тех, что случались в Вилково. Хотя аптекарь и рассказал эту историю своему доверенному лицу и товарищу по несчастью Савелу, который без всякого стеснения передал её дальше Якову, своему любознательному собутыльнику, и очень скоро весь город знал о случившемся, обзывал Флорю грубияном и сочувствовал Науму, хотя людям с давних пор было известно, что смесь смолы, соли и пороха вне всяких сомнений является старым, проверенным средством, с которым не могло сравниться ни одно снадобье аптекаря. Яков рассказывал об этом почти

сотню раз, несмотря на то, что другие вещи, которые казались более загадочными, неимоверно разжигали его болезненное любопытство. Когда он, сидя в трактире Ивана, скользил прыгающим туда-сюда взглядом по игральным костям, он как обычно говорил:

— Сколько очков?

И после этого сразу же добавлял:

— Где же могут находиться трупы Сони и Евлампии? Я всё время об этом думаю, эти мысли не выходят из моей головы. Где же могут быть спрятаны тела мёртвых детей?

Он грыз ногти, опрокидывал ещё стаканчик, проводил рукой по растрёпанным волосам, издавая при этом кряхтящие и стонущие звуки. Только одному ему было известно, как тяжело он страдал, потому что его не покидало непреодолимое желание узнать правду, заставлявшее его в сотый раз начинать фразу со слов «Кто?», «Что?», «Где?» и «Почему?». Он бы пожертвовал одно ухо или отдал бы левую руку за то, чтобы узнать, что же случилось с обеими девочками, потому что смерть Пахома для него мало что проясняла. Однако больше никто не отвечал на его вопросы, потому что люди, видимо, устали от всяких страшных и зловещих событий.

Сейчас мысли многих занимал приезд в город маленькой труппы бродячих артистов, на которую приходил поглазеть весь Вилково. Одним воскресным днём с раскинувшегося за пароходным причалом поля во все стороны начал разлетаться многообещающий шум. Нельзя сказать, что это было невиданное или поразительное волшебное зрелище, как легенды о воскрешении мёртвых из Библии, однако открытых ртов оно собирало предостаточно. Несколько лет назад народ уже приходил в изумление от развлекательной программы одной труппы с её пятью обезьянами, которые во время представления демонстрировали непревзойдённые трюки с невероятной ловкостью и мастерством. А сейчас зазывалы ходили по городу и кричали через заборы дворов, что медведями и обезьянами уже никого не удивишь, однако существует совсем немного истинных артистов, которых от силы наберётся десяток, и четверо из них прибыли для выступления в рыбацком городке. Глотатель огня, фокусник, человек с гибкими костями, подвижный, как угорь, и прекрасная танцовщица — всё это можно увидеть после обеда за

пару леев.

Услышав эту новость, трактирщик Иван почувствовал, как его охватывает уныние, поскольку опасался, что людей скорее привлечёт глотатель огня, чем его водка. Пытаясь предвосхитить события, он не постеснялся отпустить во всеуслышание несколько презрительных замечаний об этом сброде артистов, однако его слова не были встречены с пониманием, и даже те, кто не перечил ему, молчали, грезя наяву о горящем пламени, проглоченным парой толстых губ.

Пимен мысленно представлял себе танцовщицу, это прекрасное создание, полное волшебства и лёгкости. Прищурив глаза, он лежал со счастливой улыбкой на сияющем лице под иконой Василия Блаженного, не отвечал ни на один вопрос, который ему задавала Гаша резким тоном, и лишь наслаждался музыкой, которая звучала в его ушах и была недоступна для слуха других.

— Её танец — это бальзам для души, — прошептал он как-то раз Гаше.

— Чей танец? — спросила Гаша, которая стояла вплотную к нему и раздражала его своим назойливым присутствием.

Пимен отмахнулся от неё рукой, посмотрел на неё отсутствующим взглядом, однако затем проявил благоразумие и сказал как бы между прочим:

— Я имею ввиду Марусю, Марусеньку, танцовщицу.

— А разве ты её когда-нибудь видел? — резко спросила она, немного возмущённая непринуждённым тоном его высказывания.

— Да, — прозвучал ответ Пимена, — да, я имел возможность полюбоваться ею много лет назад. Ты тогда ещё не родилась.

Гаша гневно сплюнула, но вскоре одумалась и робко спросила, где же они возьмут деньги на плату за вход.

— Мне даст Савел, — ответил Пимен самодовольно и повернулся к ней спиной.

Гаша грустно вздохнула; от жары и духоты в тесной комнате её кожа липла и чесалась. Наконец супруг снова заговорил:

— А разве у Флори, нашего друга, не найдётся для тебя пару жалких монет?

Похоже, Гаша не поняла намёк, содержавшийся в его вопросе.

— Найдётся, — ответила она с высокомерной небрежностью,

— у него денег больше, чем у всего рыбацкого отребья вместе взятого, но, знаешь ли, я не хочу ничего у него просить.

— Хм, — прозвучал ответ Пимена после долгих раздумий.

Какое-то время она выжидательно молчала.

— Разумеется, он даст мне деньги, потому что ты всю свою жизнь не можешь обеспечить меня даже самым необходимым, — сказала она, отвернувшись и от нечего делать окунув руки в прохладную воду стирального корыта.

Однако Пимена больше не заботили её колкости. Он потянулся рукой к затылку, немного поводил по нему затёкшими пальцами и ужаснулся, обнаружив несколько выпавших волосинок. Тем не менее, его вера в незаурядные вещи должна была быть вознаграждена.

После обеда пришёл Савел, чтобы забрать Пимена на представление, хотя по пути к дому своего друга он, скорее всего, думал не только о его обществе. Сегодня к нему снова вернулась бойкость языка, он не запинался и не мямлил, поэтому также пригласил Гашу пойти вместе с ними, поскольку, дескать, по счастливой случайности в кармане у него достаточно денег, которых с лихвой хватит и на полдюжины человек. Однако высокомерная гордячка вела себя с ним не очень приветливо и даже не улыбнулась, когда он за спиной Пимена послал ей страстный, пылкий взгляд, но, тем не менее, в конце концов приняла его предложение, хотя и дала ему понять, что в принципе не нуждается в том, чтобы он за неё платил, поскольку в городе у неё достаточно друзей, которые с радостью одолжат ей денег. Она снова демонстрировала своё превосходство, снисходительно кивая головой, будто милостивая княгиня. Она даже не удосужилась пойти в заднюю комнату, пока снимала грязную ситцевую блузку и одевала чистую, ведь ей не было нужды стесняться своих гладких блестящих рук и шеи, да и Савел не особо старался соблюдать правила приличия и не смотрел в окошко, когда она оголила свои прелести. Пимен всё равно ничего бы не возразил, а ставший редким гость должен был чётко уяснить себе, чего он лишился и что теперь ежедневно доставалось Флоре. Гаше удалось достичь своей цели. Лицо Савела побагровело. Он пытался делать вид, что назойливые фантазии Пимена значат для него больше, чем её соблазнительная шея, однако отвечал невпопад всякую ерунду,

когда его о чём-то спрашивали. И хотя в ходе с трудом клеившегося разговора никто не упоминал о Флоре и не затрагивал эту тему, Гаша принялась расхваливать всевозможные достоинства караульного, его постоянно сверкающий чистотой мундир и его горделивый вид, который, однако, не мешал ему быть мужчиной, суровым и одновременно пылким. Очень скоро Савелу надоело слушать о Флоре, у которого чуть ли не нимб над головой светился, и он начал насвистывать мелодию. Но песня у него не получалась; звуки путались, а вытянутые в трубочку губы судорожно дрожали.

Затем они отправились в путь, однако шли по кладкам вдоль каналов каждый сам по себе, и вместе их объединяло только желание добраться до общего пункта назначения, который находился за пароходным причалом. Там, несмотря на ужасную жару, собралась приличная толпа людей: мужчины, женщины, множество старушек, у которых, как и у Якова, глаза горели любопытством, и дети всех возрастов. Посреди клубящейся пыли и песка сидел городской голова на специально принесённом для него стуле, а справа от него стоял Флоря — неподвижный истукан, внушающий благоговейный трепет, и оружие властей. Кстати, именно Гаша услужливо пресмыкалась перед главным человеком в городе, прежде чем он заговорил с ней с наигранным дружелюбием, а Флоря, рассерженный из-за её дерзкого поведения, раздумывал над тем, задаст ли он ей вечером трёпку или будет только целовать. До начала представления нужно было сдать деньги за просмотр мальчику-подростку, и Савел произнёс немного громче, чем было необходимо, что он платит и за своих друзей, Пимена и Гашу. Флоря скользнул по нему ледяным взглядом, а Савел, пытавшийся привлечь к себе внимание этими словами, поступил так ещё и потому, что ожидал встретить здесь своих близких. Однако из постепенно увеличивавшейся толпы не появились ни Дуня, ни Аким, ни старик Калистрат, ни Фирс.

Прежде чем народ успел пару раз зевнуть, ощущая на своих плечах тепло солнца, которое уже не пекло вечером так беспощадно, прежде чем Гаше удалось обратить на себя взгляды всех собравшихся мужчин, сопровождавших их женщин и доброжелательно улыбавшегося ей городского головы, началось представление. В шляпе фокусника исчезали яблоки, кубики,

бумажные пакеты, которые он затем вытаскивал из своих морщинистых ладоней. У Агапа, Фрола, Якова и Пимена от удивления глаза повылазили на лоб. Люди молчали, на их лицах застыло непривычно серьёзное выражение; некоторые рыбаки оголили головы неуклюжими движениями, а Яков, который больше не мог сдерживаться, издавал от изумления один за другим болезненно-странные звуки, пока вся толпа бросала на него осуждающие взгляды. Выступавший далее человек-угорь своим жутким выворачиванием конечностей вызвал сочувствие у всех присутствовавших старушек. На него смотрели лишь искоса, а его паукообразные тощие руки и ноги вызывали только жалость. Вот глотатель огня запомнился присутствующим совсем по-другому. Несомненно, он находил необычайное удовольствие в этом странном алчном поглощении огня, когда проталкивал между своими толстыми губами пропитанные керосином дымящие и пылающие факелы и тушил их, словно дракон. Затем он показывал всем свой фиолетовый язык. Язык не был обмотан никаким защитным материалом, это был настоящий язык, из плоти и крови. С него стекала слюна; все могли и должны были в этом удостовериться. И каждый раз, когда пламя с шипением гасло в таинственной бездне его глотки, из которой потом колечками поднимался голубоватый дым, артист делал вид, будто полакомился редкостным деликатесом, смеялся и был на вид бодр и весел, из-за чего Пимен скептически морщил лоб и вздыхал. Вероятно, у парня не всё в порядке с головой, думал про себя Пимен, если он полагает, что ужасные керосиновые факелы могут иметь приятный вкус. Пимен содрогнулся. Всё-таки рыбная юшка будет повкуснее, даже если ты простой рыбак или кто-то в этом роде. А вдруг в один прекрасный день язык этого радостного безумца сгорит и превратится в жалкий огарок? Пимен осуждающе покачал головой. Да, этому человеку не следует так испытывать судьбу.

Постепенно народ немного устал от всех этих трюков, от которых замирало сердце, и спрашивал себя, что такого неслыханного ещё может произойти, чтобы окончательно повергнуть зрителей в изумление. В этот момент артисты притащили сделанный из деревянных планок каркас, завешенный тонкой сеткой, который очень походил на клетку для птиц, мышеловку или насест для кур. Глотатель огня и

паренёк, который так умело собирал плату, поставили его в центре зрителей и прямо перед почётным местом городского головы. Это сооружение якобы должно было защищать танцовщицу, которая как раз зашла внутрь него через узкую прозрачную дверцу, от назойливых стай насекомых во время выполнения её работы. Рыбаки и их жёны никогда прежде не видели таких странных подмостков, однако смирились и с этим, обступили клетку с важным видом и терпеливо ждали, пока Гаша снова похотливо улыбалась, демонстрируя свои белоснежные зубы. Ведь она полагала, что человеку-угрю и глотателю огня не удалось отвлечь внимание присутствующих от её очаровательных прелестей. Тут танцовщица проскользнула в клетку и порхающими движениями стала посылать зрителям воздушные поцелуи. Вилковчане сочли подобное преувеличенное радушие не совсем уместным, но поскольку в этот момент они, видимо, были озадачены, то не стали к этому особо придираться. В этих краях с незапамятных времён не было принято здороваться, прикладывая таким образом пальцы к губам.

Похоже, сейчас даже заносчивая супруга Пимена чувствовала себя неуверенно, поскольку девушка за сеткой начала исполнять настолько дивный, чарующий и завораживающий танец, что едва ли была достойна презрения даже в глазах Гаши. Мальчик-подросток стал перебирать струны турецкой лютни, чудесные звуки которой разлетались в воздухе, и прежде чем танцовщица успела показать всё, на что способно её привлекательное гибкое тело, Пимен уже громко вставил свой пояснительный комментарий:

— Её зовут Маруся, Марусенька. Прекрасная танцовщица, я уже давно это знал.

Но люди даже не обратили внимания на его слова, не в силах оторвать глаз от стройного женского тела, которое было закутано в выцветший зелёный наряд, возможно, сшитый из шёлка, начинавшийся от колен и едва прикрывавший грудь. Разумеется, было на что посмотреть и кроме этого, потому что ногти на руках и ногах танцовщицы блестели, как красные лакированные пуговицы. Можно было только позавидовать её роскошным волосам, которые свисали на плечи волнистыми локонами, а её тёмные глаза сверкали, словно капли свежей смолы. От избытка чувств Пимен схватил Савела за руку и

сжимал её, не отпуская; ему казалось, будто всё это место с прочими присутствующими уходит под землю, будто он стоит один перед большой птичьей клеткой с заколдованной женщиной, а её скудное одеяние во время танца поднимается, опускается и съезжает набок. О, в движениях её белых бёдер была завораживающая и ошеломляющая красота. У Пимена выступили на глазах слёзы, которых он долго не замечал и вытер их своими грубыми ладонями только тогда, когда они потекли ему на бороду. Мелодия лютни зазвучала более стремительно, и Маруся издала воркующий звук. В эти минуты Гаша могла шептать глазевшим людям всё, что угодно, но ей всё равно бы не удалось украсть у этой нимфы хоть каплю её успеха среди зрителей. Нет, Маруся не была деревянной или неуклюжей, она поднимала ноги, свои изящные ножки, будто легчайшие маленькие крылья, будто крылья голубки. Для Пимена и Савела её танец был чудом и манной небесной. Она крутилась на кончиках пальцев ног, словно веретено, делая плавные обороты, и ещё при этом улыбалась; её по-детски худенькие руки, напоминавшие тонкие веточки, колыхавшиеся от ветра, скользили по её плечам и вокруг упругих бёдер. Это представление производило такое неизгладимое впечатление, что зрители уже не могли им любоваться без глубоких вздохов; оно опьяняло голову, будто крепкая выпивка, а в сознании всё перемешалось, превращаясь почти что в мучение. Женщины постепенно начинали терять терпение, а Гаша была обеспокоена больше всех, поскольку после тревожного нарастания звуки лютни наконец начали замедляться, становились тише и практически замерли, феерическое представление танцовщицы завершилось, она снова превратилась в обычную земную женщину, а её вдохновенный образ крылатого ангела растворился в безмолвной тишине. Волшебная сказка подошла к концу. Маруся открыла дверцу своей клетки, выскользнула наружу и так быстро убежала за складское помещение, что никто даже не успел похлопать. Некоторые мужчины наступали друг другу на ноги, спотыкались. Городской голова кивнул, и толпа начала медленно рассеиваться, услышав объявление, что представление будет даваться повторно, поскольку каждый житель Вилково должен увидеть это чудо света.

Несмотря на свою бедность рыбаки не считали, что их во время представления обманули, взяв за увиденное слишком большую плату. Они скорее полагали, что использованная на все сто возможность восхититься такими невероятными вещами обошлась им даже очень дёшево. Ведь за пару леев звёзды с неба никто не предложит. Даже Яков на несколько часов утолил своё неуёмное любопытство. Что ни говори, но несмотря на всю свою спесь рыбаки получили наслаждение от самого невообразимого зрелища, и теперь им оставалось только благодарить бога, что они увидели всё собственными глазами и даже могут в этом поклясться. Исключение составляли только Пимен и Савел, которые решили отправиться на поиски приключений и не боялись искушать судьбу. Пимен придумал отличную отговорку и отправил Гашу домой одну, а Савел, который вдруг был совсем не против общества этого невыносимого зануды, присоединился к нему. Сделав большой крюк, они не спеша обошли складское помещение, за которым прежде исчезла Маруся, тихонько подкрались к нему, упрямо повернув головы в противоположном направлении, как будто они высматривали что угодно, но только не танцовщицу.

Едва они успели сделать несколько шагов к серой деревянной постройке, как им навстречу вышла танцовщица, устремив вопросительно-приветливый взгляд на обоих незваных гостей. Она избавилась от своего зелёного наряда и была одета в короткое льняное платье с рисунком в бело-чёрную полоску.

— Что угодно господам? — спросила она обходительно и без церемоний протянула обоим руки, не преминув при этом растянуть губы в более широкой улыбке.

— Ах, да, — выдавил из себя Пимен, не зная, что ответить, — ах, да, господам, собственно, угодно лишь выразить вам своё почтение.

Маруся вряд ли поняла его, пожала плечами, и на её лице появилось серьёзное выражение, чего Пимен хотел добиться меньше всего.

— Ну, — произнёс он, пытаясь быстро побороть смущение, — я вижу тебя не впервые, Маруся. Я знал тебя, когда ты была ещё ребёнком. Как, разве ты не помнишь? Ты танцевала в порту Сулины, танцевала, как фея, перед чёрными иноземными

кораблями, перед толпой восторженных матросов.

Губы Маруси слегка приоткрылись от удивления, что особенно понравилось Пимену, поскольку он растерянно таращился на её рот. Она разговаривала с этим неисправимым мечтателем, однако постоянно смотрела на Савела, который буквально пожирал её глазами.

Окрылённый этим очевидным успехом, Савел вдруг снова осознал своё собственное мужское достоинство, к нему вернулось ощущение, которого он был лишён долгое время. Поэтому он без стеснения спросил её, не желает ли она провести с ними вечер. Пимен, мол, сегодня при деньгах и приглашает её на ужин в новую беседку за трактиром Ивана. Очень непринуждённым тоном Маруся ответила:

— Вы можете зайти за мной вечером, как только стемнеет. Я с удовольствием пойду с вами. Но до этого у меня много работы, мне нужно подлатать куртку Спиридону, человеку-угрю.

Она держалась просто и естественно, будто болтает со старыми знакомыми, и поскольку обещание Маруси далеко превзошло самые смелые ожидания Пимена и Савела, они с мечтательным видом протянули ей руки на прощанье, неожиданно залились звонким смехом и не один раз заверили её в том, что обязательно зайдут и ей не придётся их долго ждать, добавив, что это будет чудесный вечер с невероятно роскошным застольем. Охваченный волнением Пимен закрыл при этом глаза, ущипнул себя за подбородок и за уши и вздрогнул, когда танцовщица без дальнейших пояснений снова исчезла в полумраке склада, ловко захлопнув за собой дверь.

Они шли, ощущая прилив сил от охватившего их чувства гордости, будто от выпивки, ещё несколько раз зашлись громким смехом, не говоря друг другу много слов, и в конце концов Савел сказал, что очень здорово иметь при себе приличную сумму денег. Он, дескать, точно не поскупится и готов тряхнуть мошной ради такого праздника. Пыхтя и размахивая руками, они ввалились в трактир Ивана, будто уже приняли на грудь бог знает сколько водки, тайком отвели хозяина в сторону, постоянно прикрикивая на Якова, чтобы он лучше следил за тем, сколько выпало очков, а не подслушивал каждое слово. Они поведали Ивану о своих намерениях и без возражений согласились с его предложением, что к праздничному столу

будут поданы четыре диких утки, тщательно ощипанных и пожаренных. У Марусеньки от удивления должны округлиться глаза. Сейчас Савел и Пимен чувствовали себя князьями среди нищего рыбацкого отребья.

Незадолго после этого друзья снова стояли перед складским помещением и осторожно стучали в огромную, сколоченную из неотёсанных досок дверь, пока Маруся резко не распахнула её перед ними и поприветствовала поклонников, которые ждали её, затаив дыхание. О, сейчас она вела себя ещё менее робко, чем после обеда, и без долгих размышлений назвала Савела скверным ухажёром, то есть использовала выражения, которых он, к сожалению, не понимал, но которые казались ему приободряющими; она ласково провела рукой по плешивой голове Пимена, что он смиренно стерпел, хотя почувствовал стеснение и стыд из-за своего скудного волосяного покрова. В этот момент он готов был отдать год своей жизни за пару густых локонов, но к счастью Маруся оказалась тактичной и не упомянула ни слова о его быстро прогрессирующем облысении, иначе он бы чувствовал себя очень неловко и ужасно. Нет, похоже, у неё не было этого на уме; она взяла Савела и Пимена под руки и без долгих церемоний отправилась с ними в трактир, о существовании которого она наверняка была наслышана.

Вскоре после этого они сидели в укромной беседке за столом с тарелками и ножами, Маруся рядом с Пименом на одной лавке, а Савел в одиночестве на другой. Их окутывал мерцающий жёлтый свет, исходивший от толстой, потрескивавшей свечи, которая торчала в спрятавшемся среди листьев светильнике. Иван лично принёс жареную дикую утку с золотисто-коричневой корочкой, а затем вино, подходя к ним на цыпочках босыми неуклюжими ногами.

— Маруся, — восторженно говорил Пимен, упёршись подбородком в кружку, — ты сидишь с нами за столом, но при каждом твоём движении кажется, будто ты танцуешь, будто ты взмываешь ввысь и пролетаешь над нашими жалкими головами. Сейчас ты выглядишь ещё обворожительнее, чем в той большой мышеловке, хотя, по правде говоря, даже в ней ты смотрелась великолепно. Да и в конце концов эта мышеловка — настоящее произведение искусства, коих в Вилково никто прежде не видывал.

Танцовщица даже не старалась что-то ответить и лишь успокаивающе погладила его по руке, тихонько напевая какую-то мелодию, пока разжёвывала во рту утиное мясо вместе с костями, и при этом поглядывая на Савела, который, по всей видимости, потерял дар речи. Он лишь пожирал её своим жадным взглядом, не сводил с неё глаз, представляя, будто держит её в своих объятиях, крепко прижимая к себе. Он почти ничего не ел и только всё время тянулся к кружке, пока в его голове мелькали тысячи дерзких мыслей. На мгновение он вспомнил турецкую певицу из Измаила, это двуличное существо, перед чарами которой тогда не устояло его тщеславие. Однако Маруся вроде бы не относилась к такого рода женщинам; в сущности, она ничего не обещала и всё же давала ему почувствовать, насколько благодарна Пимену за организацию праздничного стола, потому что благодаря этому она могла провести вечер с Савелом.

Они снова выпивали, с радостью позабыв о том, что их существование также бывало обременено тяготами. Почему сейчас перед Савелом сидела Маруся, а не Гаша, которую он всего за час напрочь забыл, будто она была случайной знакомой из далёкого прошлого? Наконец он заговорил, и его речь напоминала отчасти протяжный шёпот, а отчасти лепет:

— Марусенька, Марусенька, Марусенька, Марусенька! Это хорошая песня, соблазнительная песня. Она — как сладкое вино, а, может быть, и в сто раз лучше. Я всегда буду с удовольствием её напевать.

Танцовщица залилась звонким смехом, который рассёк воздух и растворился в нём, и чем дольше длилось застолье, тем больше Савел ощущал, как он меняется. Танцовщица прекрасно его понимала. По крайней мере, так казалось Савелу, и когда он размышлял без притворства, ему приходилось признать, что он очень любил подобные лестные и приятные высказывания. Он вряд ли следил за тем, что говорил Пимен, который болтал без остановки, энергично жестикулируя руками; в данный момент Савел был занят тем, как понравиться Марусе, хотя молчал и старался не подавать виду. Он лишь один раз прервал своего собутыльника, который был на седьмом небе от счастья и буквально млел от блаженства:

— Не знаю, как бы это сказать, но, возможно, наши грубые рыбацкие руки не предназначены для того, чтобы гладить

нежные плечи Маруси.

Пимен вздрогнул, раскрыл рот, но от волнения не мог вымолвить ни слова. Ему казалось, будто между его челюстями застрял деревянный клин.

— Вот видишь, — воскликнул он наконец таким тоном, будто оказался прав в споре по поводу жизненно важного вопроса, — теперь ты, наверное, тоже понимаешь, почему я терпеть не могу наше мерзкое ремесло, почему я его ненавижу. Оно портит нам руки, которые постепенно грубеют, пока даже щепка не сможет впиться в ладонь, пока они не превратятся в тяжёлые и неуклюжие лапы. И как же такими руками обнимать Марусеньку? Впрочем, она ведь добрая и приветливая, милое дитя, она всё же терпит нас, потому что смотрит не только на пальцы.

С этими словами он придвинулся к танцовщице поближе и начал гладить её шею, её руки, пока Савел взял в рот монетку и грыз её, снедаемый ревностью и злобой. Внезапно его отрезвил приступ ярости и будто издалека он услышал слова Пимена:

— Разумеется, Савел немного понимает меня, но в большинстве случаев я одинок и уже давно прекратил попусту тратить слова. Рыбаки готовы слушать то, что слетает с моих уст, и я делюсь с ними своими рассказами, хотя за это от них и куска хлеба не дождёшься. Они воспринимают мои истории за фальшивую монету, а ведь это золото, Марусенька, чистое золото. Они даже не подозревают, насколько им это необходимо, хотя мои слова не задерживаются в их бородатой башке даже на день. Вот так и живу. У меня есть жена. Конечно, она не ангел, как ты, Марусенька. Я не хочу сказать о ней ничего плохого, боже упаси; она молода и хорошо выглядит. Но вот ума, понимаешь ли, ума она так и не набралась. Её зовут Гаша, её бы и не могли звать по-другому. Твоё имя, Марусенька, изящное, будто маленькая ракушка, которую осторожно берут руками и рассматривают на свет. А Гаша всегда остаётся Гашей; она тщеславна, когда смеётся, спит или даже видит сны. Недавно она снова бросила мне в лицо горький упрёк, сказав, что я уже много лет слеп, что я не замечаю, какая у неё белоснежная кожа. Нет, от меня она не услышит подобных вещей. Мне совсем не до её кожи. У меня голова занята другими мыслями. Ведь с каждым прошедшим годом мы не молодеем, а волосы себе на затылок не

приклеишь. Они опадают, как листья с деревьев. А потом ещё мой желудок. Часто я часами валяюсь с болью в желудке и ожидаю худшего. И иногда мне действительно становится худо. Я не теряю терпение, и хотя мне часто хочется заплакать, я сдерживаю слёзы. А Гаша бранится и брызжет слюной мне в лицо. Я медленно её вытираю, слюну, я отнюдь не таю на Гашу обиды, а время проходит. Даже Флоре, который является образцом строгого начальника, не за что к нам придраться. Он всегда был нашим другом, и мы об этом никогда не жалели; скупость не относится к числу его качеств. Он щедр, как все румыны, порой притаскивает мне в дом мешок кукурузной муки и даже не требует за это благодарности. Он лишь делает мне знак помолчать и небрежно отмахивается рукой. Савел его терпеть не может. Но недавно Флоря принёс мне мешочек перечной мяты, из которой я варю себе чай, и он помогает мне от болей в желудке. Нет, пока я жив, я не забуду тех, кто проявил ко мне христианское милосердие и доброту. Твой танец, Марусенька, я тоже никогда не забуду. Я никогда не был неблагодарным.

Видимо, неожиданно охватившее Пимена чувство растроганности полностью им овладело, и в один миг у него на глазах выступили слёзы, а все с трудом произнесённые слова сопровождались судорожными всхлипываниями.

Уже некоторое время раздавался звук шаркающих шагов Ивана, который то и дело топтался вокруг беседки, горя желанием отправиться домой, потому что в трактире давно потушили огни после ухода последнего гостя. Ну и пусть себе шаркает, нарушитель покоя, ведь ему заплатили за диких уток столько, будто это были невиданные птицы из царской кухни. Нет, они никуда не торопились, они как раз находились в состоянии блаженного опьянения и не горели желанием напрягать свои расслабленные ноги, чтобы куда-то идти. Они ведь не овцы, которых можно прогнать, когда заблагорассудится. Они и сами уйдут, но для начала они хотели ещё раз насладиться ощущением, что сегодня они хозяева праздника, к тому же за те бешеные деньги, которые заплатил Савел, к ним должны относиться с должным почтением. Немного спустя Пимен начал делать вид, что он вообще не замечает Ивана, а Савел принялся тихонько напевать себе под нос, не сводя глаз с Маруси. Её

тёмные глаза, которые сейчас горели янтарным блеском, спокойно смотрели на него, Маруся не отводила взгляда, хотя и не пыталась его соблазнить, а когда она говорила, это выглядело так, будто её немногочисленные слова предназначались детям. Звуки свободно и непринуждённо слетали с её слегка изогнутых губ. Она ни разу не сказала ничего важного или стоящего внимания и часто только кивала, вместо того чтобы ответить, но Савелу казалось, что от неё исходила ангельская кротость и молчаливая нежность. О, если бы он только мог хотя бы раз осторожно прижаться к её левому плечу, прикоснуться к её щеке, волосам и ладоням! У Маруси не было ничего общего с другими женщинами; танцовщица, на которую все люди глазели в птичьей клетке, всё же оставалась для них недоступной, потому что она ничего от них не требовала и щедро дарила им волшебство своего танца, будто игру, которая восхищала лишь её одну.

Никогда в своей жизни Савел столько не думал о женщине, как о Марусе. Ему казалось, что она тоже точно понимает смысл каждого из его простых слов. Ему не нужно было притворяться или скрывать за словами сокровенные мысли.

— Я хочу почувствовать эту руку в своей ладони, — пробормотал он грустно и потянулся через стол, чтобы прикоснуться к Марусе.

На её лице заиграла улыбка, и на короткое мгновение её губы немного вытянулись. Но затем перед ними снова появился Иван и очень назойливо сказал, что он вынужден закрыть трактир, иначе Флоря, который не позволяет с собой шутить, задаст ему жару.

— Пусть только попробует прийти этот Флоря, ему точно не поздоровится! — прошипел Савел, угрожающе подняв сжатые кулаки.

Однако Пимен успокоил своего друга, у которого кровь прилила к вискам, да и Маруся настаивала на уходе домой. Сначала Савел никак не давал себя уговорить, но затем Пимен внёс компромиссное предложение, благодаря которому их праздник не закончится так скоро.

— Мы уйдём, разумеется, ведь какой-то жалкий час особой роли не сыграет, но всё же возьмём с собой сладкий напиток, хи-хи. Не так ли, Маруся, Марусенька?

Они нерешительно поднялись с лавок и пошли в темноту: Пимен впереди, держа в каждой руке по кружке, из которых при каждом неуверенном шаге вино хлюпало на его мокрые пальцы, Маруся сзади рядом с Савелом. В темноте она схватила его руку, которая теперь ласкала её предплечье, а когда он один раз остановился, она прижалась к его спине, и у него по коже побежала приятная дрожь. Он вскоре узнает, к чему это приведёт, потому что Маруся не давала ни малейшего повода для недоразумений между ними. Они остановились на покрытой скудной растительностью лужайке, которая раскинулась вблизи от дороги к пароходному причалу, и сели на землю, пока Пимен болтал всякие непонятные глупости и поставил полупустые кружки справа и слева от себя. Затем он поднялся и опять выпил, восторженно хихикая, как будто его посетила лучшая мысль в его жизни, пролил вино на кончик носа Маруси и снова рассмеялся. После этого он уселся, вытянул свои тощие ноги перед собой, вздохнул, опустил голову и очень скоро задремал.

До рассвета ещё было далеко, потому что высоко над их головами мерцала огромная дуга млечного пути и сверкали миллиарды звёзд, эти горящие глаза неба. Савел бормотал все нежные слова, которые мелькали у него в голове, придвинулся к Марусе и попытался её обнять и поцеловать. Но она уклонилась, слегка отстранившись от него.

— Почему нет? — спросил он укоризненно.

— Так будет лучше для тебя, — ответила она и, помолчав секунду, добавила: — я это знаю.

Он не понял её слов и, похоже, сейчас был далёк от того, чтобы думать рассудительно, но она его успокоила:

— Нет, это не ради меня, понимаешь, причина не в том, что я завтра покину Вилково и отправлюсь дальше, а затем ещё больше буду думать о тебе. Но ты должен продолжать жить так, как ты жил раньше.

Ей не сразу удалось его убедить, он продолжал её уговаривать, уткнувшись лбом в её по-детски худенькую руку. Однако она лишь отрицательно качала головой и не поддавалась на его увещевания, говоря, что так будет лучше. Он слышал каждое её слово, но ничего не понимал. А когда он попытался схватить её и прижать к себе силой, она так сильно задрожала от страха и вскрикнула, что он тут же отпрянул и, с трудом ворочая языком,

приносил свои извинения.

Однако его недолго мучил неприятный осадок, оставшийся после этого недостойного поступка. Вино и запах Марусиной кожи помогли ему быстро забыть об этом. Он сказал ей, что жизнь коротка и не стоит и ломаного гроша. Так почему хотя бы раз не насладиться обществом друг друга в полной мере? Но все его пылкие, умоляющие уговоры разбивались о непоколебимое спокойствие Маруси, в котором он, тем не менее, продолжать видеть слабые проблески надежды. Тогда он попросил разрешения положить голову ей на колени хотя бы на полчаса. Она позволила ему это, а когда он успокоился и, закрыв глаза, ощущал себя на седьмом небе от счастья, она прижалась устами к его щеке. При этом её губы вытянулись ещё больше, чем во время улыбки.

Пимен лежал рядом с ними как убитый и не шевелился. А когда на небе забрезжил рассвет, они поднялись, оставив Пимена там, где он был, и пошли медленным и немного нерешительным шагом по направлению к складскому помещению, в котором временно разместилась труппа артистов. Там Маруся неожиданно пожала Савелу руку, вырвалась, и не успел он и глазом моргнуть, как она прошмыгнула в деревянную постройку, с грохотом захлопнув за собой дверь. Внезапно Савел почувствовал, что он что-то упустил, что-то потерял, он чётко ощущал это, как если бы у него из рук выскользнул стакан. Он ждал, но нигде не было никаких признаков движения. Тогда он вернулся к Пимену, безуспешно пытался растормошить спавшего беспробудным сном беднягу, поливал его жалкое, съёжившееся лицо оставшимся в кружках вином, и когда никакие действия и уговоры не увенчались успехом, погрузил его себе на плечи и тащил до самого двора. Там он оставил Пимена проспаться, а сам потихоньку побрёл домой, всё еще пребывая во власти пережитых чувств, которые ему прежде не доводилось испытывать.

Он долго не мог уснуть, а спустя несколько часов вновь оказался поблизости складского помещения, чтобы под каким-нибудь благовидным предлогом проводить труппу артистов хотя бы часть пути, возможно, до Периправы или немного дальше, потому что даже если у него, как он себе думал, при этом не будет возможности остаться с Марусей наедине, ему хотя бы не

придётся расставаться с ней. По крайней мере, он будет слышать её голос или сможет полюбоваться её танцем в следующем рыбацком городке. Он задумчиво улыбнулся, предаваясь мечтам о её ангельском образе. Снедаемый смутным предчувствием, он поспешно подошёл к большой двери, после того как за ней долгое время не было слышно признаков движения. За открытой дверью он обнаружил лишь пустое тёмное помещение, а в затхлом воздухе чувствовался запах гнилого дерева. Он начал рыться в углу, как будто кто-то мог спрятаться за небольшими балочными выступами. Это совсем не походило на умного, умеющего считать в голове Савела, которому в иной ситуации подобный порыв показался бы просто смешным. Он побежал к реке, чьи покрытые лёгкой рябью воды как обычно омывали берега, скользнул взглядом вдаль по водной глади и посмотрел на огромный диск солнца. Затем он побежал к устью большого канала в надежде, что лодка бродячих артистов ещё не отплыла. Однако он нигде их не нашёл, и никто не мог сообщить ему об их местонахождении. Маруся исчезла, так и оставшись для него недосягаемой мечтой.

Когда спустя несколько дней Савел снова встретил Пимена в трактире, он ни словом не обмолвился о танцовщице. Она исчезла — и делу конец, а все дальнейшие разговоры об этом излишни. В Вилково постоянно происходили новые события, ведь городок отнюдь не был похож на медвежью берлогу, в которой царит один только сон. Люди продолжали жить, а к тем, для кого короткие ночи подходившего к концу разгара лета тянулись наиболее мучительно и медленно, принадлежала Анисья. Каждый вечер она продолжала ждать Акима, который уже как неделю или больше бесследно исчез из Вилково и его ни видела ни одна душа. Она смотрела на спящего Трофима, на личике которого застыло счастливое выражение, и потирала свои худые руки; она сгорала от нетерпения, которое будто кнутом гоняло её из одной комнаты в другую и на улицу к

воротам. Порой она неожиданно покидала спавшего ребёнка и торчала долгое время на какой-нибудь кладке, по которой, как она полагала, Аким обязательно пройдёт по пути в город, пока прохладная ночная роса не покрывала её босые ноги и изможднная женщина начинала зябнуть. Однако всё чаще случалось так, что отчаявшаяся, но ещё не потерявшая надежду женщина высматривала не только Акима. Нередко всё её естество противилось неизбежному, она никак не могла поверить в то, что Евлампия ушла навсегда и больше никогда не вернётся. Ведь однажды вечером её милая, драгоценная, окружённая любовью доченька может внезапно появиться на пороге, держа в протянутых руках пару маленьких карпиков или собранную для братика блестящую гальку. В такие моменты у Анисьи в горле перехватывало дыхание и какая-то непреодолимая сила заставляла её вскакивать с постели и мчаться к тянувшемуся неподвижной лентой каналу. Спросонья она потирала глаза и прислушивалась. Где-то раздавался лай собаки, где-то кукарекал петух, и его пение напоминало крик одиночества. Но нигде не было ни Евлампии, ни Акима.

Однажды, когда терзаемая горем и не находящая себе покоя Анисья в очередной раз бродила в одиночестве, ей встретились Дуня и Фирс, которые направлялись к рыбным складам той же дорогой, которой шла она. Анисья узнала обоих издалека, и первой её мыслью было избежать с ними встречи и притаиться на ответвлявшейся в другую сторону кладке, надёжно укрывшись за пышной листвой ясеня. Усталость сделала её робкой и боязливой, но в конце концов она собралась с силами и пошла навстречу Дуне, за которой следовал по пятам Фирс, не отдаляясь от неё ни на шаг. Похоже, оба были в весёлом настроении, потому что Дуня насвистывала мелодию, будто птица, и как раз в тот момент, когда Анисья подошла ближе, Фирс сказал:

— Ты у меня как синичка, как соловушка.

Кладка была узкой, поэтому Анисья проходила мимо них с осторожностью. Она поприветствовала их, хотя и очень сдержанно, быстро облизала потрескавшиеся от сухости и жары губы и спросила, пытаясь побороть волнение в голосе, не знают ли они, куда подевался Аким, поскольку она уже несколько дней не видела его в Вилково. Видимо, этот вопрос немного обескуражил Дуню или снова воскресил в её памяти забытые

неприятные воспоминания, потому что она выглядела озадаченной и пыталась нащупать сзади руку Фирса в том месте, где рукав его рубашки прикасался к её платью. Но затем, собравшись с мыслями, она взглянула в растерянное лицо Анисьи и ответила:

— Брат уехал один к устью реки. С того момента прошло уже дней десять или больше. Он сказал, что хочет самостоятельно попытать счастья в рыбной ловле. С тех пор он больше не давал о себе знать. Впрочем, он может вернуться уже сегодня или завтра, но когда точно, я не знаю.

Анисья кивнула, при этом очень странно выпучив глаза. Прежде чем продолжить свой путь, она суетливо поблагодарила Дуню, поблагодарила несколько раз, говоря сбивчиво и путаясь в непонятных словах, которые прежде вряд ли кто-либо слышал в Вилково. А когда она удалилась, Дуня с облегчением вздохнула, не оборачивалась назад и всю дорогу ни словом не обмолвилась об Анисье. Фирс также не заводил об этом разговор, как будто следовал тайной договорённости, которая обязывала его молчать. Дуня больше не насвистывала мелодию. И тогда Фирс простодушно и всё же немного подавленно спросил:

— Разве ты забыла, что ты у меня соловушка?

Не прошло и часа с момента этой встречи, как Аким неожиданно вернулся в город, и в доме старика Калистрата вновь стало трудно дышать, хотя никто на самом деле не знал, почему возвращение брата действовало так удручающе и угнетающе. Ведь его присутствие было почти незаметным, если он после долгих колебаний находил себе место для отдыха в тени стены, спал там немного, а потом, когда седовласый отец подходил к нему с вопросительным взглядом и дотрагивался к нему дрожащими руками, прожёвывал вместе с куском мамалыги свои немногочисленные слова, из которых никто ничего не мог понять и узнать, где он слонялся и насколько богатым был его улов. Когда Дуня простодушно сообщила ему, что Анисья перед этим справлялась у неё о нём, он только издал короткое, язвительное ругательство. Такой ответ дальнейших разъяснений не требовал, и Фирс, который как раз был занят разжиганием огня в летней печи, опешил и отшатнулся в ужасе, когда он, с усердием погруженный в работу, услышал эти слова. Однако затем он на минутку закрыл веки и размышлял, где же Аким мог

провести все эти дни, представляя себе раскинувшиеся перед ним намывные земли, дельту реки с её плавнями и птицами. Его снова охватила странная тоска и печаль от осознания того, что он не может одновременно находиться здесь рядом с Дуней и при этом с Акимом на берегу моря или в каких-нибудь непроходимых камышовых зарослях. Ах, он будто бы сделан из одного цельного куска, как тяжёлая дубинка или свая; как бы ему хотелось расколоться на несколько частей, чтобы одновременно чувствовать дыхание разных живых существ. И тогда, кто знает, он смог бы раскрыть то, что долгое время пребывало под завесой тайны, тогда бы он смог спокойно сказать в лицо Акиму, что разгадал его коварные замыслы. Как можно догадаться, о чём он думает, когда с улыбкой на лице медленно разрезает головки лука острым ножом? Или, может, стоит разок прямо бросить ему вызов и врезать кулаком по зубам?

Вдобавок ко всему Савел, который благодаря своему лёгкому и весёлому нраву обычно вносил оживление и благотворно действовал на окружающих, сейчас не способствовал совместному времяпровождению в приятной обстановке. В принципе, он никому не мешал, но из-за витавших в его голове мыслей о Марусе он стал очень рассеянным и постоянно думал о другом, когда сестре, отцу или Фирсу нужна было его помощь. После отъезда Маруси он бесцельно шатался по городу днями напролёт, не в силах заставить себя что-то сделать. Лишь иногда он, пряча за прищуренными веками испытывающий и внимательный взгляд, долго смотрел в глаза случайно встретившимся женщинам, надеясь обнаружить в их лицах нежные и неземные черты Маруси. Вместо того, чтобы по своему обыкновению сразу завязать разговор о приятных пустяках, он лишь качал головой и тихо шептал, будто разговаривает сам с собой:

— Нет, это не то. Она была другой, совсем другой.

Женщины начинали сомневаться в его здравом уме, спрашивали друг друга, не был ли причиной его странного поведения солнечный удар, и, охваченные недоумением, нередко пытались у него выяснить, кто он на самом деле — Савел или всё-таки Аким. Тогда он начинал весело смеяться и рассказывал им что-либо очень смешное, чтобы таким образом они могли удостовериться в том, что он прежний Савел.

В Вилково он не мог найти никого, кто был бы похож на Марусю. Постепенно он пришёл в себя, и ему явно нужна была женщина. Иначе он не был бы так испуган, что буквально дрожал, когда однажды увидел Гашу, которая шла в чёрной юбке и такого же цвета блузке в церковь с надменным и по-аристократически серьёзным видом, как будто надела на себя траурный наряд и подобрала к нему соответствующее выражение лица. Она не удостоила его даже взглядом. Это была последняя капля, переполнившая чашу его терпения. Раздражённый и обозлённый, он целый день сидел скорчившись рядом с Акимом, который примостился в задней части сада и разгребал своими шершавыми пальцами землю между широко расставленных ног. Савел делал то же самое, понурив голову. Он лишь изредка поднимал глаза на брата, когда обменивался с ним парой слов. Почему он тоже прятался здесь от всего мира? Может, его терзало такое же горе, загонявшее его в тень? Казалось, что гнетущая тишина душит и топчет обоих упрямцев. В такие моменты случалось так, что они одновременно произносили одно и то же слово и так этому удивлялись, что тут же замолкали и попытки завязать разговор на этом заканчивались. Порой они сидели, полностью отвернувшись друг от друга, почти спина к спине, и если Аким вдруг тянулся рукой к вискам, чтобы, возможно, как-то успокоить бешено стучавший в них пульс, Савел делал то же самое, даже не подозревая о жесте брата. Дуня была удивлена таким внезапными переменами в характере брата, но ни словом не обмолвилась об этом Фирсу. Когда он её спросил, куда подевались братья, она лишь ответила:

— Валяются лениво в саду. Созрела шелковица, и ягоды время от времени шлёпаются им на лицо, оставляя синие и чёрные пятна, или в открытый рот.

Видимо, Фирс удовлетворился таким ответом, потому что как обычно взглянул в небо, по которому плыли белые облака, и ничего не добавил. Похоже, он не очень горел желанием как-то осторожно сблизиться с несносным Акимом и предпочитал избегать его. Что же касается Савела, то он наверняка одумается и его стремление к уединению скоро пройдёт.

Действительно, так и случилось, что в один прекрасный момент Савел, очнувшись от иллюзий, спросил сам себя, куда его приведёт это праздное упрямство. Ведь его звали не Иов. Витая

мыслями где-то в другом месте, он снова поднялся на ноги, пару раз топнул и куда-то быстро пошёл, даже не попрощавшись с Акимом. Он вспомнил об аптекаре. Интересно, он всё ещё намерен купить лодку? Савел поспешил к нему. Дверь лавки была закрыта, но он долго тарабанил по ней, пока заспанный Наум наконец не открыл её. После этого они поговорили о лодке, однако оба очень быстро поняли, что по сути весь разговор сводился к Гаше. Каждый раз, когда Савел начинал бранить её, аптекарь продирал свои немного опухшие глаза и кивал в знак согласия. Его сонное лицо беспрестанно подёргивалось от приступов болезненной злобы и искривлялось в ехидной ухмылке. Конечно, эта баба позорит весь город. А ведь он не раз уже об этом говорил, но люди слишком трусливы и равнодушны. А не желает ли Савел бокальчик испанского красного вина, настоящего испанского красного вина? У него, дескать, осталось ещё две бутылки для приготовления лекарств, вот только оно слишком дорогое и не по карману вилковчанам. Но Савел пришёл не ради этого и отказался от угощения гостеприимного хозяина. Однако в течение следующего часа его безграничное одобрение встретило то, каким образом аптекарь поносил жену Пимена и как он намеревался положить конец её омерзительным отношениям с Флорей. Савел дал ему понять, что он был такого же мнения. Хватит уже ходить вокруг да около, говоря обиняками, словно беззубая старуха, нужно называть вещи своими именами, начать действовать, собрать и взбунтовать народ, пока не полетят искры. Они поняли друг друга; они завяжут петлю на шее Флори крепким узлом. Хватит быть простыми зрителями, хватит терпеть попрание обычаев и нравов честных рыбаков. Наконец Науму представилась возможность в полной мере доказать своё умение плести заговоры.

В тот же самый вечер в трактире Савел воспользовался случаем, чтобы прямо в лицо сказать Пимену перед всеми рыбаками, что, по его мнению, в отношениях между Гашей и Флорей что-то нечисто. Пимен, дескать, должен простить его за откровенность, но он постоянно задаётся вопросом, почему Гаша в последнее время заметно пополнела. Неужели она в положении? Пимен не поверил своим ушам, поспешно приложил к губам указательный палец и умоляюще прошептал:

— Тсс!

Затем он покраснел, как девушка, которую застукали врасплох во время греховного проступка, схватил Савела за руку и потащил его через дверь наружу до того места улицы, где тропинка разветвлялась к каналам и где, как он предполагал, их никто не услышит.

— Слушай, Савел, — произнёс он плаксиво, — ты ведь для меня самый близкий человек. Разве ты об это забыл? Я прошу тебя, не говори больше о таких вещах. Ты же мне дорог, ты знаешь это. Впредь не трави мне душу подобными разговорами.

— Тогда почему ты всё это терпишь? — резко бросил Савел, чуть ли не крича на него обвиняющим тоном.

— Тсс, — шепнул Пимен с многозначительным выражением лица, пытаясь успокоить Савела, затем с грустным видом пожал ему руку и больше не стал возвращаться в трактир, а пошёл прочь, пока не исчез из его поля зрения. После этого он озирался по сторонам, высматривая что-то подобно собаке, которая почуяла след, и до поздней ночи бродил в одиночестве по темноте, словно боялся вернуться домой без предупреждения раньше времени.

Вернувшись в трактир Ивана, Савел даже и не думал выполнять просьбу Пимена. Будто по странной случайности за одним из столов оказался аптекарь, чего прежде никогда не бывало, поскольку он постоянно говорил, что это не подобает человеку его благородной профессии. Поначалу он робко сидел на самом краю лавки, затем заказал сливовицу и, похоже, был даже рад, когда спустя некоторое время с ним заговорил Яков, предоставив ему возможность для всевозможных высказываний ещё до того, как он поздоровался с только что появившимся Савелом, будто со старым другом. Аптекарь сказал, что

настоящая сливовица — это самый полезный из всех напитков, демонстративно облизывая губы и уже размышляя над тем, как он приступит к воплощению своих дьявольских намерений, направленных против Гаши. Долго не раздумывая, Савел пришёл ему на помощь, отпустив несколько язвительных замечаний об убежавшем до этого Пимене, несчастном Пимене.

И пока рыбаки в тот вечер не оставили пивные кружки на столе и не отправились по домам, в их кругу раздавалось ядовитое шипение всякий раз, когда кто-то упоминал имена Гаши и Флори. Агап с грохотом ударил кулаком по столу и признался, что он с превеликим удовольствием сотрёт караульного в порошок. После каждой убедительной фразы Наум придумывал ещё что-нибудь более ошеломляющее, а Савел буквально превзошёл себя в неиссякаемой изобретательности. Он чуть ли не сболтнул, что Гаша иногда несёт караульную службу на перекрёстке вместо Флори, разумеется, одев его мундир, потому что эта высокомерная женщина уже не знает, как ей ещё вырядиться. Сейчас для неё ни одна медная пуговица не блестит достаточно ярко, хотя прошлой зимой у неё даже латаной тряпки под задницей не было. Боже мой, фантазии росли в его голове, как на дрожжах. Однако затем Савел немного притормозил, чтобы разбушевавшийся Агап в конце концов не разнёс на мелкие кусочки стол вместе со всем, что на нём находилось. Он старался описывать события как можно правдоподобнее и как можно менее язвительно, так что от его рассказов рыбаки только плевались и матерились, но никто не бросился бить окна и душить Флорю. Когда он и Наум наконец расстались с завсегдатаями трактира, Яков, Агап, Фрол и многие другие были убеждены в справедливости поднятого против Гаши бунта.

С этого момента народ перешёл к решительным действиям, ведь, как говорится, нужно ковать железо, пока горячо. Когда после этой беспокойной ночи ничего не подозревающий Пимен проснулся и, прежде чем покинуть свой двор, чтобы отправиться к большому каналу, поднял глаза на фасад дома, он увидел, что совсем недавно побеленная стена была запачкана дерьмом и прочей сомнительной дрянью. Сначала он был в недоумении, затем испуганно подошёл к стене и сморщил нос. Теперь он был удивлен и озадачен. Он долго рассматривал пятна и отчётливо

вспомнил, что в этих краях с давних пор существовал обычай обезображивать подобным образом дома мужчин, жёны которых были неверны и наставляли им рога, чтобы сделать их всеобщим посмешищем. Пимен готов был расплакаться, настолько ужасным казалось ему это несчастье. Хотя солнце излучало тепло, его начало знобить, от страха его мысли путались, когда он, спотыкаясь, с судорожно дрожащими руками вернулся в комнату Гаши. Там он растерянно уставился на Василия Блаженного и молчал.

— Что с тобой, Пимен? Ты что, заболел? — спросила она, испуганная внезапной переменой в его лице.

Сначала он вообще ничего не ответил, а затем едва слышно сказал:

— Выйди-ка на улицу и взгляни на дом.

Гаша сразу подчинилась и, по всей видимости, всё прекрасно поняла, потому что какое-то время оставалась в передней, затем вошла и не знала, что сказать.

— Ну и? — вымолвил Пимен, как будто ожидая тяжёлого приговора.

— Что только детям не взбредёт в голову, когда летом им нечем заняться, — наконец произнесла Гаша довольно дерзким тоном.

— Детям? — рискнул переспросить Пимен, однако стычки между ними не последовало, потому что оба хотели её избежать.

Гаша вытащила пару монет, которые были завёрнуты в платок, протянула их Пимену и велела купить у торговца на главной улице известь, чтобы устранить ущерб. Можно было только позавидовать находчивости и сообразительности Гаши, поэтому Пимен не стал возражать против её желания, скорейшее исполнение которого принесло бы облегчение и ему самому.

На следующее утро, прежде чем проснулись соседи, он встал и принялся снова белить стену, затаив дыхание и умываясь потом от страха, что люди могут застукать его за этим занятием. Ему пришлось нанести побелку дважды, чтобы закрасить те места, в которых он соскребал проклятые следы своего позора. Выбившись из сил и мучаясь от боли в коленях, из-за того что ему пришлось долго работать в полусогнутой позе, он дополз до кровати и проспал весь день. Однако жертва, на которую он с готовностью пошёл, оказалась напрасной, поскольку через день

он обнаружил, что стена вновь запачкана сверху донизу и выглядит ещё более омерзительно, чем в первый раз. Когда он это увидел, кровь прилила к его лицу, а ноги стали ватными. От возбуждения он вообще не мог вымолвить ни слова, шатаясь, зашёл в комнату, опустился на табурет и на вопрос Гаши о том, что случилось, сделал лишь неопределённый жест рукой, который она, видимо, без труда поняла, поскольку это заставило её тут же выбежать на улицу, чтобы убедиться в своём позоре, в то время как из соседнего двора доносился пронзительный женский смех. Стыд и срам! Однако в итоге Пимену снова пришлось собраться с силами и ещё раз побелить стену. От прохлады вечерних сумерек у него стучали зубы, и он постоянно был наготове бросить ведро с побелкой и ринуться в дом, если кто-то появится поблизости.

Однако и в этот раз от его стараний было мало толку, потому что едва стена успела хорошо высохнуть и теперь блестела своей чистотой, её в очередной раз замазали грязью. Только богу известно, кому доставляло удовольствие делать эти пакости. Флоря пообещал Гаше неустанно смотреть в оба, чтобы напасть на след злоумышленника. Но ничего не помогало. Пимен продолжал терпеливо белить и уже неплохо поднаторел в этом ремесле, а люди снова размалёвывали стену. Это продолжалось уже больше недели. Пимен не осмеливался появиться в трактире или показаться на люди средь бела дня. А если после долгих колебаний он спрашивал Гашу, что может означать этот заговор против них, она лишь пожимала плечами.

Однажды он принял решение подежурить ночью за забором, чтобы поймать на месте преступления подлого негодяя, который отравляет ему жизнь. Он потерял счёт часам, пока изо всех сил старался не сомкнуть глаз, но в конце концов усталость взяла верх и он заснул, проснувшись следующим утром от стоявшего в воздухе омерзительного запаха, поскольку была изгажена не только стена, но и его рубашка, его чистая, только вчера одетая рубашка. Что ему оставалось делать, кроме как осторожно снять её? Его трясло от отвращения. С оголённым торсом, жиденькой всклокоченной бородой, похожей на больной древесный лишайник, бледным лицом и странными скованными движениями он зашел в комнату Гаши, напоминая своим видом пустынного отшельника. В первую секунду она подумала, что,

может быть, ночью ему привиделся призрак, из-за чего он лишился рассудка, однако очень скоро узнала о случившемся. В двух словах, в достоверности которых вряд ли можно было сомневаться, он сообщил ей ужасающую, горькую правду.

— В это невозможно поверить, — мямлил он со слезами на глазах. — Прямо мне на грудь, на мою безобидную грудь!

А затем, немного успокоившись, он снова схватил уже лежавшую наготове кисть и ведро с побелкой. Так и продолжалось его безрадостное существование.

Флоря также чувствовал признаки приближающейся опасности во враждебном отношении к нему населения городка, однако гордость словно затмила его разум. В последнее время участились случаи, когда рыбаки, направляясь большой толпой из трактира домой, выкрикивали в темноту оскорбления или, заметив его, все вместе звучно плевались. Однако несмотря на свои властные полномочия он даже не мог их из-за этого задержать, поскольку отнюдь не хотел выглядеть идиотом, если бы в ответ на его вопрос, кому предназначаются эти оскорбления, они лишь залились бы громким хохотом и ехидно ответили, что безусловно не ему, ведь он всё-таки представитель власти. Ха-ха, боже упаси!

Однажды после обеда Мара снова крутилась у его поста, начала ходить вокруг него, шаркая ногами, чтобы, возможно, привлечь таким образом его внимание, и время от времени смотрела ему в лицо, наклонив голову к левому плечу. Флоря не сразу заметил татарку, однако, будто ослеплённый отблеском зеркала, провёл рукой по немного зудевшим векам. Наконец он увидел Мару, махнул ей рукой и спросил её коротко и резко, что ей нужно. Она ехидно ухмылялась, пока из её горла не вырвалось громкое ржание, подошла поближе на кончиках своих кривых пальцев, закатила глаза и остановилась перед ним, при этом выражение её лица резко переменилось и на него легла тень серьёзности.

— Чего тебе? — набросился на неё Флоря, который не собирался обращать внимание на её странные причуды.

Она только ахнула и закрыла лицо огрубевшими руками, затем собралась с силами и прошептала ему на ухо:

— Тьма сгущается.

Эти слова были подобным острым осколкам стекла, и хотя

для этого не было веской причины, у Флори пробежал мороз по коже, чего с ним прежде не случалось. Он расставил ноги пошире, чтобы стоять более устойчиво. Неужели ему так навредило солнце, которое сегодня безжалостно палит? Будто сквозь лёгкую пелену, застилавшую ему глаза, он увидел, что Мара подняла руку и что в этом умоляющем жесте читалось предупреждение.

— Слушай, Флоря, лучше беги, — прошептала она после этого, и её голос звучал даже немного нежно. — Мара тебе плохого не посоветует, Мара ведь предупреждала людей о Пахоме. Уезжай сегодня с Сысоем в Килию или Периправу. Там они тебя не найдут. Вчера Мара видела Гашу. Она стала слишком жирной и уродливой, уж поверь мне. Оставь её, ты сможешь найти женщину получше.

Как только провидица произнесла эти слова, Флоря повернулся к ней спиной, желая показать ей своим видом, будто не понимает, что за чушь она мелет. После этого Мара, видимо, тоже потеряла всякое желание уговаривать его спину и отправилась по направлению к своему дому. Но не успела она сделать несколько шагов, как Флоря, которому что-то неожиданно взбрело в голову, остановил её и позвал обратно. Она злобно взглянула на него, но выполнила его просьбу, растянув рот в презрительной ухмылке. Затем она несколько раз назвала его ребёнком, что караульный воспринял как унижение своего достоинства. Если он хотел сообщить ей что-то несмотря на нанесённое оскорбление, значит, дело было срочное и при всём внешнем спокойствии несомненно вызывало его крайнее любопытство. Женщина ждала, что он наконец скажет, а на её побитом оспой лице застыло каменное выражение. Тогда он сказал, что в Вилково, дескать, ходят слухи, будто она ведьма. Мара засмеялась и при этом захлебнулась, отчего у неё между зубов выступила слюна. Однако он заверил её, что не верит в эти сказки, он, мол, вырос в городе и не принадлежит к здешнему суеверному народу. Он ни за что не поверит, что она может одним только взглядом заставить курицу остановиться и застыть на месте, как недавно утверждал Фрол.

— Сомневаешься в этом, Флоря? — бросила она ему возмущённо и чуть ли не с угрозой в голосе.

Он кивнул, а когда она повторила свой вопрос, указал на

несколько птиц, которые свободно кружились над площадью.

— Ну тогда ты способна заколдовать и этих, — потешался он, смотря вслед уже удаляющейся маленькой стае. — Но, как я вижу, они продолжают спокойно улетать.

Тогда Мара посмотрела вверх и её глаза как будто застлала пелена. Крылья мелькали уже далеко, но затем птицы повернули, хотя Флоря ещё этого не видел, их стремительные движения становились всё отчётливее, затем они приблизились и собрались вместе. Татарка издала тихий звук, похожий на свист, и стая дружно умчалась будто в заранее заданном направлении, описав кружок над головами Мары и караульного. Раздался глухой звук; что-то упало в пыль, пока Флоря потирал от удивления глаза. У ног Мары лежала мёртвая птица. Провидица лишь медленно приподняла левую бровь и, полагая, что слова сейчас излишни, отправилась прочь, пока огорошенный Флоря смотрел ей вслед.

Однако Флоря был бы плохим караульным, если бы он вскоре не оправился от своего потрясения. После этого странного происшествия он напрочь забыл то, что так настойчиво пыталась внушить ему Мара, ибо как только он предположил, что Пимен вероятно отправится в трактир, он, как обычно ничего не подозревая, поспешил к тому окошку, из которого Гаша давала ему знак, что он может спокойно заходить к ней. А Пимен в тот день ни за что бы не променял надёжное укрытие в своём доме на пропитанный алкогольными парами зал в трактире Ивана, если бы будто по чистой случайности не зашёл Савел со своим заманчивым приглашением.

— Ну, пойдём же, Пимен, — уговаривал его Савел с ободрительной улыбкой, — пойдём, будь моим гостем. Я почту это за честь.

Поэтому Пимен, ставший в последнее время редким гостем в заведении Ивана, не заставил себя долго упрашивать и последовал за Савелом, который держал его руку в своей и чуть ли не радостно сжимал.

Знойная духота прокралась через окошки и в трактир Ивана и

теперь висела над головами рыбаков, между столами и лавками. Но имелось одно хорошее средство, чтобы забыть об удушливом воздухе: народ просто пил больше прежнего и это помогало. Казалось, сегодня Савелом овладела какая-то дьявольская мания расточительства, потому что Пимен только и успевал опрокидывать стакан за стаканом; создавалось впечатление, что щедрый друг только и ждал того, чтобы со звоном швырнуть монеты за новый полный кувшин выпивки в алчное лицо трактирщика. Хотя рыбаки и раньше развесив уши собирались вокруг Пимена, предававшегося описаниям событий, которые с ним никогда не случались, сегодня, как ни странно, они прямо толпились вокруг него и Савела, подбивая того щедро угостить Пимена в благодарность за увлекательный рассказ, прежде чем он успевал взглянуть на стаканы, которые ещё даже на половину не опустели.

Так продолжалось приблизительно около часа, в течение которого в трактир Ивана набилось столько народу, что люди стояли вокруг рассказчика плотным кольцом и время от времени подначивали его выкриками ни в коем случае не отставать от Савела в выпивке.

— Пей! — горланили они. — Пей до дна, гуляй! — орали все.

Однако пока голова у Пимена не пошла кругом от всей этой странной суматохи, он заметил, что как раз Савел не так уж и часто хватался за стакан, как хором утверждали рыбаки. Затем в двери появился аптекарь Наум, отозвал Савела в сторону и некоторое время шептал ему что-то на ухо в углу, бурно жестикулируя то растопыренными, то судорожно сжатыми пальцами. Никто даже не ожидал от врачевателя такой подвижности и решительной предприимчивости. Однако именно он молча подал знак Якову и Агапу и вышел с ними на улицу, чтобы переговорить с глазу на глаз. После этого он поспешными шагами удалился; было слышно, как он прокричал что-то в несколько дворов, прежде чем исчез за ближайшими деревьями.

Тем временем ситуация в трактире изменилась: народ постепенно стал пить меньше и следил за Пименом, который сидел, зажатый между остальными, как селёдка в банке, и как будто сморщился и усох, пока время от времени подозрительно прислушивался к звучавшим всё громче насмешкам и

издевательствам, ругательствам и крикам. Если в моменты прояснения сознания он пытался распрямить свою узкую, впалую грудь, так как в голове у него мелькали тревожные сомнения, то, по правде говоря, он бы с радостью пустился наутёк, настолько неуютно он себя чувствовал, настолько угрожающим казалось ему развернувшееся вокруг него веселье. Вдруг прозвучало имя Флори и сразу за ним имя его жены. Ведь он не ошибся, не ослышался? Десять человек говорили наперебой о Гаше, и никто не отзывался о ней лестно, никто не расхваливал её белоснежную кожу и пышные формы, её красивые глаза. Пимен ещё мог стерпеть то, что они называли Флорю похотливым бараном и свиньёй, ведь в конце концов его заключённая втайне дружба с румыном, или как бы там ни назывался этот альянс, не обязывала его выдвигать возражения, поскольку численный перевес окружавших его рыбаков с побагровевшими лицами был значительным и мог бы внушить страх даже более храброму человеку, чем Пимен. Народ резал правду в глаза, оскорблял его белокурую супругу, за которой прежде увивалось немало поклонников, Агап плевался и прилагал при этом максимум усилий, и если Пимен не совсем ошибался, в глубине души ему пришлось признаться себе, что Илларион назвал Гашу потаскухой и уличной девкой.

Шум вокруг него продолжал усиливаться; он больше не осмеливался поднять голову, потому что всякий раз, как он это делал, кто-нибудь спрашивал его, что он думает о супружеской измене и что собирается делать.

— Твой дом — это позорное клеймо на всём городе, — упрекали они его. — Ты ещё слышишь, ты ещё в состоянии это понять, пьяный трус?

Пимен даже не мог кивнуть в ответ и весь дрожал от страха. Он был готов на коленях умолять этих так безжалостно обращавшихся с ним людей пощадить его, несчастного беднягу, и прекратить жестоко мучить, но они хорошо знали, как спровоцировать человека, и не отставали от него ни на минуту, чтобы не дать ему возможности спокойно поразмыслить. Они раззадоривали его, орали во всю глотку, толкали его в спину, чтобы он издал хоть какой-то звук и высказался, поскольку, что касается их, они, дескать, были готовы прикончить Флорю и ждали только его согласия. В голове у Пимена стоял жуткий гул

и звон, будто рядом били молотком по металлу. Один раз он попытался прорваться через кольцо обступивших его мужчин и убежать, однако это ему не удалось; Яков, неуёмному любопытству которого, видимо, не было предела, схватил его за шиворот и крепко держал. Затем он протянул ему кружку и велел сделать большой глоток.

— Тебе это нужно, Пимен, — смеялся он, при этом его глаза горели безумием, — ты должен отомстить, отомстить Флоре за весь Вилково.

Пимен начал жалобно стонать, понурив голову. Однако другие рыбаки куражились и бахвалились, что они его не оставят и будут вместе с ним.

— Не бойся, дорогой друг, не бойся, с твоей головы не упадёт ни один волосок.

Тут почти незаметно на пороге появился аптекарь в сопровождении Калина, который был не менее здоровенным, чем Агап, и церковного певчего Аверьяна.

— Он у Гаши, птенчик, — объявил он с таким видом, как будто сообщил о самом благостном событии со времён существования городка. — Мы только что обнаружили его в Гашином гнёздышке. Там Пимен может ему хорошенько врезать, чтобы он больше не смог вернуться на перекрёсток.

Только сейчас по поднявшему гвалту и количеству размахивавших рук стало заметно, что позади Аверьяна в двери собралась приличная толпа народу. Взгляд Пимена бегло скользнул в том направлении. Он понял, что ускользнуть не получится, и от страха у него по груди пробежала дрожь, а выступивший на лбу пот стекал струями по лицу и капал с подбородка. Что же будет? Какой-то человек, которого он не знал, схватил его за руку и плюнул ему в лицо, попав в цель. Затем он заорал, даже не открывая рта:

— Вставай! Хватит медлить! Наложить в штаны от страха ты сможешь и позже. Вот, держи-ка топор!

Тяжёлый, начищенный до блеска инструмент торопливо передавали от двери из рук в руки, пока он не очутился в дрожащей правой руке Пимена. Он согнулся под тяжестью топора и едва мог держаться на ногах, мелкий и тщедушный посреди толпы здоровых мужиков. Однако в этот момент принятое в огромных количествах спиртное наконец

подействовало, так что он не хотел выглядеть жалким и ничтожным, будто побитая собачонка, поборол свой страх и заорал:

— Я прикончу его, я! Это сделаю я и никто другой, вы слышите? Я вам докажу, что не позволю наставлять себе рога. Я не тряпка, нет, и никто не должен так говорить. Я расщеплю его на мелкие кусочки, этого подлого караульного.

Неистовая ярость помогала и придавала храбрости. Он водрузил топор на плечо с таким видом, будто ему предстояло основательно поработать и срубить целый лес. Скопившаяся позади него толпа теснила и подталкивала его вперёд, сначала на улицу из трактира, затем через кучу скрипевшего под ногами песка, далее до следующей кладки, которая вела прямо к его домику.

Кто-то пытался угомонить пьяное сборище:

— Закройте рты! Тихо! Иначе мы спугнём голубков и упустим негодяя.

Савел шёл впереди, за его спиной Пимен с топором, а за ним Агап. Что каменная стена, что Агап — особой разницы не было, ибо такой здоровяк мог предотвратить любую попытку бегства. Аптекарь Наум собрал вокруг себя вторую ватагу, и поскольку кладки вдоль каналов были слишком узкими для беспрепятственного продвижения такого огромного скопления народа, побежал с ней в обход через город и успел прибыть вовремя, чтобы окружить двор, подкравшись к дому в одних носках во главе следовавшей за ним босоногой толпы. Он помахал рукой Савелу, который сразу же понял его, не задавая лишних вопросов. Народ уже обступил заборы плотным кольцом, а попавшиеся в ловушку голубки, похоже, всё ещё ничего не замечали, поглощённые любовными утехами. За стенами не было слышно ни признаков движений, ни звуков. Тогда Яков неслышно открыл ворота, а Агап подтолкнул Пимена в спину, так что в следующее мгновение он уже стоял во дворе. Казалось, что ему как будто подменили его обычно бледное лицо, которое сейчас превратилось в одно красное, бесформенное пятно. Перед всеми окошками стояли люди, плечо к плечу, и закрывали своими телами внутреннюю часть жилища Пимена. Вдруг внутри мелькнула чья-то тень. Послышались шаги и голос, испуганный голос Гаши.

В этот момент народ одновременно навалился на все окна и выходы маленького строения, стёкла задребезжали и мелкие осколки со звоном посыпались на рубахи мужчин, а дверь заскрипела и подалась под мощным натиском толпы. Чувствуя превосходство собственных сил, они первым делом ворвались в дом со всех сторон.

— Что происходит? — кричала Гаша. — Что это они задумали?

С этим словами она схватила Флорю за рукав и потащила его в дверной проём, который находился между двух комнат, в мгновение ока заполнившихся людьми. У караульного даже не было времени, чтобы схватить свой китель, он стоял в одних штанах и рубашке рядом с Гашей, угрюмо хмурил лоб и полагая, что сможет запугать толпу угрозами, закричал:

— Назад! Никому не шевелиться, иначе я буду стрелять. Назад! Кто осмелится на нас напасть, получит пулю прямо в лоб!

Однако Савел и Яков успели заметить, что у него не было при себе оружия, и сразу поняли, что в отчаянии он лишь пытался отпугнуть людей хитростью.

— Предупреждаю ещё раз. Назад! — кричал Флоря что есть мочи.

Однако Агап уже подошёл к нему на более чем опасное расстояние. Мутноглазый делал вид, будто ничего не слышит, провёл своей лапой по его лбу и волосам. Это жест явно говорил о том, что любая попытка оказать сопротивление напрасна и наивна. Гашу он даже взглядом не удостоил.

— Выходите-ка во двор, голубки, — приказал он, — там вас ждёт Пимен. Он принёс вам подарок, который вас точно потешит!

От ужаса Гаша выпучила глаза и начала выть как животное, которого тянут на бойню.

— Живо на улицу, — повторил Агап, снова переходя к своей манере растягивать слова, а затем врезал Флоре так сильно, что тот пошёл вперёд, еле держась на ногах. Гаша следовала за ним, заламывая в отчаянии руки, вышла с ним во двор, который окружала непробиваемая стена людей. Из середины двора выскочили мужики и набросились на обоих, схватили их и швырнули под ноги Пимену, изо рта которого стремительно вылетали какие-то непонятные слова.

— Разделайся с ним! Прикончи его, этого прелюбодея, прикончи его, собаку! Руби, бей по черепу, по морде, по зубам! — требовала толпа, а искажённые яростью лица ярко освещало солнце. — Расколи ему череп надвое!

Флоря с ужасом поднял глаза, а Пимен занёс топор, но всё ещё колебался обрушить его на голову беспомощного румына.

— Заруби его, тогда он больше не пошевелится. Убей его, Пимен, убей его, не дай ему улизнуть!

Тогда Пимен страшно скривил рот, из которого раздался пронзительный смех, и поднял сверкающий топор.

Но тут неожиданно раздался шум и появился Фирс, который бросился к кольцу столпившихся людей, прорвался через него, растолкав всех кулаками, и закричал так, что звук его голоса раскатился зловещим эхом:

— Дом Калина горит! Дом Иллариона горит! Спасайте детей! Они за запертыми дверями! Тушите пожар!

Все в недоумении таращились на горланившего Фирса, который резким движением выхватил у Пимена топор.

— Бегите, — прогремел его голос, — иначе ваши дети сгорят, как мыши, весь Вилково превратится в пепел, если вы не поторопитесь.

Первыми очнулись и побежали Калин и Илларион, а сразу же вслед за ними члены их семей.

— Хватайте вёдра и тушите пламя! — надрывал глотку Фирс.

Люди больше не смотрели на Флорю, лишь боязливо оглядывались вокруг, бросились бежать во все стороны, переходили вброд канал, толкались и чуть не сбивали друг друга с ног, не переставая кричать и предупреждать о пожаре остальных жителей, отчего весь городок наполнился жуткими звуками, напоминавшими завывание ветра. Начали звонить церковные колокола, извещая своим пронзительным трезвоном об опасности, прежде чем люди убедились в том, что действительно разразился пожар.

Вокруг Флори, Гаши, Пимена и Фирса никого не осталось. Только аптекарь Наум медленно крался где-то поблизости. Фирс врезал Пимену, а когда тот снова собирался закричать, зажал ему подбородок с такой силой, что у него аж зубы заскрипели и губы сомкнулись, будто прибитые заклёпками.

— Молчи! — прикрикнул он на Пимена.

А затем рявкнул Флоре:

— Забери свой мундир! И в будущем здесь больше не появляйся.

Караульный приоткрыл рот, из уголков которого стекала слюна с кровью. Видимо, он хотел что-то сказать, однако ему это не удалось. Пошатываясь и всхлипывая, Гаша пошла в дом, так как у неё было ощущение, что за стенами она может чувствовать себя в большей безопасности. Она ещё не оправилась от пережитого ужаса, и сейчас некогда грациозная и изящная женщина шла ссутулившись и напоминала своим видом старушку. Она хромала. Уже в дверях она повернулась к Фирсу и пробормотала:

— Не уходи. Ты успел как раз вовремя, Фирс. Ты спас Флорю, и меня тоже.

Она закрыла руками мокрое от слёз лицо. Издалека доносились крики. И тогда Фирс, держа рукой лезвие топора, ответил:

— Мара меня разбудила. Мара прислала меня сюда.

Караульный без единого слова благодарности исчез за задним забором, часть которого валялась на земле. Фирс осмотрелся вокруг. От окон и дверей остались лишь зияющие дыры. Тут затоптанный бурьян, а там раздавленные помидоры. Пимен всхлипывал, растянувшись на траве и повернувшись лицом к земле. Фирс подошёл к нему и посоветовал для начала проспаться и протрезветь. После этого он ушёл, больше ничего не объяснив и не попрощавшись.

Когда чуть позже люди увидели, что ни дом Калина, ни дом Иллариона не был объят пламенем и искрами, они подумали, что пожар уже потушили, и очень обрадовались. Но вскоре они поняли, что Фирс их одурачил. Они были вне себя от возмущения, ругались на Фирса больше, чем на ускользнувшего

благодаря этому розыгрышу Флорю, который, к слову сказать, очень ловко скрылся, будто был пронырливым вором, а не караульным. Как бы усердно они не пытались его разыскать, он нигде не появлялся. Хотя даже если бы им удалось его поймать, то сейчас, после того как пьяные страсти отбушевали и за ними последовало горькое отрезвление, никто больше бы не осмелился сказать ему ни слова о его отношениях с Гашей, не говоря уже о том, чтобы серьёзно угрожать его жизни. Выходка Фирса ещё какое-то время будоражила умы некоторых ополчившихся против него жителей, однако в течение нескольких дней он вообще не показывался в рыбацком городке, и когда люди наконец спросили Мару, куда он подевался, она лишь пожала плечами и сказала:

— Он у моря, уехал к устью. Пытается забыть, бедняга, что вы все собирались стать убийцами. За это его нельзя винить, ха-ха. Если бы я не была бдительной, произошло бы несчастье.

Подобные разговоры не прибавляли популярности Маре, однако с тех пор как Соня и Евлампия стали жертвами Пахома, ей, похоже, было наплевать на мнение соседей. Флоря исчез, и площадь в центре городка почти на целую неделю осталась без караульного, из-за чего она казалась немного опустевшей и унылой, поскольку население привыкло постоянно видеть здесь украшенный медными пуговицами и нашивками мундир.

Теперь Савел больше не страдал от незнания о происходивших в городке событиях; он убедил Якова пойти с ним к городскому голове и узнать у него об обстоятельствах этого дела. Ведь было бы постыдным этого не знать, кроме того, они имеют полное право потребовать разъяснений. Когда Яков услышал, что есть возможность узнать что-то о ненавистном караульном, у него даже язык высунулся изо рта, как у собаки, которая хочет пить, поэтому он не заставил себя долго просить и согласился. Приветствуя власть, он держался рядом с Савелом и поклонился чуть ли не до белых и торжественно блиставших своей чистотой деревянных полов здания городской администрации. Осторожно, ведь их грязные подошвы ступали по гладко выстроганным половицам, а не утрамбованной глине в рыбацких домах. От снисходительно улыбавшегося городского главы Вилково они узнали, что Флорю по его прошению перевели в Килию-Веке и он больше никогда не вернётся.

— Вам ещё повезло, — заметил он язвительно, напустив на себя важный вид и покачивая своей большой головой, — что вы в нужный момент образумились. Никто так просто не попадает за стены большой тюрьмы в Измаиле, и сейчас вы бы все сидели там, преисполненные раскаяния и угрызений совести, если я правильно понял Флорю. Вы ведь знаете, что ваш городской голова разумный человек и вне всяких сомнений он не мог понять караульного неправильно. Высокомерие городского головы заставляло его соблюдать необходимую дистанцию, соответствовавшую его высокому чину, поэтому он держался от обоих рыбаков на расстоянии и смотрел перед собой, словно непогрешимое божество, в то время как Яков и Савел стояли с немного обиженным видом. Однако, в конечном счёте, этот субъект, которого они про себя называли мошенником и пройдохой, был всё-таки прав, поскольку, как бы то ни было, им действительно повезло, что кровавую расправу над Флорей удалось предотвратить. Скорее всего, они были довольны, что ничего не случилось, а спокойно поразмыслив над всем этим делом, в конце концов пришли к выводу, что Фирс спас их от верной гибели и они ещё должны быть ему благодарны.

Даже аптекарь Наум в конечном итоге осознал, что Гаша и её женские прелести не стоили того, чтобы затевать такую заваруху. Он, к слову сказать, уже на следующий день после нападения на караульного ходил с таким видом, как будто не был одним из самых злостных зачинщиков, даже если действовал по большей части за кулисами, соблюдая осторожность и прячась под разными обличьями. Если встретившиеся ему на улице люди, которые не участвовали в осаде двора Пимена, всё ещё заводили разговор о безбожном поступке Гаши, он чувствовал себя неловко и поспешно прощался с ними, чтобы избежать необходимости отвечать на каверзные вопросы, обличавшие его более или менее открыто, а когда городской голова в его присутствии намекнул на его причастность к этому происшествию, он начисто отрицал какое-либо участие. Он утверждал, что злые языки хотят оклеветать его перед городскими властями, поэтому сочинили и распространяют эти наглые сплетни. Он тут же не преминул заметить, что у него есть две бутылочки испанского красного вина, невероятно дорогого напитка, которые он от всего сердца хотел бы преподнести в

подарок уважаемому городскому голове. На его лице появилась одобрительная ухмылка, которую аптекарь воспринял для начала как хороший знак. А затем, как следует поразмыслив над стоимостью красного вина, городской голова сказал:

— Значит, меня неправильно проинформировали. Я сам был очень удивлён. Разве аптекарь может быть настолько неосмотрительным? И как только я мог поверить в это хоть на секунду? Наум — зачинщик кровавых расправ!

— Немыслимо, — поддакнул аптекарь, чтобы тот ещё больше укрепился в своём так быстро поменявшемся мнении. — А об испанском вине я не забуду, — заверил он уже охваченного чувством предвкушения городского голову. — Оно годится только для важных господ, благородных господ, — заливался соловьём аптекарь, как будто был в него по уши влюблён.

В тот же вечер Наум сдержал своё обещание. Ибо аптекарь полагал, что ни в коем случае не следует слишком дразнить аппетит человека, тем более что вино это было, разумеется, не из Испании, а из какой-то плодородной холмистой местности Бессарабии.

А на перекрёсток с этого момента водрузили нового караульного по фамилии Хараламбие, который стоял, как можно шире расставив ноги. Он приехал по ходатайству городского головы из столицы округа, где тот сообщил, что городу Вилково требуется новый блюститель порядка, поскольку к Флоре из-за слишком добросовестного выполнения своих обязанностей местные жители относились враждебно. Его всегда отличали храбрость и неподкупность, поэтому городская власть отпускает его с наилучшими пожеланиями на будущее. Что же касается Хараламбие, он в первую очередь производил впечатление более гуманного человека. Его светловолосая голова блестела на солнце, как цветок колючника, а приплюснутый нос сидел прямо над светлыми топорщащимися усами, из-за чего его внешность казалась самой безобидной в городе. Он был намного старше Флори, поэтому не вызывал особого интереса у женщин городка. Он изрядно разочаровал Гашу, хотя она практически не видела его, поскольку ещё не осмеливалась часто выходить из дома и пока что без особых успехов пыталась вести себя так, будто половина населения Вилково застукала во время свидания с Флорей не её, а какую-то нездешнюю жену рыбака. Хотя теперь,

похоже, ей пришлось умерить свои амбиции, поскольку обстоятельства складывались для неё не самым благоприятным образом и даже Агап, которого она встретила вчера, вместо приветствия нараспев произнёс слово «свинья», но Хараламбие вряд ли мог прельстить её, потому что он был похож на увядший и засохший цветок. Зато новый караульный, не успев провести даже часа на выделенном ему посту, искренне подружился с Марой, которая в благодарность за его дружеское доверие впоследствии не раз помогала ему своими загадочными намёками и давала весьма полезные для исполнения его должностных обязанностей советы. Кто-то пустил слух, что Хараламбие якобы отец Тудосе, о котором со времён наводнения почти никто больше не вспоминал. И хотя об этом родстве не подозревали ни люди в том городе, где Хараламбие провёл предыдущие годы своей жизни, ни он сам, это высказывание всё же имело большое значение, потому что жители Вилково встретили нового караульного весьма доброжелательно и практически никогда на него не жаловались. У него вообще не было никакого блокнота, которым он мог бы пользоваться с напыщенным видом, а все его действия в значительной мере отличались милой и забавной небрежностью. Всякий раз, когда он дул в свисток, тот издавал жалкие и вялые звуки, потому что был забит землёй, ушной серой, крошками и клочками войлока из его карманов.

В первое время после вступления Хараламбие в должность во всём рыбацком городке царила спокойная и благоприятная атмосфера. Даже внешние стены дома Пимена больше никто не осквернял, они оставались белыми и без пятен, прямо образец невинности. Готовый к неприятным сюрпризам, Пимен каждое утро осматривал их, прежде чем снова отправиться отдыхать на полати за печью, чтобы смягчить мнимые боли в желудке, приняв неподвижное сидячее положение. Он уже сделал решительное усилие над собой, когда по настоянию Гаши однажды вечером явился в лавку к аптекарю, чтобы одолжить у него денег на покупку новых оконных стёкол. Не моргнув и глазом, Наум тут же достал из выдвижного ящика нужную сумму и протянул через стол Пимену, у которого в моменты крайней необходимости сразу же просыпалась бойкость языка. В решающий момент он обмолвился о доносе властям, упомянув

об этом вскользь, но с достаточно отчётливым намёком. Поэтому в окнах вновь блестели новые стёкла, каждое на своём месте, а если Пимен, прячась за ними, и предавался унынию, то это никого не касалось. Хватит, он больше не пошевелит и пальцем, он уже один раз отстоял на коленях в церкви вечернюю службу с поникшей головой, из-за чего у него онемела и затекла шея. О спасительном вмешательстве Фирса он не упоминал ни слова; что же касается Флори, то у него просто язык не поворачивался произнести его имя, даже если бы Господь Бог пообещал ему за это отпущение грехов. Однако с этих пор значительно усложнилось и Гашино существование. Поскольку Пимен теперь не слазил с печи, сейчас ни один мужчина, даже если бы ей и удалось всё каким-то образом хитро обставить, не мог больше незаметно пробраться в её комнату, разве что только ночью. А вопрос о том, как впредь будет вести себя Савел, способный прошмыгнуть в любую дверную щель, пока что оставался открытым. Ах, он достаточно чётко продемонстрировал, что тоже может быть плохим.

Вскоре после того, как его первоначальный гнев из-за розыгрыша Фирса прошёл, у него появилось чувство утраты, которое терзало его всякий раз, когда он думал об исчезновении товарища. Он не только с радостью готов был ему всё простить, он ждал его и скучал по другу, в котором сейчас нуждался больше, чем когда-либо и которого ему не хватало.

— Когда он вернётся? — спрашивал он Дуню, устав от долгого ожидания.

Но она лишь хитро улыбалась и говорила:

— Сегодня или завтра. Наверняка он уже почуял в воздухе, что больше никто не собирается забрасывать его камнями.

Однако Аким, который тоже это слышал и которому такой легкомысленный ответ безусловно показался неточным, заметил нарочито безразличным тоном:

— Это не так. Я бы начал волноваться за Фирса.

Савел не понял брата. Наверное, лучше чесать затылок и оставаться в неведении, чем серьёзно воспринимать слова человека, которого терзают сомнения. Вдобавок ко всему он вдруг вспомнил улыбку Маруси, которую он утратил навсегда.

Бушевавшая несколько часов буря хлестала мощными струями воды по камышовым крышам городка, срывала с

деревьев яблоки и айву, прогнала служащих пограничной заставы с берегов большого канала, а Хараламбие бросил свой пост и укрылся в церкви, где он в промокшей до нитки рубашке, неприятно прилипавшей к телу, с завистью рассматривал отличавшееся богатой палитрой красок изображение архангела Михаила на стене. Он стоял там неподвижно на своём посту с обнажённым мечом, и ему повезло гораздо больше, чем караульному, так как он всегда был защищён от дождя и ветра. Сквозь боковые окна в куполе просачивался свет и скользил по его одеянию. Хараламбие было немного холодно. Он осторожно провёл кончиками пальцев по плащу крылатого архангела. Он был рад, что сейчас это можно было сделать, не опасаясь быть замеченным. А снаружи в это мгновение весь небосклон освещался вспышками молний и повсюду барабанил дождь. Когда же буря наконец стала утихать и грозовые облака разошлись, ещё напоминая о себе раздававшимися вдалеке раскатами грома, караульный попрощался со своим молчаливым другом, подняв при этом руку и помахав ему с улыбкой, как будто выражал благодарность за оказанное гостеприимство и обещал навестить его ещё разок при первом удобном случае. Таким образом, славный предводитель небесного воинства остался в одиночестве, а Хараламбие теперь, похоже, снова оказался в фаворе, поскольку мог по крайней мере хоть иногда обменяться с кем-нибудь парой слов.

Что касается Мары, то её не особо интересовал Архангел Михаил в отличие от охранника порядка, который с радостью кивал ей при встрече и не считал её странное поведение несносным. Именно это и было самым важным для провидицы. Она полагала, что обладает достаточно мощными силами, вот только прежде ей не удавалось найти человека, который бы действительно в них поверил. Даже этот предатель Яков сразу же после наводнения перестал обращать на неё внимание. Хараламбие же, напротив, был ей неизменно предан. Поэтому постепенно он стал её доверенным лицом, и теперь по утрам или вечерам она частенько крутилась поблизости от него, а затем, топая своими широкими ступнями, шла прямо ему навстречу и после этого в течение какого-то времени, длительность которого могла быть неограниченной, начинала говорить бессвязные фразы или смеялась, будто находилась наедине с собой. Иногда

ни с того ни с сего она могла резко сменить тон или задать ему вопрос, продолжая настойчиво таращиться на Хараламбие своими безумными глазами.

— Слушай, ну разве Мара не права?

— Разумеется, права, — тут же отвечал караульный. А затем, выдвинув вперёд нижнюю губу, добавлял:

— Наша Мара, можешь мне поверить, она знает больше, чем начальник городской полиции Измаила.

Тогда провидица вскрикивала от радости и подпрыгивала, расставив в стороны руки, похожие на сломанные крылья.

И вот над Вилково вновь раскинулась безбрежная синева небес, изливая мощные струи солнечного света, а Хараламбие нежился в тёплых лучах, падавших на его мундир, и чувствовал, как под ним медленно начинает высыхать и его бельё. Он чувствовал себя на верху блаженства, и его внимание отвлекала лишь появившаяся на ближайшем канале лодка, которой управлял Фирс, расположившись на среднем сидении между двумя маленькими карпами и мешком, полным слив. Он грёб вперёд как ни в чём не бывало, как будто того, что он кричал людям в лицо о полыхающих в огне домах Калина и Иллариона, вообще никогда не было. Но его появление не ускользнуло от глаз бдительного караульного; кто-то гневно прокричал его имя через забор соседке, и она тут же выскочила к воротам, чтобы воочию лицезреть этот образец наглости и дерзости. Однако Фирс никого не провоцировал и, похоже, не очень-то терзался раскаянием, а только как обычно коротко здоровался и плыл дальше.

Должно быть, Фирс не чувствовал себя более грешным, чем раньше, потому что в противном случае не смог бы так спокойно озираться вокруг и посмотреть прямо в лицо Калину, который скорее всего думал не о розах и фиалках, когда его заметил, а с большим удовольствием обрушился бы на него с бранью, чтобы по крайней мере таким образом отомстить ему за недавнюю гнусную выходку, больно оскорбившую его мужское достоинство, и надолго проучить этого шутника. Однако из-под рыжей бороды Фирса засверкала улыбка, когда он огорошил Калина следующими словами:

— Встретил случайно твою Матрёну, Калин. Она опять раздобрела и покруглела. Похоже, вскоре из неё снова вылупится

маленький озорник. Окрестим его Терентий или Карпушка? Что скажешь?

По всей видимости, Фирс остановил лодку только для того, чтобы ему было удобнее общаться с уже успевшим отвернуться и брюзжавшим Калином, потому что сегодня он был более разговорчив и словоохотлив, чем обычно. Он пребывал в отличном настроении и щедро делился им с такой же непосредственностью и естественностью, как будто доставал из каждого кармана по маленькому подарку. Тут даже Калин, хотел он этого или нет, вынужден был изобразить улыбку, обнажив свои острые клыки, пока Фирс, не дождавшись ответа, посоветовал Мару в качестве повитухи во время родов его жены, поскольку она, дескать, разбирается в этом щепетильном ремесле лучше любой другой женщины в городе. Он ещё раз заверил, что желает Матрёне только добра, пока с мокрой, пышной листвы деревьев, которая местами образовывала над каналом навес, на его непокрытую голову одна за одной падали тяжёлые капли. Ну и кто же смог бы сомневаться в его искренности? Этого не стал делать и Калин, который в конце концов снова улыбнулся, но в этот раз уже без притворства, ехидства или презрения, поскольку не смог устоять перед простодушной чистосердечностью Фирса. Ну а если даже Калин, которого одурачили больше всех, не собирался сводить счёты с этим негодяем, как же тогда должны были вести себя остальные люди, которые подходили сначала с опаской и робко, а затем уже не стесняясь?

— Вот, смотрите, — рассыпался в похвалах Фирс, засовывая свои большие руки в мешок и вытаскивая оттуда изрядное количество слив, как будто хотел убедить всех жителей Вилково сразу. — Вот это фрукты! Вы таких никогда не пробовали. Спелые и сладкие! Тёмно-синие, как глаза Господа Бога.

Сказав это, он протянул сливы женщинам и детям, собравшимся вокруг лодки, затем уселся на сидение и, не слишком налегая на вёсла, спокойно поплыл дальше. Тем не менее, Калин забыл, что он мог бы быть недовольным на самого себя.

В дом старика Калистрата возвращение Фирса принесло особенную радость. Он долго сдерживал смех, который время от времени всё же вырывался из его горла, этот низкий звук ликования. Дуня промчалась через комнаты дома с

молниеносной скоростью, выбежала к воротам и поздоровалась с ним, стараясь сдерживать себя, чтобы не шуметь, потому что у окна наверняка сидел с усталым лицом Аким, погруженный в размышления, и мог за ней наблюдать. Хотя она немного расстроилась из-за того, что тут же бросилась к нему в грубой, плетённой кофте, а не в одном из своих новых платьев, это небольшое огорчение, которое омрачило её личико, в значительной мере компенсировала радость от долгожданной встречи. Аким, разумеется, как обычно вёл себя в своём духе, и если бы во время последовавшего вскоре ужина они обращали внимание только на его немногочисленные реплики и не были бы в курсе предыдущих событий, то у них могло бы возникнуть ощущение, что Фирс, этот незваный гость, не далее как вчера сидел за этим низким круглым столом. Савел говорил меньше, чем обычно, и некоторое время даже перестал думать о Марусе, растворившись в удовольствии от присутствия Фирса. Порой он почти совсем замолкал; он чувствовал стыд и поэтому впадал в унылое настроение, тем более что после недавних пережитых событий он не променял бы на симпатию Гаши даже маленькой щучки длиною в палец.

В отсутствие Фирса Аким практически ни разу не выходил в город, да и в трактире его также никто не видел. Теперь, когда он пытался избегать всяческих встреч с Анисьей или малышом Трофимом, звонкий голос которого противно и назойливо звучал в его голове, и опасался случайно столкнуться с ними на улице, забор вокруг двора стал для него узким барьером, ограничивавшим его свободу. Когда он однажды вечером издалека заметил её тень, у него замерло сердце, прежде чем оно начало бешено колотиться в горле, пока он уносил ноги, как от врага, просто бессовестно убегал, хотя Анисья его вообще не узнала и подумала, что это Савел, который также довольно часто

при встрече с ней не замечал горя, которое читалось в её искажённом болью лице, и обращал на неё не больше внимания, чем на деревья, красовавшиеся в окнах глиняные кувшины или бездомную кошку. Аким долгое время прятался за стволами нескольких деревьев, где он чувствовал себя немного спокойнее, потому что они возвышались в полумраке рядом с опорными балками моста и подобно стене скрывали его от любых зорких глаз. От воды в канале исходил омерзительный запах, похожий на запах гнилой плоти; к нему приблизилась собака и начала громко лаять, приняв притаившегося человека за врага. Аким надеялся спугнуть её, если попадёт по ней камнем, выковырял гальку из заболоченной земли и швырнул в поднявшее шум животное. Он попал в цель, но собака, взвыв от боли, озверела ещё больше и убежала только тогда, когда Аким метнул комок глины в её оскалившуюся пасть. Глина прилипла к его пальцам, но он, рассерженный и чувствующий себя изгоем, не додумался окунуть их в воду и помыть. Он прокрался домой, некоторое время нерешительно стоял у открытой двери, словно ожидая, что Дуня пригласит его войти. Девушка сидела на кровати в ночной сорочке, под тонкой тканью виднелись упругие формы её тела, а от мерцающего света крошечной масляной лампы её лоб казался нереально белым. Аким с радостью бросился бы на пол посреди комнаты и заплакал, но всё же ему удалось совладать с собой и, прикрывая глаза покрытой высохшей грязью рукой, словно пытаясь от чего-то защититься, он пожелал сестре спокойной ночи и прошмыгнул в следующую комнату.

В тот же вечер Савел также слонялся по городу, полностью погрузившись в размышления, в которых снова появилась давно утраченная Маруся. Временами ему казалось, что он узнал танцовщицу гораздо лучше, с тех пор как у него было больше времени, чтобы снова и снова воскрешать в памяти её образ. Чем чаще он, закрыв глаза, представлял каждое из её воздушных, неземных движений, тем прочнее воспоминание о ней закреплялось в его сознании. Он слышал в голове её голос, который пел, а затем затихал, словно звуки пения птиц, уносимые ветром. Когда он вспоминал о заговоре, который они сплели вместе с аптекарем, и об опасных последствиях этой рискованной затеи, которых им едва удалось избежать благодаря счастливой случайности, каждое нежное воспоминание о Марусе

становилось благотворным и благодатным средством, помогавшим ему забыть о неприятных вещах. Нельзя сказать, что Савел на самом деле очень сильно страдал, однако он пришел к выводу, что даже такого человека, как Пимен, нельзя макать в грязь лицом, хотя он впоследствии охотно его простил и несказанно радовался тому, если о причинённых ему страданиях больше не упоминалось ни слова. Неужели Пимен мог так сильно измениться с зимы, или это только казалось Савелу, которого иногда в глубине души всё же терзали угрызения совести? Савел посмотрел на небо и увидел те же самые звёзды, которые ярко горели той прекрасной ночью над головой Маруси.

А когда он, полностью растворившись в своих волшебных мечтах, забыл обо всём на свете, перед его отсутствующим взором неожиданно появилась голова Гаши. Она тихо засмеялась, затем некоторое время молчала, потому что не знала, как начать лёгкий и непринуждённый разговор, сунула руку под расстегнутую кофту. Однако Савел также, видимо, не собирался завязывать дружескую, приятную беседу, поэтому молчал. Это выглядело на самом деле странно и совершенно непривычно, но он действительно даже рта не открыл, чего явно ожидала Гаша.

— Ты что, язык проглотил? — спросила она и так сильно ткнула указательным пальцем в его шею, что ему даже стало больно.

Он лишь отмахнулся от неё рукой и раздраженно закрыл глаза, потому что эта встреча была ему очень неприятна. Вероятно, Гаше это уже порядком надоело, потому что она начала разговор и говорила, не останавливаясь ни на секунду:

— Я не держу на тебя зла, Савел. Я не собираюсь этого делать, понимаешь, такой уж я человек. Я готова забыть обо всём, что ты против меня замышлял. Флоря сбежал, теперь он не сможет меня в чём-либо упрекнуть, а тебе больше не придётся опасаться его револьвера. Теперь у нас с тобой всё будет по-другому, совершенно по-другому, Савел.

Поскольку он всё ещё не знал, что ответить, она замолчала, сделав передышку, а затем продолжила убеждать его с ещё большей искренностью и теплотой:

— Я буду с тобой, я всегда буду с тобой, понимаешь? Ведь тебе очень плохо без меня, не так ли? Мы хорошо знаем друг друга. Я знаю, что тебе по вкусу, знаю, что тебе нравится. Ты не будешь

ни в чём испытывать недостатка и тебе больше не на что будет пожаловаться, если ты вернёшься ко мне. Я вновь окутаю тебя нежностью и лаской.

Сама того не желая, она слишком далеко зашла в пылкости своих слов и при этом даже не подозревала, что на лице Савела, которого абсолютно не тронули её уговоры, в данный момент застыло холодное безразличие. Он был непреклонен и твёрд, как камень. Его лицо обдавало тёплым дыханием, которое веяло из приоткрытого рта Гаши. Наконец он слегка наклонился к ней и произнёс голосом, который по звучанию напоминал голос Акима, следующие слова:

— Ты уже достаточно сказала, даже слишком много. Но я сейчас ищу другую женщину, такую, которая улыбается, как Марусенька.

Видимо, Гаша не поверила своим ушам.

— Как та жалкая танцовщица? — вырвалось у Гаши, и в каждом звуке ощущалось ядовитое ехидство.

— Да, как танцовщица, — подтвердил Савел, а затем добавил: — Сейчас я вообще не понимаю, почему я не оставил тебя с твоим Флорей в покое. Я ведь больше ничего не хотел от тебя.

— Вот видишь, — упрекнула его Гаша, теряя самообладание, — а со мной так подло обошёлся.

Она начала плакать навзрыд, однако её слёзы больше его не трогали. Он лишь тихо произнёс:

— Возможно, преемник Хараламбие сможет тебя утешить.

С этими словами он оттолкнул её от себя, резко повернулся к ней спиной и поспешил прочь, как будто торопился скорее добраться до долгожданного финиша. Высоко в небо вскарабкался медный диск полной луны и повис над водами реки.

Свет сочился сквозь окошки дома Сверёвых и осторожно скользил по лицу спящего старика Калистрата, по закрытым векам, поблёскивал в седине бороды. Его дыхания было

практически не слышно. Он даже не шевелился, отчего казалось, что старик словно застыл в оцепенении, пока не проснулся утром, взглянул на своих сыновей-близнецов, а затем поднялся, чтобы вскоре отправиться на работу. Если ещё совсем недавно замкнутость Акима казалась ему странной и часто наводила его на размышления, теперь он старался об этом не думать, решив, что никакой загадки в этом нет и что не стоит дальше ломать над этим голову. Поэтому он просто продолжал жить дальше, видел ночью сны, которые неслышной, тихой поступью прогуливались в его голове, а днём, когда рыбные склады окутывала лёгкая дымка, показывал себя молодцом и успешно справлялся со своей работой, о которой ещё никто никогда не отзывался отрицательно. Если же делать было нечего, он подставлял под струящиеся лучи солнца низенький табурет и садился на него, коротая медленно тянувшиеся часы в ожидании новых событий, происходивших, однако, довольно редко. Ведь по натуре он не был настолько ленив, чтобы вообще ничего не делать. На худой конец ожидание тоже было своего рода занятием, поэтому лучше было сидеть и ждать, чем просто задремать. Он не мог допустить такого, дабы потом люди его не укоряли, утверждая, что он уже слишком стар для выполнения его ответственной работы.

Однажды днём, погрузившись в размышления о монахе Пахоме, который ещё несколько недель назад слонялся вокруг складских деревянных построек и рыбных коптилен, он в очередной раз сидел на табурете и неустанно моргал, как вдруг увидел Пимена, который направлялся к нему в сопровождении одетого в лохмотья паренька лет четырнадцати. Хотя зрение старика Калистрата вряд ли уже было безупречным, он всё же заметил то, что отличало мужа Гаши и этого подростка, прежде чем они успели с ним заговорить. Пимен выглядел более убогим и осунувшимся, чем когда-либо, и похоже, с момента нападения на его дом до сих пор стыдился показываться на люди и прятался от назойливых взглядов и от всего мира. От смущения его губы начали подёргиваться, прежде чем он осмелился открыть рот. При этом он беспрестанно поглядывал на своего юного спутника, резко поворачивая голову, что уже заранее говорило о причине его появления. Пареньку, укутанному в обтрёпанные и сковывающие его движения лохмотья, даже не требовалось

говорить, что он беден как церковная мышь и нуждается в помощи. Однако в глаза бросался не только его невероятно убогий наряд, вызывающий жалость, но и узкое лицо аристократичной формы, из которого испуганно выглядывали потухшие глаза, также привлекало внимание своей бледностью, которая как будто поселилась под желтоватой кожей. На лбу у него было пятно, продолговатое и светло-рыжее, возможно, заживающий шрам. Их босые ноги маячили туда-сюда перед стариком Калистратом, но Пимен всё никак не мог набраться смелости, чтобы наконец выдавить из себя слова.

— Ну, — прозвучал вопрос старика, когда он встал и потянулся к руке нерешительного визитёра.

— Приветствую тебя, Калистрат, — ответил Пимен и сглотнул слюну, так как не знал, что ещё сказать, и чувствовал себя из-за этой неловкой паузы очень глупо.

— Что тебя привело ко мне? — наконец нарушил тишину старик, который даже не думал упоминать что-либо о Гаше и Флоре, чего так опасался Пимен.

— Я привёл к тебе вот этого, — пояснил он, отскочив от парнишки на шаг, а затем указал на него робким жестом.

— Я это вижу, — кивнул старик, сморщив лоб, — но тебе придётся сказать мне, Пимен, что мне делать с пареньком.

— Он ведь не может ходить голышом, — прозвучал его укоризненный ответ. — Разве ты не видишь, в каком он плачевном состоянии? Но при этом он годится, как он мне поклялся со слезами на глазах, для любой работы. В Килии он неделями голодал. Милосердные люди позволяли ему спать на их мусорных кучах, будто он шелудивый пёс. Но ты же видишь, что он не пёс, ха-ха. Он пришёл в наш город, но никто не хочет дать ему работу. Я разговаривал с парой человек, не могут ли они найти для Яшки какое-нибудь занятие. Однако они и сами не знают, где бы заработать пару жалких леев. И тогда я вспомнил о тебе, Калистрат, потому что ты умный человек, очень умный и опытный, во всей округе не найдётся человека мудрее тебя, а нашим священнослужителям следует прятаться в мышиные норы, когда ты говоришь хоть слово. Ведь твоё слово стоит больше тысячи молитв.

— Хватит уже петь хвалебные оды в мою честь, — перебил его старик, — я понимаю, о чём речь. Но, как ты мог заметить,

сейчас работа едва найдётся даже для нашего брата.

Лицо Пимена исказилось гримасой удивления, хотя он уже давно должен был бы знать, что старик Калистрат не нанимал помощников.

Старик внимательно посмотрел на Яшку и, немного подумав, велел ему пойти к нему домой, где Дуня даст ему рубашку, старые брюки и кукурузный хлеб. При всём желании он, к сожалению, больше ничем не может ему помочь. Подобно скитающимся нищим, Яшка издал очень глубокий и жалобный вздох, тихо скулил, пока несколько слёз не потекли медленно по его щекам, на которых слегка пробивался редкий темноватый пушок. А затем наполнившиеся влагой глаза паренька забегали туда-сюда.

— Я очень голоден, — лепетал он, хотя Пимен, который сейчас удивлённо приподнял брови, накормил его только час назад.

— Тогда идите, идите уже скорей, — посоветовал им старик Калистрат спокойным и терпеливым тоном, не желая обидеть ни одного из них. — Дуня сразу всё поймёт, мне не нужно заранее её предупреждать.

— Ах, — воскликнул Пимен, нерешительно поворачиваясь, — тогда нам не остаётся ничего другого; Яшке и так повезло.

С этими словами он схватил паренька за руку и прикрикнул на него:

— Скажи спасибо, грубиян!

— Спасибо, спасибо, — завопил Яшка с явным упрёком в голосе, как будто хотел таким образом показать, что и без замечания Пимена знает о правилах приличия.

После этого они побрели назад так же, как и пришли: Пимен, постоянно снедаемый паническим страхом, что может случайно встретить грубых рыбаков, без всякого стеснения режущих ему в глаза горькую правду, а слева от него задумчивый Яшка, вынужденный беспрестанно поправлять окутывавшие его тело лохмотья, которые время от времени раздувало ветром, чтобы не выставлять напоказ своё оголённое тело перед глазевшими на него с любопытством местными детьми. Хотя он вроде бы не очень стыдился, иногда в его тусклых глазах вспыхивало что-то наподобие страха, и это выглядело так, будто в глаза попала пыль. Пимен не осмелился зайти в дом старика Калистрата, куда

Яшка пошёл один, чтобы получить обещанные подарки от Дуни. Он коротко объяснил девушке цель своего прихода, и она сразу же всё поняла, вытащила вещи из сундука и протянула их пареньку, который голодным взглядом пожирал её гибкую и стройную фигуру. Вся его похвала заключалась в звонком щелчке языком, после чего он, не сказав больше ни слова благодарности, добежал странными прыжками до ворот и моста, ведущего к другой стороне канала, где он схватил за руку опешившего Пимена, у которого снова бешено билось сердце и чуть ли не выскакивало из груди, и потащил его вперёд.

Теперь, когда Яшка снял с себя лохмотья, развевавшиеся на ветру, и одел полученную одежду, он внезапно исчез из поля зрения Пимена и в течение нескольких дней его нигде не было видно, пока он снова не появился поблизости складских помещений, слоняясь вокруг по разветвленным тропинкам и кладкам, что отчасти выглядело как игра в прятки, а отчасти как попрошайничество. Нельзя сказать, что своим поведением он напоминал монаха Пахома. Возможно, он не брезговал и воровством, однако его никто не застукал за каким-нибудь сомнительным проступком, что было очень странно, так как он неустанно зыркал по сторонам и вертел головой, резко поворачивая её туда-сюда. Сейчас, учитывая ту осмотрительность, с которой он совершал все действия, создавалось впечатление, что он уже и сам прекрасно справлялся без абсолютно бесполезных подсказок и нравоучений Пимена. Он не приставал с жалобами и мольбами ни к старику Калистрату, ни к кому-либо ещё и таким образом получал больше, чем просил. Часто он подбирался незаметными окольными путями поближе к людям и мог их разжалобить исключительно своим жалким видом, который действовал на всех без лишних слов.

Однажды, когда он спал, прикрывая ладонью красноватое пятно на лбу, старик обнаружил его рядом со своим табуретом, так что был вынужден сидеть и смотреть на него, так как не хотел оставлять своё привычное место и слоняться между сырыми стенами каморки до конца дня. Но старик Калистрат не чувствовал себя настолько старым и несчастным, чтобы принять такое решение, и какое-то время рассматривал паренька, разлёгшегося под лучами солнца. Глядя на него, старик

размышлял, какие лишения перенёс Яшка и как можно было ему помочь в его бедственном положении. А когда мальчик проснулся и вытянул свои почти прозрачные длинные руки, в его ладони как будто случайно оказался кусок мамалыги, который туда положил икорщик. Откуда старику было знать, что Яшка действительно спал, когда лежал так неподвижно перед ним, а его закрытые веки даже не подёргивались, хотя яркое солнце проникало в каждую пору? Ну кто бы смог прогнать паренька, закидывая его камнями или обсыпая бранью, как собаку? Ведь у старика Калистрата тоже было сердце, которое обливалось кровью при виде несчастного Яшки, даже если его глаза оставались сухими, а в лице не было заметно сострадания, потому что сейчас на нём застыло выражение, сочетавшее в себе нежность и достоинство.

А когда после возвращения рыбаков с богатым уловом у старика прибавилось работы, то без чьего-либо содействия наступил момент, когда он больше не мог выносить угрызений совести при виде подростка, в глазах которого читался безмолвный упрёк и в судьбе которого он принимал такое малое участие. Он подозвал паренька, окликнув его по имени нежным, воркующим голосом, и подскочивший с земли Яшка сразу понял намёк и оказался отнюдь не криворуким, когда по приказу старика очень быстро и ловко почистил большой чан, который был покрыт засохшей зелёной соляной коркой. Таким образом, старик Калистрат нашел оправдание и перед людьми, чтобы взять Яшку под своё крыло и не позволить ему ещё больше опуститься на дно. Если теперь он подсовывал ему еду, парнишка знал, что заработал её честным трудом.

Дуня и Савел редко навещали старика с полудня до вечера, так как он вряд ли простил бы их, если бы они случайно застали его в состоянии бездействия, которое ему самому было не по душе, а Яшка, несмотря на мертвенно-бледный цвет его обвисших щек, всё-таки был человеческое дитя, с которым он мог поговорить и который скрашивал его одиночество. Не менее важным было то, что теперь перед ним стоял и удивлялся всему непосвященный человек, которого нужно было обучать и который пытался подражать ему, повторяя его действия. Конечно, старик Калистрат не позволял ему взвешивать свежую икру или пропускать её через сито, укладывать блестящую

чёрную массу маленькой деревянной лопаткой в подготовленные жестяные банки, и, несомненно, ему не разрешалось готовить рассол. Все эти задания были привилегией старика и чрезмерно тешили его честолюбие. Но в конце концов он постепенно привык к постоянному присутствию Яшки. Если он был ему нужен, старику стоило только оглянуться, выискивая его глазами, как он тут же подбегал. Яшка всегда был, так сказать, под рукой и в пределах досягаемости. Старик называл его лодырем, но это никогда не вызывало его возражений. В такие моменты на его губах появлялась улыбка, на которой лежала тень непостижимой печали. Мальчик больше не причитал голосом обездоленного попрошайки, как в тот день, когда Пимен привёл его к старику Калистрату, ему нравилось показывать своему благодетелю, что он образумился.

— Яшка, помой свои грязные локти, — говорил между делом старик, и мальчик послушно выполнял приказание, пока его руки с просвечивающимися венами не становились такими же бледными, как его лицо, напряжённое от усердного внимания. Поэтому спустя неделю не было нужды убеждать старика Калистрата в том, что его помощник отныне должен спать не на улице, а на кирпичном полу каморки.

Казалось, что теперь старик был в ещё более плохом настроении, если ему не приносили икру, потому что простой в работе приводил к нежелательным перерывам в обучении Яшки. Если он сидел без дела на табурете, положив на колени свои старческие руки, сжатые в кулаки, то ему было неловко делать мальчику замечание или прикрикнуть на него. Старик прожил достаточно долго, чтобы хорошо знать, как подобает себя вести. Ведь парнишка, которого он подобрал с улицы, - это не тяговая кляча, которую дёргают за гриву ради забавы или по привычке. Чтобы не оставлять Яшку надолго без дела, он иногда просил его передать что-либо своим детям: что он придет домой на обед позже, потому что иначе вряд ли успеет закончить работу, что его рубашка промокла и ему нужно чистое белье, что лодка Сысоя протекает, и Савел должен её подлатать, что кто-то из его детей — Дуня или Аким — должен прийти к нему. Мальчик охотно доставлял в дом старика Калистрата эти послания, которые он всегда передавал Дуне. В благодарность девушка зачастую давала ему всякие ненужные мелочи: вареную голову

карпа, которую он мог долго с наслаждением грызть и обсасывать, кость с остатками мяса или обнаруженные в каком-нибудь тёмном углу, поношенные башмаки, надоевшие Савелу и выброшенные им. Яшка всегда держался от Дуни на большем расстоянии, чем того требовали правила приличия, когда разговаривал с ней, и почти всегда предусмотрительно прикрывал свой рубец на лбу. Можно было подумать, что он скрывает какую-то тайну, и если она подзывала его взмахом руки подойти поближе, чтобы принять её подарок, он поспешно приближался к ней быстрыми шагами, хватал его и сразу же отходил, даже не успев вздохнуть. А когда он потом уходил, то зачастую останавливался и какое-то время смотрел безнадёжным взглядом на Дуню. Он страстно желал её, он любил её, готов был жизнь отдать, чтобы чувствовать её в своих руках, как голову карпа. Но что-то сдерживало его, поэтому он смиренно принимал своё жалкое положение и удалялся.

Иногда он задавал старику Калистрату странные вопросы, которые касались Дуни. Он интересовался, достаточно ли хорош Фирс для такой красивой девушки, но не получил от старика ответа. Затем он спросил, как давно Дуня делает такой пробор на волосах. Старик лишь коротко ответил, какое ему до этого дело, но это отнюдь не испугало паренька. Он спокойно продолжал говорить и заметил, что её прекрасный пробор ровный, как натянутая струна. Яшка напряжённо размышлял, моргая глазами; он был немного счастлив. Затем он искренне признался, что иногда прислушивается по ночам, как вода канала тихонько бьётся о прикованные цепями лодки, и это заставляет снова и снова вспоминать о Дуне и воскрешать в памяти каждое её слово. Он сказал, улыбаясь, что это похоже на игру, и в словах, так свободно вылетавших из его горла, уже содержалось наивное и абсолютно ненужное объяснение. По старику Калистрату не было заметно, что он рассердился, он опустил закатанные рукава, но потёр грубой тканью по предплечьям, как будто хотел соскоблить кожу.

— Яшка, — сказал он, — ты должен наконец-то тщательно промыть сита. Непростительно, что ты всегда об этом забываешь.

В то время как старик Калистрат, так спокойно воспринявший неуместные слова Яшки, бормотал себе под нос, оставшись в одиночестве в своей каморке, что бесцеремонное поведение паренька — это дикая, наивная глупость, возмутительная глупость, на которую не стоит обижаться вследствие его несомненной искренности, судьба решила ещё раз, пусть даже всего на час, испытать терпение Анисьи. Такие моменты, когда человек преисполнен чувством тревоги, кажутся бесконечными, и даже сладкое ощущение облегчения и скромного счастья, в которое уже было трудно поверить, не может впоследствии возместить мучительных переживаний. Хотя с момента исчезновения Евлампии Анисья беспрестанно следила за Трофимом и не сводила с него глаз, когда он резвился во дворе, однажды утром только что проснувшийся ребёнок всё-таки умудрился ускользнуть незамеченным и отправился на поиски приключений настолько шустро, насколько это позволяли его коротенькие ножки. Женщина полагала, что Трофим ещё спит, потому что он лежал неподвижно на кровати и не издал ни звука, хотя обычно он сразу же давал о себе знать, если был голоден. Она даже не предполагала, что уже пришло время следить за ребёнком, поскольку думала, что он ещё видит сны, в которых играет и топает по городу, а за ним бежит зовущая его мать, и никоим образом не могла себе представить, что в этот момент Трофим с деловитым видом выходит со двора, чтобы полностью насладиться безграничной свободой. Поэтому от страха у неё перехватило дыхание, когда она, вернувшись с работы, зашла в комнату и обнаружила, что там никого нет. Она поискала тут и там, оббежала вокруг дома и окинула взглядом всё, что можно было увидеть со двора. Для Анисьи это было уже слишком. Она вцепилась себе в волосы, в глазах всё стало огненно-красным, а затем потемнело. Её старческие пальцы потянулись к вискам. Независимо от того, восприняли это удивленные соседи всерьез или нет, Трофим пропал, его нигде не было, он не выполз из-за забора или из-под куста, не дёргал её за юбку, чтобы наконец успокоить, глядя на неё с наивным и ничего не подозревающим видом. Подходившие к ней люди говорили с сомнением, что это вряд ли может быть правдой, ведь Пахом мёртв. Но Анисья продолжала искать, сопровождаемая

только тяжело дышащей, тучной Матрёной. Эхо от её пронзительных криков отдавалось по всему Вилково, а в голову одна за другой лезли тревожные мысли.

Однако в этот раз изнурительным мукам всё же пришёл конец ещё до того, как караульному сообщили о таинственном происшествии. Трофим уже протопал значительное расстояние вдоль канала, как вдруг поскользнулся на мокрой доске и полетел вниз головой в пепельно-серую воду. Он громко закричал и привлёк этим внимание Савела, который, слоняясь без дела всего в нескольких шагах, тут же прибежал и в два счёта вытащил ребёнка из мутной воды. С рубашечки Трофима стекала и капала заиленная вода, в то время как мальчуган, оправившись от первоначального испуга, глубоко вздохнул с облегчением, а затем зашёлся плачем. Ах, он был полностью занят своим маленьким несчастьем, пока Савел пытался выяснить у него, кто его родители, однако рыдающий карапуз не мог понять этого вопроса. Тем временем подбежала Анисья и закричала:

— Вот он, Боже мой! Не потерялся, не утонул.

На что Матрёна, стоявшая за её спиной, ответила:

— Я ведь тебе говорила, Анисья. С тех пор как Пахом, это исчадие ада, мёртв, наш городок может спать спокойно.

С этими словами она удалилась, чтобы с чувством удовлетворения отдохнуть, потому что для её невероятно покруглевшего тела эти поиски оказались слишком утомительными. А Анисья прижала ребёнка к коленям, ощупала его, а затем стянула с него рубашечку. Её руки суетливо скользили по нему, ей нужно было почувствовать и наконец убедиться в том, что с малышом всё в порядке. С какой лёгкостью звуки вылетали между её губ, когда она засмеялась! Она ликовала от ощущения неистовой, безудержной радости.

Савел стоял в стороне без дела и просто наблюдал, потому что сейчас ему даже в голову не приходило вернуться к своим никчемным, не заслуживающим упоминания делам. Такое увидишь не каждый день. Мать не переставала гладить обнаженного Трофима, как будто жирную грязь обязательно нужно было растереть по всей его спине. Наконец Анисья опомнилась и посмотрела на свои растопыренные пальцы, сплошь покрытые серой грязью. Теперь она больше не смеялась, лишь взглянула на Савела и закрыла рот, а на её устах

промелькнула улыбка. Это была улыбка Маруси. По крайней мере, так показалось Савелу, потому что он невольно наклонился к Анисье. Приятное удивление наполнило его душу радостью, и внезапно лишился своей привычной бойкости языка, засунул руки в карманы и бормотал, растерянно смотря на Анисью:

— Марусенька!

Странно, разве он её не знал? Анисья не могла понять, почему он продолжал произносить это имя очень нерешительно и всё же с истинным восхищением, и дабы прояснить ситуацию, сказала, что он обознался. При этом на её лице мелькнула радость, потому что она узнала в голосе Савела нотки Акима. Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь, а под левой грудью закололо, как будто острый и тонкий, как игла, коготь глубоко впился в её тело. Она не спросила его о брате, что в этой ситуации должно было бы в первую очередь прийти ей на ум, она просто ещё раз улыбнулась и невольно растворилась в обрамлённых густыми бровями глазах Савела, которые омрачала тень печали, поскольку он также пережил лишения. Сам того не желая, он вновь повторил имя танцовщицы. Ведь после исчезновения Маруси, которое принесло ему много страданий, он часто встречал Анисью, однако не обращал на неё никакого внимания, хотя легко догадался по поведению Акима, что брата с ней больше ничего не связывало. И теперь, когда он открыл в ней для себя утраченные черты танцовщицы, которые он так долго искал, она перестала быть покинутой возлюбленной Акима. Сейчас Савел не хотел думать о нём ни секунды. Он наклонился, чтобы поднять рубашку ребёнка, которую Анисья забыла на кладке, окунул этот клочок светло-голубой ткани в воду канала, прежде чем она успела его остановить, и выкрутил. Оставленный без внимания Трофим, которому было холодно в мокрой рубашке, снова начал ныть, и Анисья, пытаясь его утешить, потрепала его по шее и затем, нежно подталкивая сзади, повела домой, не забыв сказать несколько слов благодарности Савелу.

А Савел безнадёжно влюбился. Он вряд ли был тем мужчиной, который бы стал терпеливо ждать новой встречи с Анисьей. Он сразу же перешел к решительным действиям.

В тот же самый день, когда не успела она даже выйти со двора, он уже стоял у ворот, поздоровался, сказал Трофиму

несколько ласковых слов, которых ребёнок прежде никогда не слышал, а затем спросил Анисью с выражением лица знающего человека, не нужно ли отремонтировать ей забор, и сразу же вызвался это сделать. Он заверил её, что это, разумеется, бесплатно, это, мол, доставит ему радость. Он, дескать, разбирается в древесине, потому что ему часто доводилось чинить лодки. Анисья не стала препятствовать, так как не знала, что возразить, и как только он начал работать, ей было приятно ощущать рядом присутствие усердно стучавшего молотком мужчины.

Он работал с таким неистовым рвением, что его вряд ли можно было убедить пойти домой на обед, где его наверняка ждала вкуснейшая похлёбка из красной рыбы. Когда Анисья напомнила ему об этом, он только вытащил из кармана головку лука и принялся её грызть, держа этот белый блестящий шарик в левой руке и размахивая молотком в правой. Вскоре его ремонтная деятельность приобрела такие грандиозные масштабы, будто бы он собирался заменить каждую планку и доску, чтобы придать двору очень зажиточный вид. Трофим охотно играл рядом, ощущая приятный запах свежераспиленной еловой древесины, осторожно прикасался своими пальчиками к поблёскивавшим на солнце режущим поверхностям инструментов, и всякий раз, когда он пристально рассматривал Савела оценивающим взглядом, то думал, что это тот же Аким, но только оправившийся после болезни, которая раньше делала его таким угрюмым и несносным. Савел никогда не прогонял его, даже позволял гладить гладкую сталь топора. О такой щедрости Трофим наверняка никогда не забудет. Неужели Савел — этот тот человек, которому он тогда, давным-давно, хотел наступить пяткой в лицо, пока тот спал? Кажется, это было в задней комнате, сейчас он уже плохо помнил напряженное, полное ненависти лицо Евлампии, её слова, которыми она разжигала его неприязнь. Некоторое время у него в ушах звучал голос умершей сестры. Затем он незаметно растворился в шуме, который раздавался вокруг Савела. Евлампия больше не разговаривала с ним, он слегка повернул голову вбок и прислушался. Нет.

На следующее утро, когда Анисья уже так свыклась с полезным присутствием Савела, что даже оставила ребёнка под его присмотром, чтобы сделать некоторые покупки у мелкого

торговца на главной улице, он вновь продемонстрировал, насколько он неисправимый плут. Как только она повернулась спиной к нему и ребёнку, он вынул из-под своего безобидно лежавшего в сторонке жакета мешок и занёс его в дом. Когда он высыпал его содержимое, вся поверхность круглого стола заполнилась огурцами, баклажанами, репой, помидорами, тыквой, редисом, морковью и стручками гороха. Трофим ахнул и схватился за сердце. При виде этой кучи блестящих плодов на его лице появилось выражение смиренного изумления, а Савел сам себе аплодировал настолько громко, насколько это было возможно, смеялся и обнимал ребёнка. Сверкающие овощи пестрили белыми и красными, зелёными и синими красками, а стол выглядел празднично от всего этого изобилия.

— Ты видишь? — неустанно повторял Савел, — Видишь?

Но Трофима не нужно было просить дважды, он и так поедал своими невинными глазами всё, что только мог. Это должно было стать несравненным сюрпризом для Анисьи, святые небеса, подарком, который без сомнений затмил даже солонку из прессованного стекла, которую он когда-то преподнёс Пимену. Такого запаса продуктов наверняка хватит больше, чем на неделю, и он был для Анисьи и Трофима более ценным, чем бесполезный флакон с изображением смазливой женщины на бумажной этикетке, который он купил в Измаиле. Капля благоухающей жидкости, осторожно растёртая на ладони, была ничтожным пустяком по сравнению с щедрыми дарами садов и полей, красовавшимися на столе и заполнившими своими ароматами всю комнату. Ибо сейчас здесь стоял сильный запах воздуха перед грозой, запах летнего дождя и сырой земли.

А когда Анисья вернулась и оставалась в доме невыносимо долго, не показывая ему своё изумление, он принялся стучать молотком ещё неистовее, как будто хотел разбить доски в щепки. По правде говоря, стоял такой невыносимый шум, что можно было рехнуться. В конце концов Анисья вышла во двор и заговорила с ним, хотя, разумеется, из-за поднятого им самим адского шума он не смог разобрать ни единого слова. Он сам этого хотел, этого жаждала его неуёмная гордость, которая овладела Савелом. Анисье пришлось громко прокричать несколько слов ему на ухо, прежде чем он успокоился и, робко отвечая на её вопрос, сделал вид, как будто гора овощей на её

столе это сущий пустяк, безделица, о которой даже не стоит упоминать. Качество, которое называют щедростью, было присуще ему более чем в достаточной мере и, конечно, он даже не позволил себе ни разу взглянуть на Анисью, когда она выражала свою благодарность, которая соответствовала её кроткому нраву и едва прозвучала слишком восторженно; потупив глаза, он долго смотрел на свои руки, хотя грязь под ногтями не могла быть настолько интересной и захватывающей вещью, чтобы нельзя было отвести от неё взгляда. Савелу нравилась роль дарителя и помощника, но пока что он хотел повременить с вознаграждением, а если позже Анисья и захочет его отблагодарить, это должно случиться само по себе, без всякого умысла и по своей воле и не напоминать ответный подарок. Когда-то он прогонял в голове четырехзначные числа, будто муравьев, проводил вычисления и расчёты и, тем не менее, это не привело его ни к кому другому, кроме Гаши. Пора было распрощаться с той примитивной жизнью. Вот почему он не стал провожать Анисью в дом, так как считал, что в сложившихся обстоятельствах это позволит ему избежать мимолётного соблазна. Выложил овощи на стол, а в итоге оказался с Анисьей в кровати! Он больше не был способен на такую низость. Он перестал быть толстокожим, дорогие люди. Поэтому, как только он счёл, что работа закончена, он без лишнего шума завернул инструменты в жакет, помахал Трофиму и отправился домой.

Но не прошло и десяти часов, а фиолетовые цвета сумерек едва сменились темнотой, как Савел уже считал своё отречение от мирской жизни просто смешным и глупым. Он натянул кепку на виски, не в силах сдержать язвительную улыбку, предназначавшуюся самому себе, когда пожелал Акиму спокойной ночи и сладких снов. Уходя, он пояснил, что он — тупая овца и, к сожалению, забыл сделать днём кое-что важное. И вот он уже бежал, а обнаружив, что ворота Анисьи заперты, взобрался наверх, использовав ручку в качестве подножки, и прыгнул во двор. Его тело легко приземлилось на голые ступни. Здесь он был на своей территории. Он самоуверенно осмотрелся по сторонам с таким видом, будто стоял в центре своей усадьбы и окидывал её взором. Затем он подошел к окошку в спальне Анисьи и постучал по нему тихонько, но отнюдь не робко. Видимо, Анисья ещё не легла, потому что сразу же спросила, кто

там, однако произнесла это таким тоном, словно заранее знала ответ.

— Это я, — сказал Савел.

И Анисья без долгих размышлений тут же ответила

— Сейчас открою дверь. Будь внимателен, порог высокий, и в темноте ты можешь об него споткнуться.

Они были ещё мало знакомы, иначе она бы знала, что он никогда не спотыкался. Она осторожно открыла дверь, и он сразу же схватил её за плечи и руки.

— Я пришел к тебе, Марусенька, — пылко шептал он, меня больше ничто не могло удержать дома. Наверняка ты это почувствовала. Я пришел. Я больше не мог сопротивляться искушению. Да и чего ради?

Он искал в темноте её губы, зарылся лицом ей под мышки, в её грудь, которая пахла сеном.

— Как давно я уже тебя жду! — сказал она просто и искренне, пока в её глазах мерцал радостный огонёк. — Не с сегодняшнего дня, не со вчера. Прошло уже много дней и ночей, долгих ночей.

Она обняла Савела за шею, целовала его рубашку, лихорадочно ощупывала его, а потом пылко прижала к себе. Она ласкала его как Трофима, которого нашла на днях, медленно подталкивала его в комнату и опустилась рядом с ним на кровать.

— Нет, — шептала она ему тихонько, — ты не мог совсем забыть меня, не мог полностью стереть меня из памяти, Аким, даже если бы тебе этого очень хотелось.

— Но я — Савел, а не Аким, — возразил он в недоумении.

Тогда она замотала головой, как будто он ранил её шилом, и засмеялась виновато и смущённо. Её смех рассёк тишину. Она ахнула и попыталась прояснить ситуацию:

— Я такая глупая. Конечно, ты — Савел, но знаешь, в конечном счёте, ты и Аким — это почти одно и то же.

С этими словами она притянула его ближе к себе и, тихонько всхлипывая, обнажила своё тело. Той ночью она назвала его Акимом несметное количество раз, в то время как он в минуты между любовными утехами и сном звал её Марусенькой.

Всё не закончилось после одной ночи, потому что нечто большее, чем плотская страсть, постепенно сближало Савела и Анисью. В том числе нечто большее, чем улыбка танцовщицы,

которая иногда мелькала на губах этой женщины. Однако ещё долгое время часто бывали случаи, когда она внезапно прижималась к нему, и, опьянев от счастья, говорила:

— Ты так изменился. Тебя совсем не узнать.

В тёмных, потаённых уголках её сознания он оставался для неё Акимом, который когда-то её бросил и долгое время не слышал голоса её любви, а теперь, когда он выздоровел и, выбравшись из глухих дебрей своей смятенной души, наконец нашёл к ней дорогу, он избавился от старых привычек и причуд, словно от коварной болотной лихорадки. А если иногда, возвращаясь мыслями к Акиму то невольно, то осознанно, она совершенно забывала, что к Савелу нельзя относиться, как к странному и непонятному существу с тёмной душой, он напоминал ей, что теперь у неё другая, новая жизнь, говоря при этом:

— Не забывай, что я — Савел.

Затем на её лице появлялось невообразимо весёлое выражение, оно начинало излучать мягкий, неземной свет, и внезапно Анисья казалась на век моложе, чем выглядели её руки.

— Ты всё понимаешь слишком буквально, — отвечала она игриво с притворным упрёком, положив руку ему на шею. — Но поскольку ты — тот, кого я люблю так, как никогда не любила твоего угрюмого двойника, с этого момента я больше тебя с ним не перепутаю. Я пришла к тебе от него, но кто же будет настолько глуп, чтобы когда-нибудь вернуться?

Анисья серьёзно относилась ко всему сказанному, потому что она ни на шаг не отклонялась от своих принципов и была рада, что благодаря щедрости Савела она может забыть о лишениях и выбраться из нищеты. Ей не нужно было напоминать ему намёком или шуткой, что нужно позаботиться о продуктах для ужина, он сам приносил их. Он также купил Анисье удивительно красивый чепец, который был словно сплетён из паутины, и из-за своей лёгкости и воздушности едва держался на волосах. Когда она носила это тонкое кружевное гнездо на голове, она шла очень медленно, иначе всю эту красоту унесло бы ветром. А Савел, сопровождавший её, тоже шёл маленькими шагами, потому что заботился о сохранности своего подарка. Подобное богатство тоже создаёт хлопоты. Некоторым вещам Савел уделял особое внимание, однако он больше не отпускал неприличных

шуток и не засматривался на других женщин городка. Они всё равно не могли похвастаться улыбкой Марусеньки; для него они оставались убогими, но, тем не менее, он желал им добра. Он больше не злоупотреблял своим давно присущим ему умением очаровывать женщин, потому что отныне он принадлежал только Анисье. Что страшного в том, если он иногда флиртовал, любезничал или давал пустые обещания? Это соответствовало характеру Савела и было ему к лицу, а Анисья закрывала на это глаза. Каждый вечер он приходил к ней, и, ощущая его дыхание, она молодела. А он, охваченный страстью, горел юношеским пылом.

Завидев Савела издалека, аптекарь Наум обходил его стороной, поскольку не хотел, чтобы его видели вместе со вторым зачинщиком осады дома Пимена. Нет уж, Наум не позволит испортить себе репутацию! Врачеватель сделал всё возможное, чтобы снова заработать себе уважение среди людей. Он сожалел о своём участии в сомнительной кампании против Гаши и Флори, как о грехе молодости, он честно пытался добиться расположения рыбацкого народа, и теперь каждый, кто покупал что-нибудь в аптеке, получал в подарок небольшой сувенир — капли от кашля, пластырь, крохотный флакончик с ароматной водой длиной не больше маленького пальца ноги, зато прозрачный и блестящий, как драгоценный камень. Поэтому неудивительно, что вскоре его благородное дело снова начало процветать, а женщины отныне придумывали себе всевозможные болезни, чтобы только опять посетить Наума, этого чуткого и понимающего консультанта. Даже Матрёна обратилась к нему за советом. Она утверждала, что у ребенка в её утробе слишком острые ногти, которыми он её время от времени царапает и доставляет жуткую боль. Наум действовал предусмотрительно и протянул ей успокоительную настойку. Ведь валерьяна никогда никому не вредила. И когда в конце концов даже Анисья начала страдать от какого-то сомнительного недуга и попросила у Савела несколько леев на визит к аптекарю, он так накричал на неё, что даже Трофим, который игрался в луже рядом с ними, испугался и вспомнил об Акиме. Болезнь тут же прошла без помощи каких-либо лечебных средств, а Анисья снова была очень счастлива всякий раз, когда думала о Савеле, о его терпеливом отношении к её любви и о чудесном чепце.

Даже воспоминания Трофима об угрюмом и ворчливом человеке из прошлого, когда Евлампия ещё была рядом, похоже, стёрлись из его памяти, оставив после себя лишь слабый отголосок, потому что он хватал Савела за рукава каждый раз, когда тот находился поблизости, изо всех сил цеплялся в них своими крошечными кулачками и не отпускал, пока Савел не соглашался с ним поиграть. И тогда малыш ехал верхом по двору на плечах Савела. А тот бешено мчался, неожиданно подпрыгивал вверх и приземлялся на широко расставленные ноги, ржал, как лошадь и притворялся, что жадно объедает листья с деревьев. В такие минуты Трофим был на седьмом небе от счастья, а его постоянно звучавший смех был похож на катившиеся стеклянные шарики; затем он начинал икать и на мгновение на его гладком, как яблоко, личике появлялось озадаченное выражение, но уже через секунду ликование продолжалось. Неужели это лето никогда не закончится? Пока что в ночном воздухе ещё ощущались мягкие, словно пушинки, дуновения тёплого ветерка.

Об этом было что рассказать и Яшке, потому что с того момента, как Дуня в первый раз повергла его в изумление, он, проснувшись после короткого сна, больше не мог выносить темноту в каморке старика Калистрата и слонялся по городу. Однажды он проходил мимо Хараламбие, который добросовестно нёс караул на перекрестке, прислушиваясь к тишине. Полностью погруженный в размышления, мальчик, казалось, не обращал внимания на присутствие караульного. Зато Хараламбие с радостью остановил бы его, задал ему несколько вопросов, потому что время тянулось медленно, а караульному тоже хотелось для разнообразия размять во рту свой язык. Ведь он не требовал вести с ним задушевную беседу, не так ли? Но Яшка продолжал брести во тьме и оставался один,

пока его обуревали дерзкие мысли и фантазии. Когда он возвращался на склады окольными путями, не задумываясь над тем, как долго он шёл, звёзды уже начали тускнеть на побледневшем небе. Затем его тощее юношеское тело опустилось на тростниковую подстилку, расстеленную возле стола старика Калистрата, и когда утренний свет стал мощным потоком пробиваться сквозь маленькое окошко, Яшка всё ещё видел сны, в которых исполнялись его желания.

Видимо, эти желания вряд ли вселяли в него надежду на то, что они когда-либо сбудутся, потому что в противном случае старик, который однажды днём тщетно звал его, когда ему понадобилась помощь Яшки, не обнаружил бы его за ближайшей коптильней, где он, понурив голову и закрыв лицо руками, так горько плакал, что всё его тело сотрясалось от рыданий. Видимо, тяжкое горе заставляло его грудь вздыматься вверх и вниз, и старик Калистрат, который сразу заметил это, не смог удержаться и поспешил к нему, потому что ещё никогда прежде не был так глубоко растроган. Его охватило беспокойство, но не из-за этого происшествия, каким бы странным это ему не казалось, скорее это было беспокойство о жизни Яшки, судьбе Яшки; это чувство не было похоже на страх или тревогу, вызванные несчастным случаем. Он знал, что не было смысла спрашивать о чём-то безутешного паренька, потому что никакой ответ не смог бы раскрыть ему причину этих страданий. Ибо подросток, который сейчас сидел съёжившись перед ним, совершенно отличался от того плаксивого Яшки, которого однажды привёл к нему Пимен. Тогда по щекам мальчика тоже текли слёзы, но те жалкие капли не могли сравниться с горькими слезами, которые он проливал сейчас. Только никаких расспросов, чтобы не сделать ещё хуже! Не было сомнений в том, что Яшка пережил что-то серьёзное и ужасное, поэтому старик Калистрат подошел к нему, неуклюже сложив руки в умоляющем жесте, и неожиданно понял, насколько жалкими и беспомощными могут быть слова, которые иногда хочется произнести. Он положил свои старческие ладони на худенькие, содрогавшиеся от рыданий плечи, и лишь после некоторых колебаний произнёс:

— Яшка, мой мальчик, мой дорогой мальчик. Не плачь так, Яшка, всё наладится.

Но поскольку паренёк никак не отреагировал на эти утешительные слова или, возможно, попросту не расслышал их в приступе горя, старик наклонился к нему, встал на колени и обнял его. А Яшка, потрясённый таким нежным и участливым отношением, которое не требовало объяснений, повернулся и прижался своей содрогавшейся от плача грудью к груди старика Калистрата, сжавшись в комок в своем невыразимом горе и все же немного успокоившись, как будто он наконец обрёл спасение. Старик больше ничего не сказал и только ощущал тело мальчика, прижимавшееся к нему. На некоторое время он застыл в этой позе и не шевелился, прекрасно понимая, что он был для Яшки олицетворением тишины. Сейчас не было нужды в словах, чтобы быть понятым, и даже сказанный тихим шёпотом намёк был бы излишним. Лишь дуновение ветра напоминало старику Калистрату о внешнем мире, окружавшем его и мальчика. Он пристально посмотрел на неровные нити на рубахе Яшки и подумал: «Тебе нелегко пришлось, и даже если тебе улыбнулось крошечное счастье, ты тут же чувствуешь, что оно хрупкое и может разрушиться, оставив тебя ни с чем.» Он прижал Яшку ещё сильнее к себе, затем ослабил руки и убрал их от него, чтобы вернуться к работе, поскольку несколько лодок, которые могли привезти улов, приближались к берегу, разрезая водную гладь реки, раскинувшейся широкой лентой. Яшка последовал за стариком в деревянную каморку и подавал ему инструменты, за которыми ему пришлось бы нагибаться самому. Сейчас на его лице не было заметно никаких изменений, оно было спокойным и сдержанным.

Вскоре после этого старик Калистрат однажды утром обнаружил запертой дверь своего рабочего помещения, чего прежде никогда не случалось, потому что Яшка всегда приветствовал его перед открытой каморкой. Он замедлил шаг, так как это было впервые за долгое время, что показалось ему необычным и странным. Он тихонько открыл защёлку двери и, осторожно двигаясь на цыпочках по кирпичному полу, вошёл в низкую комнату, где спал мальчик, над которым подобно серой ткани нависла наклонная тень от стоявшего перед окном стола. Видимо, Яшка опять бродил где-то ночью и теперь спал без задних ног. Он не мог знать о рассматривавших его глазах старика и продолжать спать как ни в чём не бывало, покоясь в

надёжных объятиях Морфея. А старик Калистрат вспомнил о его недавних рыданиях и не хотел его будить. Однако ему показалось, что нависшая над Яшкой тень как-то странно обезображивала его тело, поэтому он подошёл поближе и наклонился над мальчиком, рубашка которого была расстёгнута на шее и частично обнажала его грудь. Старик не на шутку испугался и пристально водил глазами взад и вперёд по телу Яшки, открыв рот от ужаса. Ибо он увидел, что на груди мальчика зияла глубоко въевшаяся язва размером с ладонь, что вся грудь была покрыта красными и синеватыми пятнами и гниющая плоть в этих местах свисала клочьями, а кожа между ними казалась даже бледнее, чем лицо Яшки, что над этим пока ещё живым телом, от которого исходил запах гниения, уже нависла смерть. За свою жизнь старик повидал многое, в том числе и такое. Он не ошибался, это была проказа. В этом не было никаких сомнений. Проказа. В этот момент старик, закрывший лицо руками, был словно тонкая оболочка вокруг растущего внутри него ужаса. Неужели растянувшийся на полу паренёк был действительно Яшка, мальчик, с которым он разговаривал вчера и которого он недавно обнимал как родного? Старик Калистрат потёр кулаками глаза, отпрянул назад и направился к двери. Его руки и ноги дрожали, и, сам того не желая, он издал бессмысленный звук. Он задел левой рукой лёгкую глиняную миску, которая стояла на краю стола, она упала на пол и разбилась вдребезги. Этот шум показался старику самым громким, самым ужасным, который он когда-либо слышал. Он закрыл уши, потому что в них всё звенело, в то время как Яшка проснулся, приподнял голову, уставился на старика Калистрата, схватил две части рубашки и прикрыл своё покрытое ранами тело. Слишком поздно. Калистрата потупил взгляд, возможно, он хотел что-то сказать или, по крайней мере, пробормотать, но не смог этого сделать, нет, он сдался, будто злоумышленник, который попался на горячем. Что-то сломалось внутри него, разбилось на мелкие осколки, как глиняная миска. Мальчик поднялся, его худая и угловатая фигура возвышалась у задней стены каморки, он протянул руки. Этот жест был похож на предупреждение и одновременно признание его вины. Затем он что-то промямлил, а потом закричал:

— Старик Калистрат, старик Калистрат!

Эти слова, слетевшие с его невольно дрожавших губ, прозвучали как мольба о прощении. Он сделал шаг вперед, затем ещё один. Тут старик вскрикнул и повернулся. Он бросился прочь, побежал к мосту, который вёл через большой канал, и доски громыхали под его ногами. И вот он уже был на другом берегу. Изумлённые рыбаки смотрели ему вслед, обменивались знаками, выражавшими сомнение и недоумение. Старик Калистрат задрожал как ужаленный, когда к нему слишком близко подошёл какой-то ребёнок. Затем он наконец нашёл себе укрытие в зарослях колючих кустарников и долго сидел там, погрузившись в размышления.

Вероятно, был уже полдень, когда он, еле волоча ноги, вернулся на рабочее место. Дверь будки подпирал табурет, а прокажённого нигде не было видно. Старик Калистрат поднял руку ко лбу и окинул взглядом окрестности, которые заливало солнечным светом; вокруг не было ни души, всё казалось неподвижным и безжизненным. Ему стало жутко от пронзительно яркого света, сейчас он ощущал это более остро, чем когда-либо. Какая польза от табурета, на котором он терпеливо сидел? Поэтому старик собрался и отправился на поиски Яшки. Неужели он, трус, накричал слишком на него жестоко и грубо? Но ведь тот был прокажённым. Его отвращение можно было понять. Ведь не каждый день встречаешь разгуливающую по улице смерть, словно какого-то бродягу. Где же он может прятаться, бедняжка? Наверняка он сейчас голодает, слоняясь в одиночестве под равнодушно палящим солнцем? Он не нашел Яшку ни на кладках городка, ни возле ручья или ответвлений канала. Ну разве могли принести результат поиски одного единственного человека? Бессарабия была достаточно большой, и он мог сбежать куда угодно, да и за пределами этих окрестностей было достаточно мест, куда можно было отправиться. Через забор он спросил у своей дочери, не видела ли она мальчика. Но Дуня ответила, что Яшка только промчался по кладке вдоль канала, как сумасшедший прокричал её имя в воздух, а когда она вышла на порог, уставился на неё безумным взглядом и сразу же бросился бежать. Сквозь зубы старик сказал, что Яшка исчез, а затем добавил, что придёт домой на обед позже обычного, поскольку у него ещё уйма недоделанной работы, которую нельзя отложить на потом, так

как его ожидают нездешние торговцы. Дуня не удивилась такому ответу и пошла накрывать на стол.

Но через час старик передал через семилетнюю дочурку Агапа, что сегодня ему придётся отказаться от обеда, иначе он не успеет заполнить банки икрой. Он, дескать, нашёл, чем утолить голод, и с удовольствием перекусил. Это едва ли выглядело странно, поэтому Дуня никак не могла догадаться, что случилось с отцом и почему он так боязливо избегал её и братьев. Необычную перемену в его поведении она заметила только тогда, когда он стал возвращаться домой намного позже обычного и всегда как можно незаметнее пятился назад, если она подходила к нему чуть ближе. Однако это не ускользало от её внимания. Казалось, он был рад, услышав, что они уже поели, а об исчезновение Яшки он упоминал как о происшествии, о котором он хотел скорее забыть. Однажды он пошёл в заднюю комнату, взял оттуда подушку и одеяло и отнёс их под дерево, где, как он объяснил, он собирался провести ночь. Ему, дескать очень душно в стенах дома, а сейчас, когда лето подходит к концу, на улице так прохладно и освежающе. Дуня полагала, что она, возможно, неправильно поняла слова отца относительно Яшки, поэтому переспросила его, неужели парнишка мог действительно слинять, не сказав ни слова благодарности. Ведь здесь, в Вилково, ему жилось не так уж и плохо.

— Ах, — пробормотал старик из-под кудряшек бороды, — Яшка — это ребёнок, который привык жить повсюду. В нём есть все задатки, чтобы стать босяком и побирушкой.

Старик пытался сказать это с раздражением и пренебрежением, но голос выдавал его, поскольку сказанные слова прозвучали слишком мягко, как будто он отзывался о Яшке с нежностью и похвалой.

— Бездельник и голодранец, — ругался он, чтобы убедить самого себя, — а может даже отпрыск воровской шайки! Вообще-то нужно радоваться, что мы от него избавились и теперь можно спать спокойно.

— А я думала, что ты к нему немного привязался, — сказала простодушно Дуня.

— Я? — воскликнул он громко и возмущённо, при этом снова начал дрожать и пошёл ещё глубже в сад. — Я? — чуть ли не орал он, и к его щекам резко прилила кровь. — Это клевета,

несправедливая клевета! Я знал его не намного лучше тебя.

Девушка была поражена такой беспочвенной взволнованностью старика и приписала это утомительной работе в течение прошедшего дня.

— Ты устал, отец, — успокоила она его, — сегодня ты слишком переработал.

Однако от её стараний было мало толку, потому что старик сердито отвернулся и растянулся под деревом, не проронив больше ни слова. Он казался ужасно рассерженным; теперь понятно, в кого таким уродился Аким.

Дуня чувствовала себя легкомысленной и виноватой из-за того, что отец продолжал разговаривать с ней не так, как прежде, а только обменивался с ней парой слов, когда она прямо задавала ему вопрос. Казалось, что его раздражительность превратилась в какую-то странную робость. Теперь ответы старика звучали отнюдь не так, будто он разгневан или смущён, но он больше никогда не приходил домой вовремя на обед или ужин и почти всегда старался не находиться рядом с другим человеком. Люди не замечали этого. Да и кто будет задумываться о таком? Только Дуня чувствовала, как тень доселе незнакомого чувства одиночества переходит от старика и ложится на неё, и ещё сильнее прижималась к Фирсу. А Мара, когда однажды речь зашла о старике Калистрате, загадочно прошептала:

— Не нужно больше о нём говорить, он уже далеко, его больше нет среди нас. Пока что он живёт там и уже ведёт Яшку за руку.

Фирс повторял в уме эти слова, потому что хотел бы наконец понять их смысл, но разгадка ускользала от него, хотя он готов был потратить на размышления целый час.

В дыхании позднего лета ощущалась странная нерешительность, которая давала понять, что оно начинает клониться к концу. Дни пока ещё находились во власти тепла, и только с наступления темноты и до рассвета уже ощутимо веяло холодом. Это чувствовали и дрожащие от холода плечи старика Калистрата, потому что он всё ещё проводил ночи под деревом, которое выбрал себе в качестве места для ночлега после исчезновения Яшки. Когда на него порой падали несколько капель из заблудившейся в небе тучки, он делал вид, будто не замечает этого, и если случайно проснувшаяся Дуня просила его

тогда зайти в дом, чтобы высушить мокрую одежду, он лишь отмахивался от неё медленным жестом руки, ничего не отвечая и не считая нужным сказать хотя бы слово в оправдание, почему он не хочет выполнить просьбу дочери. Это отсутствие желания и интереса ко всему, что делал старик Калистрат, постоянно занимало мысли Дуни. Неужели старость так меняет людей, что с ними больше невозможно найти взаимопонимания? Эта странная манера не отвечать на вопросы, не реагировать ни на какие уговоры и просьбы с каждым днём овладевала стариком всё больше и больше. Неужто Дуне следовало потребовать разъяснений относительно поведения старика от Акима, от того, кто уже часто демонстрировал свою враждебность? А Савел теперь редко бывал дома, потому что был полностью поглощён заботами Анисьи. Он постоянно думал и о Трофиме, которого теперь видел играющим не только наяву, но и в своих мыслях.

Однако старик Калистрат выглядел уставшим, ослабленным от несения невидимого бремени. Кто мог догадываться о том, как часто он, когда сон покидал его ночью, смотрел сквозь ветви дерева на падающие звезды, исчезавшие в бесконечном небесном пространстве? Ему казалось, что внутри него тоже угасал огонь. Он прислушивался к себе, он замыкался в себе, чтобы было легче услышать голоса. Они затихали подобно эху, а затем снова начинали звучать. Он гнал от себя мрачные мысли, никого не проклинал и больше никого не обвинял. Он немного скучал по Яшке. Теперь в нём росло подозрение, что его кровь заражена. Он отчётливо ощущал, как она иногда слабо течёт по его венам, тёплая и, быть может, редкая, как никогда прежде. Неужели его лихорадит? С чего вдруг у него такое ощущение, что у него горят ладони и область подмышек? Старик Калистрат, сохраняй спокойствие, тебе не подобает становиться жалкой жертвой ужаса. Но как же долго всё длилось, каждое мгновение или, как говорят люди, каждый вздох. Как тяжело было ждать и находиться в неведении! Болезнь, которая имела летальный исход, уже прокралась в его тело, он догадывался об этом и больше не боялся, теперь он это точно знал. Проклятая хворь уже поселилась внутри него, но она не спешила и пока что лишь медленно и лениво пускала корни в его плоть. Еще пройдёт время до того, пока она постепенно даст о себе знать и появится на свет, как любое растение на земле, цветок или трутовый гриб.

Нужно было терпеливо ждать и покорно принять этот удар судьбы. Проказа не убивает мгновенно, но однажды она справится со всем телом, будь то ребёнок или дряхлый старик. Только не спешить, Калистрат, только не роптать.

Его тайна была велика, как мир, как пространство без границ, как бескрайнее небо. И в её центре находился Яшка. Во снах Калистрата он говорил о ситах, лотках и чанах, он давал старику понять, что скоро станет зрелым и достаточно опытным, чтобы занять его место в качестве икорщика. Ведь не зря он проявил себя таким способным и смышлёным. Старик Калистрат качал головой, ему бы хотелось избавить его от этих иллюзий. Ведь Яшки здесь не было, он был далеко, на какой-то просёлочной дороге в Бессарабии или в татарской деревне Добруджи, или шёл по тропинке, которая вела в никуда, уныло наблюдая за проплывающими над его головой облаками. Старик расстегнул рубашку на шее, провёл пальцами по всё ещё здоровой груди. По крайней мере, такой она казалась снаружи. Никаких пятен пока не было видно на покрытой волосами гладкой коже. Только слегка опухшие соски однажды напугали его и заставили очнуться от своих растерянных мыслей. Он их пощупал, потому что на какое-то время забыл об их существовании. Теперь, разумеется, он о них вспомнил. Он почувствовал зернистый, похожий на песок налёт на своем языке, а затем ужасную сухость во рту. Он начал жадно пить, ему пришлось вылить в себя целый кувшин воды. Он постоянно задавался вопросом, что будут делать его дети, если он их покинет. Наверняка всё изменится к лучшему и наладится, если он, прокажённый, больше не будет подвергать опасности каждый их шаг. Он больше не мог выносить чувство вины перед ними за то, что представлял для них угрозу, хотя обычно он видел их только издалека. Он уже давно был готов уйти, и хотя он не очень испугался, обнаружив на бледной коже своего тела какие-то красноватые наросты, которые были похожи на лишайник, это подтолкнуло его скорее претворить в жизнь своё решение.

Поэтому он отправился к церковному певчему Аверьяну, который был обучен грамоте, положил к его ногам щуку приличных размеров, а затем спокойным голосом попросил его написать на клочке бумаги, который он принёс с собой, то, что он ему скажет, но впоследствии никому об этом не рассказывать.

Аверьян настаивал, чтобы он не вёл себя сегодня как посторонний, и предлагал подойти поближе, потому что хотел бы показать ему, каким чудом является искусство письма, которым он так мастерски овладел, но старик всё равно держался поодаль, не обращая внимания на приветливые слова Аверьяна, и наконец настоятельно потребовал:

— Оставь пустые разговоры и пиши: «Я покидаю вас и буду отсутствовать долгое время, возможно, несколько месяцев, а может даже год или два. До тех пор не беспокойтесь и не ищите меня. Калистрат Сверёв.»

Церковный певчий аккуратно написал буквы на бумагу. Он высунул свой толстый язык между почерневших зубов с зияющими во многих местах дырами и с удивлением сказал:

— Поскольку это говоришь ты, старик Калистрат, я вынужден в это поверить. Иначе я бы ни за что не поверил, если бы кто-то сообщил мне такое о тебе.

Он с сомнением посмотрел в глаза старика и нерешительно спросил:

— Но зачем ты это делаешь?

— Зачем? — повторил старик Калистрат, и слова застряли у него в горле.

Затем он добавил:

— Я пришёл к тебе, Аверьян, не для того, чтобы ты меня расспрашивал. Просто держи язык за зубами, больше я от тебя ничего не требую. А щуку я принёс тебе в благодарность за твои старания. Я не собирался просить у тебя что-либо даром. Храни молчание до завтра. Ты будешь молчать?

— Конечно, если ты так хочешь, — ответил церковный певчий и тут же пожалел о своём обещании, потому что этот случай невероятно разжёг его любопытство.

Тут старик Калистрат заметил, что глаза Аверьяна странно забегали, и приложил указательный палец к губам. Левой рукой он схватился за самый край записки, которую протянул ему учёный помощник. Затем он тихо поблагодарил его, повернулся и поспешил к воротам. Цепная собака церковного певчего долгое время лаяла; сейчас она сидела неподвижно, уставившись своими зелёными глазами на спину старика.

И когда следующим утром над деревом, которое защищало сон старика Калистрата, занялся рассвет, он проснулся. Он не

знал, приснилось ли ему это или по небу действительно проплыла невероятно бледная луна. Он поднялся, поправил рубашку на груди и аккуратно застегнул её на шее. Его взгляд упал на молодое айвовое деревце, которое он посадил сам. Он стоял прямо рядом с ним и с нежностью проводил рукой по тонкой коре. Перед ним предстал весь маленький сад, такой знакомый и обильно покрытый росой, и, любуясь им, старик, уже собиравшийся отправиться в путь, на мгновение задержался. Как же знакомо ему было приятное ощущение, когда серебристая роса ласкает пальцы своей прохладой, и это стало небольшим отрадным утешением между гнетущими мыслями о расставании. Он заметил, что созрели дыни, которые красовались своими пышными формами, выглядывая из листьев. Затем он неслышно и осторожно прошёл через двор. Пустой двор неподвижно застыл в бледном свете утренней зари и словно прощался с ним. Над забором висела сеть, из топочного отверстия летней печи ветер выдувал и уносил белый пепел, окна его дома были закрыты, а их стёкла светились матовым блеском.

Старик Калистрат открыл входную дверь так тихо, как ему не удавалось ни разу в жизни, и прокрался через переднюю в комнату, где развернул записку, написанную Аверьяном, и положил её на печь. Аким и Дуня ещё спали. Во сне сын поднял руку и опустил её, послышался глухой звук, который испугал старика. Не подходя ближе, он встал на цыпочки и наклонил голову в ту сторону, где лежал Аким, словно хотел прочитать ещё что-то на его лице. Он потянулся дрожащими пальцами к вискам, в которых бешено барабанил пульс, и подошел к Дуне. Спокойное лицо девушки излучало несказанно ясный свет, её прекрасный образ был полон милого очарования и сдержанности, и даже внутреннее напряжение не нарушало её равномерного дыхания. Для старика Дуня оставалась ребёнком, и пока его руки неслышно скользили по воздуху, он ещё больше уверился в этом, очарованный до глубины души её неотразимой красотой. Нет, он не плакал, он просто хотел в последний раз запечатлеть в памяти её лицо, чтобы взять с собой это воспоминание, словно кусочек хлеба, в долгую дорогу. Он бесшумно закрыл за собой дверь, и хотя она свободно висела на петлях, сегодня она показалась ему громоздкой и тяжеленной, словно была вылита из бронзы.

Он перекрестился, бросился прочь, обвил руками своё сопротивляющееся тело, зажмурил глаза, чтобы больше не видеть ворота и деревья, развевавшиеся на ветру вокруг его дома, это огромное изобилие сочной листвы. Только бы ноги не подкосились! Это помешало бы дальнейшему продвижению. Он будто подталкивал себя, чтобы заставить ноги идти вперёд; они подчинялись и шагали дальше, а босые ступни, тяжело ступавшие по доскам кладок, не чувствовали боли. Если бы он обернулся сейчас, он больше не смог бы увидеть свой двор. Никогда прежде городок, мелькавший перед глазами старика Калистрата, устремлявшего свой взгляд всё дальше и дальше, не казался ему столь прелестным и притягательным. Белые и красные поверхности игрушечных зданий будто протискивались к нему, махали, кричали. Неужели он слышал голос, который доносился из открытого окна, очень звонкий голос? Он отмахнулся рукой. Звук пролетел мимо, как тяжёлый камень, значит, он всё ещё слышал. Он уже на это не надеялся. Но чудеса случаются. Он услышал голоса людей. Старик заметил флаг, висевший на фасаде трактира Ивана и время от времени развевавшийся на ветру. Не ускользнул от его взгляда и исполнительный Хараламбие, который добросовестно нёс караул на перекрёстке и помахал рукой робко посторонившемуся старику, но тот сделал вид, что не заметил этого. Только не делать передышку, только не останавливаться. Рыбацкий городок раскинулся на намывных землях дельты широко, но не настолько, как бы этого сейчас возможно хотелось ослабевшему старику Калистрату. Он оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не преследует, а затем пошёл по узким тропинкам вглубь равнины, мимо тополей, колючих кустарников и сорняков. Никто больше не сможет вернуть его обратно в Вилково.

Теперь он остался наедине с этим невероятно солнечным днём, заблудший скиталец на бескрайних просторах. Проказа в его груди больше не причиняла боли, и когда он спросил себя, какие чувства он испытывал к Яшке, то пришёл к выводу, что не таил на на мальчика зла из-за того, что тот стал причиной этого несчастья и обрёк его на одиночество. Нет, ни в коем случае. Яшка всё равно остался для него близким человеком, и он не испытывал к нему отвращения. Ведь он вынужден был расстаться со своими близкими не только потому, чтобы уберечь их от

гибели, отныне он видел своё предназначение в том, что должен отыскать Яшку. Он обязательно встретится с ним, пусть не сегодня и не завтра, но в один прекрасный день, прежде чем наступят зимние холода, он наконец найдёт его, это затерявшееся в неизвестном мире дитя. Вдруг до него снова донёсся голос, он смущённо и радостно улыбнулся, обернулся в надежде увидеть Яшку. Но затем он понял, что это был крик могучей птицы, которая взмыла в небесную высь.

Вероятно, прошло уже несколько часов, когда он обнаружил след на тропе, по которой обычно никто не ходил. Он не стал его долго рассматривать и проверять, для него это был след Яшки, который отныне будет служить ему ориентиром. Возможно, мальчик торопливо шёл по этой потрескавшейся земле, по сухой траве, на которую лишь частично падала тень нескольких дубов, не надеясь встретить спутника, обречённый на одиночество и зависящий от превратностей жестокой судьбы. Теперь у старика Калистрата наконец появилось время, чтобы переосмыслить и заново прочувствовать своё сострадание к беглецу, которое сейчас стало безграничным и истинным, как его смирение. Он больше не думал о себе, он думал лишь о том, что возьмёт в свою ладонь руку Яшки, которая, возможно, уже превратилась в култышку, изъеденную язвами проказы, будет держать её и нежно сжимать. Он — человек бывалый и сможет обойтись без подушки, а ребёнок положит голову ему на колени и заснёт в этой позе. Старик Калистрат кивнул, и в его старческих, тусклых глазах вспыхнул неземной свет. Солнце щедро дарило свой свет и ему, стоявшему там, дрожавшему от озноба и пожимавшему плечами, как будто больше не осталось никаких вопросов. Потому что он уже дал свой ответ, который не требовал слов или жестов. Простиравшаяся вокруг него бескрайняя равнина уходила вдаль и сливалась с небосклоном. Он продолжил путь, путь Яшки. А голые камни неподвижно застыли в лучах пронзительно яркого света.

Новость о таинственном исчезновении старика Калистрата распространились в рыбацком городке настолько быстро, что уже рассматривался вопрос о назначении нового икорщика. Аким проснулся совершенно разбитый, поскольку проспал совсем недолго, и чтобы стряхнуть с себя остатки сна и немного размять ноги, поковылял к окну и печи. Он рассеянно взглянул на лежавшую там записку, не задумываясь и не догадываясь о цели и содержании исписанного листка бумаги. Затем Дуня пошла в сад, чтобы отнести отцу суп на завтрак. Однако под деревом она обнаружила лишь одеяло. Она искала его у соседей и на складах, однако в ответ на её расспросы все только пожимали плечами в недоумении и выражали удивление. Нет, его никто не видел. Разве он не работал как обычно в своей каморке, внимательно склонившись над ситами? Вероятно, все очень удивились словам Хараламбие, который утверждал, будто старик Калистрат прошёл рано на рассвете мимо его поста и, не поздоровавшись, поспешно отправился в направлении равнины, простирающейся к северу от Вилково, но впоследствии больше не появился. Таким образом, наш Хараламбие всё-таки был способен замечать хотя бы такие мелочи, с чем трудно было поспорить. Судя по всему, узнавший о случившемся и прибежавший от Анисьи Савел и Дуня теперь наконец частично догадались о содержании обнаруженной записки, потому что, не долго думая, побежали прямиком к церковному певчему Аверьяну, который без труда прочитал им собственноручно написанные на клочке бумаги слова, а затем по их настоятельной просьбе повторил всё ещё четыре раза громким и чуть ли не пророческим голосом, тем не менее, так и не признавшись, что именно он был тем, кто написал все эти круглые и таинственные буквы. Он клятвенно заверял их, что даже ничего не подозревал об этом, кроме того, в этом мире наверняка много обученных грамоте странников, и, возможно, один из них случайно оказался в Вилково и исполнил желание старика Калистрата. Аверьян говорил с ужасно расстроенными братом и сестрой так, будто к ним обращается сам Господь Бог, но от этого было мало толку. В замешательстве и недоумении они не воспринимали того, что он пытался до них донести. Лицо Акима стало мертвенно-бледным, когда он услышал новость и промямлил пару слов о том, что отец

возможно вернётся. Фирс не знал, что ответить и чем помочь, а Мара укоризненно твердила:

— Сейчас самое время наконец-то поверить Маре. Хараламбие и Фирс уже несколько дней знают об этом от меня. С чего это вы решили, что моими словами можно пренебрегать? Вам следовало бы доверять Маре. Мара знала об этом, слышите, хотя старик Калистрат ей ничего не говорил. Маре это не нужно. Он был с Яшкой, он и теперь с Яшкой. Они унесли с собой смерть подальше отсюда, далеко-далеко. Это Мара вам говорит. Вы их больше не найдёте.

В этот раз словам Мары они придали большее значение, чем обычно.

Дуня, которая, поджав губы, внимательно слушала эти пророческие слова ясновидящей, сопровождавшиеся сдавленными, мучительными криками, восприняла это как неоспоримую данность, которую ни один человек не мог как-либо изменить. Пожалуй, она с самого начала не сомневалась в том, что своим обещанием вернуться через несколько лет отец просто хотел их утешить, облекая неизбежное в форму посильного бремени. Впоследствии она будет воспринимать это по-другому. Должно быть, братья были такого же мнения; на их лицах читалась подавленность и уныние, когда они, держа при себе свои мрачные мысли, сидели без дела на глиняном полу комнат: Аким перед Дуней, Савел сбоку от Анисьи, которая ласково его утешала. Фирс и Дуня были слишком привязаны друг к другу, поэтому исчезновение старика Калистрата вряд ли могло их разлучить. Днём Фирс не отходил от Дуни ни на шаг, потому что постоянно тревожился за неё из-за постигшего её горя, а вечером, как и всегда, оставался на ужин. Уходя, он говорил пару слов, которые были его обычным прощанием. Но в какой-то момент эхо от его шагов затихало, и там, где под затянутым облаками небом темнота сгущалась больше всего, его охватывала неуверенность, и не в силах сопротивляться ей, он замедлял свой шаг. Ноги как будто его не слушались, и попытка добраться до своей постели в доме Мары в итоге заканчивалась полным провалом. И тогда, словно по чьему-то настоятельному приказу, он останавливался и плакал, чтобы дать выход накопившемуся в душе горю, которое он молча носил в себе.

Первое дыхание осени было подобно качанию в золотой

колыбели. По утрам старые церковные колокольни сверкали от обильно покрывавшей их росы, и даже в самые тёплые часы Хараламбие больше не покидал свой пост, чтобы остыть в тени соседних деревьев. С плодов айвы, выставивших свои жёлтые округлые бока из-под густой листвы, практически исчез пушистый налёт, до недюжинных размеров выросли тыквы, превратившись в бесформенные головки, усыпанные выпуклыми бугорками, а чересчур натянутая кожура помидоров чуть ли не лопалась, слишком тонкая, чтобы выдержать натиск их созревшей сочной мякоти. Сейчас вода лениво текла в русле реки; она едва успевала сдвинуться с места хотя бы на пядь, как ласточки уже взвивались ввысь, начертив своими крыльями длинные полосы на её гладкой поверхности. Все дни напролёт над головой величественно почивало бесконечно чистое небо; оно не собиралось скупиться на глубокую синеву. Однако рыб начало охватывать странное беспокойство, они разрывали илистое дно, закапывали туда свои плавники, пожирали друг друга, словно внутри их мучил жуткий голод. Щуки не гнушались борьбы, их острые зубы вгрызались в мягкие бока, белуги в своих странствиях проходили бесконечные расстояния, глупо играли с опасностью, плавая между безжалостными крючками рыбаков. Острая сталь беспощадно впивалась в плоть, отрывая кусок жабр у отчаянно трепыхавшейся рыбины. Освободившись от крючка, она начинала дёргаться, цеплялась за два, три, четыре или пять других крючков и становилась их жертвой. Попадавшая в устья морская вода облизывала резаные раны своим солёным языком.

Поэтому Фирс также решил не упустить благоприятное время и предложил братьям-близнецам сделать вылазку к самым отдаленным берегам устья Очаковского канала. Отклонить сейчас его предложение было бы непростительным легкомыслием, потому что нужно было встретить следующую зиму подготовленными и с достаточным количеством припасов, а старика Калистрата, который прежде заботился об их существовании и своими мудрыми советами направлял их действия в нужное русло, теперь с ними не было. Продолжал ли кто-нибудь верить в то, что он вернётся? Только не Аким, потому что теперь он демонстрировал чаще, чем нужно, как грубо и бестактно он может относиться к своим близким и что ему абсолютно наплевать на искренние мнения, терпеливые уговоры

и негодующие возражения, которые не доставляли ему неудобств или серьёзно угрожали. Он мог вести себя настолько жестоко и несправедливо по отношению к Дуне, что даже Савел, который зачастую оставался полностью безучастным, настораживался и возмущённо упрекал его, и порой он снова выглядел совершенно беспомощным, как тот, кто продолжает чувствовать себя чужим в своём окружении и боится, что его выгонят из дома при первой же возможности. Так он и коротал свои дни между демонстрацией барских замашек и отпусканием унизительных замечаний, между ядовитыми выпадами против Фирса и приступами жуткой робости, когда он становился нелюдимым и не мог выбраться из плена внутренних противоречий.

Поэтому он согласился с предложением отправиться к устью Очаковского канала и сделал это ещё и из-за предположения, что Фирс не решится предпринять эту попытку только с Савелом. Они дали Дуне наставление заботиться в их отсутствие о доме и всегда закрывать защёлку входной двери перед сном. При этом Аким с ехидной ухмылкой заметил, что Дуню, дескать, никто не украдёт. А для пущей уверенности она может положить рядом с подушкой топор. Однако, когда сестра ответила, что не повредит сделать это уже сегодня, он вздрогнул и, запинаясь, сказал:

— Ну какая же ты наивная! Вот придумала — брать топор в качестве оружия, пока мы ещё здесь. Ты просто насмехаешься, и, судя по всему, надо мной. Значит, о моей защите никто не думает.

— Хорошо, — успокоила его Дуня, я оставлю топор там, где он лежит.

С этими словами она повернулась к нему спиной и сказала Фирсу:

— А ты позаботься о Савеле во время рыбной ловли. Ты знаешь, что он легкомысленный и нуждается в том, чтобы кто-то был рядом. Анисье пришлось бы не сладко, если бы не он. Я говорила с ней вчера. Она выглядела очень счастливой.

Когда Аким услышал эти слова, к его лицу резко прилила кровь. Сестра, возможно, не заметила этого, но всё же подсознательно почувствовала его внутренний протест, потому что она обернулась и спросила:

— Ты что-то сказал, Аким?

— Нет, ничего, — ответил он озадаченно, закрыв рукой глаза,

и чтобы скрыть своё стыдливое смущение, добавил: — Я купил маленькие ножницы. Пойду в комнату, чтобы подстричь бороду. Она слишком отросла за лето, а я этого не терплю.

Сестре нечего было на это возразить. Спокойно, но всё же с нотками печали в голосе она сказала Фирсу:

— Фирс, послушай меня, Фирс, вы же не будете заставлять меня в этот раз снова ждать вас две недели. Ведь отец покинул нас. Я буду время от времени видеться с Анисьей. Она добрая и порядочная женщина, но ей нравится говорить только о Савеле, даже если она иногда путает его имя с именем Акима. Я верю в порядочность Анисьи, я действительно не против, если она иногда рядом со мной стоит или сидит и что-то говорит. Вот только она скажет пару слов и думает, что уже рассказала всю свою жизнь. Тем не менее, в обществе Анисьи мне будет легче скоротать время.

Аким покашлял и пошёл в дом. Он открыл маленькое окно, чтобы увидеть себя в отражении стекла; он неуклюже ёрзал туда-сюда на табуретке, заметил глубокие морщины на лбу и разгневался из-за этого, подскочил, как будто внезапно застукал вора, ущипнул себя за нос и щёки и с недовольством разразился матерной бранью. Неужели из-за этого ему стало жарко? Он выпил воды и посмотрел на Дуню и Фирса, которые как обычно сидели рядышком, устроившись на камышовой подстилке под айвовым деревом. Он понаблюдал за ними, отошел от окна и снова вернулся к своему скрупулёзному занятию по наведению красоты. Наконец он срезал со своей бороды несколько торчащих волосинок. Ножницы послушно щёлкали, издавая стрекочущий звук.

Было воскресенье, а на следующее утро они собирались покинуть Вилково на неделю и снова жить у моря в своей хижине, которую пока что не снесла ни одна буря. Когда Фирс закрывал глаза, он представлял себе хижину, расположенную далеко отсюда, но в то же время уже скучал по Дуне, которая пока что сидела рядом с ним, слегка прислонившись к его плечу. Внезапно его сердце охватила тревога, которая всё больше усиливалась, хотя для этого не было веской причины. Некоторое время спустя домой неожиданно пришёл и Савел, хотя прежде он никогда не возвращался так рано. Из лаконичных ответов, которые он с неохотой дал на вопросы Дуни, выяснилось, что он

поссорился с Анисьей из-за мелочи, которая вызвала его возражения, и высказал ей в лицо то, что думает по этому поводу. Таким образом, у Савела и Анисьи тоже иногда возникали серьёзные разногласия. Размышляя над этим, Дуня выглядела довольной. Однако Савелу не оставалось ничего другого, кроме как ждать улучшения своего настроения или примирительного намёка от Анисьи. А прежде чем это произойдет, не стоит проводить день без веселья. Поэтому он с криком толкнул Фирса и захлопнул окно перед носом Акима. Вперёд, в трактир, хватит предаваться праздным размышлениям и унывать! Он дёрнул Акима за руку, и ножницы остановились, успев издать слабый звук. Похоже, раззадоривающие слова Савела подействовали, попав на благодатную почву, потому что прежде чем Фирс опомнился, братья схватили его и оттащили от Дуни, с чем он, не желая выглядеть слишком строптивым, смирился лишь частично против своей воли, пока Дуня стояла с растерянным видом и разочарованно улыбалась.

В трактире Ивана скопилась приличная толпа народу, однако на одной из скамеек всё же нашлось три места, куда они смогли втиснуться. В душном воздухе стоял чад кутежа, и Фирс, зажатый между двумя братьями, напоминал сарай, который подпирают два тоненьких деревца. Скорее всего, Иван был на вершине счастья. Все пили, пока не начинали забываться, а затем продолжали пить дальше. Дуня понимала, что сегодня бессмысленно ждать братьев к ужину, поэтому поела и пошла спать. Чистая простынь под ней дарила ощущение свежести и приятно холодила, пока её уже окутывал сон.

Аким в одиночку опустошил четыре кувшина, а затем попрощался с Фирсом и Савелом, приложив указательный палец к козырьку. Он зашёл во двор, стараясь ступать как можно тише и осторожнее. Хотя он не совсем контролировал своё тело, ему это удалось. Может, благодаря тому, что он стиснул зубы, так как в горле бешено бился пульс. Но с какой стати, Аким, такая внимательность и осмотрительность? Сегодня он никому не смог бы ответить на этот вопрос. Он отнюдь не обязан отчитываться перед каждым. Эта мысль промелькнула в его голове, когда он бесшумно ощупывал входную дверь. Однако это заняло довольно много времени, потому что затянутое облаками ночное небо погрузило Вилково в такой непроглядный мрак, что Аким даже

не видел поднесённую к глазам руку. Тьма окутала всё вокруг, она искушала, будоражила его разгорячённое сознание теми несказанно дерзостными мыслями, которые месяцами занимали его против собственной воли. Эта кромешная мгла развязывала руки, заглушала стыд, устраняла какие-либо препятствия и позволяла не опасаться осуждающих или укоризненных взглядов. Ему было безразлично, что будет потом, сейчас он был далёк от здравых рассуждений. Им двигало лишь неукротимое желание овладеть тем, чего он давно так страстно жаждал.

Он дёрнул ручку, дверь распахнулась и захлопнулась за ним. Дуня проснулась в испуге, всматривалась в темноту, но не могла ничего разглядеть. Внезапно её охватил жуткий страх, она тихо вскрикнула два или три раза, приподнялась, хотела соскочить с кровати и укрыться в углу комнаты. Но шаги уже устремились к ней, она отпрянула в ужасе, прижавшись спиной к стене, как будто могла таким образом избежать нападения. В один миг одеяло сорвали и схватили её. Чья-то рука грубо зажала ей рот, заставив замолчать, и крепко держала её голову и давила своей жуткой тяжестью. Дуня не произнесла ни слова, ни звука. Она боролась, вырывалась, извиваясь всем телом, била злоумышленника кулаками, по глазам и выпуклому лбу. Она схватила рукой бороду и дёрнула вбок. Рука отпустила её рот.

— Я буду кричать, и тогда сбежится весь город, — скрежетала она, — я буду кричать!

И вновь грубая лапа закрыла ей рот, что она чуть не задохнулась. Нога зажала её колени, она напрягла все свои силы, чтобы освободиться от неё.

— Я буду кричать, — пригрозила она громче, — убирайся прочь, иначе получишь удар топором!

Руки мгновенно отпустили её. Он отпрянул назад, у него в ушах всё гудело. Но затем он снова набросился на неё и принялся целовать всё, что попадалось под его алчные губы, её плечи, её грудь. Тут она издала жуткий крик, который рассёк тишину, словно острый клинок. Собаки в соседних дворах зашлись лаем, и со всей накопившейся в ней яростью она врезала ему по виску. Он отскочил назад. Боль оглушила его, он зашатался и сделал несколько неуверенных шагов в направлении двери.

— Не приближайся, у меня в руках топор! — прошипела Дуня. — Иначе врежу тебе прямо по лицу.

Что можно было на это ответить? Теперь его охватила отрезвляющая слабость, он едва держался на ногах, пытаясь нащупать дверную ручку. По телу пробежала дрожь, и его обуял страх. Ему было невыносимо тяжело повернуться и поковылять во двор, где гнетущее одиночество овладеет им навсегда. Дверь за ним резко захлопнулась.

Некоторое время Дуня стояла перед кроватью в полной растерянности, затем потёрла и подёргала задвижку, которой прежде никогда не пользовались; сейчас она не могла чётко думать, мысли путались, сердце трепетало и билось, как пойманная птица в клетке. После этого она снова легла на смятую постель, не осмелившись зажечь лампу. Сейчас она была не в состоянии что-либо сделать, это было выше её сил. Позже она вспомнила, что даже не слышала голоса злоумышленника и вряд ли могла бы с уверенностью сказать, кто это мог быть. Вот только кто сомневался? Нужно признать, вчера днём Савел тоже был сам не свой и вёл себя очень странно, Савел, который был зеркальным отражением и тенью Акима. Каждая, пусть даже мимолётная мысль, причиняла ей боль. Воспоминание о произошедшем было подобно пожару, который угрожал сжечь её и к которому ей нельзя было приближаться. Нет, только не думать ни о чём; сейчас было слишком мучительно бередить свежие раны. Наконец она дала выход чувствам и разрыдалась.

Гроза, которую предвещали жуткая духота и сгустившиеся тучи, прокатилась над Вилково, накрыв городок сильнейшим ливнем. Вода лилась, как из рога изобилия, капли не прекращали барабанить по окнам. Гроза бушевала всю ночь, раскаты грома разносились глухим эхом, как будто попадали в уйму пустых бочек. А когда буря затихла и уже начало светать, нельзя было поддаваться соблазну слипавшихся глаз, иначе тогда о поездке к устью Очаковского канала можно было забыть. В назначенное время Фирс уже стоял у ворот, когда Аким появился из-за сарая, промокший до нитки, с помятым и бледным лицом и ссадиной у

левой брови. Он утверждал, что ночевал в канаве перед трактиром, что не смог идти дальше, поскольку в этот раз выпивка свалила его с ног. Его голос дрожал, он то и дело запинался и начинал мямлить что-то невнятное, а иногда неожиданно замолкал и только задумчиво вздыхал. Он не поздоровался с сестрой, когда она вышла из дома, чтобы проводить Фирса и братьев к лодке. Дуня изменилась и была сама не своя. Казалось, она только и ждёт, чтобы к ней обратились с вопросом. Она говорила с судорожным надрывом, говорила так много, как никогда раньше, фразы слетали с её губ с невероятной быстротой и в жуткой спешке, словно она боялась тишины и пыталась не допустить паузы в разговоре, а её смех казался натянутым и неестественным. Фирс уловил эту перемену в ней, старался поймать её взгляд, но её глаза уклонялись от его безмолвного вопроса, в то время как Аким неуверенными движениями дрожащих рук вылил смолу на кончики пальцев и натирал ею резиновые кольца вёсел. А затем Дуня нарочито громко и вызывающе сказала Фирсу восторженным голосом:

— Я буду ждать тебя, Фирс. Каждый день, каждый час. Я позабочусь о том, чтобы ты не пожалел об этом впоследствии. Остальных рыбаков назад тянет выпивка, но ты будешь возвращаться домой на мой зов, я буду давать тебе знак, махая рукой, даже если этого никто не увидит.

Аким вздрогнул, словно от резкого удара, пока возился с накидной сетью, неуклюже пытаясь её завязать, как будто руки у него были из хрупкого фарфора. Никто не интересовался, беспокоило ли его что-то и испытывал ли он жажду. На любой вопрос о своём самочувствии он всё равно бы ответил лишь убойным ругательством, и ему с трудом удавалось сдержать дрожь.

Затем прибежали Савел и Анисья, он впереди, а она рядом, вцепившись в его сжатый тяжёлый кулак. На ветру развевался платок, накинутый на её кофту, которая была не до конца застёгнута, поскольку из-за рассеянности и от волнения ей не удавалось справиться с пуговицами. Она подошла к Фирсу и Дуне и очень тихо сказала что-то, похожее на приветствие. Без колебаний она наклонилась через край канала к лодке, в которой уже сидел Аким и пристально таращился на крону дерева; она протянула ему свою старческую ладонь, будто знакомому, с

которым она виделась только вчера, которому ничем не была обязана и которого по чистой случайности звали не Агап и не Яков. Затем она вернулась к Савелу, принялась расхваливать перед Дуней его вчерашние усердные попытки примирения, и на его лице появилось невероятно самодовольное выражение, потому что сестра слушала рассказ Анисьи безо всяких возражений.

— Анисья — надёжная женщина, — сказал он и ещё раз попытался привлечь внимание Дуни. — Запомни это. Она не будет рассказывать тебе байки и небылицы. Она действительно знает, чего мы стоим.

Он гордо выпрямился и тут же добавил, как ему нравится ремонтировать заборы и чинить лодки и какая отвратительная на вкус сивуха у Ивана. Он, дескать, пьёт её только тогда, когда ему очень грустно, и он бродит вокруг в одиночестве, как вчера. Но больше ни слова об этом! Анисья — сама доброта и молодость. Она как никто другой умеет обращаться с глупым мужчиной. Похоже, Савел здорово забавлялся, отпуская подобные смелые замечания, и лукаво поглядывал на Фирса, который своим нетерпеливым видом напоминал, что пора отправляться в путь.

Фирс и Савел прыгнули в качающуюся на воде лодку, оттолкнулись вёслами от берега, после чего она свободно поплыла и повернула к большому каналу. Неудивительно, что Анисья довольно долго следовала за ними по узким кладкам; с её губ слетело ещё несколько нежных слов на прощанье, и, наконец, она помахала рукой, когда перед её ногами раскинулась широкая река, преградив ей путь. Дуня осталась у ворот и только послала удалявшемуся Фирсу знак, символизировавший любовь. Она зябко поёживалась. Должно быть, её кофта была слишком старой и изношенной. Неужели Аким не мог подарить ей что-то получше? Она держала себя в руках и будто контролировала своё лицо, словно опасаясь, что оно начнёт подёргиваться или его омрачит тень печали. Затем она прижала свисающие руки к своему телу.

Вокруг троих спутников беспокойно колыхалась железно-серая вода, а день предвещал переменчивую погоду и небольшую грозу. По небу плыли рваные хлопья облаков, трепыхавшиеся на ветру, словно бельё на верёвке. Лодку болтало во все стороны,

она не всегда слушалась вёсел, хотя и Аким, и Фирс гребли с нешуточным усердием. Откуда, кстати, у Акима взялось сегодня столько сил, было непостижимой загадкой, потому что его лицо потеряло здоровый цвет и было мертвенно-бледным, из-за чего он сразу стал выглядеть намного старше Савела. Возможно, беспокойство содрогавшейся от ветра природы передалось и ему, он казался каким-то измученным, постоянно призывал своих спутников поторопиться, хотя вопреки своему обыкновению не нападал на Савела; ни у одного из гребцов не было даже минутки, чтобы передохнуть, или хотя бы вытянуть вперёд ноги и зевнуть. Хриплым, обессиленным голосом он то и дело подбадривал их, чтобы у них не поубавилось рвения. На берегу рядом с ними возвышалась могучая стена камышовых зарослей, в которых всё ревело и свистело. Попрятавшиеся птицы вздрагивали в испуге, шуршали между листьями; они каркали и крякали, передавая звуковые сигналы, будто курьерскую почту. Густые гроздья рябины напоминали горящие фонарики вдоль русла реки.

Вскоре они увидели волнующееся море, по которому шлёпали редкие капли дождя; оно было более тёмного цвета и намного неспокойнее, чем рукав реки, по которому они сюда приплыли. Их хижина криво возвышалась на фоне серого бескрайнего неба. Они обнаружили дверь в том же виде, в каком Савел оставил её перед последним возвращением в Вилково: она была аккуратно заколочена. Сейчас это было настоящее удовольствие — отрывать или выламывать доски вместе с гвоздями. Они охотно доверили это не особо важное задание Савелу, пока сами проверяли и заостряли каждый крючок по отдельности. Ибо Аким не отказался от своих намерений и полагал, что высказался весьма убедительно, потому что Фирс пошёл ему навстречу и выразил готовность отправиться вместе с ним к довольно мелкому месту, где в укромной, протянувшейся дугой бухте воды Дуная встречались с открывавшимся во все стороны, бушующим морем, чтобы установить там рыболовные крючки. Тем временем Савел должен был привести в порядок хижину, раздобыть свежую солому для лежанок, позаимствовать где-нибудь по соседству пару рыбин и приготовить ужин. Он заливался соловьём, обещая выполнить поручение, хотя усталость настолько пронизывала его тело, что он охотно упал бы на голые

доски лежанок и поднялся бы не скоро. Однако он клятвенно ручался, что сделает всё необходимое и даже больше, наобещал с три короба и, всё время лишь кивая головой, соглашался с любым требованием, будь то солома, перина или карп, только бы Аким, этот злой дух, хоть ненадолго оставил его в покое. От жуткой усталости его голова склонялась то к правому, то к левому плечу в поисках точки опоры. Он терпел до тех пор, пока Фирс и Аким не уплыли в лодке, а затем, споткнувшись об какие-то тюки, зашёл в хижину, бросился на лежанку, скрестил с довольным видом руки на груди и в ту же минуту, не обременяя себя размышлениями и какими-либо упрёками, забылся беспробудным сном.

Через несколько часов Аким разбудил его пинком и оскорблениями, хотя в его отрешённом состоянии он вряд ли что-то воспринимал. Уже наступил вечер. Ни разведённого костра, ни приготовленного ужина и в помине не было! Внезапно Аким прекратил ругаться и в конце концов застонал, что ему всё равно, поест он сегодня что-то или нет, швырнул в потолок крохотный табурет и несколькими движениями рук разрыхлил соломенную подстилку на своей лежанке. Однако он всё же не упал без сил, нет, он, гордо и прямо держа спину, вышел из хижины. В одиночестве он отправился по тропинке, которая вела по краю устья к берегу моря, где набегавшие волны беспрестанно хлестали по камышам. Пена шипела и гудела в полых стеблях. Он и сам не знал, как долго он там бродил, но когда рокот волн усилился, он беспомощно втянул голову в плечи, съёжился и скукожился, как будто таким образом было легче переносить шум. Кто знает, возможно, в глубине души он жаждал увидеть бескрайнее, тихое море. Только не поддаваться слабостям! Сейчас перед его глазами больше не простиралось бескрайнее море. Небо было похоже на сине-чёрную стену.

Фирс не стал сердиться на Савела из-за его безразличного отношения. Ведь он не виноват, что провалился в сон, словно в глубокую яму, а в сонном состоянии даже самый искусный ловкач вряд ли смог бы выпросить у Калина или Фрола рыбу за более или менее великодушное обещание. Прогулка на лодке с Акимом так или иначе стоила ему немалых усилий. Однако у него не было никакого желания об этом говорить, поэтому он потрепал Савела по плечу и сказал, что, хотя их никуда и не

приглашали, они всё же могут попытаться спросить в одной из расположенных всего в нескольких шагах хижин, не угостит ли их кто рыбной юшкой. Савел так воодушевился этим предложением, что сразу разговорился и от избытка сил начал поливать грязью Гашу и хвалить Анисью. О, он снова был в хорошем расположении духа, хвастался, какая у него Анисья трудолюбивая и работящая, предавался приятным воспоминаниям о её объятиях. В это, дескать, трудно поверить, но она действительно самая добродетельная из всех вилковских женщин. А затем он шёпотом добавил, что старческий вид её рук ещё ничего не значит. Он даже спросил Фирса, мечтает ли он о такой несравненной второй половинке, на что тот удивлённо взглянул на него, улыбнулся, но ничего не ответил. Боже мой, таков уж был этот Фирс, который ни с кем никогда не обсуждал свои дела, но позволял другим, у кого слишком уж чесался язык, делиться с ним всем, что они горели желанием ему рассказать. Подобные разговоры никогда не были ему в тягость, хотя, возможно, он в это время размышлял над тем, почему он продолжал оставаться беспомощным пленником, привязанным к одному единственному клочку земли, к одному конкретному месту на реке или в море. Ведь сейчас он находился далеко от Дуни и не мог прикоснуться даже к кончикам её пальцев или почувствовать её дыхание. Возможно, она как раз сидела на пороге того далёкого дома, который в данный момент ни одна сила в мире не могла сделать для него видимым, и терпеливо ждала. Она знала, что он вряд ли вернётся домой до конца недели. Возможно, их возвращения ожидал сегодня и старик Калистрат. Так казалось Фирсу, чем чаще он размышлял о старике. Странный побег старого икорщика, причину которого никто не мог объяснить, так и остался сокрыт непроницаемой завесой тайны. Однако подобные размышления не исключали того, что Фирс вопреки всему испытывал своего рода ревность по отношению к старику, так как глаза Дуни, которые она часами не сводила с узкого брода канала, на самом деле искали и надеялись увидеть только его. Разве могла она быть привязана лишь к одному Фирсу? Он был вправе иногда чувствовать себя немного одиноким, так как старик покинул город, хотя никто не знал, какая муха укусила этого доброго человека.

Голод Савела указал им двоим более менее верный путь,

которым они и пошли, не обменявшись даже парой слов. Ибо от Савела не ускользнул тот факт, что Фирс, который также на какое-то время погрузился в размышления, сейчас вряд ли воспринимал что-либо, поэтому он понял, что ему пора брать инициативу в свои руки. К тому же он терпеть не мог постоянно находиться в зависимости от кого-либо другого. Теперь он был рад, что благодаря своим находчивым идеям может оказаться полезным Фирсу и себе самому. Вот только какой прок от его изобретательности, если здесь негде было её применить? Он нигде не заметил ничего, кроме двух догоравших и медленно тлевших костров перед рыбацкими хижинами, вокруг которых не наблюдалось признаков жизни. Он направил свои шаги к одному из них, вцепившись при этом в рукав Фирса, потому что из-за непонятной молчаливости товарища это казалось ему необходимым. Он тянул его рядом с собой, как большую послушную собаку. Но на ком же ему испробовать своё искусство красноречия? Перед первой хижиной, принадлежавшей Фролу, никого не было. Тарабанить в дверь и будить людей так же бесцеремонно, как это недавно сделал Аким, нет, сейчас он не горел желанием так поступать, поэтому он снова схватил Фирса за рукав и потащил его к другой хижине, которая больше походила на хлев для скота, чем на человеческое жилище.

Когда они приблизились, там кто-то зашевелился. Это был Калин, который не сразу их узнал и, зевая, спросил, в чём дело, после чего протянул им руки, так как больше не сомневался, кто это здесь маячит перед его усталыми глазами. Он вспомнил, что не так давно его одурачили и он стал жертвой злой шутки, а его имя, которым Фирс злоупотребил для своего гнусного розыгрыша, спасло этого дерзкого и невменяемого Савела от верной гибели и тюрьмы. Ещё недавно он дал Фирсу себя провести, но теперь, пожалуй, только от него зависело, поставит ли он жирную точку в этой истории. Он не потрудился пожелать им доброго вечера и просто спросил, что им здесь нужно и кого они ищут. Однако этот наивный простофиля забыл учесть находчивость своих незваных гостей, которой сейчас предстояло проявить себя во всей красе и выдержать испытание. Савел начал свою речь издалека, говорил обиняками, не давая сразу понять, к чему он клонит; он старался быть деликатным, поэтому говорил шёпотом, боясь потревожить или даже испугать Матрёну или

кого-либо ещё, кто мог спать в хижине, однако, не медля ни секунды, он с молниеносной скоростью перешёл в атаку и принялся вешать Калину лапшу на уши, рассказывая, как часто он слышал от жителей Вилково о сострадании и самоотверженности жены Калина. Анисья тоже, мол, несколько дней назад расплакалась от благодарности.

— Да, Матрёна — сама доброта и благочестие, — подытожил он.

— Матрёна? — спросил Калин немного озадаченно, как будто не верил своим ушам, хотя, впрочем, ему нечего было возразить в этом весьма невыгодном для него положении.

— Ну, разумеется, — заверил его Савел, — ты можешь положиться на мои слова.

Калин недружелюбно покосился на Фирса, поскольку внутри него ещё не угасла обида за уязвлённую мужскую гордость. Однако Фирс, в этот момент молчаливо наблюдавший за происходящим, словно очнулся от своего бездействия и непринуждённым тоном, будто старый друг, которому можно признаться во всём, спросил, когда должна родить Матрёна.

— Надеюсь, — прошептал он, она хорошо себя чувствует. Ведь родить ребёнка — дело нешуточное. Бедная Матрёна, добрая Матрёна!

Калин вздохнул, он с удовольствием послал бы Савела и Фирса к чёрту, но такое участливое отношение вынуждало его проявить терпение. Одним словом, Калин снова попался в ловушку, и когда Савел бесцеремонно намекнул ему, что они хотят одолжить у него что-то съестное, ненадолго, только до завтрашнего дня, тот выполз из темноты поближе к ним и, кажется, был немного смущён, когда сказал, что рыбной юшки у него нет, но зато остался приличный кусок мамалыги, которым он охотно с ними поделится. Савел кивнул и рассыпался в похвалах щедрости Калина. Они, дескать, не ели с самого утра, и небеса вознаградят его во время родов Матрёны. Калин что-то пробормотал и протянул им ароматный кусок мамалыги, мысленно ругая себя и называя олухом, тупым олухом, который вполне заслуживает того, чтобы его в очередной раз провели. А незваные гости, жадно уплетая хлеб, оставили разочарованного Калина наедине с его досадой.

Как только в небе забрезжил рассвет, сонное царство в хижине вновь прервал назойливый голос Акима. Он напомнил Фирсу и Савелу, что им следует поторопиться, потому что погода может ухудшиться, однако они ничего не ответили, потому что их внимание и без того было занято потягиванием конечностей и попытками стряхнуть с себя сон. Они спали как убитые. От слабости после последней попойки не осталось и следа! Через открытую дверь проникал солёный воздух. Фирс не знал, когда Аким в конечном итоге вернулся в хижину после вечернего блуждания, но сейчас он ясно вспомнил, как вчера выглядела Дуня, вспомнил её непривычный тон и нарочитую громкость, с которой она произносила каждое слово. Внезапно он почувствовал в глубине души, что существовала какая-то связь между этой странной манерой поведения Дуни и раздраженностью и пугливостью Акима, что он причинил своей сестре какое-то зло, которое, вероятно, можно было вынести, только храня молчание. Эта догадка крепко засела в его голове. Ему не удавалось забыть или прогнать эту назойливую мысль, и когда Аким случайно задал ему какой-то весьма несущественный вопрос, Фирс, повинуясь внезапно охватившему его порыву, невольно уставился на него пронзительным взглядом, который словно вцепился в растерявшегося Акима когтями, в то время как Фирс приблизился к нему на два шага. Аким повторил начало своего вопроса, но затем осёкся и сделал вид, что его даже не стоит договаривать. Он повернулся к стене и начал говорить что-то о куче пауков, которые по ней ползали.

Через некоторое время, в течение которого он не сдвинулся с места, он заявил, что готов отправиться в путь. Савел сказал, что он тоже готов, потому что сегодня не хотел никому уступать. Однако Аким, похоже, был этим не доволен, так как сразу возразил, что это лишнее, собственно говоря, в этом нет никакой необходимости, потому что он и Фирс смогут спокойно принести добычу и без помощи Савела, а брат тем временем должен наконец привести хижину в порядок, сварить рыбную юшку и приготовить мамалыгу, чтобы отнести кусок Калину, такой же большой, какой они вчера выклянчили. За окошком шумело море, тяжёлые волны вздымались холмами и катились к рукаву реки, где разливались по отмелям, поэтому, когда Савел заметил

мощное движение вод, он с радостью согласился на предложение брата, сказав, что обо всём позаботится, так как после отдыха он полон сил и в хорошем настроении. Однако Фирсу этот расклад показался странным и даже неразумным, потому что при таком волнении моря три человека наверняка смогли бы справиться с и без того лёгкой лодкой гораздо лучше, чем два, но он не хотел лезть к Акиму со своими советами и загонять его в угол простейшими аргументами и примерами из собственного опыта. Поэтому он просто начал шутить с Савелом, чтобы развеять сомнения, которые возникли у него по поводу планов Акима, посоветовал ему не перекипятить юшку и со смехом пожелал ему приятного утра у Калина или Матрёны.

Они вышли из хижины, при этом Акима было почти не видно за спиной Фирса, и, долго не раздумывая, отправились к тому месту, где на берегу узкой укромной бухты лежала их лодка. Дополнительные меры предосторожности означали бы излишнее промедление, поэтому вскоре их маленькое транспортное средство уже качалось на воде и двигалось к середине реки; лодка прыгала по волнам, то поднимаясь, то резко скользя вниз, вода ударялась об вёсла при каждом усердном взмахе Фирса, демонстрируя свою силу против силы человека. Ветер гнал по небу серые тучи, беспощадно хлестал по лицам обоих мужчин, пролетал со свистом, гудел в ушах и развевал бороды. Фирс изо всех сил старался держаться в направлении песчаной отмели, где вчера они натянули свои рыболовные крючки, но это удавалось ему с большим трудом, поскольку чем дальше они удалялись от берега, который прыгал то вверх, то вниз, тем яростнее и неистовее волны раскачивали лодку. Перед их глазами снова и снова открывались зияющие впадины, в которые попадала лодка, чтобы затем снова вскарабкиваться вверх по волнам, будто по наклонным, скользким стенам. Землю можно было увидеть только тогда, когда киль лодки оказывался на гребне волны. Фирс пережил на своём веку не одну бурю, и эта была далеко не самой худшей. Того, кто назвал бы это штормом, вилковчане наверняка бы высмеяли и сочли неопытным новичком. Вот Пимен точно назвал бы эти надвигавшиеся с моря и мощно обрушивавшиеся на берег волны ураганом. Однако сейчас шутки были неуместны; устоять в борьбе против стихии стоило большого труда, руки и

ладони Фирса знали это, поэтому если они хотели добраться до крючков, им необходимо было плыть дальше в открытое море и налегать на вёсла с удвоенным усилием, пока этому так или иначе благоприятствовало направление волн. Нужно было поймать волну и обратить её мощь себе на пользу. Они скользили вверх и вниз, будто по склонам, по вершинам холмов. Вот только лодка — это не тачка, которая послушно поддаётся управлению, она упрямилась и сопротивлялась, недовольно скрипела и крутилась вопреки настойчивым усилиям Фирса, старавшегося держать курс к месту назначения. Разве можно было увидеть крючки в этих неспокойных водах? Но Фирс знал дорогу; расположенные вдалеке деревья и хижины указывали ему путь.

Напряжённо уставившись вдаль, скрестив руки на груди и упираясь широко расставленными ногами в боковые стенки лодки, Аким сидел на среднем сидении и даже не предпринимал никаких попыток, чтобы помочь Фирсу. Его лицо было не менее хмурым и мрачным, чем накануне, а взгляд оставался таким же скрытным. Ветер растрепал его волосы. Наконец он собрался с силами и крикнул Фирсу сквозь шум:

— Налево, бери левее! Иначе отклонишься от курса. Крючки не приплывут нам навстречу.

Однако то ли дикий рёв моря исказил эти слова, то ли Фирс просто ослышался, поскольку в данный момент ему приходилось направить все усилия на борьбу с волнами, а не на то, чтобы внимательно прислушиваться к голосу своего спутника, ему показалось, что Аким сорвался на него. Надо признать, сегодня Фирс был не особо настроен общаться с Акимом, поэтому, вероятно, даже безобидный тон показался бы ему слишком резким и язвительным, и он воспринял это на свой счёт, глупец. Он ничего не ответил.

— Ты, что, оглох? Бери влево! — приказал Аким.

— Не волнуйся, я как-нибудь справлюсь, — ответил Фирс как можно более спокойно, в то время как к его лбу прилила кровь.

— Да куда уж там справишься, — кричал Аким, — ты едва шевелишься.

Фирс приоткрыл рот, сделал глубокий вдох, изо всех сил стараясь не горячиться и сохранять хладнокровие.

— Так мы заплывём слишком далеко в море, так мы скорее

доберёмся до Константинополя, чем до наших крючков, — снова ворчал Аким, — мы уже и так слишком далеко заплыли.

Но ответа опять не последовало.

— Эй, — вдруг крикнул он, — что ты собираешься со мной сделать? Хочешь избавиться от меня? Хочешь сбросить меня в воду? Это было бы легко, не правда ли?

Тут Фирс почувствовал его враждебный натиск и понял, что ему не избежать стычки с Акимом. Он подумал про себя: «Я должен стойко держаться».

— По-другому у меня не получается, — сказал он, почувствовав, как его сердце забилось быстрее, — я на большее не способен. Попробуй сам. Садись за вёсла.

— Тогда мне нужно занять твоё сидение, поменяться с тобой местами, — нерешительно сказал Аким.

— Ну, давай! — прозвучал непринуждённый ответ Фирса.

Лодку кидало во все стороны, но Фирс всё же немного приподнялся со своего места и начал пробираться вприсядку к Акиму, чтобы не нарушить равновесие лодки.

— Держись правее, — сказал он и поджал колени, потому что так ему было легче добраться до сидения, которое раньше занимал Аким.

На мгновение он почти встал. В ту же секунду Аким замахнулся и нанёс ему удар кулаком. Фирс отшатнулся и не успел опомниться, как на него уже обрушился второй удар. Однако он не выпал из лодки, он подался туловищем вперёд, а Аким, отступив на шаг, схватился за деревянный молоток, которым оглушали рыбу, и попытался врезать им Фирсу по голове. Но попытка оказалась неудачной, потому что Фирс отразил удар, перехватив его руку. Аким выпучил глаза, которые сейчас были похожи на полированные куски стали. Он уронил молоток и, сжавшись в комок, снова набросился на Фирса, уткнувшись головой и плечами в его вздымающуюся грудь.

— Жалкий трус! — выдавил он из себя и потянулся руками к лицу Фирса.

Но атакуемый Фирс защищался, он уже понял, чем тут пахнет, и не собирался давать себя в обиду. Он схватил Акима за руки и прижал его ко дну лодки. Аким расцарапал ему горло, и Фирс слегка попятился, пока тот снова поднялся. Они с трудом переводили дух, не в силах даже материться, удары сыпались

один за другим, а затем Аким, выплёвывая кровь из разбитого рта, ещё раз из последних сил бросился на Фирса, который перехватил его и оттолкнул назад. Аким споткнулся об рейку, потерял равновесие, перелетел через борт лодки и, прежде чем Фирс успел опомниться, с криком плюхнулся в воду. Фирс с облегчением почувствовал, что опасность миновала, закрыл глаза, пока в его ушах ещё стоял глухой шум, и только в следующее мгновение понял, что случилось несчастье. Он пополз на четвереньках на другой конец лодки, с ужасом глядя в воду, пока лодку уносила мощная волна. Аким утонул. Теперь он Фирс всё больше и больше осознавал это. Возможно, Аким ещё жив. Он, безусловно, должен ему помочь. У него болело горло, он с трудом сглотнул слюну. Затем он в отчаянии схватился за вёсла, звал Акима и кричал:

— Эй, я здесь!

Постепенно ему удалось развернуть лодку, он плавал туда-сюда, но вокруг не было видно ничего, кроме брызг и буроватой воды, над которой уже собиралась буря. Никто так и не откликнулся на его зов.

Когда он понял, что все усилия напрасны, он бросил вёсла, и лодка плыла туда, куда её несли волны. Он пытался обдумать и ещё раз представить себе картину того, что произошло, чтобы постичь и осознать это, однако каждую появлявшуюся мысль тут же сменяли десять других, что затрудняло какое-либо понимание. Что он мог сделать? Закрыв лицо ладонями, он вспомнил о Дуне и Савеле. Он спрашивал себя, что он им скажет. Он не чувствовал страха, нет, он не думал о том, каким образом ему придётся оправдываться перед ними. Сейчас его хаотичные и спутанные мысли были далеки от этого. У него было странное ощущение, будто ему снова и снова приходится защищаться от угроз Акима; он всё ещё чувствовал его удары и пинки. Затем он взял себя в руки, посмотрел через гребни волн и увидел берег. Там, вдалеке, виднелась безмолвная и терпеливая земля, которая ничего не подозревала и готова была безропотно встретить яростную атаку бушующей бури. Покачиваясь на волнах, лодка долго вращалась по кругу, как будто искала дорогу и не могла её найти, затем несколько волн подхватили её и понесли вглубь устья реки. Фирс даже не пытался управлять ею, чтобы подплыть ближе к камышовым зарослям у мелкого пляжа.

Так он дрейфовал около часа, а может два или больше. Маленькие капли дождя падали наискось над его головой, а затем облака вдруг разошлись и выглянуло солнце, ветер уже больше не свистел так сильно между шпангоутами и не хлестал по лицу человека, который почти ничего не чувствовал. Фирс будто спрятался в своём теле, которое, скрючившись, притаилось на скамейке. Его не интересовало, что происходит вокруг, пока лодка, осторожно подброшенная волной, не врезалась в заросли камыша. Тихо зашуршав, камыши раздвинулись с обеих сторон, опустив примятые килем листья, птицы, которые в них гнездились, взмыли ввысь, описав круг над головой незваного гостя, который совсем не собирался их беспокоить. Вокруг стоял лишь бесконечный шум. Фирс ничего не слышал и очнулся только тогда, когда он усилился и начал раздражать его, давить на уши, словно призывал его принять решение. Он поднял глаза и посмотрел на незнакомую местность, которая с каждой секундой становилась для него всё ближе и привычнее. Он уже знал, какой шаг предпримет в первую очередь, не имея представления о том, какие последствия он за собой повлечёт. Судя по всему, его лодка сейчас находилась на левом берегу Очаковского канала, а значит, поездка обратно к хижине не должна занять слишком много времени. Слепая ярость реки не навредила ему. Волны не сломали и не разбили вдребезги вёсла, и неуклюжие пальцы Фирса нерешительно потянулись к ним.

У Савела этот же период времени прошел довольно занимательно, хотя костёр, на котором он готовил еду, было трудно разжечь, так как первые разгоревшиеся язычки пламени несколько раз задувал сильный ветер. И всё же это не помешало Савелу примерно через час появиться перед Калином с великодушным выражением лица и сунуть ему под нос испускающую клубы пара мамалыгу. При этом он выразил надежду, что принесённый им кусок не меньше того, который вчера вечером Калин дал ему и Фирсу, и уже собирался

незаметно перейти к очень подробному описанию достоинств Анисьи, потому что его так и подмывало хотя бы поговорить о своей женщине, если уж он сейчас не мог быть рядом с ней. Но, судя по всему, упрямый Калин не испытывал особого интереса к редкостным качествам Анисьи, нет, сегодня, так сказать, его было ничем не пронять, сегодня он то напускал на себя неприступный вид, то стоял с презрительной миной, как кровожадный татарский князь, не веря ни одному глупому льстивому слову. Тем не менее, в глубине души он признался себе, что следует учитывать разницу между Савелом и Фирсом. Фирса он, вероятно, вообще не удостоил бы и взглядом, потому что тот оставался в его глазах самым сомнительным типом, однако, в сущности, он и Савелу с превеликой радостью показал бы спину, где в его рубашке зияла дыра. Пусть смотрит на неё, сколько его душе угодно. Поэтому очень скоро Савел понял, что с этим строптивцем Калином каши не сваришь. Да, к сожалению, ему пришлось оставить при себе все прекрасные слова об Анисье, которые ему так хотелось высказать. Но негостеприимный Калин, который даже не потрудился предложить Савелу присесть перед хижиной, всё ещё питал против него тайную злобу и поэтому хотел сделать что-нибудь, чтобы окончательно утолить свою жажду мести. Стараясь побольнее уколоть Савела, он неожиданно бросил ему укоризненным тоном:

— Трещишь тут без умолку, как будто сидишь в трактире Ивана, и не слышишь, не видишь бури. Ну а где же твой брат?

Неопределенным жестом Савел указал на море.

— Хм, — ответил Калин, — похоже, он снова облегчил тебе задачу.

— Аким не хотел брать меня с собой, — оправдывался Савел, — и знаешь, почему? Он полагал, что ты можешь изголодаться, если я не принесу тебе кусок мамалыги прямо сегодня. Так что не смотри на меня с умным видом, это из-за тебя я здесь, ха-ха!

Удар попал точно в цель, Калин проглотил грубую шутку и натянул на лицо улыбку, даже не пытаясь взять реванш. Он уставился в небо, затянутое тёмными тучами, и присвистнул, что явно говорило о приближающейся грозе и не требовало дополнительных объяснений. Савел больше ничего не сказал и, даже не попрощавшись, пошёл к берегу, чтобы посмотреть, где находится лодка. Он нигде её не увидел, в то время как дождь

тонкими струйками лился ему на лицо. Он не знал, что и думать, но затем успокоился, потому что Фирсу с его опытом и неуёмным усердием любая погода была по плечу. Он прошёл по пляжу, оставив за спиной поросшую камышом полосу, а затем потопал дальше по мокрому песку, устремив напряжённый взгляд в открытое море. Волны грохотали, набегали на землю и хлестали по ней. Ревущие волны накатывались на берег, заливали его и рассыпались белоснежной пеной. Натиск бушующих водных масс повторялся с невероятной равномерностью. Вдруг невысокая волна принесла что-то чёрное на пологий берег. Савел заметил это издалека и поспешил туда, поскольку то, что он увидел, было похоже на утонувшего человека. Но как только он подошёл поближе, его шаги на мгновение замедлились, после чего он резко бросился вперёд. Тело лежало на спине, обмякшие конечности были разбросаны в стороны, а лицо повёрнуто набок. Мокрая борода прилипла к подбородку. Савел наклонился к трупу и только теперь узнал Акима. Он быстро схватил и начал ощупывать руку бездыханного брата, которая беспомощно болталась в неистово сжимавших её ладонях. Какое-то время он ничего не слышал, словно тревожная тишина заглушила рокот волн. Он оглядывался вокруг, охваченный ледяным ужасом, понимая, что ничего нельзя было изменить, боже мой, нельзя было повернуть время вспять, чтобы этого не случилось. Брат мёртв. Посиневшее лицо жертвы отчётливо говорило ему об этом.

Савел заставил себя ещё раз взглянуть на него. Это был его брат-близнец, его копия, хотя нет, ему казалось, что это он сам, что это его выброшенное тело, бездыханное и безжизненное, лежит неподвижно на песке. Он сам нашёл свой собственный труп. Из-под век выглядывали его собственные глаза, в которых потух жизненный огонь, его собственный рот больше не шевелился, безмолвно спрятавшись под мокрой всклокоченной бородой. Это был лоб Савела, виски Савела. Он встал, широко расставил ноги, чтобы стоять твёрдо и не шататься. Но действительно ли тот, кто поднялся, был он сам? А, может быть, в итоге это он, Савел, лежит, распластавшись, на песке? Никто бы не сомневался, что это труп Савела. О, сейчас он отчётливо видел себя в каждой черте лица, в каждой части тела утонувшего брата. Он разорвал рукав и увидел маленькую коричневую

родинку рядом с веной. Может, это отличало его от того, другого? Он медленно опустился на колени и осмотрел руку мертвеца в том же месте. Он отпрянул назад — такая же самая родинка бросилась ему в глаза. До этого момента он не замечал, что вода полностью покрывала труп пеной, а одежда насквозь промокла, поэтому он приподнял беспомощное тело под подмышки и оттащил его немного дальше, туда, куда море не доходило, а трава расстилалась по земле мягким ковром. Там усопшему будет покойнее. Савел уложил его на траву, скрестив руки на груди, которые также были его собственными руками. И теперь живой стоял рядом с умершим, не думал о том, чтобы позвать кого-то на помощь, почти не шевелился и только смотрел вниз на брата, словно на своё застывшее отражение в мутном зеркале. Если бы к нему в этот момент подошел прохожий и спросил, Савел он или Аким, он, скорее всего, был бы озадачен и не смог бы дать ответ на этот вопрос, потому что не знал его сам.

Нигде не было ни души, пока вокруг него бушевал ветер и через какой-то период времени, который показался ему вечностью, хотя мог длиться всего несколько часов, превратился в лёгкий бриз. Тучи разошлись, обнажив бездонную синеву неба, волны затихли и медленно катились в неопределённом направлении. Савел пока не принял решения, но оставил труп и отправился обратно тем же путем, которым пришёл сюда. Он прошёл мимо рыбацких хижин и направился к каналу, где обычно находились лодки. Он обнаружил одну лодку, залез в неё и без долгих размышлений поплыл к пологому песчаному берегу, рядом с которым лежал труп брата. Осторожно и терпеливо он погрузил его на спину и понёс к лодке, которую с большим трудом вытащил на берег, уложил тело на дно, оторвал доску одного из сидений и подсунул её ему под голову. Затем он направился в сторону Вилково, налегая на вёсла, насколько хватало его истощённых сил. Всякий раз, когда он делал передышку посреди реки, чтобы потом было легче преодолеть следующий участок пути, он, будто завороженный, не мог отвести взгляд от лица покойника. Ему вспомнился тот давнишний разговор с Акимом посреди ночи, который с тех пор они больше ни разу не заводили, когда брат выразил сомнение, не могло ли произойти ошибки при крещении, из-за которой их

имена перепутали, окрестив его Савелом, хотя изначально его должны были назвать Акимом. А вдруг так распорядилось провидение, что сейчас не он, а Аким вёз домой тело мёртвого Савела? Ему казалось, что небо, низко нависшее над его головой, давит на него, он втянул голову в плечи и ударил себя кулаками по лбу, надеясь, что ему удастся разгадать эту тайну. Но все его мучительные, беспомощные попытки докопаться до истины были безрезультатны. Ему не оставалось ничего другого, кроме как не терять времени, чтобы вернуться в город до вечера. Он принялся грести, не щадя сил, и вскоре после того, как над водой сгустились сумерки, он проплыл мимо рыбных складов и завернул в большой канал. В окнах аптеки горел белый свет от лампы.

Наконец он втянул весла и остановился перед воротами, а Дуня, которая ещё была во дворе, испуганно бросилась ему навстречу, как только увидела промелькнувшую тень брата. Нетвёрдой походкой она подошла к лодке и некоторое время не могла вымолвить ни слова. Складывалось впечатление, будто она не видела стоявшего рядом с ней Савела, потому что от волнения была настолько растеряна, что даже не замечала человека, державшего её за руку.

— Кто это? Кто? — вырвался у охваченной ужасом Дуни назревший вопрос.

Вопрос сестры будто ударил Савела обухом по голове, и он почувствовал, как им овладевает странная слабость, однако затем пришёл в себя и с большим трудом выдавил из себя ответ:

— Это я, Савел.

Он неподвижно стоял рядом с сестрой и смотрел в темноту, которая уже сгущалась, и в замешательстве, которое заставляло его чувствовать себя как-то странно, немного боялся, что она не до конца ему верит. Но Дуня резко сказала:

— Это мог быть только он! Фирс был с ним наедине?

Савел подтвердил это.

— И он не вернулся с тобой?

— Нет, — ответил брат, — я его больше не видел.

Дуня ни на мгновение не сомневалась, что Фирс жив, что он должен жить, но её лицо приобрело каменное выражение, когда она поспешила обратно в дом, чтобы взять лампу. Затем она помогла Савелу отнести труп в заднюю комнату и подложила

подушку ему под голову. В темноте вспыхнули свечи, и Дуня повернула к стене своё зеркало, вставленное в рамку с цветочным орнаментом.

Савел дежурил возле умершего брата всю ночь, а когда следующим утром Анисья проходила мимо, она удивилась тому, что все двери дома были открыты, а в окнах дрожали жёлтые огоньки зажжённых свеч. Ещё не успев дойти до порога, она уже знала, что случилось. Она бросилась Савелу на шею и зарыдала, беспрестанно бормоча одно и то же слово:

— Савел!

И поскольку, несмотря на свою взволнованность, она произносила его имя с такой непоколебимой, твёрдой и безграничной уверенностью, поскольку крепко прижимала его к себе, как ребёнка, который мог быть только её собственностью, мог принадлежать только ей одной, любящей его всем сердцем, он также почувствовал, что вновь возвратился в свой настоящий, неподдельный мир, что вновь стал тем, кем был прежде, и хотя горе изменило его до последней клеточки и кровинки, он все ещё дышал полной грудью и ощущал в себе жизненную силу. Объятия Анисьи казались ему незаслуженным избавлением. В передней послышался стук упавших на глиняный пол камешков, и этот звук заставил Савела очнуться. Неужели Трофим, который, наверное, притопал вслед за матерью, стоял там, тихо разговаривая с Дуней? Неужели до него доносился звонкий голос малыша? По щекам Савела потекли слёзы. Он оставил покойника под надзором Анисьи, вышел из дома, взял мальчугана за его крохотную ручонку и пошёл с ним в сад. Там с первого попавшегося дерева он сорвал спелое яблоко и протянул его Трофиму. Ребёнок радостно вскрикнул; сквозь листву пробивались тёплые лучи солнца.

Анисья оставалась с Дуней, пока труп Акима лежал в гробу в комнате, освободила её от всех забот, занявшись необходимыми приготовлениями, договорилась с церковным певчим и старым батюшкой, но ничем не могла помочь горю, которое полностью

овладело девушкой и спутало всё её мысли, так как она вряд ли догадывалась, что смерть брата совершенно сломила Дуню. Она ни с кем не говорила об этом и всё время давала лишь скудные ответы, если к ней обращались по какому-нибудь неотложному вопросу. В основном она сидела на корточках перед дверью, не замечала и не слышала людей, которые хотели сказать ей что-то, и только прикрывала им рот рукой, если они начинали говорить слишком громко. По лицу Дуни трудно было заметить, что её терзали боль и тревога, она не плакала, нет, все её мысли были заняты тем, что она беспрестанно обвиняла и упрекала себя в случившемся. В течение последней бессонной ночи она почти уверилась в правильности своих пугающих и ужасных догадок, потому что если Фирс действительно был жив и теперь прятался в непроходимых зарослях дельты, значит, судьба её сурово и жестоко покарала, потому что она тоже была виновна в этом несчастье. Разве не она перед их выездом к устью реки настроила Акима против Фирса и тем самым ещё сильнее разожгла враждебность, которая уже давно существовала между ними? Она спрашивала себя, достаточно ли хорошо она узнала Фирса за всё то время, которое они провели вместе; она сомневалась в этом и полагала, что Фирс, который сейчас был далеко и в эти ужасные часы сомнений не мог разубедить её и оправдаться, был способен совершить ужасное зло. Её воображение искажало каждое неуверенное предположение, в котором ещё оставался здравый смысл и ясность, рисуя ей зловещие картины. Она содрогнулась, а затем вспомнила тот ужасный инцидент перед отъездом брата. А что, если она ошиблась в темноте, вдруг ей угрожал какой-то незнакомец, забравшийся в дом? Ведь по миру бродит достаточно подлецов. Её сердце разрывалось от осознания того, что она совершенно запуталась в себе, и всё же в конце концов она признала Акима невиновным. Он всегда был помехой и стоял Фирсу поперёк дороги. Но всё это в прошлом. Ему больше не нужно оправдываться, теперь он спокойно почивает, и хотя он уже не сможет предоставить никаких объяснений, улыбка на его лице, которая больше никогда не станет мрачной, снимает с него все обвинения. Сейчас его больше не беспокоили его неудачи, ему больше не нужно было ничего скрывать, даже если на его левой ноге до сих пор остался шрам от ржавого гвоздя, который он сам загнал себе в ступню. В

тот давно минувший день Дуня стала свидетельницей этого странного поступка, потому что в тот момент пряталась за дверью, затаив дыхание. Должно быть, тогда ей не хватило смелости помешать ему это сделать, и когда позже она принесла ему тряпку, чтобы перевязать рану, то притворилась, что ничего, боже упаси, об этом не знает. Ей было неприятно видеть, как он старательно увиливает от её вопросов или в конце концов замыкается в себе, находя спасение в гнетущем молчании, и вынести это было гораздо тяжелее, чем заверения Фирса. О, теперь он больше не истекает кровью. Но разве может она отныне верить Фирсу? Подозрения в том, что он совершил преступление, росли с каждой минутой, пока он оставался вдали от жертвы.

Дуня сидела и грызла ногти. Анисья уже бог знает в который раз спрашивала её о каком-то несущественном пустяке, но она ничего не воспринимала и не знала, что ответить, она лишь отчётливо ощущала, как всё то, что в ней ещё было способно чувствовать, всё больше и больше наполнялось охватившей её уверенностью, что расставание с усопшим братом ей было вынести гораздо легче, чем разлуку с Фирсом. Однако она не должна была ещё больше обременять себя чувством вины и предаваться малодушию, которые, как она полагала, не давали ей поверить в бесспорные и неопровержимые факты, потому что это была горькая правда. Она увидела раны Акима и закрыла глаза, чтобы представить себе объятия Фирса. Отныне она больше не будет закрывать глаза, она должна быть начеку, чтобы ложь вновь не затмила её взор, не дав ей увидеть правду. Внутри неё всё было в огне, пожиравшем её душу и сердце, однако она не собиралась заползать в мышиную нору и ждать, пока это пылающее пламя наконец угаснет. Хватит уклоняться от правды! Никакие нежные слова не способны заглушить её горе, никакие ласковые прикосновения не смогут убедить и успокоить её сегодня. Отныне она должна окружить себя непробиваемой стеной и оставаться глухой к словам Фирса. Всю ночь она не сомкнула глаз, и с утра у неё во рту не было даже маковой росинки, но все уговоры и попытки её утешить были безрезультатны. Голоса Агапа и Якова эхом разносились вокруг неё, Пимен ласково потрепал её по плечу. Он спросил, почему бы ей не поспать немного, и ушёл, чуть ли не с нежностью

пригладив прядь волос на своих висках.

Как долго она будет пребывать в таком отрешённом состоянии, покажет время. Ведь оно безгранично, и его хватит на каждую беспомощно запутавшуюся мысль, которая появлялась у Дуни. Она подняла голову, чтобы посмотреть, что творится вокруг, и её ослепил пронзительно яркий свет. Интересно, ещё утро или уже наступил полдень? За что должны были цепляться её шаткие мысли, чтобы догадаться об этом? Она потянулась за блестящим круглым камешком, который, скорее всего, уронил Трофим, и внезапно почувствовала, как в ней пробуждается новое беспокойство, как в её сердце тяжело циркулирует кровь, словно она превратилась в массу камней, падающих один за другим. Она осмотрелась по сторонам. Во дворе никого не было; только Анисья и Савел стояли в комнате над синим гробом Акима, и тихо потрескивали свечи, пытавшиеся соревноваться с невероятно ярким в этот час дневным светом. Однако она ощущала рядом присутствие ещё чего-то, чувствовала это более чем отчётливо, сделала несколько шагов к воротам и остановилась как вкопанная.

Там был Фирс, который вылез из лодки, с непокрытой головой, с букетиком красных цветов в левом кулаке. От испуга она больше ничего не разглядела, вытянула вперёд руки, пытаясь отстраниться от него, но это не могло помешать ему, он неумолимо приближался и уже стоял прямо перед ней. Он схватил её за запястье, сжал его и искал подходящие слова, которые сейчас имели важное значение. Но она высвободилась, с силой дёрнув руку, и сделала шаг назад. Она гордо подняла голову, зная, что преодолеет любую слабость, и стала ждать.

— Что случилось? — тихо спросил Фирс.

— Брат умер, — ответила Дуня, и её голос не дрогнул.

Она указала жестом на открытое окно; он понял, что она имеет ввиду, медленно и нерешительно подошёл к окну и не удивился, что человек, который утонул там, далеко в море, сейчас лежал здесь, на печи в доме старика Калистрата. Но он не стал долго задерживаться у окна, за которым царила мёртвая тишина, он поспешил обратно к Дуне, хотел снова взять её за руки, но она скрестила их за спиной и не подпускала его к себе.

— Дуня! — воскликнул он умоляюще, — Дуня! Ты ведь должна меня понимать без слов. Сегодня я ничего не могу

сказать, я был совсем один, я не нашёл Савела в хижине, я с трудом смог добраться до тебя. До завтрашнего дня всё будет выяснено. Аким набросился на меня, хотел выбросить из лодки.

— Не так громко, — прикрикнула она на него, сдерживая негодование, — похоже, ты забыл, где находишься. Разорался, как будто там, в доме, не лежит покойник. Хватит! Уходи и никогда больше не показывайся, никогда. Понимаешь? Вся моя жизнь мне опротивела. Но наибольшее отвращение внушаешь мне ты. Конечно, при данных обстоятельствах любой смог бы выкрутиться лживыми отговорками! Аким больше никому не сможет возразить. Это был бы слишком лёгкий и нечестный спор.

Она заговорила ещё тише, почти что шёпотом, и всё же её слова падали, как тяжёлые камни.

— Дуня, — умолял Фирс, — потерпи, пока я вновь не почувствую твёрдую почву под ногами.

— Замолчи! — прошипела она сквозь зубы. — Прочь с глаз моих!

— Вот, значит, как ты решила, — донеслись до неё его слова, прежде чем он поднял свою понуренную голову, чтобы, возможно, поймать её взгляд, но она зажмурила глаза, а её лицо исказила гримаса ярости.

— Прочь с глаз моих! — властно потребовала она, почти задыхаясь.

Ей показалось, что её глаза застлала пелена, она больше не видела очертаний предметов, всё было расплывчатым, серым и нечётким, как в тумане.

Фирс повернулся и пошёл прочь, оставив открытой калитку, которая захлопнулась за ним. Он пнул букет, который какое-то время катился перед его ногами, а затем застрял в зарослях чертополоха. Он не знал, куда податься, прошёл мимо лодки, не заметив её, не знал, с чего начать. «Уходи, уходи как можно дальше!», — кричал ему внутренний голос. И он прислушался к нему; впрочем, даже без этого ноги сами несли его вперёд. Он мчался по кладкам, обогнул дом Мары и затем продолжил путь вдоль воды, бежал через заросли камыша, по огромным кустам тысячелистника, по гнилым веткам деревьев, по траве и муравейникам. Вряд ли он знал, где находится, он ощущал только своё одиночество. Лишь намного позже он снова пришёл

в себя и начал замечать, что творится вокруг. Молодая песчаная гадюка боязливо проползла мимо него и спряталась под широким листом, который обеспечивал ей защиту. Фирс заметил, как жизненная сила наполняла её чешуйчатое тело, похожее на тонкий шланг, позволяя ей двигаться вперёд. Ястребы кружили над голыми стволами деревьев за спиной Фирса, которые, словно обуглившиеся огарки, тянулись в небо. Тут он кивнул, потому что у него промелькнула мысль, что для змеи пробил смертный час.

В это же самое время Трофим играл в Вилково с крошечным синим жуком, наблюдая, как насекомое бегает по его пухленькой ладошке, а Хараламбие без предупреждения вошёл в кабинет городского головы и попросил у него отгул до следующего дня.

— А кто же будет следить за порядком? — поинтересовался городской голова.

— Не знаю, я об этом не думал, — ответил караульный, — но мне срочно нужно уладить личные дела. Я бы пришёл с этой просьбой раньше, если бы меня уведомили.

— Важное дело? — продолжал допытываться тот.

— Да, — ответил Хараламбие, смотря в упор на городского голову.

— Хорошо, на этот раз я разрешаю, — прозвучал снисходительный ответ из-за усыпанного пыльными бумагами стола.

Хараламбие выразил благодарность, попрощался, натянул на голову фуражку с задумчивым или сонным видом и вышел из кабинета, в котором никто кроме городского головы и писаря Сысоя не мог оставаться долго, не начав при этом ощущать неловкость. Натёртые до блеска белые деревянные полы, которые не так давно впечатлили даже Савела, вызывали у любого скромного человека странную робость. Но полы недолго занимали мысли Хараламбие, потому что он точно знал, что собирается сделать. Миновав трактир Ивана, он поспешил к дому старика Калистрата и зашёл во двор, закрыв за собой калитку с благоговейным волнением. Савел вышел ему навстречу и поинтересовался о цели его визита. Грустно улыбаясь, Хараламбие ответил, что не хотел мешать, но он, дескать, узнал о случившемся несчастье, и хотя он практически не знал старого Калистрата, тот по необъяснимой причине был ему настолько

дорог и близок, что ему хотелось бы сделать что-то в память о нём, поэтому он просит разрешения подежурить ночь у гроба Акима вместо старика Калистрата. Савел не сразу понял румына, но затем не стал возражать против его предложения, потому что ещё не наступил вечер, а он уже валился с ног от усталости.

Так что этой ночью Хараламбие снова нёс дежурство, но не на своём привычном месте на перекрёстке, а у гроба проблемного сына старика Калистрата. В течение нескольких часов он стоял неподвижно, а затем, возможно, задремал и внезапно перестал понимать, бодрствует ли он ещё или уже спит. Ему навстречу плыла искристая дымка. Блеск позолоченного оклада, обрамлявшего икону в углу комнаты, начал расплываться перед его глазами, и Хараламбие увидел, как архангел Михаил, которого он время от времени навещал в церкви в плохую погоду и всегда приветствовал взмахом руки, как старого знакомого, сошёл с той холодной стены в своём царственном облачении, с блестящим мечом в правой руке, подошёл к нему и встал на караул с другой стороны гроба. По спине Хараламбие пробежала лёгкая дрожь, но до самого утра он мужественно оставался на своём посту, не желая отставать от небесного посланника в выполнении своего профессионального долга, поскольку чувствовал себя обязанным и перед ним.

Акима похоронили. На похороны пришло не очень много людей, так как большинство жителей было занято на рыбном промысле в устье реки. На кладбище всё прошло как обычно. Неуклюжий, огромного роста батюшка, стоял, широко расставив ноги, обутые в тяжёлые, начищенные до блеска сапоги, и исполнял возложенную на него обязанность, а церковный певчий Аверьян вёл себя так, как будто спасение души умершего зависело исключительно от причитавшейся ему платы. Только

Яков совершил ошибку, на которую, разумеется, не обратили внимания, так как причиной тому были его болезненное любопытство и неугомонный характер. Вместо того, чтобы пропустить Савела и Дуню к краю могилы раньше всех, чтобы бросить туда горсть земли, он, как невменяемый, поспешил туда первым, в то время как его красновато-блестящие глазные яблоки бегали из стороны в сторону, потянулся за большим комком и бросил его на гроб, отчего раздался жуткий грохот. Савел вздрогнул, потому что на мгновение у него возникло чувство, как будто этот твёрдый ком попал прямо ему в лицо. Но он сразу же взял себя в руки; вероятно, причиной этого странного ощущения были его беспрестанные воспоминания о тех нескольких тяжёлых часах после того, как он нашёл своего мёртвого брата на берегу моря. Нет, то лицо, которое в данный момент видели окружавшие его люди, озаряли лучи солнца, его обдавало мягким, по-осеннему тёплым воздухом, а рядом к нему прижималась Анисья, держа в руке его пальцы. Он знал, что ему следует сопровождать Дуню домой, и сделал это без колебаний. Кроме этого, он принял решение, что больше никогда не будет заниматься рыбным промыслом, а пойдёт к городскому голове или другому богатому человеку в городе, чтобы занять необходимую сумму денег для строительства верфи, о которой он так давно мечтал, и как можно быстрее приступит к работе, наиболее соответствовавшей его интересам и страстным увлечениям. Ему понадобятся инструменты, ароматная древесина, доски и рейки, болты и гвозди, смола и несколько банок блестящих масляных красок. Он наверняка справится.

А вот Дуня совершенно изменилась; в течение следующих дней она оставалась неприступной и почти всё время молчала. Как-то раз Савел спросил её, куда же подевался Фирс; он, дескать, недавно слышал его голос во дворе, но с тех пор так ни разу его и не видел. На это сестра сдержанно ответила, что он подчинился её желанию и ушёл.

— Куда? — спросил Савел.

— Не знаю, — прозвучал её лаконичный ответ.

Савел задумался, и на мгновение на его лице застыл невысказанный вопрос. Наконец он осмелился его задать:

— Ты ведь не думаешь, что Фирс виновен в смерти Акима?

Дуня ничего не ответила и отвернулась.

— Ты ведь так не думаешь? — закричал брат.

А поскольку она так и не ответила на его вопрос, он сказал:

— Мне бы никогда такое не пришло в голову. Я знаю Фирса. Он не способен на вероломные поступки и стоит гораздо большего, чем ты думаешь. О, я готов поручиться за него, за каждый его шаг. Аким всегда был к нему несправедлив; я видел и слышал это много раз, но какой бы сильной не была неприязнь и вражда между ними, это никогда бы не заставило Фирса поднять на него руку. Я в этом абсолютно уверен.

В отрешенном выражении лица сестры Савел не заметил ни её согласия с его словами, ни вообще какой-либо реакции. На её бледном лице лежала лишь тень боли и скорби, которые также ощущались в интонации каждой её фразы, неохотно произнесённой лишь по необходимости. Устремив к саду взгляд своих больших глаз, которые сейчас казались более тёмными и тусклыми, чем раньше, она сказала:

— Скоро нужно будет собирать айву. Анисья считает, что зима будет суровой. Ты нарежешь камыш для печи и привезёшь в Вилково?

— Я? — удивился Савел, который рассеянно слушал сестру, и подумал о Фирсе.

Но затем он добавил:

— Я собираюсь приступить к строительству своей верфи.

— Ну, тогда, значит, ты будешь занят более важными делами.

Это прозвучало примирительно и понимающе, хотя Дуня вообще понятия не имела, о чём идет речь.

Через неделю Дуню пришла навестить Анисья, которая, заливаясь слезами, пожаловалась ей на вилковских священнослужителей. Они отказались обвенчать её с Савелом в церкви, пока не пройдёт шесть месяцев после смерти Акима. Раньше этого срока обвенчаться они не могут, поскольку это противоречит добрым христианским обычаям. Они попытались возразить, что, мол, вовсе не собирались закатывать бог знает какую шумную свадьбу, а просто хотели получить благословение, потому что в нём нуждается каждая пара, желающая соединить свои судьбы брачными узами, однако священнослужители лишь презрительно пожали плечами в ответ. Так что на следующей неделе они, вероятно, отправятся в Килию на лодке. Ведь тамошние священнослужители их не знают и наверняка без

проблем пустят к алтарю. На секунду она замолчала, а затем очень осторожно спросила, сможет ли она оставить Трофима на попечение Дуни на два дня, пока будет отсутствовать. Осторожность Анисьи показалась Дуне немного глупой, и она рассмеялась, а затем её губы растянулись в улыбке. Улыбка резко контрастировала с её мрачным и печальным выражением лица и смотрелась, как трещина в стекле. Однако теперь настала очередь Анисьи удивляться сестре Савела. Она не понимала, какое из её слов могло так внезапно развеселить девушку, но решила воспользоваться благоприятным, как ей показалось, моментом, и сказала:

— Вообще-то, я бы предпочла, чтобы ты собралась с духом и поехала с нами в Килию. Знаешь, я себе так это и представляла с самого начала, ведь поездка туда не означает прекращение траура по брату. Может, ты подумаешь об этом предложении? Кроме того, Савел сказал мне вчера, что там, в Килии, всё могло бы пройти намного лучше, чем мы себе могли представить, если бы наконец-то нашёлся Фирс и поплыл туда в качестве нашего гостя.

— Фирс? Как вам только такое пришло в голову? — вспыльчиво воскликнула Дуня, потому что даже от одного упоминания этого имени в её висках начала бешено биться кровь.

— Ну, не горячись ты так, — пыталась успокоить её Анисья, — ведь Фирс и твой брат дружат с самого детства. Они годами плавали по реке в одной лодке, так почему же они не должны поступить так сейчас? Из-за того, что Савел отправляется в Килию, чтобы обвенчаться со мной?

— Я не хотела обидеть тебя, Анисья, — смущённо извинилась Дуня, так как подумала, что своими словами невольно наломала дров, — я не это имела ввиду; Савел не смог бы найти женщину лучше тебя. Но пусть он больше не упоминает о Фирсе ни слова.

Этим всё было сказано, поэтому Анисья больше не осмелилась продолжать разговор о поездке в Килию. Она показала Дуне рубашечки, которые как раз шила для Трофима, и была рада, что девушка, которая словно после ужасного потрясения погрузилась в гнетущее молчание, рассматривала на солнце эти крохотные одёжки и любовалась ими. Затем она попрощалась и поспешила домой по кладкам. После её ухода

Дуня долго бродила взад и вперёд по саду и по пустому двору. Она чувствовала себя бесполезной вещью, которую здесь кто-то забыл.

А в нескольких милях отсюда, там, где намывная земля, похожая на чудовищное животное, густым мехом которого служили непроходимые заросли камыша, раскинулась между разветвлённой сетью тоненьких водных артерий, а пышная листва ив и ясеней переплеталась, образуя свисающие крыши, уже несколько дней блуждал один человек. В этой дикой, затерянной местности он бродил в полном одиночестве, потому что рядом не было никого, кто бы мог составить ему компанию. Он ел рыбу, которую накалывал на заострённые ветки и жарил на углях, ел птиц, водяные орехи и всё, что попадалось у него под ногами. Этого не очень хватало, поэтому, чтобы обеспечить себе пропитание на ближайшее время, он собирался вырезать из дерева метательную дубинку, которую затем можно было бы швырять в куниц. Когда шёл дождь, он спал в дупле старой ивы, по стволу которой иногда прыгали крысы и хорьки. Они не мешали ему, а со временем даже черепахи перестали прятаться в свои панцири, когда он приближался к ним и снисходительно произносил несколько слов, которые должны были убедить их в собственной несообразительности. Должно быть, одна из них в конце концов начала понимать его невнятное бормотание; она стала более доверчивой и ела листья с его рук. Камышницы и ремезы, гнёзда которых иногда окутывал голубоватый дымок от его костра, больше не пугались его горевших пристальных глаз, хотя они напоминали им глаза больших хищных птиц. В первые дни они, вероятно, принимали его за одного из раненых и упавших на землю царей неба, раскинувшегося над дельтой, и были рады, когда поняли, что он не настроен враждебно и не мешает их существованию. Часто этот человек бродил по реке, беспрестанно наклонялся, а затем сжимал в своих стальных пальцах отчаянно трепыхающуюся рыбу. За этим процессом наблюдали охотившиеся бакланы, которые кружили над его головой и гадили сверху на его сверкавшую от прилипшей рыбьей чешуи рубаху. Ночи уже окутывали камышовые плавни влажной прохладой, а огромные, как луна, звёзды, отражались в тёмной блестящей глади болот. Днём, когда солнце заливало всё вокруг ярким светом, над болотом ещё стоял интенсивный запах,

и казалось, что плескавшиеся в мутной воде дикие утки были на верху блаженства, опьяненные его манящей сладостью.

У обитавшего в этой безлюдной глуши человека не было ни средства передвижения, ни ружья, ни сети. Он забыл всё и оставил в том мире, где люди не понимали друг друга, потому что они, как он полагал уже почти год, всегда оставались беспомощными пленниками своего тела, которое насильно удерживало их в одном единственном месте на земле. До сих пор этот факт предопределял и его судьбу, и сейчас ему было наплевать на то, царапают ли его лицо ветки деревьев, спят ли пауки в его рыжей бороде, прилипло ли к его рукам больше или меньше грязи и птичьего помёта, впитывает ли то немногое, во что он был одет, капли дождя, как губка. Его охватила странная бессонница, которая не давала ему сомкнуть глаз всю ночь, пока листва деревьев сливалась с темнотой и в небе не начинал брезжить бледно-фиолетовый рассвет. Сейчас он был скорее похож на пернатых обитателей этого уединённого места, жизнь которых протекала между борьбой за выживание и спячкой; лишь иногда его сознание на время погружалось в сон. Какое ему дело до диких кошек, глаза которых горели в кромешной тьме сине-золотым светом, или до саламандры, которая металась вокруг канавки с лужей, как будто рисовала таинственные огненные знаки? Он снова грыз свою твёрдую пищу, прежде чем растянуться на траве, чтобы предаться праздным мыслям. Он не хотел знать, что будет завтра и как жители ближайшего поселения встретят грядущий день. Утонувшего рыбака, наверное, уже давно похоронили. Он спрашивал себя, догадывается ли хоть одна душа в Вилково, где он бродит и какие животные резвятся вокруг него. О, если бы только ему предоставили возможность хоть что-то узнать; он был бы доволен и принял бы это как вознаграждение за все перенесённые невзгоды. Тогда он, возможно, пробрался бы дальше на восток, через рукава реки и леса к морю, чтобы обрести другую, прежде неведомую свободу. Он пытался выкинуть из головы все наивные идеи, он всего лишь хотел жить, просто дышать в ожидании того, что принесёт следующий день. Его не пугали ни пиявки, ни тритоны, однако в самым укромных уголках своего сознания он чего-то ждал. И каждый взбирающийся на небо рассвет он встречал с новой надеждой.

В то время, пока он предавался этим размышлениям, а его тело сливалось воедино со своей оболочкой, в гнёздах птиц и в прохладном воздухе, заполнявшем тесную переднюю в доме Мары, ещё царила ночь. Незадолго до этого провидицу охватило странное беспокойство, она вышла во двор и привела двух сонных собак в дом. Теперь они облизывали руки Мары своими широкими языками, прижимались к ней и тёрлись боками и задними лапами о ножки её койки. Она сидела на кровати, беспрестанно потирала подбородок, проводила пальцами по лбу, убирая пряди волос, которые падали ей на лицо. Волосы раздражали её. Она хотела подумать, а не заниматься своими непослушными пасмами; она громко выругалась, и животные удивлённо взглянули на неё. Мара вспомнила, что она не одна. Хотя обычно она и так довольно часто разговаривала сама с собой и не обязательно нуждалась в слушателях, которым могла бы адресовать свои сумасбродные слова, сейчас создавалось впечатление, что присутствие собак её чертовски раздражало, а внутреннее беспокойство переросло почти в негодование, когда она сказала:

— Никто не позовёт его обратно, а время идёт, и на зиму нужен камыш. Он не ловит рыбу с другими мужчинами, нет; вокруг него только жуки и муравьи, множество крошечных муравьев. Бегают по туловищу, по плечам, по рукам, заползают в подмышки. А Дуня не собирается и пальцем пошевелить. Она не ждёт от него ребёнка, потому что ещё девственница, ха-ха, и всё же не хочет его искать. Хараламбие тоже этого не делает, только пожимает плечами, глупец. Но мы не можем больше ждать. Мара богатая, но каменная дорожка во дворе пришла в негодность. Хараламбие не хочет её починить, только стоит и моргает глазёнками. А Дуня смирилась, больше не прыгает от радости. Она, жалкая и убогая, попрятала на дно сундука все ситцевые блузки, синие и красные. Пусть полежат до лучших времён, ха-ха. Она не пойдёт к Фирсу, уродина.

Мара содрогнулась от отвращения, она издала ещё несколько звуков, которые скорее походили на длинные вздохи и привлекли внимание собак больше, чем всё, что было сказано ранее. Животные подняли лай, который разнёсся эхом по всему городку.

— Да, — сказала Мара, решительно кивнув головой, — вы правы, вы меня понимаете. Дуня не захотела его слушать, нет, она заткнула уши, чтобы не слышать.

Внезапно голос Мары оборвался и его заглушили всхлипывания. Некоторое время она боролась со своей болью, потому что ей было стыдно перед собаками, и наконец дала выход своему горю, разразившись плачем, который был похож на волчий вой.

— Мара этого не допустит! — закричала она хриплым голосом.

Она приподнялась, став коленями на моток тряпок, который обычно служил ей в качестве подушки, и с твёрдой, непоколебимой решимостью добавила:

— Мара уходит.

Собаки лаяли, брызгая пеной из пасти, как будто собирались на охоту, прыгали туда-сюда, бросались к маленькому оконному проёму и снова заходились лаем. Татарка не спала до самого утра; она вернулась во двор, бегала взад и вперёд в темноте, а животные неотступно следовали за ней по пятам. При этом она ругалась на непослушные волосы, которые падали ей на лицо и попадали в рот, выплёвывала их и обзывала паршивыми патлами.

В ту же самую ночь Дуня тоже сидела на пороге у входной двери, потому что её, видимо, тоже терзало ожидание чего-то предстоящего, которое не давало ей сомкнуть глаз. Она больше ни на секунду не вспоминала обещание отца вернуться в город через некоторое время, а лишь вела упрямый спор сама с собой, пытаясь найти аргументы против всего того, что связывало её с Фирсом и заставляло тосковать по этому человеку. В конце концов она поняла, что сейчас она больше, чем когда-либо, нуждалась в его безмолвной нежности, его смехе и простодушном нраве, и полностью отдалась во власть своих чувств. Нужно признать, что она привыкла к нему, но ведь не мог он быть коварным или даже подлым, если её так к нему тянуло. Она постоянно избегала всего плохого и сомнительного, совершенно не задумываясь об этом, её никогда не привлекало что-то подозрительное. Всё получалось само собой, и ей не приходилось об этом размышлять. Нет, впервые она задумалась о Фирсе только тогда, когда умер её брат. Раньше ей бы это не

пришло в голову, потому что ей достаточно было ответить Фирсу взаимностью, чтобы жить счастливо. Но несчастье Акима стало и её гибелью, это настолько перевернуло весь её внутренний мир, что она с трудом узнавала себя и теперь с ужасом думала о снедавшем её неизлечимом упрямстве. Ну кто будет страстно желать встречи с убийцей? Ей следовало ещё тогда внимательно взглянуть на Фирса и прислушаться к его голосу, тому искреннему голосу, в котором никогда не было лжи и фальши! Тогда он не ушёл бы от неё и был бы сейчас с ней в задней комнате. Дрожа от волнения, она выбежала к калитке в надежде услышать его шаги, тихо приближающиеся по кладкам вдоль канала. Но там никого не было, и внезапно Дуне пришло в голову, что Фирс, возможно, вернулся в город, что он, кто знает, лежит сейчас в доме Мары сам не свой и только презирает её, несчастную.

Она повязала на голову платок и побежала через весь Вилково к дому татарки, а добравшись туда, стала прислушиваться, всеми силами напрягая слух, но из-за тонких стен раздавался лишь дикий собачий лай. Всё было напрасно; этим она ничего не добилась, кроме того, что ещё больше растерялась из-за бесконечных упрёков самой себе, она так ничего не узнала и только чувствовала себя очень жалкой и несчастной. Уже начало светать, когда она возвращалась домой. Вдруг, словно следуя внезапному порыву, она помчалась к перекрёстку и бросилась прямиком к Хараламбие. Она спросила вздрогнувшего от испуга караульного, который только что задремал, не видел ли он Фирса.

— Фирса? Нет, он здесь не показывался.

— И вчера тоже? — спросила умоляюще девушка.

Хараламбие поправил свои усы, приглаживая их, будто кошку, и поинтересовался, с чего она это взяла, а затем добавил, что вчера он его тоже не видел. Услышав это, Дуня оставила его и бросилась прочь, не сказав ни слова благодарности за предоставленную информацию и даже не попрощавшись, как подобало бы поступить по отношению к человеку почтенного возраста, а удивлённый караульный покачал головой, потому что уже вёл сам с собой неслышный разговор, в котором шла речь о непредсказуемости молодёжи.

— А в остальном она всё-таки хороший ребёнок, эта Дуня, —

добавил он очень тихо, словно делился своим мнением с возвышавшимся рядом с ним фонарным столбом. Ведь Хараламбие тоже старался поддерживать свои дружеские связи, которых не хотел лишиться и которым хранил верность, как архангелу Михаилу. Затем он задумчиво посмотрел вслед девушке, которая вскоре окончательно скрылась из его поля зрения, и начал насвистывать озорную мелодию румынской народной песни, пока вокруг него прыгали первые пробудившиеся воробьи.

Так было легче коротать часы, которые ему ещё нужно было дежурить до появления солнца над крышами ближайшего ряда домов. Он уже собирался покинуть свой пост, чтобы позволить себе несколько часов отдыха, когда Мара в странном чёрном чепце, натянутом на лоб, и в сопровождении двух собак подала ему издалека несколько знаков и затем, затаив дыхание, бесцеремонно появилась перед ним. Казалось, она едва сдерживала возбуждение, дёргала Хараламбие за пуговицы мундира, а себя за уши, которые вообще ничего не слышали, потому что их слишком сильно прижимал чепец и закрывали спутавшиеся пучки волос.

— Мара не слышит ни слова, — укоризненно крикнула она наконец караульному, будто он был в этом виноват, и сняла свой головной убор, который, описав дугу, улетел прочь, а погнавшиеся за ним собаки внимательно обнюхали его. Густые спутанные пряди волос снова упали на лицо ясновидящей, которая принялась топать ногами и чуть ли не свирепствовала.

— Что мне делать? — спросила она караульного с отчаянием в голосе.

Хараламбие уже привык к странным причудам Мары, но ни разу до сих пор он не наблюдал подобного представления. Когда он уже собирался резко накричать на неё и выругать за такое поведение, ему вдруг пришло в голову, что на этот раз, возможно, будет лучше вести себя с этой взбалмошной женщиной дружелюбно и спокойно. Поэтому он с улыбкой потянулся к ней и легонько похлопал её по плечу, но в следующее же мгновение Мара схватила руку ничего не подозревающего караульного, отшвырнула её, как ядовитую гадюку, и набросилась с криками на терпеливого румына:

— Козёл, похотливый козёл! Оставь в покое порядочную

женщину. Что, нравится тебе моя белая плоть, не так ли?

Хараламбие с ужасом отпрянул от неё, словно от привидения. Но, судя по всему, провидица сразу же забыла об этом неприятном инциденте и лишь пояснила печальным, тихим голосом:

— Это всё из-за волос, понимаешь. Мара хотела тебя спросить, что ей делать, чтобы наконец освободить голову.

— Обрезать, — сказал Хараламбие непринуждённым тоном и соединил два пальца вместе, изобразив ножницы.

— Хотела бы, — прошипела она ему, — но нам это не подобает. Собакам нравятся длинные волосы, мужчинам тоже.

Эти слова позабавили Хараламбие, и он тут же забыл о своей усталости. Он весело смеялся и зевал реже, чем несколько минут назад.

Однако, поскольку Мара, похоже, собиралась надолго задержать его своей болтовнёй, он сказал ей, что его служебное время закончилось и теперь он должен пойти домой, чтобы поспать несколько часов. Но когда он почтительно поднял руку к фуражке в знак прощания, татарка схватила его за рукав и прошептала ему на ухо:

— Ты видел Фирса?

— Нет, — ответил он, — но рано утром меня об этом же спрашивала Дуня.

— Дуня? — спросила Мара с ухмылкой на лице.

Караульный утвердительно кивнул:

— Ну да, девушка была здесь и интересовалась у меня об этом человеке. Я ведь как-никак страж порядка и к тому же заслуживающий доверия человек.

— Дуня спрашивала о Фирсе? — фыркнула ясновидящая, а затем всем телом затряслась от смеха, устроив жуткий шум.

Некоторые женщины повыходили на порог своих домов и удивлённо наблюдали за происходящим, хотя они хорошо знали Мару и не раз были свидетелями того, на что она способна в невменяемом состоянии. Нет, настолько буйно она не вела себя со времён наводнения. А Мара не переставала радостно ликовать:

— Значит, он не с ней, а? Спит где-то в камышах, сучий сын?

Хараламбие не понял её, но, тем не менее, растянул губы в одобрительной улыбке и пошёл восвояси, пока ясновидящая

кричала ему вслед:

— Мара его разыщет.

Она убрала пятерней волосы со лба и погрузилась в размышления, полностью замкнувшись в себе и отстранившись от окружавшей её реальности, затем подняла голову и зашагала ко двору старика Калистрата, надменная и одержимая пророчица.

Но как только она заметила во дворе Дуню, она немного ссутулилась, словно охватившая её гордость вдруг куда-то подевалась. Она ударила кулаком по планке забора, стараясь привлечь внимание девушки. Дуня обернулась и, не говоря ни слова, вопросительно взглянула на татарку с надеждой в глазах.

— Он должен выйти, — набросилась на неё с криками Мара.

— Кто? — спросила удивлённо девушка.

— Кто? Ха-ха, кто! кто! Пусть Фирс выползет из-за печи. Мара не уйдёт, пока он не выйдет. Маре есть что сказать ему.

— Но его здесь нет, — перебила её Дуня, — я не видела его уже много дней.

Возможно, татарка подумала, что девушка её плохо поняла, и, растягивая слова, рассерженно пояснила:

— Мара спрашивает, с тобой ли Фирс.

— Нет, — тихо и почти испуганно ответила Дуня, потому что полагала, что ясновидящая окончательно рехнулась.

— Его здесь нет, разве он не вернулся к тебе?

В ответ Дуня лишь грустно покачала головой, а потом сказала:

— Я знаю, что он ушёл, но с тех пор от него не было вестей, и я не имею понятия, где он и что делает.

— Мара это знает, — резко перебила её провидица и мрачно уставилась в землю. Но затем она медленно подняла глаза и посмотрела на Дуню. Что-то невыразимо доброе, материнское появилось в холодном выражении её лица. Некрасивое и побитое оспой, сейчас оно словно преобразилось.

— Мара уходит, — сказала она самоуверенно, — она приведёт Фирса назад.

Дуня пыталась что-то пробормотать, хотела поблагодарить её, но татарка решительным и властным жестом руки дала ей понять, что уже достаточно сказано и она больше ничего не хочет об этом слышать.

— Мара найдёт его, — повторила она с упрямой

уверенностью, зажмурив глаза. Сразу после этого она бросилась прочь, а собаки последовали за ней мощными прыжками.

Прежде чем последние низкие хижины рыбацкого городка остались у неё за спиной, она закрыла глаза и на мгновение неподвижно замерла, пока в облаках над её головой кружил чёрный гриф. Затем она поспешила вперёд прямо-таки с юношеской скоростью, словно услышав отдаленное эхо какого-то голоса. Однако она не пошла своими привычными путями, которые вели прямиком от её хижины к Флоре и Хараламбие или в какой-нибудь другой уголок Вилково. Она часто останавливалась и отдыхала, потому что у неё перехватывало дыхание и пересыхало в горле, то и дело отчитывала собак, которые, похоже, чуяли меньше, чем она сама, иногда бежала обратно по тропинке к тому месту, где она разветвлялась, и продолжала свои поиски в другом направлении. Она перешла вброд через заиленный рукав реки, в котором утонул Пахом, и с ней ничего не случилось. Примятый камыш хрустел под её потрескавшимися ступнями, которые неустанно торопились дальше. Временами ей казалось, что она бродит по кругу, и тогда она что-то бормотала себе под нос, на что двое её спутников начинали жалобно скулить. Она порвала свою юбку о коварные шипы, но это не останавливало её, она продолжала свои поиски, и пока один час сменялся другим, она всё глубже и глубже проникала в непроходимую чащу дельты. Один раз она даже подумала, что наконец добралась до своей цели, и издала звук, похожий на возбуждённое ржание. Когда она заметила, что это всего лишь самообман, она набросилась с проклятиями на собак:

— От вас никакого толку, вы — как слепые старухи! Мара должна вас вести. Вы не указали Маре верный путь, сонные бездельники!

Она пригрозила им сжатыми кулаками, и, тяжело пыхтя, с неистовым, неумолимым упорством продолжила свои отчаянные поиски. Наконец одна из собак, которая залезла в заросли, зашлась лаем, а вторая принялась усердно вторить ей в ответ, закружившись вокруг хозяйки в диком танце.

Убежавшая вперёд собака с лаем кинулась на черепаху и одичалого рыжебородого мужчину, который сидел рядом с ней на земле и кормил её с руки. Мара тоже бросилась туда, пока не узнала его через узкие просветы между ветвями и листвой.

— Сучий сын, — крикнула она издалека, и в её голосе зазвучали низкие клокочущие звуки ликования, которые напугали всех птиц в камышах так же сильно, как и поднятый собаками шум.

— Не смог спрятаться, ха-ха. Ну и дуралей, ну и сердцеед! Вперёд, не теряй здесь время зря! Она не может дождаться его, а он тут расселся, и черепахи облизывают его грязные лапы.

Фирс поднялся, собаки продолжали прыгать вокруг него, тявкали, скулили; листья выпали из его рук, потому что в первые несколько мгновений после появления Мары он чувствовал себя обитателем грабительского логова, которого неожиданно спугнули.

— Чего ты хочешь от меня? — укоризненно спросил он, всё ещё совершенно озадаченный непривычностью ситуации, которая так внезапно прервала его одиночество и покой. У него было такое ощущение, будто он стоит сейчас перед ней голым, а ясновидящая сказала:

— Мара ничего не хочет. Ты должен поскорее вернуться в Вилково. Она всю ночь тебя искала.

— О ком ты говоришь? — перебил он её, потому что внезапно каждая клеточка его тела напряглась в ожидании её ответа.

Тут провидица снова начала хохотать:

— О ком! Дуня попросила Мару найти тебя и сказать тебе, чтобы ты оставил здесь животных и вернулся к ней. Сучий сын, ну что смотришь, разинув рот?

Однако на самом деле он вообще этого не делал, а размышлял, пока его сердце колотилось о рёбра, как быстрее добраться до рыбацкого городка и Дуни. От переполнявших его чувств он хотел бы поблагодарить Мару, обнять старую, замурзанную татарку в изодранной одежде, но сейчас на это у него действительно не было времени. Он швырнул камень в пылающий костёр, отчего кусочки углей разлетелись на части, и бросился бежать, не требуя от Мары прочих объяснений и вообще не беспокоясь о ней. Она вместе с собаками отстала от него на приличное расстояние, она больше не торопилась и дольше отдыхала, хвалила своих виляющих хвостами и ворчащих спутников, а затем скрылась в непроходимых камышовых зарослях. Фирс, похоже, напротив, очень спешил, потому сейчас он уверенно делал каждый шаг; нет, у него не было выбора, если

он хотел как можно быстрее добраться до Вилково, и никакие препятствия на его пути не могли его остановить. Его взлохмаченная борода развевалась на ветру, и он чувствовал, что постепенно приближается вечер и что ему ни в коем случае нельзя расслабляться. Он брёл по болоту, с лёгкостью поднимая покрытые илом ноги, как будто они были крыльями; наконец он почувствовал под собой более сухую почву, твёрдую землю, которая поддерживала его и не мешала ступням бежать вперёд. Лёгкий зеленоватый туман парил вдалеке над Вилково. Затем он увидел первые белые стены жилищ, избы, дом Якова, появившийся в его поле зрения между могучими тополями. Тропинка, по которой он бежал, была без извилин и поворотов, прямая линия на местности с достаточно хорошим обзором, по краям которой вздымалась высокая трава.

Вдруг он заметил фигуру женщины, которая двигалась не ему навстречу, а вышла из города гораздо левее от той дороги, по которой бежал он, и помчалась в развевающейся блузке по боковой тропинке, которая вела вглубь Бессарабии. Она не видела, что он подал ей сигнал обеими руками, она вслепую бежала в сторону открытой равнины, туда, где её никто не мог задержать. У него больше не осталось сомнений в том, что это была Дуня, он звал её по имени, пока она не услышала его, пока не остановилась, а затем свернула со своего пути так же, как он свернул со своего, и словно освободившись от оков и падая в бездну от ослепившего её счастья, устремилась ему навстречу. Она больше не сопротивлялась и кинулась в объятия Фирса, рыдала, целовала его пропитанную потом рубашку, утирала слёзы в уголках его глаз, и снова целовала его. Темнота медленно окутывала маленькие домики рыбацкого городка. Любые слова и объяснения сейчас были излишни, поэтому она взяла его за руку и потянула за собой, через кладки и до калитки во двор старика Калистрата. Оттуда до порога оставалось всего пару шагов, и они шли бок о бок, а их сердца были наполнены теплом и благодарностью небесам за обретённое счастье.

На следующий день Фирс слонялся по городку во время вечерней службы, потому что он должен был разыскать Савела и сообщить ему, что они с Дуней поедут в Килию в качестве второй пары, чтобы кто-нибудь из тамошних священнослужителей обвенчал их. Таким образом, они отправятся в поездку вместе, а по возвращении займутся подготовкой запасов камыша, тыквы и айвы на предстоящую зиму. Так предложила Дуня. Лучи заходящего солнца, сверкавшие в кристально прозрачном воздухе, прыгали по жёлтым и тёмно-багровым листьям деревьев, но пока что нигде не чувствовалось и намёка на тоскливую осень. Когда Фирс проходил мимо лавки Еремея, мясник как обычно стоял почти неподвижно с торжественным выражением лица в своём окровавленном фартуке. Он снисходительно кивнул в знак приветствия Фирсу, в безденежье которого он никогда не сомневался и поэтому вряд ли причислял его к числу своих клиентов, и продолжал вдыхать сладковатый запах мяса, как будто он придавал ему ощущение роста и процветания. После этого он чуть ли не с королевским величием вытянул из разрубленной бараньей туши синий моток кишок. Вероятно, он делал это с огромным удовольствием, однако у Фирса не повылазили от удивления голодные глаза; его вряд ли волновали чудесные яства Еремея, потому что его взор уже был обращён к маленькому выцветшему флагу, который развевался на ветру у трактира Ивана и на который старик Калистрат смотрел в утро своего ухода, как на роскошный символ жизни. На верхушке флагштока сидела и чирикала птица, и Фирс наверняка бы услышал её пение, если бы его не заглушал громкий визг, доносившийся с перекрёстка.

Там Мара устроила разнос Хараламбие. Фирсу не нужно было говорить ей, что ему больше не понадобится комната, которую он раньше снимал у неё, так как теперь он будет проводить своё свободное время под другой крышей, она и так об этом догадалась. Предприимчивая Мара быстренько сориентировалась и предложила койку с большой овечьей шкурой Хараламбие, и теперь, судя по всему, была в ярости из-за низкой арендной платы, которую он готов был выложить за её комнату. Но учитывая то жалованье, которое получал караульный, он вряд ли мог позволить себе тратить много денег

на свои физические нужды, поэтому теперь он робко выслушивал, как Мара издевается над ним, обзывая его гнусным скрягой. Разумеется, Хараламбие это очень обидело, поэтому когда Фирс проходил мимо, он обратился к нему, чтобы разрешить спор:

— Ты только послушай, что она говорит, язычница! Что я, дескать, жмот и ем только водоросли и кору ивы. И всё лишь потому, что она слишком много, безбожно много просит за ночлег, а я ведь не могу красть, чтобы утолить её невероятную жажду денег.

— Сколько же она требует от тебя?

— Двадцать леев в месяц, ты только вдумайся, двадцать леев! — сердито ответил разгневанный Хараламбие. — Это просто возмутительно!

Когда Фирс повернулся к провидице, на его лице застыло вопросительное и изумлённое выражение, потому что он всегда платил ей лишь половину этой суммы, и она никогда не жаловалась. Но, похоже, Мара старалась избежать его пристального взгляда и отвернулась. Поэтому Фирс подошел к ней и тихо сказал:

— Почему ты требуешь с него больше?

— Почему? — гневно рявкнула Мара. — И ты ещё спрашиваешь, сучий сын? Ведь ты — голодранец, а он — караульный!

Фирс засмеялся, снял с себя полномочия третейского судьи и оставил этих двоих пререкаться дальше. Он отправился в сторону большого канала и очень скоро добрался бы туда, если бы его не задержал Пимен, который в своём дворе в компании Гаши и молодого светловолосого мужчины предавался сентиментальным россказням и хвастовству.

— Приветствую тебя, Фирс, — окликнул он его, — загляни хоть раз и к нам на минутку.

Фирс остановился у калитки, потому что не хотел, чтобы у него отняли слишком много времени. Он протянул руку Гаше, а затем посмотрел на незнакомца, который, по всей видимости, был не из этих краёв и невозмутимо выгребал мякоть из кожуры перезрелой и подгнившей тыквы, погружая в неё свои грубые синеватые пальцы.

— Ты его знаешь? — спросил Пимен и указал жестом на

неуклюжего незнакомца, у которого поверх брюк свисала длинная грязная рубаха.

— Нет, — ответил Фирс.

— У тебя случайно не найдётся для него работы? — вдруг очень засуетился Пимен, словно горел желанием получить утвердительный ответ.

— А он что-нибудь понимает в рыбной ловле? — прозвучал встречный вопрос Фирса.

— Ах, — воскликнула Гаша, изобразив на лице как можно более кроткое выражение. — Как он мне сказал, он ещё ни разу в жизни не сидел в лодке; он, знаешь ли, из военных, его отправили в отставку всего шесть дней назад. Но он мог бы быстро всему научиться. Его зовут Терентий.

— Понятно, — сказал Фирс, пока у жевавшего и причмокивавшего кандидата в его помощники из обоих уголков рта вниз по подбородку стекал тыквенный сок, а затем медленно капал на землю.

— Терентий, какое красивое имя! — мечтательно произнёс Пимен, продолжая повторять его с закрытыми глазами и будто наслаждаясь каждым произнесённым слогом. Но человек, которого так хвалили, больше не обращал внимания на гостя и как ни в чём не бывало продолжал облизывать свои толстые пальцы, смотря своими невинными прозрачно-голубыми глазами на мир, о котором он вряд ли что-то знал. И пока Фирс старался распрощаться с Пименом неловкими отговорками, что ему, дескать, до вечера ещё предстоит сделать кучу дел, к нему с доверительным видом подошла Гаша, которая многозначительно покосилась на Терентия и тихо прошептала:

— Ну разве он не видный мужчина?

Разумеется, Фирсу нечего было на это возразить, поэтому он пожелал всем троим приятного времяпровождения и продолжил свой путь.

Сбежав от Пимена, Фирс пошёл очень медленно, словно пытался сдерживать каждый свой шаг. Уже вечерело, и всё вокруг было залито медовым сиянием. Фирс что-то напевал, и вновь эта мелодия состояла всего из четырёх или пяти звуков, которые прежде никто не соединял в такой последовательности. Эта музыка сама по себе исходила из его сердца. Из усыпанных фруктами садов доносился приятный кисловатый аромат айвы, и

вскоре он увидел аптеку, дверь которой была распахнута настежь. Возможно, это было сделано нарочно, чтобы каждый прохожий мог лицезреть необычную сцену внутри. У отполированного до блеска стола Наума стоял с надменным видом городской голова и рассматривал на свет маленький бокал с тёмно-красной жидкостью. Видимо, это было вино, и скорее всего, так называемое испанское вино из Бессарабии. Городской голова восторженно улыбнулся, услышав неизвестное название какого-то иберийского города, и таким образом с аптекаря запросто были сняты всяческие подозрения в его причастности к тому небольшому инциденту с нападением на дом Пимена.

Из происходившего в аптеке разговора до Фирса донеслось всего лишь несколько бессвязных слов, на которые он даже не обратил внимания, потому что сразу же заметил, что здесь, на берегу большого канала, произошло действительно сенсационное событие. Перемена заключалась в рабочем месте Савела, которое уже издалека привлекало каждый взгляд. Лодочная верфь — воплощение амбициозной мечты Савела! Конечно, сейчас там не было стапельного помоста для изготовления и спуска больших лодок; пока что под наклонной деревянной крышей на четырёх опорах возвышалось всего несколько установленных под углом к воде балок, а на них стояла лодка, строительство которой ещё не было завершено, но, как ни крути, это была настоящая верфь. Савел как раз был занят тем, что наносил блестящей масляной краской несколько таинственных букв, которые церковный певчий Аверьян набросал для него на листке бумаги, на бортовую стенку своего нового судна. Похоже, это было совсем нелёгкое занятие, поскольку он был настолько поглощён своей работой, что даже не заметил, как к нему подошёл Фирс, который почему-то был растроган до глубины души и не мог вымолвить ни слова. Или же ему мешали сделать это высокие, внушающие благоговейный трепет груды досок и горы стружек, среди которых Савел так увлечённо занимался своим ремеслом?

Едва Фирс успел обратиться к нему с самым неловким из всех приветствий, как Савел тут же, держа кисть в протянутой руке, сделал по своему обыкновению такой непринуждённый вид, как будто виделся с Фирсом только вчера, и спросил:

— Ну как тебе моя верфь?

Что же должен был ответить в этой ситуации удивлённый Фирс? Он ограничился тем, что начал восхищаться и хвалить каждую деталь, особенно великолепную лодку, которую Савел построил сам, хотя внезапно он ощутил, как в его сердце закралась непреодолимая грусть.

— Значит, ты больше не будешь ходить со мной на рыбный промысел? — нерешительно спросил он.

— Разве я похож на дурака? — ответил Савел. — Теперь я буду зарабатывать на жизнь этим искусством, и мне не нужно будет подвергать себя опасности. С меня достаточно этих нечеловеческих мытарств. Пусть тонут другие, чтобы люди в городах могли есть икру.

— Значит, мне придётся плавать одному или найти себе нового спутника, — задумчиво сказал Фирс, рассматривая поближе доски. Невольно с его губ слетел вопрос:

— А для кого ты всё это делаешь? Кому ты хочешь это оставить?

— Моему сыну, — ответил Савел, который, прервавшись на секунду, вновь вернулся к своей усердной работе.

Фирс удивлённо приподнял брови, потому что не сразу понял слова Савела. Однако тот поднялся, указал кистью на огромную кучу стружек, лежавшую подальше, и пояснил:

— Вон ему.

Фирс взглянул в указанном направлении и увидел посреди блестящей кучи стружек маленького Трофима, сидевшего там, как в гнезде, склонив голову и рассматривая крошечные камешки, которые он осторожно держал в ладошках. Теперь Фирс всё понял, однако не стал возвращаться к этой теме, потому что всё ещё не сказал Савелу самого главного. Он стал, широко расставив ноги, и затем сухо спросил:

— А когда ты с Анисьей едешь в Килию?

Савел отставил банку с краской и ответил:

— Как, ты знаешь об этом?

— Да, — смущённо признался Фирс, — Дуня мне сказала.

— Скорее всего, мы поедем послезавтра, когда я наконец спущу лодку на воду, — улыбнулся Савел, должно быть, вновь размышляя над какой-нибудь хитростью своего ремесла.

Фирс провёл рукой по чесавшемуся веку и сказал:

— Мы поедем с вами. Дуня полагает, что нам двоим тоже нужно благословение.

Савел покосился на ещё не высохшие буквы своего шедевра, которые привели его в полнейший восторг, обхватил Фирса за шею и крепко обнял его.

— Смотри, не запачкайся о кисть, — сказал он деловитым тоном.

Теперь Фирс больше не торопился, теперь больше ничто не вертелось у него на языке; всё было сказано однозначно, а между строк читалось тепло дружбы и тесной привязанности. Уставившись на густую растительность, покрывавшую его правую руку, он отправился к рыбным складам, где забрался в лодку, осторожно опустил вёсла в воду и, погружённый в собственные мысли, поплыл к середине рукава реки. Сегодня у него не было определённой цели и других планов, он просто спокойно грёб по этому водному кругу, врезавшемуся в наносные земли, словно гигантское зеркало, которое бросил здесь Дунай. Он на время сбежал из городка, чтобы побыть в одиночестве, потому что ощущал острую необходимость поразмыслить над некоторыми вещами, которые со времён наводнения не один раз стоили ему многих бессонных и мучительных часов. Почему он снова был здесь, почему мог находиться только в этом строго ограниченном месте, размером чуть больше квадратного локтя, изолированный от всех, отрезанный от остального мира и находящийся далеко от Дуни? Но не успел он почувствовать, что у него снова назревает этот вполне понятный вопрос, как уже знал, насколько он бесполезный и запоздалый. Внезапно на него снизошло озарение, которое не нуждалось в толковании. Он понял, что был не только человеком, который сидел в данный момент на сидении в чёрной лодке; нет, он одновременно жил в Вилково, в аромате айвовых деревьев, растущих во дворе старика Калистрата, в комнате Дуни, в Дуниной любви. Там он существовал так же, как и здесь, на неутомимых волнах, а женщина, к которой он отныне всегда будет возвращаться с рыбного промысла, как другие рыбаки возвращаются в трактир к выпивке, не только собирала в это мгновение фрукты в том расположенном далеко отсюда саду, она жила в нём, в Фирсе, она тоже тянулась сейчас к прохладной воде его сильными руками, она вдыхала свежий воздух его лёгкими и улыбалась его

большим ртом. Её таинственный, неслышный для остального мира голос звучал в его сердце.

Мимо Фирса медленно проплывали баржи, нагружённые доверху початками кукурузы и тыквами, а солнце опустилось ниже облаков и окрасило алым заревом плавни, как будто камыш запылал ярким пламенем. Фирс почувствовал, что в его груди вспыхнуло неведомое прежде радостное чувство. Поэтому он отпустил вёсла, словно был мертвецки пьян, и отдыхал, поглядывая через край лодки по сторонам и вниз, на сверкавшие волны. Он существовал и там, в воде, в которой моргали его глаза. Затем он поднялся и, широко расставив ноги, стоял в лодке, которая, похоже, находилась сейчас в том же самом месте, откуда он однажды днём прошлой зимой испускал пронзительные крики и заливался смехом, раззадоренный той женщиной, которая в ужасе махала ему с берега рукой и чуть не умерла от страха, что он провалится под лёд. С тех пор все кладки и мостики, даже самые хрупкие, безопасно перенесли его через болота и глубокие воды к Дуне, с тех пор он понял, что больше никогда не будет один, и каждый его крик не останется без ответа. Перед его взором раскинулась водная гладь, такая близкая и такая недосягаемая. Он поднял руку ко лбу и осмотрелся вокруг. И ему показалось, что в его груди бьётся живое сердце широкой реки. Она подчинялась законам природы и прощалась с уходившим днём, но всегда оставалась там, двигаясь по кругу, не имея ни начала, ни конца.